ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ФОЛЬКЛОР И ЭТНОГРАФИЯ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

АКАДЕМИЯ НАУК СССР
ИНСТИТУТ СЛАВЯНОВЕДЕНИЯ

ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ФОЛЬКЛОР И ЭТНОГРАФИЯ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

VI МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЪЕЗД СЛАВИСТОВ

(Прага, 1968)

ДОКЛАДЫ СОВЕТСКОЙ ДЕЛЕГАЦИИ

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»
Москва 1968

Редакционная коллегия:

И. А. ХРЕНОВ, Н. И. КРАВЦОВ, В. А. ДЬЯКОВ

1-6-3
БЗ №6-1968 №4

Л. Б. Валев, Ф. Г. Зуев, А. И. Недорезов, Г. М. Славин

СОТРУДНИЧЕСТВО СССР СО СЛАВЯНСКИМИ СТРАНАМИ НА ЗАВЕРШАЮЩЕМ ЭТАПЕ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (1944—1945 гг.)

В развитии сотрудничества СССР со славянскими странами Центральной и Юго-Восточной Европы особое место занимают последние годы войны, когда советские вооруженные силы вступили на территорию оккупированных стран, неся им освобождение от национального порабощения и фашистского гнета. Создалась новая ситуация в развитии отношений Советского Союза с этими странами, позволяющая углубить и закрепить взаимные симпатии и боевую дружбу, которые сложились в годы совместной борьбы против фашизма. Практически впервые в своей истории народные массы СССР и зарубежных славянских стран получили возможность для столь широкого и непосредственного общения. Победы Советской Армии усилили воодушевление и революционный подъем у славянских народов, их готовность всеми силами способствовать победе над врагом, а тем самым собственному освобождению и быстрейшему окончанию войны. Развитие политической активности масс, связанное с движением Сопротивления, и установление в славянских странах демократических порядков создавали обстановку, которая также благоприятствовала налаживанию разностороннего сотрудничества между СССР и славянскими странами — военного, политического и экономического, складыванию взаимоотношений нового типа.

Конечно, существовали и силы, тормозившие развитие этого сотрудничества народов. Среди них были и так правящие круги западных держав, так и реакционные классы в славянских государствах. Развернувшаяся в этих государствах классовая борьба захватила и область взаимоотношений с Советским Союзом.

На последнем этапе войны, начавшемся во второй половине 1944 г., главными задачами антифашистской коалиции являлись достижение полной победы над гитлеровской Германией и создание прочной основы для будущей мирной жизни народов. Особую важность приобретала выработка принципов, на которых должны были строиться послевоенные отношения между народами.

Роль той или иной страны в решении вопросов послевоенного мира определялась вкладом, который эта страна внесла в дело разгрома фашизма. В этом отношении СССР и славянские страны находились в наиболее выгодном положении, так как вели активную борьбу против фашизма и принесли на алтарь победы огромные жертвы.

Советский Союз занимал особое место в антигитлеровской коалиции. Он сплачивал ее силы и одновременно противодействовал стремлению империалистических держав подчинить своему влиянию освобождаемые страны и ущемить их суверенитет.

Свои замыслы реакционные круги США и Англии пытались реализовать путем создания блоков (федераций) государств Центральной и Юго-Восточной Европы, которые, разумеется, должны были находиться под руководством западных держав. В отличие от этих держав Советское государство добивалось полного восстановления суверенных прав освобождаемых стран и строило свои отношения с ними на принципиально иной основе — на основе дружбы, взаимопомощи и равноправного сотрудничества.

Примером конкретного осуществления новых принципов взаимоотношений между народами может служить советско-чехословацкий договор о дружбе, взаимопомощи и послевоенном сотрудничестве, подписанный в декабре 1943 г. В апреле 1945 г. аналогичные договоры были подписаны СССР с Югославией и Польшей. Подобные же принципы нашли воплощение в соглашениях, которыми регулировались отношения между советским командованием и местной администрацией на освобожденной территории славянских стран.

Эта политика всестороннего сотрудничества, союза и дружбы отвечала интересам как народов СССР, так и зарубежных славянских народов и находила их прямую поддержку. Упрочение сотрудничества СССР с Польшей, Чехословакией, Болгарией и Югославией явилось плодом совместных усилий народов Советского Союза и славянских стран, результатом их героической борьбы против фашизма в годы второй мировой войны.

Взаимоотношения СССР со славянскими странами Центральной и Юго-Восточной Европы строились с учетом специфических интересов каждой страны. Поэтому мы рассматриваем процесс налаживания сотрудничества СССР со славянскими странами на основе анализа этих двусторонних отношений.

* * *

В ходе Великой Отечественной войны Советского Союза с фашистской Германией крепло советско-польское боевое сотрудничество.

Военное сотрудничество проявилось прежде всего в партизанском движении, которое стало приобретать в Польше широкий размах вскоре после нападения Германии на СССР. В создании многих

партизанских отрядов на территории Польши активное участие принимали советские военнослужащие, бежавшие из фашистского плена. Поэтому многие отряды возникали как смешанные польско-советские. Помимо этого, начиная с 1943 г. в Польше действовали многочисленные советские партизанские отряды. Между советскими и польскими партизанами налаживалось тесное взаимодействие. Так, например, в 1943 г. была проведена крупная совместная боевая операция партизан против шести тысяч гитлеровских карателей в Парчевских лесах.

Польское движение Сопротивления сковывало значительные силы вермахта, СС и полиции. Боевые действия польских партизан против гитлеровцев являлись существенной помощью советским вооруженным силам на советско-германском фронте.

По мере продвижения Советской Армии на запад Польша стала превращаться в ближний тыл гитлеровской армии. Удары со стороны партизан по германской военной машине стали приобретать еще большее значение. В феврале — апреле 1944 г. на польскую территорию вышло много советских партизанских соединений и отрядов. Только на Люблинщину из-за Буга перешли 4 польских и 12 советских отрядов и соединений, в том числе Первая украинская дивизия им. С. Ковпака [1]. Советскими и польскими партизанами были проведены крупные сражения с гитлеровцами под Ремблевом (14 мая), в Липских и Яновских лесах, Пуще Сольской (9—25 июня) и в лесах Парчевских (18—21 июля) [2].

Советский Союз оказывал большую материально-техническую помощь польским патриотам. Весной 1944 г. во время переговоров в Москве с делегацией Крайовой Рады Народовой Советское правительство сочло возможным увеличить поставки вооружения и снаряжения для Армии Людовой вдвое по сравнению с тем, что просила делегация [3].

Советский Союз помог Польше также в деле формирования на советской территории польских вооруженных сил. В результате соглашения 30 июля 1941 г. было поставлено снаряжение и вооружение для польских дивизий под командованием генерала Андерса. После отказа польского эмигрантского правительства использовать созданную в СССР армию на советско-германском фронте и вывода ее в Иран Советское правительство по просьбе Союза польских патриотов помогло создать и вооружить первоклассной советской военной техникой 1-ю дивизию им. Т. Костюшко. 12 октября 1943 г. дивизия им. Т. Костюшко под Ленино вместе

---

[1] W. Tuszyński. Bitwy partyzanckie Armii Ludowej na Lubelszczyźnie (maj-lipiec 1944). «Sesja naukowa poświęcona wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego 1939—1945». Warszawa, 1961, str. 317.

[2] Там же, стр. 318—341.

[3] «Polski ruch robotniczy w okresie wojny i okupacji hitlerowskiej». Warszawa, 1964, str. 450.

с советскими частями вступила в бой с немецко-фашистскими захватчиками. Это сражение положило начало боевому сотрудничеству советских и польских вооруженных сил.

За короткий срок польские вооруженные силы, создаваемые Союзом польских патриотов на территории СССР, превратились в армию, насчитывавшую в своем составе к моменту вступления на польскую землю около 107 тыс. человек [4]. 1-я Польская армия была вооружена и оснащена советской техникой. Она вместе с Советской Армией в июле 1944 г. вступила на польскую землю и приняла участие в боях за освобождение Польши. Вскоре на территории Советского Союза была создана 2-я армия Войска Польского.

Выступая плечом к плечу с Польской армией, Советская Армия выполнила свой интернациональный долг в отношении братского польского народа. «Советские войска,— говорилось в заявлении Советского правительства от 26 июля 1944 г.,— вступили в пределы Польши, преисполненные одной решимостью — разгромить вражеские германские армии и помочь польскому народу в деле его освобождения от ига немецких захватчиков и восстановления независимой, сильной и демократической Польши» [5].

В ходе совместных действий летом 1944 г. была освобождена восточная часть Польши, а в результате зимнего и весеннего наступления 1945 г. завершено освобождение всей Польши и воссоединение в едином Польском государстве всех польских земель, захваченных германскими милитаристами.

Советский Союз оказал огромную политическую поддержку польской демократии. Он полностью поддержал политическую программу Крайовой Рады Народовой. Во время переговоров с делегацией КРН в Москве 20 мая 1944 г. Советское правительство признало Крайову Раду Народову представительством польского народа и выразило согласие установить официальные отношения с ее исполнительным органом. Это признание укрепило авторитет КРН как на международной арене, так и внутри страны, содействовало усилению ее политических позиций, вело к переходу на сторону демократического национального фронта новых слоев народа. Одновременно это признание КРН явилось серьезным ударом по позициям польской реакции. Оно способствовало усилению изоляции эмигрантского правительства.

В связи с началом освобождения Польши Советское правительство 19 июля 1944 г. поддержало инициативу представительства КРН в Москве о создании органа исполнительной власти КРН —

---

[4] «Sesja naukowa poświęcona wojnie wyzwoleńczej narodu polskiego 1939—1945», str. 80.

[5] «Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны», т. II. М., 1945, стр. 115.

Польского комитета национального освобождения (ПКНО). 1 августа 1944 г. СССР официально признал ПКНО и обменялся с ним дипломатическими представителями. Вслед за Советским Союзом дипломатические отношения с ПКНО установило чехословацкое правительство. Советский Союз содействовал признанию ПКНО Францией.

Признание Советским Союзом Польского комитета национального освобождения явилось ударом по планам империалистических кругов США, Англии и польской реакции установить в Польше буржуазные порядки. Правящие круги США и Англии попытались оказать на Советское правительство дипломатический нажим с целью заставить его отказаться от поддержки ПКНО и дать согласие на переезд в Польшу эмигрантского правительства из Лондона. Но Советское правительство отвергло домогательства западных держав и заявило о том, что польские дела должны решаться самими поляками.

Силы польской демократии в конечном итоге сумели утвердить народную власть на освобожденных территориях и преодолеть сопротивление реакции. Выражением этого процесса явилось преобразование ПКНО 31 декабря 1944 г. во Временное правительство. Советский Союз приветствовал демократические преобразования, проводимые ПКНО, а затем и Временным правительством, оказал полную поддержку также и их внешнеполитической программе. Советский Союз согласился с предложением об установлении польско-советской государственной границы по «линии Керзона» с отступлениями от нее в некоторых местах в пользу Польши. Он полностью поддержал требования Польши об установлении западных польских границ по Одеру и Нисе.

На Крымской конференции (февраль 1945 г.) советская делегация решительно отстояла суверенное право польского народа на формирование своего национального демократического правительства, и конференция рекомендовала создать правительство Национального единства на основе существующего Временного правительства с включением в него демократических деятелей из самой Польши и из-за границы. Правительства США и Англии согласились признать Временное правительство Польши и прекратить поддержку эмигрантского правительства в Лондоне. Было признано также, что восточная граница Польши будет установлена по «линии Керзона». Польша получила право на возвращение западных земель.

Важнейшее значение для упрочения демократических порядков в Польше имело заключение 21 апреля 1945 г. советско-польского договора о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. Договор закрепил новые отношения, сложившиеся в ходе борьбы с немецко-фашистскими захватчиками между обеими странами. В нем нашли свое отражение новые принципы межгосударственных взаимоотношений.

По настоянию Советского Союза на Берлинской конференции было принято решение о западных польских границах по Одеру и Нисе. Он отстоял на конференции в Сан-Франциско право Польши быть членом-учредителем Организации Объединенных Наций.

Огромное значение для польского народа имела экономическая помощь Советского Союза.

Немецко-фашистская оккупация нанесла колоссальный материальный урон польскому народу. В ходе боевых действий советские войска в ряде случаев сумели помешать гитлеровцам разрушить промышленные объекты и культурные памятники. Так был спасен Краков. Так была сохранена промышленность Силезии.

В соответствии с соглашением от 27 июля 1944 г., заключенным между Советским правительством и ПКНО, советские военные власти организовали охрану промышленных объектов, оказали содействие в их пуске. Советский Союз отправил в Польшу большое количество промышленного сырья и материалов. Все это давало возможность наладить выпуск промышленных товаров, а рабочим дать работу.

Была оказана продовольственная помощь освобожденному населению, выделены необходимые медикаменты и т. д.

4 февраля 1945 г. Исполком обществ Красного Креста и Красного полумесяца СССР направил в Польшу две большие партии медикаментов, перевязочного материала и медицинских инструментов.

В целях оказания немедленной помощи в восстановлении Варшавы Советское правительство поставило в течение трех месяцев 50 тыс. тонн муки, 11 вагонов консервов и сгущенного молока. Чтобы дать кров людям, в Варшаву было отправлено 300 стандартных домов. В столицу Польши было отправлено также 500 грузовых автомашин для расчистки улиц, 10 подъемных кранов, 30 троллейбусов, телефонная станция на 5 тыс. абонентов, 3 радиостанции.

Советское правительство предоставило польскому правительству заем на 50 млн. руб. и для заграничных операций — 10 млн. долл. [6]

В феврале 1945 г. советские власти выделили из трофеев и передали Польше 4 тыс. грузовых и тысячу легковых автомобилей, а также десятки самолетов.

Тесные экономические связи, складывавшиеся между Советским Союзом и Польской Народной Республикой, были закреплены торговым договором, заключенным в июле 1945 г.

Молодое народно-демократическое польское государство с первого дня имело в лице Советского Союза верного и надежного друга. Своей последовательной политикой Советский Союз помог

---

[6] Archiwum Akt. Nowych. Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 1 (1. 1945—28.VI 1945). Протокол от 25. I 1945 г.

польскому народу отстоять свои международные интересы и занять подобающее ему место на международной арене. Из игрушки в руках империалистов Польша превратилась в важный фактор мира в Европе и во всем мире.

Рассматривая вопрос о советско-болгарских отношениях и сотрудничестве на завершающем этапе Великой Отечественной войны, необходимо иметь в виду два принципиально различающихся друг от друга периода этих отношений: до 9 сентября 1944 г. и после этой даты.

До 9 сентября 1944 г. отношение прогрессивных сил Болгарии к Советскому Союзу и его справедливой войне против гитлеровских захватчиков коренным образом отличалось от позиции правящей монархо-фашистской клики. Болгарский трудовой народ, видевший в советском народе бескорыстного друга и защитника, горячо поддержал благородные цели Советского Союза в Великой Отечественной войне. Смертельная схватка с фашизмом, происходившая на советско-германском фронте, явилась решающим толчком и вдохновляющим примером для развертывания вооруженного национально-освободительного антифашистского движения и в Болгарии. Организатором этого движения выступила Болгарская рабочая партия. Под ее руководством на протяжении более трех лет в антифашистской борьбе активно участвовало свыше 250 тыс. человек. Наряду с партизанскими отрядами, четами, а затем и бригадами специальные боевые группы проводили саботаж и диверсии на военных объектах, коммуникациях, предприятиях и т. д. Развернулась работа по разложению болгарской армии, которая в то время являлась не только инструментом поддержки монархо-фашистского строя в Болгарии, но и орудием немецкого империализма на Балканах.

Монархо-фашистские правители пытались утопить в крови народно-освободительное движение. От рук болгарских фашистов в период 1941—1944 гг. погибло около 30 тыс. партизан и деятелей антифашистской борьбы. Несмотря на это, движение Сопротивления разрасталось с каждым днем. Расчеты гитлеровцев на отправку болгарских войск на советско-германский фронт были полностью сорваны, болгарский «тыл» оказался крайне непрочным и ненадежным. Тем самым болгарский народ внес свой вклад в общую борьбу против немецко-фашистских захватчиков.

Сотрудничество и взаимопомощь болгарского и советского народов в борьбе против общего врага имели многосторонние и разнообразные проявления. В Советском Союзе в период войны находилось Заграничное бюро ЦК БРП и вождь болгарского народа Георгий Димитров, сыгравший огромную роль в разработке вопросов стратегии и тактики антифашистской борьбы. Под его руководством вела свои передачи радиостанция «Христо Ботев», находившаяся в СССР и выполнявшая фактически роль рупора

и организующего центра антигитлеровских сил в Болгарии В начале сентября 1944 г. крупнейшее соединение болгарской партизанской армии — Первая народно-освободительная повстанческая дивизия была снабжена оружием, сброшенным советской авиацией. В действовавших в Болгарии партизанских отрядах плечом к плечу со своими болгарскими братьями сражались советские бойцы, бежавшие из гитлеровского плена. В частях Советской Армии служили и героически дрались с гитлеровскими захватчиками многие сыны и дочери болгарского народа. Группы болгарских патриотов (д-ра Александра Пеева, Гиню Стойнова и др.) с риском для жизни доставляли советской разведке ценные сведения о составе и сосредоточении гитлеровских частей и о военных объектах в Болгарии.

В августе 1944 г. войска 3-го Украинского фронта нанесли сокрушительный удар по гитлеровским войскам в районе Кишинев — Яссы и стали быстро приближаться к границам Болгарии. 5 сентября Советский Союз объявил войну монархо-фашистской Болгарии, правительство которой продолжало оказывать содействие гитлеровцам в войне против СССР. Этим актом Советское правительство лишило смысла и переговоры, которые последние правители буржуазной Болгарии вели с англо-американским командованием в Каире. Английские и американские правящие круги, убедившись в провале их намерений оккупировать Болгарию своими войсками и учитывая новую обстановку, были вынуждены прекратить сепаратные переговоры.

Перед вступлением советских войск на болгарскую землю советским командованием был установлен контакт с Главным штабом Народно-освободительной повстанческой армии Болгарии. Местные комитеты Рабочей партии в пограничной полосе, выполняя указания ЦК и его Заграничного бюро о недопущении развязывания военных действий против советских войск и об оказании им всяческой помощи, также установили непосредственную связь со штабом 3-го Украинского фронта. В воззвании, с которым 8 сентября командующий 3-м Украинским фронтом обратился к населению, к вооруженным силам Болгарии, говорилось: «Красная Армия не имеет намерения воевать с болгарским народом и его армией, так как она считает болгарский народ братским народом. У Красной Армии одна задача — разбить немцев и ускорить срок наступления всеобщего мира». Болгарский народ встретил Советские войска с ликованием.

В обстановке быстро развивавшегося наступления Советской Армии и общего революционного подъема, охватившего страну, 9 сентября 1944 г. монархо-фашистская диктатура была свергнута.

С первого же дня своего существования новая, народно-демократическая Болгария решительно переходит в лагерь антигитлеровской коалиции. Правительство Отечественного фронта опиралось при этом на поддержку Советского Союза. Благодаря

усилиям и твердой позиции Советского правительства, в частности, было преодолено сопротивление английских правящих кругов, не желавших признавать Болгарию стороной, воюющей в составе антигитлеровской коалиции, стремившихся разоружить и демобилизовать болгарскую армию. 28 октября 1944 г. в Москве в результате переговоров между представителями СССР, Великобритании и США, с одной стороны, и делегацией правительства Отечественного фронта — с другой, состоялось подписание соглашения о перемирии. Болгария, в частности, обязывалась принять активное участие в борьбе против фашистской Германии под руководством Союзного (Советского) Главнокомандования.

Участие болгарского народа в Отечественной войне против гитлеровской Германии в период 1944—1945 гг. явилось по существу продолжением его вооруженной антифашистской борьбы в предшествующий период. В исключительно короткий срок была создана новая революционная армия. Из пополнений новобранцев, партизанских соединений и демократической части старой армии были сформированы четыре армии общей численностью около 450 тыс. бойцов. Огромную роль в мобилизации бойцов армии и всего народа на борьбу против гитлеровской Германии, в подготовке материальных и моральных предпосылок успешного ведения войны сыграли комитеты Отечественного фронта. Болгарский народ с величайшим воодушевлением провожал своих сынов на фронт для участия в войне против ненавистного фашизма.

С начала октября 1944 г. три болгарские армии сражались совместно с войсками Советской Армии и во взаимодействии с Народно-освободительной армией Югославии против гитлеровских войск, участвуя в освобождении Югославии. Одновременно болгарские войска прикрывали левое крыло наступающих советских войск 3-го Украинского фронта. Советское командование взяло на себя снабжение болгарской армии необходимым ей вооружением и снаряжением и прикомандировало к болгарским подразделениям опытных советских командиров — инструкторов и военных советников [7].

После того как совместными операциями братских армий Македония и Южная Сербия были освобождены, закончился первый период участия Болгарии в войне. Второй период начался с конца ноября — начала декабря, когда была сформирована 1-я армия в составе 130 тыс. бойцов. Эта армия была также включена в состав 3-го Украинского фронта под общим командованием маршала Толбухина.

Бойцы 1-й болгарской армии, сражаясь рядом с советскими воинами, проявили в развернувшихся боях с врагом, особенно на терри-

---

[7] Только по отчетным документам (а учитывалось далеко не все) стоимость вооружения, боеприпасов и снаряжения, предоставленных Советским Союзом болгарской армии, составила свыше 13 млрд. левов (по ценам 1945 г.). «Военно-исторический сборник», 1960, № 6, стр. 107.

тории Венгрии, исключительную храбрость, стойкость и выдержку. В критические моменты, когда враг пытался прорвать позиции болгарских войск, на помощь им приходили советские части. Так, во время ожесточенных боев у р. Драва в марте 1945 г. командование войск 3-го Украинского фронта направило на помощь 1-й болгарской армии 133-й советский корпус и гвардейский минометный дивизион.

К моменту капитуляции гитлеровской Германии части болгарской армии находились уже у подножья австрийских Альп. Своими боевыми операциями, осуществлявшимися под общим руководством советского командования, 1-я болгарская армия вместе с войсками 3-го Украинского фронта участвовала в боях в районе среднего течения Дуная и в освобождении от захватчиков некоторых районов Югославии, Южной Венгрии и Австрии. В боях с гитлеровцами болгарские войска потеряли 32 тыс. человек убитыми и ранеными. Участие в войне против фашистской Германии упрочило международные позиции молодого народно-демократического государства и сыграло важную роль при разработке условий справедливого мирного договора между Болгарией и государствами антигитлеровской коалиции. Болгария заняла достойное место в семье свободолюбивых народов. Кровь, пролитая болгарскими и советскими воинами в совместных боях, еще больше укрепила дружбу между народами Советского Союза и Болгарии.

Наличие могучего социалистического государства — Советского Союза, а также присутствие на болгарской территории союзника болгарских трудящихся — советских войск сыграло решающую роль в предотвращении империалистической интервенции в Болгарии.

Помощь и поддержка Советского Союза имели огромное значение для восстановления и развития экономической жизни освобожденной Болгарии. Советский Союз еще в ходе войны оказал болгарскому народу большую материальную помощь, выделил значительное количество товаров и сырья для болгарского народного хозяйства.

В первые же месяцы после установления народно-демократической власти в болгарские порты стали прибывать пароходы с советскими товарами, крайне необходимыми для разоренной болгарской экономики. 14 марта 1945 г. было подписано первое советско-болгарское торговое соглашение (на сумму 30 млрд. левов). Полученные из Советского Союза машины, черные и цветные металлы, хлопок, нефтепродукты, химикаты и другие ценные материалы и сырье обеспечили восстановление и бесперебойную работу болгарской промышленности и транспорта. Это помогло почти полностью ликвидировать безработицу. Большая помощь была оказана и сельскому хозяйству освобожденной Болгарии.

В 1941—1943 гг. югославское народно-освободительное движение выдержало тяжелые испытания и добилось больших успехов. Провалились неоднократные попытки фашистского командования разгромить партизан. Партизанские отряды закалялись в боях и постепенно выросли в Народно-освободительную армию Югославии (НОАЮ). К концу 1943 г. эта армия насчитывала 300 тыс. воинов и освободила от оккупантов примерно половину югославской территории. Власть на освобожденной территории взяли в свои руки народно-освободительные комитеты, которыми руководил созданный в ноябре 1942 г. общеюгославский политический орган — Антифашистское вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ). Народно-освободительная армия вынуждена была вести бои не только с гитлеровскими войсками, но и с четниками Михайловича — опорой эмигрантского правительства в стране и фактическими пособниками оккупантов.

Западные союзники, поддерживавшие четников, неоднократно пытались убедить Советский Союз изменить его негативное отношение к четническому движению. Однако Советское правительство продолжало отрицательно относиться к четникам и обращало внимание западных союзников на то, что лишь партизаны в Югославии ведут борьбу с фашистскими войсками.

Успехи Народно-освободительной армии Югославии и дальнейший подъем народно-освободительного движения привели к созданию Национального комитета освобождения Югославии (НКОЮ) — первого народного правительства страны во главе с И. Броз Тито. Вторая сессия АВНОЮ (ноябрь 1943 г.), учредившая НКОЮ, лишила одновременно эмигрантское правительство прав законной власти. Это был революционный акт, заложивший фундамент новой, социалистической Югославии Он способствовал укреплению и развитию сотрудничества между советским и югославским народами.

Хотя советскую и югославскую армию все еще разделяло более тысячи километров, Советское правительство сделало все для того, чтобы оказать НКОЮ военную помощь. Со специально созданных авиационных баз началась переброска вооружения, боеприпасов, обмундирования, медикаментов для Народно-освободительной армии Югославии. Еще до выхода советских войск на югославскую границу советские летчики доставили воинам НОАЮ около тысячи тонн военных грузов. После освобождения Румынии и Болгарии были организованы крупные советские базы снабжения НОАЮ в Крайове и Софии, где было сосредоточено большое количество вооружения и боеприпасов. Сперва на самолетах, а затем и наземным транспортом военные грузы перебрасывались в Югославию.

Еще в октябре 1943 г. большая группа бывших солдат и офицеров югославской армии, насильственно мобилизованных гитлеровцами и перешедших на сторону Советской Армии, обрати-

лась к Советскому правительству с просьбой разрешить формирование добровольческой части для вооруженной борьбы против гитлеровской Германии. Эта просьба была удовлетворена [8].

В начале октября 1944 г. советское командование передало Народно-освободительной армии Югославии полностью вооруженную и экипированную отдельную пехотную бригаду, сформированную из югославов. Несколько позднее были переданы две танковые бригады и танковая рота, вооруженные в СССР [9].

В Югославию были также направлены советские врачи и медицинские сестры, доставлено большое количество медикаментов, а позднее НОАЮ был передан ряд полностью оборудованных полевых госпиталей с медицинским персоналом. Благодаря этой помощи была спасена жизнь десятков тысяч бойцов [10].

В сентябре 1944 г. Советская Армия вышла на югославскую границу. Открылась возможность совместных боевых действий с НОАЮ на завершающем этапе борьбы за освобождение Югославии от фашистских захватчиков.

К этому времени Народно-освободительная армия Югославии значительно выросла за счет притока добровольцев. Она располагала кадрами бойцов и командиров, имевших большой боевой опыт. К середине 1944 г. вооруженные силы Югославии насчитывали около 350 тыс. человек [11]. НОАЮ освободила от оккупантов ряд новых районов. Но противник все еще обладал превосходством в силах. Для того чтобы разбить хорошо вооруженного врага, НОАЮ требовалась помощь. Советское правительство и Национальный комитет освобождения Югославии пришли к выводу о необходимости и целесообразности совместных действий войск Советской Армии и Народно-освободительной армии Югославии с целью скорейшего освобождения восточных районов страны и ее столицы Белграда [12].

21 сентября 1944 г. маршал Тито прилетел в Москву. Здесь было заключено соглашение о временном вступлении советских войск на югославскую территорию. Советская сторона при этом заявила, что советские войска по выполнении своих боевых задач будут выведены из Югославии, так как Советский Союз не посягает на ее суверенность, и что на территории страны, в районах расположения частей Советской Армии, будет действовать гражданская администрация Национального комитета освобождения Югославии [13].

---

[8] «Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны», т. I. М., 1946, стр. 87.

[9] Там же.

[10] Там же, стр. 51.

[11] «Белградская операция». М., 1964, стр. 68.

[12] Там же, стр. 83.

[13] «История Великой Отечественной войны Советского Союза 1941—1945», т. 4. М., 1962, стр. 421.

Тогда же, в сентябре 1944 г., Государственный комитет обороны СССР принял решение передать народной Югославии авиационную группу, а также вооружение и снаряжение для 12 стрелковых и 2 авиационных дивизий и направить в войска НКОЮ большую группу советских офицеров в качестве инструкторов [14].

Олицетворением советско-югославского военного сотрудничества была Белградская операция. История освобождения Восточной Сербии и Белграда богата примерами братской поддержки и взаимной выручки. Советские воины сражались за свободу югославского народа, считая это своим интернациональным долгом. Придя в Югославию как друзья и братья, они встречали на каждом шагу уважение и любовь, которые были лучшим свидетельством советско-югославской дружбы.

Советско-югославское боевое сотрудничество сопровождалось поддержкой, которую Советский Союз оказывал народной Югославии на международной арене. В переломный момент югославской истории, в ноябре 1943 г., когда Антифашистское вече народного освобождения приняло революционные решения и создало Национальный комитет освобождения Югославии, Советское правительство приветствовало эти решения.

В конце 1943 г. было решено направить в Югославию советскую военную миссию, которая была аккредитована при НКОЮ. Придавая своей миссии не только военный, но и политический характер, Советское правительство способствовало укреплению международных позиций НКОЮ.

В заявлении от 5 февраля 1944 г. Советское правительство подчеркнуло, что Национальный комитет освобождения Югославии поддерживается широкими народными массами Югославии.

Западные союзники стремились обеспечить условия для возвращения короля Петра и эмигрантского правительства Югославии в страну. Особенно активно действовал Черчилль. Он полагал, что реорганизация эмигрантского правительства и удаление из него наиболее одиозных фигур, в первую очередь генерала Михайловича, помогут созданию таких условий.

Руководство новой Югославии согласилось установить контакт с реорганизованным эмигрантским правительством при условии, что оно осудит четников Михайловича и выразит готовность поддержать народно-освободительное движение. В июне 1944 г. между новым премьером реорганизованного эмигрантского правительства Шубашичем и Национальным комитетом освобождения Югославии начались переговоры. Советское правительство 15 июня 1944 г. поставило Шубашича в известность, что оно приветствовало бы объединение всех сил, борющихся в Югославии против гитлеровской Германии, против ее ставленников и предателей югославского народа — Павелича, Недича, Михайловича.

---

[14] Там же.

«Оно готово было бы,— говорилось в советском заявлении,— со своей стороны поддержать югославское правительство, которое было бы создано с указанной выше целью на основе соглашения с маршалом Тито, добившимся уже значительных успехов в объединении народов Югославии и имеющим действительно реальные силы в стране» [15].

После освобождения Белграда между Национальным комитетом освобождения Югославии и югославским эмигрантским правительством было заключено соглашение об образовании единого правительства. Советское правительство считало это соглашение полезным для демократических сил Югославии. 16 и 25 января 1945 г. Советское правительство указало английскому правительству на необходимость без каких-либо оговорок и без дальнейших оттяжек ввести в действие соглашение Тито — Шубашича и признать объединенное югославское правительство [16].

Крымская конференция (февраль 1945 г.) рекомендовала ввести в действие упомянутое соглашение и образовать на его основе Временное объединенное правительство Демократической Федеративной Югославии, которое и было сформировано 7 марта 1945 г. В течение короткого времени все государства антигитлеровской коалиции и многие нейтральные страны признали правительство ДФЮ. Так новая народно-демократическая Югославия, преодолев многочисленные трудности, завоевала международное признание.

Югославское правительство выразило глубокую благодарность Советскому Союзу за ту огромную моральную и материальную помощь, которую он оказал народам Югославии в их тяжелой борьбе против фашистских оккупантов и их пособников [17].

Чтобы охарактеризовать материальную помощь, достаточно привести один пример. Население освобожденного Белграда и других городов голодало — во время оккупации жители получали нерегулярно по 150 г хлеба в день. По просьбе югославского правительства Советское правительство выделило и обеспечило срочную доставку в Югославию 3 300 тыс. пудов пшеницы, ржи, муки, гороха, ячменя [18], хотя в это время население Советского Союза само остро нуждалось в продовольствии.

Братские отношения, сложившиеся между СССР и Югославией, нашли воплощение в договоре о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве. «Такого договора,— заявил при его подписании 11 апреля 1945 г. министр иностранных дел Югославии,— наш народ требовал еще до немецкого нападения, четыре года

---

[15] См.: «Международная жизнь», 1958, № 8, стр. 80.

[16] См.: «Переписка Председателя Совета Министров СССР с президентами США и премьер-министрами Великобритании во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.», т. I. М., 1958, стр. 302—306.

[17] «Известия», 6.IV 1945.

[18] Там же.

тому назад, когда он на белградских улицах провозгласил лозунг: «Белград — Москва» [19]. Договор укрепил международное положение новой Югославии, ставшей на путь строительства социализма, помогал ей отстаивать свои законные права.

Проявив в 1938 г. решимость и готовность защищать Чехословакию от германской агрессии, Советский Союз заложил прочное основание для будущего здания советско-чехословацкого союза и сотрудничества.

Горячие симпатии народа к Советскому Союзу, возросшие в годы войны, заставили чехословацкое правительство в 1943 г. пойти на подписание советско-чехословацкого договора.

Договор о дружбе, взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Чехословацкой республикой заложил прочный фундамент всестороннего сотрудничества двух стран в войне против Германии и в послевоенные годы [20]. Проникнутый духом уважения независимости и суверенитета договаривающихся сторон, он создавал благоприятные возможности для укрепления дружбы и всесторонних связей между народами СССР и Чехословакии, закладывал основу для установления нового типа взаимоотношений на принципах равноправия между великой и малой странами, сотрудничества государств с различными социальными системами. Подписание договора было большой победой политики дружбы между народами. Он наносил серьезный удар как по планам ликвидации независимости малых стран Европы путем создания федераций, так и по замыслам, имевшим целью внешнеполитическую изоляцию СССР. «Вступив в союз с СССР,— писала тогда американская газета «Нью-Йорк геральд трибюн»,— Чехословакия решительно развеяла последние мечты о создании санитарного кордона».

Договор также укреплял внешнеполитическое положение Чехословакии. Он исключал повторение национальной катастрофы, подобной Мюнхену, обеспечивал безопасность Чехословакии и позволял ее народам сосредоточить все силы на строительстве свободного и независимого государства.

На базе договора происходило последующее развитие советско-чехословацких отношений. В ходе переговоров между представителями чехословацкого и советского правительств, имевших место сразу же после заключения договора, обсуждались проблемы, интересующие обе стороны. Как констатировал Э. Бенеш в своей телеграмме из Москвы 22 декабря 1943 г., была достигнута полная договоренность по вопросам о границах, переселении

---

[19] «Внешняя политика Советского Союза в период Отечественной войны», т. III. М., 1947, стр. 165.

[20] См. текст договора: «Внешняя политика Советского Союза в период Великой Отечественной войны», т. I, стр. 430—433; «Советско-чехословацкие отношения во время Великой Отечественной войны 1941—1945 гг.». М., 1960, стр. 132—135 (далее — «Советско-чехословацкие отношения...»).

части населения из Чехословацкой республики, о Венгрии, о Германии, о будущем экономическом сотрудничестве, о помощи СССР в деле формирования чехословацких воинских частей на советской территории, сотрудничестве чехословацкой армии с советскими вооруженными силами, об общей политической линии в отношении союзников и по вопросу о Польше [21].

Вскоре был осуществлен и ряд практических мероприятий. На базе договора 8 мая 1944 г. было подписано советско-чехословацкое соглашение, которое позволяло решать в дружественном духе все вопросы, связанные с вступлением советских войск на чехословацкую территорию [22]. Оно предусматривало передачу чехословацкому правительству всей полноты власти на территории, освобожденной советскими войсками. Таким образом, Советский Союз последовательно соблюдал принцип невмешательства во внутренние дела своего союзника. «Соглашение,— как констатировала тогда правительственная газета «Чехословак»,— обеспечивает полное восстановление государственного суверенитета Чехословацкой республики». Оно убедительно продемонстрировало принципиальное отличие советской политики в освобожденных странах от политики США и Англии, насаждавших там, куда ступала нога их солдата, органы военной администрации, которые брали полностью власть на освобожденной территории.

Было бы ошибкой считать, что заключение советско-чехословацкого договора и подписание майского соглашения означало окончательное изменение внешнеполитической ориентации самого чехословацкого правительства. Безусловно, им были сделаны важные шаги в сторону сближения с СССР, но оно по-прежнему держало курс на установление более тесных связей в будущем с капиталистическим миром, а не с СССР. Это касалось также и экономических отношений между СССР и Чехословакией. Так, ее внешнюю торговлю по-прежнему предполагалось ориентировать на западные страны, значительно увеличив при этом удельный вес США в чехословацких экспортных и импортных операциях [23].

Многие документы свидетельствуют о том, что до последних дней войны буржуазные круги Чехословакии уповали на то, что страна будет освобождена армиями западных союзников [24]. Эти расчеты опирались на действия западных держав, которые буквально до последних дней войны не оставляли надежды изменить ход событий в Центральной и Юго-Восточной Европе [25]. Однако

---

[21] «Советско-чехословацкие отношения...», стр. 139.

[22] Там же, стр. 160—162.

[23] Там же, стр. 212.

[24] V. Kotyk, J. Sedivy. 15. let československo-sovětske smlouvy. Praha, 1958, str. 36.

[25] См. письмо У. Черчилля Г. Трумэну от 30 апреля 1945 г. с настоятельной просьбой занять Прагу (W. S. Churchill. The second World War, vol. VI, p. 479).

развитие международной обстановки и революционный подъем в самой Чехословакии делали все более нереальной надежду буржуазных кругов удержать страну в состоянии балансирования между Востоком и Западом.

Приход советских вооруженных сил вел к неизбежному расширению советско-чехословацких связей. Укрепились межгосударственные контакты, началось непосредственное общение народных масс в процессе совместной борьбы против общего врага. Воплощение в жизнь принципов советско-чехословацкого сотрудничества становилось в сложившейся обстановке делом самих народов обеих стран. В конечном итоге совместная борьба стала решающим фактором упрочения советско-чехословацких отношений.

Словацкое восстание, положившее начало национально-демократической революции в Чехословакии, ясно и решительно декларировало наряду с социальными задачами программное положение об установлении братства народов Чехословацкой республики и Советского Союза [26]. Буржуазное правительство, чтобы иметь хотя бы какое-нибудь влияние на повстанческой территории, вынуждено было принять это положение как само собой разумеющееся.

Вступление советских войск на территорию Чехословакии стало новым фактором упрочения советско-чехословацких дружественных связей. Следует отметить одно обстоятельство, которое имело колоссальное значение для этих связей — советские вооруженные силы действовали на территории Чехословакии как армия дружественной союзной и притом социалистической державы. Они оказывали помощь населению продовольствием [27], восстанавливали дороги и мосты, разминировали заводы, общественные и частные здания, передавали местным властям трофейное имущество и т. д. [28] Огромная помощь начиная с лета 1944 г. была оказана также движению Сопротивления в стране: на оккупированную территорию посылались советско-чехословацкие партизанские группы, снабженные вооружением и снаряжением.

Советское командование издало строгие приказы, в которых категорически запрещались реквизиции имущества у населения и другие самовольные действия. Необходимые для армии фураж и другие товары можно было получить у населения только по разрешению местных органов власти с обязательной оплатой их стоимости деньгами [29].

---

[26] «Cesta ke květnu». Praha, 1965, dok. č. 58, 60.
[27] «Советско-чехословацкие отношения...», стр. 208, 214.
[28] Там же, стр. 237.
[29] См. приказ войскам 2-го Украинского фронта № 0186 от 16. XII 1944. Архив МО СССР, ф. 240, оп. 14233, д. 2, л. 322.

Развитие национально-демократической революции в Чехословакии и установление демократических порядков на освобождаемой советскими войсками территории привели к тому, что народные массы стали играть ведущую роль не только в общественном развитии страны, но и в определении основной внешнеполитической линии. Помня суровый урок Мюнхена, они теперь были полны решимости не допустить его повторения. Идеи нерушимого союза с СССР захватили по существу все социальные прослойки, и их практическое осуществление становилось общенациональным делом. На собраниях рабочих, крестьян, интеллигенции часто стали приниматься резолюции, подобные нижеследующей, единодушно принятой жителями г. Прешова в январе 1945 г.: «Мы требуем, чтобы договор о дружбе и взаимной помощи, который связывает нашу республику с Советским Союзом, стал могучей основой дальнейшего сближения наших братских народов» [30].

Сотни тысяч чехословацких граждан вносили посильный вклад в упрочение советско-чехословацкой дружбы. Они помогали советским войскам перевозить боеприпасы и другие грузы, транспортировать раненых, наводить переправы и т. п. С другой стороны, сотни тысяч советских солдат, участвовавших в освобождении Чехословакии, а также советские люди, сражавшиеся на ее территории в партизанских отрядах, смогли почувствовать искренние симпатии чехословацкого народа к народам Советского Союза, познакомиться ближе с его жизнью и культурой. Можно без преувеличения сказать, что все участники освобождения Чехословакии стали самыми горячими поборниками дружбы с чехословацким народом. Это обстоятельство имело немаловажное значение для утверждения в советском народе горячих симпатий к народам Чехословакии.

Таким образом, освободительные операции Советской Армии на территории Чехословакии способствовали широкому общению народов двух стран, что значительно расширило базу советско-чехословацких взаимоотношений.

Качественно новой чертой этих отношений стало то, что в результате победы Советского Союза в войне с гитлеровской Германией и совместной борьбы против фашизма подавляющее большинство чехословацкого народа стало решительными сторонниками советско-чехословацкого союза дружбы и сотрудничества.

Другая характерная черта этих отношений заключалась в том, что победа национально-демократической революции в Чехословакии и изменение политической структуры общества дали ее народам возможность оказывать решающее воздействие на внешнюю политику государства. Благодаря этому революционные силы чехословацкого народа смогли добиться того, что принцип неру-

---

[30] J. D o l e ž a l. Boje Sovětské armady na území Československa. Praha, 1955, str. 50.

шимого союза дружбы и сотрудничества с СССР был включен в политическую программу правительства Национального фронта чехов и словаков и стал основной линией внешней политики Чехословацкой республики [31]. Это позволило строить послевоенные отношения между СССР и Чехословацкой республикой на принципиально новой политической основе, в обстановке полного доверия, дружбы и братской взаимопомощи.

На завершающем этапе второй мировой войны между СССР и всеми славянскими странами Центральной и Юго-Восточной Европы сложились дружеские отношения, которые стали основой для сотрудничества в войне против гитлеровской Германии.

Установление этих отношений явилось результатом взаимодействия различных факторов. Среди них: долголетняя борьба Советского Союза за новые принципы отношений между народами; борьба народов славянских стран за упрочение дружбы с СССР; широкое распространение в годы войны идей славянской солидарности; мощное развитие революционного движения Сопротивления; установление демократических порядков в славянских странах; решающие победы Советской Армии на фронтах. Важную роль сыграла внешнеполитическая линия Советского государства, направленная на восстановление и защиту суверенных прав славянских государств. Сотрудничество Советского Союза с этими государствами имело военный, политический и экономический аспекты.

Особое значение в годы войны приобрело военное сотрудничество. Оно проявлялось главным образом во взаимодействии Советской Армии и сил Сопротивления в славянских странах, наносивших удары по тылам фашистской армии и тем самым оказывавших существенную помощь Советскому Союзу. Следует при этом отметить, что в рядах движения Сопротивления в славянских странах сражались значительные отряды советских людей. В первые годы войны это было одной из форм военного сотрудничества. Начиная с 1943 г. в бои на советско-германском фронте активно включились созданные в СССР чехословацкие и польские воинские части, благодаря чему рамки военного сотрудничества существенно расширились.

На завершающем этапе войны войска славянских стран действовали совместно с советскими вооруженными силами. Именно такой характер носили операции Войска Польского на территории Польши, болгарской армии на Балканах и в Венгрии, операции советских и югославских войск по освобождению Белграда и восточной части Югославии, участие чехословацкого корпуса в боях за освобождение Польши и Чехословакии.

В огне сражений складывались боевая дружба и братство по оружию. Сотрудничество СССР и славянских стран проявлялось

---

[31] «Program vlady Národny fronty Čechu a Slovaku». Praha, 1945, str. 9.

также в том, что население освобожденных районов оказывало важную помощь наступавшей Советской Армии в восстановлении дорог и мостов, в подвозе боеприпасов и продовольствия, в предоставлении жилья и т. п.

Политическое сотрудничество СССР со славянскими странами в сложной обстановке военных лет было призвано помочь решению кардинальных вопросов ведения войны и послевоенного устройства мира.

Усилия Советского правительства были направлены в первую очередь на ограждение суверенных прав славянских народов, на обеспечение их независимого политического развития, а также на международное признание вклада славянских стран в дело борьбы против фашизма. Эта линия Советского правительства нашла свое воплощение в заключении соглашений об отношениях между советским командованием и местной администрацией после вступления советских войск на территорию соответствующей страны, в защите Советским Союзом интересов славянских государств в совместных с союзниками органах и на конференциях стран антигитлеровской коалиции. Со своей стороны славянские страны оказывали поддержку внешнеполитическим акциям Советского правительства, усиливая их действенность. Советское правительство подчеркивало большое значение национально-освободительной борьбы славянских народов против фашизма, их огромный вклад в дело победы над фашистской Германией. Благодаря позиции Советского правительства этот вклад получил затем надлежащую оценку в ряде дипломатических документов, в частности в соглашениях о перемирии и в мирных договорах с Болгарией, Венгрией и Румынией.

Советское правительство настойчиво отстаивало законные права и интересы славянских стран на международной арене. СССР полностью солидаризировался с позицией Югославии по вопросу об итало-югославской границе, защитил интересы Болгарии при подписании с ней перемирия. Советское правительство первым признало и установило дипломатические отношения с демократическими правительствами всех славянских стран. Это признание повлияло на позицию других государств антигитлеровской коалиции, которые в конце концов также были вынуждены признать народные правительства.

Что касается экономического сотрудничества, то оно носило в военные годы ограниченный характер. Оно проявлялось главным образом в виде помощи освобожденному населению продовольствием, некоторыми промтоварами, а также помощи Советского государства и его вооруженных сил в восстановлении разрушенного войной и оккупантами народного хозяйства.

Наиболее показательными в этом отношении были следующие мероприятия. Во-первых, выделение Советским Союзом значительного количества продовольствия для югославского населения

осенью 1944 г., а несколько позднее — для польского и чехословацкого населения. Во-вторых, подписание советско-болгарского торгового соглашения, по которому Советский Союз поставил Болгарии значительное количество нефтепродуктов, черных и цветных металлов, сырья, а также сельскохозяйственных машин и семян. Подобные соглашения были подписаны и с другими странами.

Все перечисленные факторы служили наглядным свидетельством устанавливающихся отношений дружбы и тесного сотрудничества между СССР и славянскими странами. Именно в годы войны был заложен прочный фундамент дружеских отношений между СССР и славянскими странами, найдены пути к решению многих сложных проблем межгосударственных связей в послевоенные годы.

Становление отношений нового типа между СССР и славянскими странами наносило сильнейший удар по позициям мирового империализма. Оно ликвидировало опасность внешнеполитической изоляции новых народно-демократических государств, обеспечивало более благоприятные условия для внутреннего революционного развития этих стран и их деятельности на международной арене.

Вместе с тем установление дружеских взаимоотношений со славянскими странами способствовало укреплению внешнеполитических позиций Советского Союза, расширяло его политические и экономические связи.

Сотрудничество между СССР и славянскими странами служит также делу обуздания реваншистских, неонацистских сил. Как известно, в настоящее время эти силы активизировались и несут угрозу миру и безопасности всего европейского континента. Миролюбивые государства стремятся предотвратить эту угрозу, не допустить новой войны.

В этой обстановке сотрудничество между СССР и славянскими странами, между всеми государствами, стремящимися к сохранению мира, приобретает особое значение. Оно дает возможность пресечь деятельность милитаристов и реваншистов, усилить фронт борьбы против фашизма и войны.

И. А. Хренов, Т. Г. Снытко

ВЛИЯНИЕ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ СЛАВЯНСКИЕ НАРОДЫ

В 1967 г. народы Советского Союза торжественно отпраздновали 50-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции, а вместе с ними эту знаменательную дату отметили трудящиеся всех стран мира.

Значение Октябрьской революции не ограничилось рамками Российского государства, она явилась переломным моментом в истории всего человечества и оказала могущественное влияние на дальнейшее развитие революционной борьбы трудящихся всех стран, на национальное и социальное освобождение.

Октябрьская революция пробила брешь в мировой капиталистической системе, вырвала Россию из блока империалистических держав Антанты и начала осуществлять марксистско-ленинскую программу социальной революции — обобществление средств производства и освобождение трудящихся от экономического и политического угнетения. «Призрак коммунизма», о появлении которого писал К. Маркс в 1848 г., стал реальностью и овладел одной шестой частью мира. Социалистическая революция, о которой мечтали лучшие умы человечества, которую западные социал-демократы рассматривали как перспективу отдаленного будущего, совершилась в России и стала мощной опорой международного революционного рабочего движения и главным препятствием на пути реакционных агрессивных устремлений империализма, направленных против свободы и независимости народов.

Особенно велико было значение Октябрьской революции для славянских стран Восточной и Юго-Восточной Европы. Влияние преобразующих идей Октября здесь было в значительной степени обусловлено географической близостью этих стран к России, этнографическим родством населения этих стран с ее народами, сравнительно одинаковой степенью их экономического и политического развития, историческими, культурными и политическими связями. Русский народ, вне зависимости от целей, преследуемых царизмом и господствующими классами России, а чаще всего и

вопреки им, искренне сочувствовал борьбе западных и южных славян за национальное освобождение. Образование Сербского и Болгарского государств было непосредственно связано с помощью сербскому и болгарскому народам, оказанной народами России. Значительную роль в истории зарубежных славянских народов сыграли связи между революционерами России и славянскими революционерами, установившиеся с середины прошлого века [1]. Сильное влияние на подъем национально-освободительного движения в славянских странах оказала первая русская революция 1905—1907 гг.

Свержение самодержавия в России в феврале 1917 г. было встречено зарубежными славянскими народами с горячим одобрением и дало мощный толчок развитию революционного и национально-освободительного движения. Но своего апогея революционная и освободительная борьба в славянских странах достигла лишь после того, как свершилась Великая Октябрьская социалистическая революция.

Победа Октябрьской революции оказала не только прямое влияние на рост массового революционного рабочего и освободительного движения, она вызвала коренные изменения в международных отношениях, в политических позициях различных классов и партий и тем самым содействовала победе национально-освободительной борьбы славянских народов, росту международного рабочего движения. Октябрьская революция сделала анахронизмом существование Германской и Австро-Венгерской империй, содействовала их краху и создала благоприятные условия для образования независимых славянских государств. Советское правительство с первых дней своей деятельности начало проводить новую внешнюю политику, основанную на признании прав народов на самоопределение, необходимости дружбы народов в интересах свободы трудящихся, мира и прогресса. Безоговорочное признание независимости Польши и Финляндии убеждало, что Советская власть не ограничивается декларациями, а осуществляет принцип национального самоопределения на деле. Это мирное наступление идей Октября оказалось сильней политики империалистов, оно привлекло массы трудящихся и, став материальной силой, оказало определяющее влияние на ход исторических событий в славянских странах.

---

[1] А. Я. Манусевич, по нашему мнению, не прав, недооценивая значение этих факторов в усилении влияния идей Великого Октября в славянских странах (см.: А. Я. Манусевич. Октябрьская революция и зарубежные славянские народы. «Советское славяноведение», 1967, № 5, стр. 5). Т. Живков в своей статье «Октябрьская революция и историческая судьба болгарского народа» в первую очередь подчеркивает важность вековых связей между русским и болгарским народами, а также связей между русской и болгарской социал-демократическими партиями, в создании которых большую роль сыграл А. Благоев («Правда», 30 сентября 1967 г.).

1. Октябрьская революция и образование независимых славянских государств

Буржуазные западные историки пытаются умалить или вовсе отрицают значение Октябрьской революции в деле восстановления независимости славянских государств и приписывают все заслуги в этом странам Антанты и их политике, в частности придается чрезмерное значение Парижской мирной конференции 1919 г., хотя известно, что к этому времени славянские народы, вдохновленные идеями Октября, сами добились национального освобождения и образования своих независимых государств [2]. Легенду о большой роли в славянских делах президента США Вудро Вильсона особенно старательно развивали американские историки Гарольд Фишер [3], Г. Кеннан [4] и др.

Буржуазные деятели славянских стран, исходя из своих классовых позиций, не хотели признать влияние Октябрьской революции на завоевание народами этих стран независимости и охотно принимали версии о миссии западных держав. «Чехословакия является страной Вильсона»,— писал Т. Г. Масарик [5]. Р. Дмовский также утверждал, что решающую роль в образовании польского независимого государства сыграли страны Антанты [6], а Ю. Пилсудский придавал большое значение роли Германии, якобы «образовавшей самостоятельное польское государство» [7].

Советские историки и ученые других социалистических стран, объективно исследовав эту проблему, убедительно доказали, что утверждения буржуазных апологетов являются или мифами, или попытками сознательного искажения исторической правды. В настоящее время марксистской наукой убедительно доказано, что до победы Октябрьской революции ни одна из западноевропейских стран, так же как и царская Россия, не выдвигали задачи национального освобождения славянских народов, наоборот, они рассматривались ими как разменная монета для компенсации тех или других крупных держав за те или иные уступки и соглашения. Франция, например, в 1914 г. обязалась поддерживать планы Николая II по захвату польских земель, находившихся под властью Австрии и Германии, и предоставила на его усмотрение установление западных границ Российской империи. Ллойд Джордж в апреле 1915 г. обещал отдать Италии Истрию, часть Далмации и других югославянских земель в вознаграждение за откол Ита-

---

[2] См.: А. Я. Манусевич. Октябрьская революция и независимость Польши, Чехословакии и Югославии. «Исторические связи славянских народов. Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР», № 39, 1963, стр. 52—74.

[3] H. H. Fisher. America and the New Poland. New York, 1928.

[4] G. Kennan. Russia Leaves the War. Princenton, 1956.

[5] Т. Г. Масарик. Мировая революция, т. III. Прага, 1927, стр. 196.

[6] R. Dmowski. Polityka Polski i odbudowa państwa. Warszawa, 1926, str. 255.

[7] J. Piłsudski. Pisma zbiorowe, t. IV. Warszawa, str. 192.

лии от Тройственного союза. Он же при переговорах с представителем австрийского правительства графом Менсдорфом в декабре 1917 г. заявил, что расчленение Австро-Венгерской империи не входит в задачу Антанты. Наоборот, Ллойд Джордж высказывался за сохранение Австро-Венгерской империи при условии, что она будет опираться на Британскую империю и порвет свои связи с Германией. Более того, он заверил, что будущая Польша будет в «некоторой связи» с Австро-Венгрией, а Менсдорф потребовал, чтобы Польша была полностью втянута в орбиту габсбургской монархии. Спор шел лишь о югославянских землях, которые Антанта обещала отдать Италии [8]. Даже в позднейшем выступлении (5.I 1918 г.) Ллойд Джордж вновь подтвердил, что Антанта не намеревается нарушить территориальной целостности центральных европейских держав при условии предоставления ими автономии некоторым своим народностям. Что касается роли президента США Вильсона в образовании новых славянских государств, то мифичность ее доказана рядом солидных исторических исследований [9]. Впрочем, достаточно вспомнить, что в «скрижалях Вильсона» — его известных 14-ти пунктах — ничего не было сказано о независимости славянских народов, а в 10-м пункте говорилось лишь об «автономии» отдельных народов Австро-Венгрии под короной Габсбургов [10]. Оторвать Австро-Венгрию от Германии Антанте не удалось, поэтому существование Габсбургской империи потеряло смысл, и с этого времени в западных странах начинаются разговоры о возможности ее раздробления.

«Друзьями славян» западные державы стали себя именовать лишь тогда, когда под ударами революционного движения масс, вдохновленных идеями Октябрьской революции, распад Австро-Венгрии стал неотвратим. Именно с этого времени западные империалисты всячески содействуют установлению власти буржуазных правительств в новых славянских государствах с целью помешать им стать союзниками революционной России и создать из них «барьер», «санитарный кордон» против проникновения большевистских идей на Запад.

В самом деле, как же в действительности проходило восстановление новых независимых зарубежных славянских государств? Прежде всего необходимо сказать о Польше, важнейшая часть которой — Королевство Польское — входила в состав Российской империи и в первую очередь самым непосредственным образом испытала на себе влияние революции в России. Как уже выше говорилось, Антанта продала Польшу Николаю II за участие

---

[8] Д. Ллойд Джордж. Военные мемуары, т. V. М., 1934, стр. 27—38.

[9] J. Hajek. Wilsonowska legenda v dějinach ČSR. Praha, 1953; J. Vesely. Poznamky k buržoazni legende o vzniku Československa. Praha, 1952; А. Я. Манусевич. Октябрьская революция и зарубежные славянские народы. «Советское славяноведение», 1967, № 5.

[10] «The Times», 9.I 1918.

России в войне против Германии, и царь, хотя и обещал Польше автономию (что было вызвано неудачами на фронте), вовсе не думал предоставлять ей независимость. Такие же намерения были и у Германии, пытавшейся создать «самостоятельную» Польшу, подчиненную Германской империи, а ее союзник Австро-Венгрия лелеяла планы подчинения всей Польши Габсбургам. Австрийский дипломатический представитель в Люблине Э. Хеннинг 3 января 1918 г. доносил министру иностранных дел Чернину об успешной «пропаганде проавстрийского решения польского вопроса», причем указывал, что «присоединение ее (Польши.— *И. Х., Т. С.*) к Австрии должно произойти без задержек», что необходимо создать ситуацию «fait accompli» (совершившегося факта) [11].

Даже после свержения самодержавия Временное правительство, обещая рассмотреть в Учредительном собрании вопрос о предоставлении Польше независимости, выдвигало условие заключения военного союза между Польшей и Россией. Что касается контрреволюционных «правительств» различных белогвардейских генералов, то они не давали даже и таких обещаний и боролись за «единую и неделимую Россию». Несмотря на это, польские буржуазно-помещичьи круги, руководствуясь своими корыстными классовыми интересами, сотрудничали с белогвардейцами и называли «своими» польские воинские части, боровшиеся против Советской власти в армиях Колчака и англо-американских оккупантов в Мурманске и Архангельске [12]. Более того, премьер Польши Падеревский предлагал Антанте бросить на Москву 500-тысячную польскую армию при условии, если Антанта согласится платить 600 тыс.—1 млн. фунтов стерлингов за каждый день военных действий [13]. Борясь против Советской власти, польские господствующие классы по сути дела боролись против создания подлинной независимости Польши, ибо только Советское правительство и Коммунистическая партия, провозгласив право всех наций на самоопределение вплоть до отделения, принимали меры, способствующие реализации этого права.

Еще 14/27 марта 1917 г. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов провозгласил право Польши на независимость и пожелал полякам успехов в строительстве самостоятельного демократического государства [14]. В «Декрете о мире», утвержденном на второй день Октябрьской революции, говорилось о том, что Советское правительство выступает против «захвата чужих земель», против «насильственного присоединения чужих народностей» [15]. Идеи равноправия народов, право их на самоопреде-

---

[11] «Документы и материалы по истории советско-польских отношений» т. I. М., 1963, стр. 216 (далее — «Документы и материалы...»).
[12] Там же, т. II. М., 1964, стр. 180—182, 202, 277, 353—355 и др.
[13] Там же, стр. 314—321.
[14] «Документы и материалы...», т. I, стр. 26.
[15] Там же, стр. 155.

ление и образование самостоятельного государства были провозглашены и «Декларацией прав народов России», принятой Советским правительством 2/15 ноября 1917 г. Во время брестских мирных переговоров с Германией советская делегация требовала полной независимости Польши, а представитель польской социал-демократии Станислав Бобиньский, являясь членом советской делегации, настаивал на выводе немецких войск из Польши, на объединении всех польских земель, на невмешательстве Германии и Австрии во внутренние дела Польши [16]. Под влиянием идей Октябрьской революции в феврале и марте 1918 г. вспыхнули массовые выступления польских рабочих против австро-германских оккупантов в Варшаве, Люблине, Кракове, Кельце, Олькуше, Хелмщине и т. д. [17] 29 августа 1918 г. Советское правительство специальным декретом отменило международные договоры, заключенные Российской империей с Австро-Венгрией и Пруссией, касающиеся разделов Польши, «ввиду их противоречия принципу самоопределения наций и революционному правосознанию русского народа, признавшего за польским народом неотъемлемое право на самостоятельность и единство» [18]. В Постановлении Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов от 13 ноября 1918 г. об аннулировании Брестского договора вновь повторялось, что население областей бывшей Российской империи, освобождаемое от оккупации австро-германских войск, имеет право самостоятельно решать свою судьбу [19].

Прямым следствием влияния Великой Октябрьской социалистической революции явились: поднявшееся в Польше освободительное движение, революция в Германии, распад Австро-Венгерской монархии, освобождение оккупированных польских земель и создание Польского независимого государства. Антанте при заключении Версальского мира пришлось считаться с уже реальным фактом. Поэтому утверждения фальсификаторов истории, что Польша создана Версальским пактом так же не обоснованны, как и легенда о роли Вильсона. Независимое Польское государство создал польский народ, поднявшийся на борьбу за свободу и независимость под влиянием революционных событий в России. «Если бы не было большевистского переворота,— говорил А. Варский на заседании Варшавского Совета рабочих депутатов 5 января 1919 г.,— или если бы не было революции в Германии, в Польше и теперь господствовала бы черная реакция русского царизма или немецкой оккупации» [20].

Подобным же образом под влиянием Октябрьской революции возникло и независимое Чехословацкое государство. В начале

---

[16] Там же, стр. 300—304.
[17] «Документы и материалы...», т. I, стр. 318, 330—331 и др.
[18] Там же, стр. 418—419.
[19] «Документы внешней политики СССР», т. I. М., 1957, стр 565—567.
[20] «Документы и материалы...», т. II, стр. 57.

первой мировой войны чешская и словацкая буржуазия не ставила задачи добиться независимости; самое большее на что она рассчитывала, это на «дарование» австрийским императором автономии чехам и словакам. Чешская социал-демократическая партия, находившаяся под влияние австрийских социал-демократов, особенно К. Каутского, на своем XI съезде объявила себя сторонницей Австро-Венгрии и с начала войны прекратила свою деятельность, подчинив таким образом чешское рабочее движение влиянию буржуазии. Социал-демократическая печать писала, что классовая борьба развернется лишь после окончания войны. Однако затяжной характер войны, огромные потери на фронтах, истощение экономики, резкое ухудшение материального положения трудящихся, сопровождавшееся небывалым ростом барышей капиталистов, наживающихся на военных поставках, породили антивоенные настроения в народе, нежелание солдат воевать за чуждые им интересы, обострение национальных отношений и рост классовых противоречий. Таким образом, ко времени Октябрьского переворота в России почва в Чехии и Словакии для революционной пропаганды была уже подготовлена, чем и объясняется немедленный, сильный и положительный отклик на события в России и на первые декреты Советской власти.

Установление Советской власти в России правительства западных капиталистических стран расценили как явление кратковременное и потому совершенно игнорировали предложение Советского правительства о немедленном прекращении войны, о заключении мира без аннексий и контрибуций, о предоставлении народам права на самоопределение. Но совершенно по-иному реагировали на эти предложения народы всех стран. Рабочие одобрили установление пролетарской власти в России и вместе со всеми трудящимися потребовали принятия предложений Советского правительства о мире.

Сразу же после получения известий об Октябрьской революции и декрете Советской власти о мире в Чехии, Моравии и Словакии прошли стихийные митинги и демонстрации с одобрением действий русского пролетариата и установленной им власти. Под влиянием идей Октябрьской революции чешские и словацкие рабочие связывали свою классовую борьбу за социалистические цели с борьбой за свержение Австро-Венгерской монархии, за национальную свободу и государственную независимость. Вначале движение носило преимущественно антивоенный характер, под лозунгом принятия советских мирных предложений, в чем чешских и словацких рабочих поддерживал и австрийский пролетариат. Чтобы вынудить правительства центральных держав к заключению мира с Советской Россией, австрийские рабочие под руководством левых социал-демократов в январе 1918 г. организовали широкую забастовку, охватившую почти все промышленные центры Австро-Венгрии, в том числе Брно, Моравскую Остраву, Клад-

но и другие чешские и словацкие города. Только при содействии правых социал-демократов власти справились с забастовкой.

Народное антивоенное движение распространилось и на армию: солдаты требовали заключения мира с революционной Россией, солдаты-славяне массами сдавались в плен, росло число так называемых зеленых, отмечались случаи вооруженных выступлений солдат в ряде тыловых гарнизонов, взбунтовались матросы в Которском заливе. Значительную роль в антивоенной и революционной пропаганде в армии сыграли солдаты, возвратившиеся из русского плена, где они были очевидцами, а иногда и участниками революционных событий.

Австро-венгерское правительство уже не имело возможности влиять на положение в стране и на фронтах: расстроилось снабжение армии и городов продовольствием; крестьянство открыто выражало недовольство непрерывными реквизициями скота, зерна, картофеля и т. д.; в городах начались «голодные бунты» и стачки не только с экономическими, но и с политическими требованиями. Все эти факты наглядно показывали, какое огромное влияние приобрели революционно-демократические лозунги, объявленные и осуществлявшиеся Октябрьской революцией, на внутреннее положение в Австро-Венгрии, стоявшей на краю распада. Австрийский император пытался спасти империю, издав манифест о предоставлении автономии славянским народам, но было уже поздно: автономия не удовлетворяла эти народы, задачей которых теперь было образование независимых национальных государств.

Под влиянием массового народного движения за полную национальную независимость начинают выступать и функционеры чешской социал-демократической партии. Депутаты партии в имперском парламенте выдвинули требование создания суверенного Чехословацкого государства. Это требование было решительно поддержано во время демонстрации 1 мая 1918 г. рабочими, выступившими с лозунгами образования чехословацкой республики и проведения в ней социальных и политических преобразований. Летом и осенью массовое движение чешского и словацкого народов за национальное освобождение и социальные реформы непрерывно нарастало, а тем временем чешская и словацкая буржуазия, отвернувшаяся от Габсбургов, готовилась к захвату власти на чешских и словацких землях, не желая допустить дальнейшего развития революционного движения и радикализации народных требований. В июле 1918 г. буржуазные партии организовали в Праге объединенный Национальный комитет, который с осени 1918 г. занялся под видом восстановления низших органов партии подготовкой местных органов власти для смены имперской администрации и созданием вооруженных отрядов, предназначенных стать опорой чехословацкого правительства и основой национальной армии. Буржуазия забыла, что вопросы о независимости и характере власти решает теперь уже народ.

Чешская социал-демократическая партия, оставаясь на оппортунистических позициях, все же не могла избежать влияния Октябрьской революции, которую она, правда, не порицала, но не верила в прочность ее победы и, кроме того, не считала «русский пример» применимым в Чехии. Под воздействием пролетарской революции в России в среде чешских социал-демократов усиливается идейно-политическая и организационная дифференциация. В партии возникают все более разнящиеся друг от друга три крыла: правое — националистическое, центристское и левое — революционное. Наблюдая консолидациию сил буржуазии, чешская социал-демократия предпринимает шаги к политическому объединению рабочих организаций. С этой целью были начаты переговоры об объединении с «национальными социалистами», переименовавшими себя в «чешских социалистов». Переговоры эти мало что дали, так как «чешские социалисты» защищали отнюдь не интересы рабочих. Все же в результате этих переговоров в сентябре 1918 г. был создан Пражский Социалистический совет, в который, кроме «чешских социалистов», социал-демократов, вошли также представители профессиональных организаций и заводских комитетов промышленных предприятий Праги. Несмотря на то, что абсолютное большинство мест в Совете принадлежало правым, все же он явился социальным противовесом Национальному комитету и доказательством того, что борьба за власть в Чехословацком государстве началась еще до его провозглашения. Октябрьская революция, воздействуя на политику чешского рабочего класса, указывала левым социал-демократам на необходимость отказаться от реформистского наследия, на необходимость настойчивого проведения классовой пролетарской политики, на необходимость установления власти пролетариата.

12 октября 1918 г. Социалистический совет принял решение о провозглашении независимого Чехословацкого государства и назначил на 14 октября всеобщую забастовку. Комитет действия Социалистического совета выпустил прокламацию «Час пробил...», в которой выдвигалось требование установления независимости и суверенности Чехословакии. Одновременно была выпущена листовка «Чешский пролетариат — немецким рабочим» с целью вызвать сочувствие у товарищей по классу: Забастовка состоялась и охватила все крупнейшие промышленные центры. В Кладно, Пльзене, Писеке, Моравской Остраве и других городах было провозглашено создание независимой Чехословацкой республики [21]. Увидев в этой забастовке «подобие русских событий» [22], чешская буржуазия, буржуазный Национальный комитет осудили

---

[21] Г. Сухомлинова. К истории образования Чехословацкого государства в 1918 г. «Октябрьская революция и зарубежные славянские народы». М., 1957, стр. 190—232.

[22] «Równość», 17.X 1918.

решение Социалистического совета от 12 октября и не допустили в Праге провозглашения независимости Чехословакии. Но забастовка 14 октября все же имела большое значение — дружное выступление чехословацких рабочих ускорило крах Австро-Венгерской империи. 27 октября Австро-Венгрия капитулировала перед Антантой, а на следующий день в Праге произошли стихийные народные волнения и демонстрации, под влиянием которых Национальный комитет, проводивший до этого времени переговоры с австрийским правительством, решил возглавить народное движение, желая подчинить его себе и придать ему нужное для буржуазии направление. Поэтому Национальный комитет присоединился к требованию народа и объявил независимость Чехословацкой республики [23]. И хотя независимость эта была завоевана народом и в первую очередь рабочим классом, власть в Чехословакии захватила буржуазия. Социал-демократы не смогли этого сделать, да и не стремились к этому, хотя и пользовались влиянием среди рабочего класса.

Национальный комитет начал переговоры с австрийскими гражданскими и военными учреждениями в Праге и других городах о мирной передаче власти представителям Комитета, что имперскими чиновниками было выполнено за сравнительно короткий срок. 30 октября Словацкий национальный комитет объявил об отделении Словакии от Австро-Венгерской империи и вхождении в состав Чехословацкой республики.

Антанта, напуганная революционными выступлениями в Чехословакии и фактом провозглашения народом самостоятельной Чехословацкой республики, была вынуждена изменить курс своей политики. Чтобы не допустить дальнейшего развития революционных событий, она начала спешно оказывать поддержку парижскому буржуазному эмигрантскому Национальному комитету Масарика — Бенеша, инспирировав реорганизацию его во Временное чехословацкое правительство.

Рабочий класс Чехословакии, добивавшийся образования социалистической Чехословацкой республики, не смог пойти дальше завоевания национальной независимости. Причинами того были отсутствие единой революционной марксистской партии, предательство правых социалистов и т. п. Но независимость Чехословакии была завоевана рабочим классом, и вдохновил его пример русского пролетариата. Октябрьская революция явилась не только стимулом развития национально-освободительной борьбы чешского и словацкого народов против габсбургской империи, но она была одним из решающих факторов, создавших такую международную политическую ситуацию, при которой не могло возникнуть серьезных препятствий к созданию суверенной Чехословакии.

---

[23] Зденек Шолле. Великая Октябрьская революция и возникновение Чехословакии. «Советское славяноведение», 1967, № 4, стр. 53—57.

«Победная Октябрьская революция в России,— говорил Антонин Запотоцкий,— была главным международно-политическим фактором, который привел к возникновению независимого Чехословацкого государства» [24]. Еще более категорично выразился К. Готвальд, сказавший, что «без Великой Октябрьской социалистической революции не было бы и самостоятельной Чехословакии» [25].

Мощным стимулом подъема революционной и освободительной борьбы явилась Октябрьская революция и для югославских трудящихся. Огромное впечатление произвели на них декреты о мире и самоопределении народов, о земле, о переходе власти в руки трудового народа. Сильное впечатление на крестьян Хорватии, Словении и Воеводины (где сохранилось много феодальных пережитков) произвело справедливое разрешение в Советской России земельного вопроса, а также меры Советского правительства, направленные на ликвидацию национального угнетения, которое особенно остро ощущали все южнославянские земли, насильственно присоединенные к Австрии. Рабочие этих областей участвовали в забастовках в январе 1918 г., проходивших под лозунгом прекращения войны, а крестьяне начинали захватывать помещичьи земли. В ряде районов возникли партизанские отряды, боровшиеся с австрийскими властями, полицией и помещиками.

После капитуляции Австро-Венгрии все южнославянские земли объявили 29 и 30 октября 1918 г. о разрыве с империей Габсбургов. Целью южнославянских народов было создание демократического объединения на основе автономии отдельных народов, но буржуазные верхи не считали эти принципы приемлемыми. Буржуазные партии Словении и Хорватии создали в Загребе Народное Вече, объявившее себя временным правительством всех южнославянских земель, входивших в состав Австро-Венгерской империи. 4 ноября 1918 г. Вече вызвало для борьбы с революционным народным движением войска Антанты под предлогом разоружения австрийских войск.

Стремясь закрепить свое влияние в южнославянских землях, страны Антанты созвали в Женеве конференцию представителей Лондонского эмигрантского Комитета и Загребского Народного вече, на которой было вынесено решение о создании Югославского государства под эгидой сербской династии Карагеоргиевичей. На основе этих решений сербский принц-регент Александр 4 декабря 1918 г. опубликовал манифест о создании Королевства сербов, хорватов и словенцев. Однако в манифесте ничего не говорилось об обеспечении прав отдельных народов, входивших в новое государство. Так, в общих чертах, завершился процесс объединения южнославянских земель, ставший возможным бла-

---

[24] «Правда», 26 января 1957 г.

[25] K. Gottwald. 1946—1948. Sbornik stati a projevu, d. II. Praha, 1949, str. 254.

годаря подъему национально-освободительного движения, в котором приняли непосредственное участие пленные и эмигранты, возвратившиеся из Советской России. В конечном счете и здесь решающим оказалось влияние Октябрьской революции. Но победа народа была неполной. Того демократического государства, которое обеспечило бы автономию и права каждого южнославянского народа, создать не удалось. Верхушечные слои этих народов предали трудящиеся массы и подчинили их сербской милитаристской династии.

Что касается Болгарии, то ко времени Октябрьской революции она уже была самостоятельным государством, но, находясь под властью немецкой династии Кобургов, втягивалась в орбиту политики Германии и Австрии, а поэтому часто противопоставлялась другим славянским народам. После Октябрьской революции и здесь назревает стремление к освобождению от немецкого влияния. Выражением этого стремления и протеста против антинациональной политики реакционно-монархического правительства, вовлекшего болгарский народ в войну в интересах империалистов «Тройственного согласия», явились активные антивоенные выступления, развернувшиеся в Болгарии сразу после Октябрьской революции. Декрет Советского правительства о мире был сразу же переведен на болгарский язык, отпечатан и широко распространен среди гражданского населения и в воинских частях. Он стал программой болгарского антивоенного народного движения, требовавшего принятия советских предложений и прекращения войны за чуждые трудящемуся народу интересы.

Антивоенное движение выражалось не только в митингах и собраниях, не только в «женских бунтах», в которых принимали участие и инвалиды войны, и отпускники солдаты, и молодежь, но также в создании в воинских частях тайных солдатских комитетов, в широких волнениях солдат, требовавших немедленного заключения мира [26].

Под влиянием народного антивоенного движения реакционное правительство В. Родославова в июне 1918 г. ушло в отставку, и его место заняло правительство А. Малинова и С. Костуркова, представителей буржуазных партий — радикальной и демократической. Однако и это правительство ничего не предприняло для прекращения войны, и только когда 28 сентября 1918 г. после поражения в секторе Градо-Поле вспыхнуло солдатское восстание, угрожавшее перерасти в гражданскую войну, правительство поспешило обратиться к командованию войсками Антанты с просьбой о перемирии, которое и было подписано 29 сентября. Восстание, неумело организованное и не имевшее единого боевого руководящего центра, было подавлено, но оно потрясло основы

---

[26] В. Хаджиниколов. Борбата на съветското правителство за мир непосредствено след Октомврийската революция и партията на тесните социалисти. «Исторически преглед», 1957, кн. 5.

буржуазно-монархического строя Болгарии и сильно напугало правительства центральных и западных держав. Народ добился заключения мира, но суверенитет Болгарии теперь пытались ограничить уже государства Антанты.

В. И. Ленин 8 ноября 1918 г. говорил: «Возьмите Болгарию. Казалось бы, что такая страна, как Болгария, колоссу англо-американского империализма ведь страшна быть не могла. Однако революция в этой маленькой, слабой, совершенно беспомощной стране заставила англо-американцев потерять голову и поставить условия перемирия, которые равны оккупации» [27].

Развернувшаяся позже классовая борьба болгарских рабочих крестьян и всех трудящихся за свержение буржуазно-монархического строя, за социальные преобразования была в то же время борьбой за полный суверенитет Болгарии, против превращения ее в приспешницу империалистических держав.

2. Октябрьская революция и подъем революционного движения в славянских странах

Борьба славянских народов за независимость, за образование своих национальных суверенных государств являлась также и революционной борьбой, проводимой преимущественно рабочими и крестьянами. Огромное влияние оказала Октябрьская революция на подъем классового рабочего и крестьянского движения в славянских странах, особенно в Польше.

Отношение польского пролетариата к Октябрьской революции кратко, но со всей ясностью выразил в своем выступлении на II съезде Советов Ф. Э. Дзержинский, который заявил: «Польский пролетариат всегда был в рядах вместе с русскими. Декрет (о мире.— *И. Х.*, *Т. С.*) с энтузиазмом принимает Социал-демократия Польши и Литвы. Мы знаем, что единственная сила, которая может освободить мир — это пролетариат, который борется за социализм. Когда восторжествует социализм, будет раздавлен капитализм и будет уничтожен национальный гнет... у нас будет одна братская семья народов без распрей и раздоров» [28].

Сразу же по получении известий об Октябрьском перевороте в Петрограде Главное правление СДКПиЛ выпустило листовку «Пролетарская революция в России», в которой говорилось, что Октябрьская революция «прокладывает путь» и для польских рабочих к социализму, что задача пролетариев Польши и стран всего мира выразить свою солидарность с русскими рабочими. «К борьбе нас зовет громовой набат русской революции»,— говорилось в этой листовке [29].

---

[27] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 160.

[28] Ф. Дзержинский. Избранные произведения в двух томах, т. I. 1897—1923 гг. М., 1957, стр. 258.

[29] «Документы и материалы...», т. I, стр. 159—160.

С подобной же листовкой в начале декабря 1917 г. выступила другая польская рабочая партия — ППС-левица, призвавшая польских рабочих по примеру русских товарищей «поднять еще выше знамя борьбы» против буржуазии и буржуазных правительств [30]. Листовки с призывами поддержать пролетарскую революцию в России издали и некоторые местные организации СДКПиЛ и ППС-левицы.

В воззвании Люблинского комитета ППС-левицы, например, говорилось: «Русские товарищи могут быть уверены, что их старые братья по оружию 1905—1906 гг. не забыли славных традиций всеобщей забастовки и революционной борьбы» [31]. И действительно, польские рабочие горячо откликнулись на победу пролетарской революции в России: в промышленных центрах Польши состоялись митинги и забастовки. Характеризуя забастовочное движение и демонстрации в Варшаве, немецкий генерал фон Безелер в январе 1918 г. сказал, что они основываются «на социально-политических мотивах и, видимо, связаны с интригами большевиков...» [32] В январе 1918 г. состоялась забастовка в Кельцах, проходили митинги и демонстрации с красными флагами. В листовках, распространявшихся в это время, провозглашались лозунги: «Долой буржуазный регентовский совет. Долой оккупантов. Да здравствует наш брат — рабочий и революционер России!» [33].

В политическом отчете министерства внутренних дел Польши от 29 января 1918 г. говорилось, что подъем польского рабочего движения связан с революцией в России и что «руководители этого движения вдохновляются и берут пример с событий в России» [34].

Новый этап в польском рабочем движении с осени 1918 г. характеризуется созданием Советов рабочих депутатов, претендующих на власть на местах. Советы были созданы в Варшаве, Лодзи, Домбровском бассейне и почти во всех промышленных центрах. Домбровский Совет, назвавший себя «зародышем пролетарской власти в Польше», в день первой годовщины Октябрьской революции послал в Петроград приветствие Совету Народных Комиссаров [35]. Лодзинский Совет рабочих депутатов контролировал деятельность городского магистрата, милиции, влиял на всю общественную жизнь и, по выражению агента Варшавского корреспондентского бюро, «недвусмысленно стремился к захвату власти пролетариатом» [36].

6-го марта 1919 г. в Варшаве состоялось совещание представителей крупнейших Советов рабочих депутатов, вынесшее решение провести 12—13 марта всеобщую забастовку с требовани-

---

[30] Там же, стр. 170—171.
[31] Там же, стр. 249.
[32] Там же, стр. 252.
[33] Там же.
[34] Там же, стр. 261.
[35] «Документы и материалы...», т. II, стр. 15.
[36] Там же, стр. 25.

ями прекращения военных действий против Советской России, упразднения методов тайной дипломатии и допуска представителей Советов на мирные переговоры, освобождения политических заключенных, прекращения репрессий и т. д. [37] Совещание одновременно обратилось с воззванием к солдатам, призывая их не выступать против рабочих, «борющихся за свободу, за уничтожение эксплуатации, за социализм» [38]. Одновременно с рабочим движением нарастали и крестьянские волнения, вызванные ростом крестьянской нужды и известиями о радикальном разрешении земельного вопроса в России. Крестьянские выступления начались уже в конце 1917 г., чем и было вызвано распоряжение наместника в Галиции графа Гуйна запретить крестьянам обсуждать на своих собраниях вопросы о захвате помещичьих земель и о разделе их между крестьянами [39]. Разрасталось крестьянское движение и в других частях Польши, причем рост его польскими газетами прямо связывался с событиями в России. «Ширится анархия и произвол сельского населения,— писал «Глос Любельский»,— которое, возбужденное рассказами реэмигрантов, возвратившихся из России, о тамошних действиях большевиков, начинает у нас вводить подобные порядки» [40]. Действительно, крестьянское движение на Любельщине было наиболее мощным. Здесь, а также и в других местностях в конце 1918 г. начинается разгром помещичьих имений и создание крестьянских Советов и Советов сельскохозяйственных рабочих (батраков). 2 февраля 1919 г. в Люблине состоялся съезд представителей фольварочных Советов, постановивший создать Совет депутатов сельскохозяйственных рабочих с целью подготовки захвата помещичьих владений и власти на местах. Примеру Любельщины последовали Скерневицкий, Кутновский и другие Советы. Следует подчеркнуть, что движение крестьян и батраков проходило под влиянием СДКПиЛ — КРПП [41].

Крепнущее революционное движение в деревне вынудило правительство провести земельную реформу, по которой был установлен максимальный размер поместий, а земли сверх этого максимума подлежали передаче крестьянам и батракам за выкуп. Сельскохозяйственные рабочие однако согласиться с этим не могли, ибо денег на выкуп земли не имели, поэтому съезд сельскохозяйственных рабочих, состоявшийся 24 августа 1919 г. в Варшаве, потребовал раздела помещичьих земель без выкупа, заявляя,

---

[37] H. Bicz (Bitner). Rady delegatów robotniczych w Polsce. 1918—1919 r. M., 1934, str. 271—290.

[38] Там же.

[39] «Документы и материалы...», т. I, стр. 226.

[40] «Głos Lubelski», 1. III 1918.

[41] См.: Т. Кузьминский. Роль КРПП в организации революционной борьбы сельскохозяйственных рабочих в Польше в 1918—1919 гг. «Из истории польского рабочего движения». М., 1962, стр. 264—296.

что рабочие будут добиваться своих прав силой, если вопрос этот не будет разрешен законным путем. «Все, что постановил съезд,— писал «Курьер Варшавский», — это уже не только радикальный бунт против сейма по вопросу аграрной реформы, но явная угроза революции и провозглашение диктатуры пролетариата» [42].

В период мощного подъема рабочего движения в Польше две польские пролетарские партии СДКПиЛ и ППС-левица на общем учредительном съезде 16 декабря образовали Коммунистическую рабочую партию Польши, стоящую на платформе III Интернационала, разработанной В. И. Лениным. Создание КРПП значительно способствовало активизации польского рабочего класса. В 1919 г. КРПП имела свои организации в 80 городах Польши, причем некоторые из них были довольно значительными. Так, например, Домбровская организация насчитывала более 2500 человек [43].

Поднявшийся под влиянием победы Октябрьской революции польский рабочий класс в 1918 г. и первой половине 1919 г. выступал за установление в Польше своей пролетарской власти, но осуществлению этого лозунга помешал ряд факторов объективного и субъективного характера. Прежде всего сказалось отсутствие единства в среде рабочего класса, реформистская политика правой ППС, укрепление позиций господствующих классов, поддержанных извне и ошибочная позиция молодой компартии по аграрно-крестьянскому и национальному вопросам. Почувствовав свою силу, польская реакция летом 1919 г. разгромила Советы рабочих депутатов в промышленных центрах и в деревнях. В стране была установлена власть господствующих классов — буржуазии и помещиков.

Борьба чешских рабочих за независимость была одновременно и классовой борьбой, так как сопровождалась выдвижением классовых требований и выражалась в присущих классовой борьбе формах (стачки, демонстрации, создание рабочих Советов, возникавших еще до образования Чехословацкого государства).

Осенью 1918 г. рабочие потребовали не только национальной независимости, но и социальных преобразований. «Повсюду проявляется единодушная воля народа, чтобы наша родина — новое Чехословацкое государство, было построено на принципах полнейшей демократии, социального равенства и справедливости»,— писала газета «Нова Доба» [44]. Для достижения этих целей в

---

[42] «Kurier Warszawski», 4.X 1919.

[43] См.: И. А. Хренов. Коммунистическая рабочая партия Польши на путях превращения в партию нового ленинского типа (1918—1923). «Из истории польского рабочего движения», стр. 225—263; И. С. Яжборовская. К истории образования Коммунистической рабочей партии Польши. «Из истории польского рабочего движения», стр. 190—224; И. С. Яжборовская. Коммунистическая партия Польши и идеи Октября. М., 1967.

[44] «Nova doba», 30.X 1918.

Брно 29 октября был образован Военно-Революционный комитет, который занял все важнейшие правительственные учреждения. Но руководство Комитета во главе с поручиком Заха, боясь народной революции, подчинилось распоряжению Пражского буржуазного Национального комитета и распустило Революционный комитет, чтобы «не оказывать какой-либо поддержки опасным тенденциям создания солдатских и унтер-офицерских Советов» [45]. Но солдатские Советы уже начали возникать, а солдаты принимали участие в рабочих демонстрациях. В демонстрации в Брно 4 ноября 1918 г., требовавшей объявления Чехословакии социалистической республикой, участвовало до 50 тыс. рабочих и солдат.

Высказывая сочувствие пролетарской революции в России, чешские рабочие решительно осуждали мятеж чехословаков в России, организованный Антантой. «Погромщики победоносной революции ничего другого не заслуживают, как полного разгрома»,— писала газета «Дельницки деник» [46].

Завоевание независимости вызвало подъем националистических настроений, что, с одной стороны, на некоторое время ослабило революционное классовое рабочее движение, но, с другой (поскольку задача национального освобождения была уже разрешена) — поставило рабочий класс перед необходимостью вести самостоятельную пролетарскую политику.

Чешская социал-демократическая партия уже не могла теперь проводить откровенно оппортунистическую политику военного времени, но и поднимать рабочий класс на революционные действия не входило в ее намерения. XII съезд партии, состоявшийся в декабре 1918 г., выдвинул задачи национализации крупных имений, шахт и больших промышленных предприятий, но одновременно выразил надежду, что буржуазные партии пойдут по пути социальных реформ, не ожидая нажима со стороны рабочего класса. Вопрос о социалистическом переустройстве Чехословацкого государства съезд трактовал по-старому — как задачу отдаленного будущего — и не указывал конкретных путей к ее разрешению. Следовательно, чешская социал-демократия, несмотря на видимость полевения, по существу оставалась партией реформистской, соглашательской. Однако под влиянием Октябрьской революции рабочее движение в Чехословакии постепенно преодолевало влияние оппортунистического реформизма прежних лет. Многие рабочие начали понимать, что буржуазия не откажется от своих командных позиций в экономике и политике нового Чехословацкого государства, что нужно готовиться к решительной революционной классовой борьбе. Эти группы рабочих явились основой и опорой для левого крыла социал-демократической партии и коммунистов, вернувшихся из плена в России.

---

[45] «Socialisticka budoucnost», 9.VIII 1918.
[46] «Dělnický Deník», 9.VII 1918.

Укрепившее свои позиции под влиянием событий в России левое крыло социал-демократии требовало от партии полного разрыва с буржуазией и проведения классовой рабочей политики. Эта тенденция особенно усилилась после того, как в июле 1919 г. социал-демократы получили почти 50% голосов на выборах в парламент и составили свое правительство в коалиции с аграрной партией. Однако правые социал-демократы отклонили все требования левых социал-демократов и по существу продолжали политику предшествующего буржуазного правительства. Следствием было обособление левых, которые начали издавать газету «Социал-демократ», заявлявшую, что целью революционных рабочих является не буржуазная, а социалистическая республика. Все это усилило борьбу внутри партии, которая перенеслась в среду рабочего класса.

Одним из обстоятельств, усилившим деятельность и влияние левых, было провозглашение в марте 1919 г. Венгерской Советской республики, а в апреле — Баварской Советской республики, национализация в Рурской области Рабочими Советами шахт и образование в Австрии Рабочих Советов.

Значительные революционные сдвиги произошли после Октябрьской революции и в Словакии. Здесь под влиянием первых декретов Советской власти во время забастовок в Братиславе, Кошице, Рыбополе, Зволене, Врутках и других городах, а также в день празднования 1 мая 1918 г. провозглашались лозунги национальной независимости и немедленного заключения мира с Советской Россией, ибо «русская революция является общим делом демократии и социализма всего мира» [47]. Кроме того, выдвигалось требование 8-часового рабочего дня и ряд других требований экономического характера.

В мае, июне и октябре произошли волнения в воинских частях, расположенных в различных городах Словакии. Солдаты отказывались ехать на фронт, а в некоторых частях — в 71-м пехотном полку, в Прешовском гарнизоне и др.— поднимали восстания, жестоко подавленные австрийскими властями [48]. Надо подчеркнуть, что большую роль в развертывании революционного движения в Словакии играли, как писала австрийская полиция, «солдаты, возвращающиеся домой из русского плена» [49]. Особенно широкий размах революционное движение в Словакии получает с осени 1918 г. Идея создания Советов здесь была особенно популярной именно в это время. По всей Словакии возникло около 200 рабочих Советов [50]. После ухода из Словакии австро-венгерс-

---

[47] «Robotnicke noviny», 15.XI 1917.

[48] J. Opočenský. Konec monarchie Rakouske-Uhorske. Praha, 1928, str. 150.

[49] В. Марьина. Революционное движение в Словакии в 1918—1919 гг. «Октябрьская революция и зарубежные славянские народы», стр. 239.

[50] Там же, стр. 244.

ких войск, словацкие рабочие и солдаты с помощью венгерских коммунистов в конце декабря 1918 г. создали Революционный комитет, призвавший Рабочие советы взять власть в свои руки. Была организована Красная Гвардия. Но 31 декабря войска чехословацкого буржуазного правительства заняли Братиславу и установили в Словакии свои порядки. Хотя некоторые Рабочие советы, например во Врутках, действительно представляли собой органы власти, но они не обеспечили себе вооруженной защиты и потому почти без сопротивления уступили власть представителям буржуазного правительства. Однако забастовочное рабочее движение в Словакии не утихало и в феврале и марте 1919 г. Усилилось также и крестьянское движение. Крестьяне и солдаты захватывали помещичьи земли, а кое-где поднимали восстания и устанавливали свои органы власти. После вступления в пределы Словакии венгерской Красной Армии Советы как органы рабоче-крестьянской власти начали создаваться повсеместно. 16 июня 1919 г. в Прешове Словакия была объявлена Советской республикой. Эта декларация была восторженно встречена рабочими, которые на митинге в Прешове приняли обращение «К пролетариям всего мира». В нем говорилось, что «новорожденная Словацкая Советская республика своими естественными союзниками считает своих победоносных братьев — Русскую и Венгерскую Советские республики» [51].

Советская власть в Словакии установила 8-часовой рабочий день, провела закон о конфискации крупных земельных владений и ряд других мер в интересах трудящихся. Но Словацкая Советская республика просуществовала только три недели. В июле румынские, югославские и чехословацкие войска под командованием французских генералов начали наступление на Венгрию. Венгерская Красная Армия отступила из Словакии, чешские войска и местные буржуазные элементы разогнали Советы, а 1 августа румынские войска вошли в Будапешт, и Венгерская Советская республика пала.

Разгром Словацкой и Венгерской Советских республик, невозможность для Советской власти в России оказать помощь венгерским, словацким и чешским революционным рабочим, подъем шовинистических настроений в связи со вступлением венгерских красных войск в Словакию и т. д. осложнили до некоторой степени деятельность левых социал-демократов. Однако оппортунистическая политика правых и действия социал-демократического правительства В. Тусара все более склоняли симпатии рабочих в пользу левых, которые 7 декабря 1919 г. созвали особую конференцию с целью сформулировать свою платформу. Конференция осудила реформизм правых, приняла принцип диктатуры пролетариата,

---

[51] «Červené novine», 17.VI 1919; F. D. Por. Mad'arska sovětska republika a jeji ohlas na Slovensku. Praha, 1959.

заявила о необходимости подготовки социальной революции, одобрила образование Рабочих Советов и подчеркнула решающее значение массовой борьбе рабочего класса. Этим левые отмежевались от правых социал-демократов, которые придавали главное значение борьбе на выборах и в парламенте. С оформлением левого марксистского крыла в качестве самостоятельного направления, получившего поддержку многих местных партийных организаций и левых групп, революционное рабочее движение получило, наконец, руководящий центр и программу (хотя и недостаточно четко разработанную).

Левое крыло не стремилось отколоться от партии, прилагало все силы, чтобы привлечь на свою сторону местные организации, органы партийной печати и все революционные элементы, чтобы добиться проведения своего курса партийной политики. Левые подвергли резкой критике руководство партии, разоблачали в печати антирабочую политику властей и требовали немедленного признания Советского правительства. Лидеры левых — А. Запотоцкий, Б. Шмераль, И. Ольбрахт и др.— посетили Советскую Россию и, возвратившись на родину, знакомили чешскую и словацкую общественность с жизнью первого в мире пролетарского государства, пропагандировали великие идеи Октябрьской революции.

Левым удалось добиться известных успехов в деле организационного сплочения революционных сил, но им не хватало идейной устойчивости, они недостаточно хорошо были знакомы с марксистско-ленинской стратегией и тактикой. Недостаточная революционная последовательность левых проявилась, например, в том, что на парламентских выборах в мае 1920 г. они выступили вместе со всей партией и помогли правому руководству вновь победить и остаться у власти.

С весны 1920 г. влияние левых настолько усилилось, что появилась возможность завоевания ими большинства в партии. Учитывая эту опасность, правые социал-демократы, подталкиваемые буржуазными партиями, и в частности Т.-Г. Масариком, отказываются от проведения социальных реформ и переходят в открытое наступление на левое крыло партии и все революционное рабочее движение. В июне 1920 г. правые созвали особое фракционное совещание и призвали членов партии помочь руководству вытеснить из партии левое крыло, поскольку оно отказалось от социал-демократических принципов и стало на платформу коммунистов. Таким образом, к расколу партии первыми проявили тенденцию правые социал-демократы, запугивавшие рабочих тяжелым положением в Советской России, которое может создаться и в Чехословакии в случае победы левых.

В сентябре 1920 г. был созван XIII съезд партии, на котором левые надеялись получить большинство мест в руководстве. Правые, видя что надежды левого крыла небезосновательны, предложили отложить съезд. Левые не согласились, и съезд все же

состоялся. Многие представители правых на съезд не явились, но большинство избранных делегатов на съезде присутствовало и, не поддержав всех требований левых, высказалось за единство партии.

Здание, где помещалось руководство партии — «Народный Дом» — и все ее имущество перешло в руки левых.

Потерявшие к этому времени власть правые социал-демократы обратились к буржуазному правительству с просьбой оказать им содействие в возвращении партийного имущества. Новое правительство И. Чарного, ставившее своей первоочередной задачей разгром революционного пролетарского движения, весьма охотно согласилось вмешаться во внутренние дела социал-демократической партии. В декабре 1920 г. полиция заняла «Народный Дом», а так как при этом произошли вооруженные столкновения, то несколько левых функционеров было арестовано и подвергнуто тюремному заключению.

В знак протеста против действий правительства левые призвали рабочих ко всеобщей забастовке. Забастовка состоялась, но достигла лишь частичных успехов. Правые торжествовали и в том же месяце собрали новый XIII съезд, представленный делегатами лишь оппортунистического направления.

Перед левым крылом стала непосредственная задача создания собственной рабочей партии Чехословакии, объединяющей пролетарских революционеров всех национальностей страны. К этому времени словацкие коммунисты уже провели в Лубохне свой отдельный съезд.

В мае 1921 г. состоялся учредительный съезд чешских и словацких коммунистов, а в сентябре того же года объединенный съезд, завершивший определенный этап прямого влияния Октябрьской революции на чешское и словацкое революционное и рабочее движение. Основание Чехословацкой коммунистической партии, ставшей авангардом пролетарского движения, оказало огромное влияние на дальнейшие судьбы чешского и словацкого народов.

На южнославянских землях Октябрьская революция отразилась на росте рабочего и крестьянского движения. Влияние Октябрьской революции сказалось на югославском рабочем движении как непосредственно, так и отраженно — через развертывание стачечной борьбы в Австрии, Чехии и Венгрии. Левые социалисты и сознательные рабочие приветствовали Октябрьскую революцию в России, рассматривая ее как первый этап борьбы с капитализмом во всем мире. Один из видных деятелей югославского рабочего движения, депутат Скупшины Т. Канцлерович обратился к правительству и парламенту Югославии с письмом, в котором требовал прекратить использование югославских воинских частей в борьбе против Советской власти в России. Он писал: «Русская революция своими делами показала, какое значение она придает претворению в жизнь великих принципов самоопределения на-

родов. Сербский народ совершил бы смертельный грех, если бы солидаризировался с врагами русской революции, тем самым он лишился бы симпатий самой демократической и самой могущественной мировой организации — интернационального мирового пролетариата, который в конечном счете держит в своих руках судьбу народов и всего человечества» [52].

В 1918 г. в движении южных славян преобладала тенденция создания объединенного демократического Югославского государства, но в это время происходит и оживление рабочего движения. Показателем этого явились не только забастовки, но и рост числа членов профессиональных союзов. Если в начале 1918 г. их насчитывалось только 2 879 человек, то к концу этого года их было 15 822 человека[53]. Классовые бои рабочих начинаются всеобщей забастовкой в Боснии и Герцеговине в феврале 1919 г. и приобретают острый характер летом того же года, чему способствовало образование 20—25 апреля 1919 г. Коммунистической партии Югославии и установление Советской власти в Венгрии, Баварии, Словакии, а также возвращение из России большого количества бывших военнопленных. Еще в марте 1919 г. правительственный чиновник в Воеводине Ж. Мишич писал: «Большевистская пропаганда ведется очень сильно во всех слоях общества, где находится какой-либо повод для недовольства. Это особеннно относится к Загребу. Она ведется также в Белграде, где значительно усилилась за последние две недели» [54]. О том же сообщал министру внутренних дел и поджупан г. Печ: «Извещаю господина министра,— писал он,— что в Капошварском срезе большевизм в высшей степени бьет ключом. Все крупные имения в срезе обобществлены, приходы имений разделены между слугами» [55]. Надеяться на подавление революционного движения войсками правительство не могло, так как солдаты были охвачены революционным брожением, и поэтому генерал Б. Терзич предложил сформировать особые отряды «народной гвардии» (жандармские) для подавления «большевистского движения на нашей новой территории южнее демаркационной линии от Венгрии» [56].

Несмотря на аресты коммунистов, конфискации их газет и другие репрессии, в праздновании 1 мая 1919 г. в Белграде участвовало до 200 тыс. рабочих и служащих. Многие тысячи рабочих приняли участие в первомайских демонстрациях и в других городах. В Цетинье в этот день была объявлена и проведена первая

---

[52] Триша Кацлерович. Цимервалдска конференција. Београд, 1951, стр. 34, 35.

[53] Ю. Писарев. Великая Октябрьская социалистическая революция и революционная борьба народов Югославии в 1917—1920 гг. «Октябрьская революция и зарубежные славянские народы», стр. 358.

[54] Дејан Гајић. Генерални штрајк 1919. Београд, 1951, стр. 66.

[55] Там же, стр. 65.

[56] Там же, стр. 63.

в истории Черногории всеобщая стачка. Почти во всех югославских городах демонстранты призывали трудящихся бороться против интервенции в Советскую Россию и Советскую Венгрию. Митинги протеста против участия югославских войск в интервенции против России и Венгрии закончились объявлением 21 июля 1919 г. всеобщей стачки, охватившей почти все города южнославянских земель и некоторые села [57]. Везде проходили многолюдные митинги и демонстрации. А затем начались восстания солдат: 22 июля в 43-м Мариборском пехотном полку, в Дравском конном полку, 23 июля в Савском конном полку, 25 июля подняли восстание три хорватских отряда, посланные против Советской Венгрии, 8 августа вспыхнуло солдатское восстание в гарнизоне г. Крижеваца, а в сентябре — 29-м пехотном полку в Черногории.

Дружные выступления рабочих и солдат заставили правительство отступить. Югославия, несмотря на давление Антанты, не приняла участия в интервенции в Советскую Россию, и правительство пошло на некоторые уступки рабочим: был установлен 8-часовой рабочий день и принят закон, предоставляющий рабочим право заключать коллективные договоры. Впрочем, когда опасность для правительства миновала, все эти законы были отменены. Но и в 1920 г. стачечная борьба рабочих не утихла и продолжалась повсеместно. Всего в этом году было проведено около 600 забастовок, в которых участвовало свыше 200 тыс. рабочих [58].

В Болгарии Октябрьская революция также нашла сильный отклик. Болгарская партия «тесных социалистов» (тесняков) была близка к позициям большевизма и еще до Октябрьского переворота высказывала сочувствие деятельности Советов рабочих и солдатских депутатов в России. Когда свершилась Октябрьская революция, партия тесняков и передовые болгарские рабочие горячо приветствовали победу русского пролетариата, понимая ее великое всемирно-историческое значение [59]. Под влиянием Октябрьской революции в Болгарии начинается новый подъем революционного и рабочего движения. Болгария,— писал Т. Живков,— «стала одной из первых стран, где искры, прилетевшие из России, превратились в революционный пожар» [60].

Благодаря активной деятельности тесняков пропаганда идей Октябрьской революции в Болгарии началась уже в 1917 г., а в 1918—1919 гг. она принимает характер призыва к практическим революционным действиям. Владайское солдатское восстание проходило уже под лозунгом: «Последуем примеру наших русских

---

[57] Дејан Гајић. Указ. соч., стр. 50, 51.

[58] «Красный Интернационал профсоюзов», 1921, № 8.

[59] «Работнически Вестник», 12. XI 1917; Д. Благоев. Съчинения, т. 18. стр. 263.

[60] Тодор Живков. Октябрьская революция и историческая судьба болгарского народа. «Правда», 30 сентября 1967 г.

братьев!»[61]. Добившись прекращения войны, трудящиеся Болгарии развернули классовые бои против буржуазно-монархического правительства, против капиталистов и помещиков, что создало в конце 1918 и в 1919 г. революционную ситуацию в Болгарии[62]. Нарастанию классовой борьбы способствовали тяжелое материальное положение трудящихся, вызванная войной хозяйственная разруха, недостаток продовольствия в стране, безработица, большое количество беженцев из районов военных действий, где хозяйство пришло в полный упадок. В начале 1919 г. выступили шахтеры Перника, которыми руководил Георгий Димитров. 27 июля 1919 г. состоялись массовые народные выступления, а в конце 1919 г. в борьбу вступили транспортники, поддержанные другими слоями трудящихся[63]. Важно отметить, что во время стачек и демонстраций рабочие и все трудящиеся Болгарии выдвигали кроме экономических и политические требования: отмены военного положения, восстановления и расширения политических свобод и т. д. Правительство подавляло народные выступления при помощи войск.

Руководящей силой революционного движения в Болгарии была Болгарская рабочая социал-демократическая партия тесных социалистов (называвшая себя так в отличие от оппортунистической реформистской Болгарской социал-демократической партии широких социалистов). Партия тесняков не только организовывала революционное рабочее движение и способствовала его подъему,но и сама под влиянием этого подъема росла и усиливала свое влияние на массы. За семь месяцев (конец 1918 и первая половина 1919 г.) БРСДП тесных выросла в 8 раз[64].

Партия тесняков, организационно сплачиваясь и укрепляясь, постепенно переходит под влиянием идей Октября на позиции признания необходимости осуществления пролетарской революции и установления диктатуры пролетариата. Таким образом, тесняки постепенно начинают превращаться в партию нового, ленинского типа. Они в числе других восьми рабочих партий поддержали инициативу РКП(б) о созыве учредительного съезда III Интернационала и в марте 1919 г. в составе делегации Балканской социал-демократической федерации участвовали в первом конгрессе Коминтерна.

---

[61] Там же.

[62] Х. Христов. Революционната криза в България през 1918—1919. София, 1957; М. А. Бирман. Революционная ситуация в Болгарии в 1918—1919 гг. М., 1955.

[63] См. сб.: «Великата Октомврийска революция и революционната борьба в България през 1917—1918 гг.» София, 1957.

[64] Х. Христов. Великая Октябрьская социалистическая революция и развитие классовой борьбы и революционного движения в Болгарии в 1917—1944 гг. «Международное значение Великой Октябрьской социалистической революции». М., 1967, стр. 19.

В мае 1919 г. в Софии состоялся XXII съезд БРСДП (тесняков), который решил переименовать партию в коммунистическую и сам съезд считать I съездом Болгарской Коммунистической партии. Съезд принял также программную декларацию, которая не отменяла программу БРСДП (тесняков), разработанную и принятую во время первой мировой войны, но отражала изменения социально-политической обстановки в Европе и в Болгарии, ставила новые задачи перед партией и показывала известную степень восприятия партией идей ленинизма, осознания ею во всей полноте значения Октябрьской революции. «Именно с Великой Октябрьской революции в развитии нашей партии начался переход от теснячества к большевизму», — писал Х. Кабакчиев [65]. Однако пережитки теснячества в партии еще были сильны. БКП рассматривала себя и болгарское пролетарское движение как единственную революционную силу и не стремилась к установлению союза с крестьянством и привлечению на свою сторону демократических сил для борьбы с правительством, буржуазией и помещиками.

А между тем крестьянское движение в Болгарии после Октябрьской революции развивалось не только в экономическом, но и в политическом направлении. Крестьянская партия Болгарский земледельческий народный союз (БЗНС) выступала против буржуазного правительства, а ее представители в Народном собрании (парламенте) занимали оппозиционное положение в отношении правительства. Во время июльских народных революционных выступлений в них участвовало и огромное количество крестьян. Под воздействием народных масс 6 октября 1919 г. буржуазное правительство ушло в отставку, и власть перешла к коалиционному правительству, главную роль в котором играл БЗНС. Однако следует помнить, что правые элементы БЗНС и их буржуазные союзники по коалиции решительно выступили против почти двухмесячной стачки транспортников и вместо проведения демократических реформ главное внимание уделяли «борьбе с коммунизмом». Под нажимом справа и слева БЗНС никаких радикальных мер провести не мог и в начале 1920 г. распустил Народное собрание. Новые выборы увенчались успехом БЗНС и БКП. 21 мая 1920 г. было образовано правительство, состоящее только из представителей БЗНС, которое управляло Болгарией до переворота 1923 г. и провело ряд демократических мер [66].

Установление власти БЗНС привело к ослаблению революционного кризиса. Борьба пролетариата за власть в этот период не имела перспектив: БКП хотя на III съезде осенью 1921 г. и при-

---

[65] Христо Кабакчиев. Партия тесных социалистов, революция в России и циммервальдское движение. «Октябрьская революция и зарубежные славянские народы», стр. 22—23.

[66] К. Кожухаров, Н. Георгиев, Д. Димитров. БЗНС и Великата Октомврийска социалистическа революция. София, 1957.

знала необходимость союза с крестьянством, но применить на практике ленинские принципы в этом вопросе не смогла. Не смогла она добиться и совместных действий с БЗНС, хотя в некоторых случаях (например, в борьбе против врангелевцев, в деле оказания помощи голодающим Поволжья и т. д.) обе партии выступали совместно [67].

Отсутствие прочного союза между рабочим классом и крестьянством Болгарии позволило реакции произвести 9 июня 1923 г. военный переворот фашистского типа. Начавшиеся преследования БКП и БЗНС, отмена прогрессивных реформ и завоеваний рабочего класса вновь подняли болгарских трудящихся на борьбу. Назревала новая революционная ситуация, и БКП начала готовить вооруженное восстание для свержения фашистского правительства Цанкова. Июньское восстание успеха не имело [68], и опыт его показал, что для борьбы с фашизмом необходимо объединение всех демократических антифашистских сил. В начале июля в Болгарию приехал секретарь Исполкома Коминтерна В. Коларов, который помог ЦК БКП принять правильное решение о создании единого фронта антифашистских сил и о подготовке нового восстания. БКП обратилась к БЗНС, БРСДП (широких), Союзу ремесленников и другим демократическим организациям с призывом к совместным действиям против фашистской диктатуры. Единый фронт, однако, был осуществлен только с БЗНС.

Правительство Цанкова решило предупредить восстание. 12 сентября оно произвело массовые аресты коммунистов. В ответ БКП назначила на 14 сентября всеобщую забастовку, но вследствие недостаточной организованности и отсутствия единства в руководстве забастовка не получила повсеместного распространения и была прекращена. 19 сентября в Старозагорском округе вспыхнуло преждевременное стихийное народное восстание, что поставило партию перед необходимостью принять решение об объявлении восстания во всей стране, которое и было назначено в ночь с 22-го на 23 сентября. Восстание охватило значительную часть страны, но из-за предательства и ареста Военно-Революционного Комитета, руководившего восстанием, выступление в Софии было сорвано, не поднялись на восстание Варна, Бургас, Пловдив, Плевен и ряд других крупных городов. В округах, околиях и городах, захваченных повстанцами, была установлена рабоче-крестьянская власть.

Восстание правительству удалось подавить, после чего начался разгул фашистского террора, стоившего многих тысяч

---

[67] В. Хаджиколов. Помощта на българския народ за пострадалите от глада в Поволжието през 1921 г. «Исторически преглед», 1952, № 3.

[68] И. Митев. Фашисткият преврат на 9 юни 1923 г. и Юнското антифашистко въстание. София, 1956.

жизней болгарских коммунистов, рабочих и крестьян, сотен сожженных и разграбленных деревень [69]. Сентябрьское восстание явилось попыткой практического осуществления в Болгарии идей Октябрьской революции и одним из первых народных антифашистских выступлений. Оно потерпело поражение, но послужило в будущем уроком для болгарских борцов против фашизма [70].

3. Славянские революционеры-интернационалисты в Октябрьской революции и в борьбе за Советскую власть в России

Большое значение имело как для Советской республики, так и для стран Восточной и Юго-Восточной Европы участие в Октябрьской революции и в борьбе за упрочение Советской власти многих тысяч зарубежных интернационалистов — бывших военнопленных, эмигрантов и польских беженцев. По некоторым данным, в интернациональных частях Красной Армии состояло 30—35 тыс. человек, преимущественно из славянских стран [71]. Но, по-видимому, сведения эти далеко не полные.

В революционной России интернационалисты проходили практическую школу классовой борьбы, вырастая в пролетарских борцов, игравших большую роль в дальнейшем на своей родине. Поэтому буржуазные правительства считали огулом всех возвращавшихся из России «зараженными большевизмом», старались не пропускать их в родную страну и подвергали всяческим репрессиям [72].

Особенно большую роль в революционной борьбе в России играли поляки (военнопленные, беженцы, эмигранты, ссыльные и из коренного населения Белоруссии и Украины).

После свержения царизма польские революционеры, преимущественно члены СДКПиЛ и ППС-левицы, создают в России многочисленные организации и входят в связь с партией большевиков. Виднейшие деятели польского революционного рабочего движения — Ф. Дзержинский, Б. Весоловский, Ст. Пестковский, Ю. Лешиньский (Ленский), Ю. Унплихт, Я. Долецкий и др.— принимали непосредственное участие в Октябрьском восстании, а 10 поляков являлись делегатами II Всероссийского съезда Советов, декларировавшего переход власти в руки Советов [73].

---

[69] Д. Косев. Септемврийското въстание 1923 г. София, 1954.

[70] Христо Христов. Великая Октябрьская социалистическая революция и рабочее движение в Болгарии (1917—1944). «Советское славяноведение», 1967, № 4.

[71] И. Очак. Из истории участия югославян в борьбе за победу Советской власти (1917—1921 гг.). «Октябрьская революция и зарубежные славянские народы», стр. 319.

[72] «Документы и материалы...», т. I, стр. 416—417.

[73] «Второй Всероссийский съезд Советов». М.—Л., 1928, стр. 171.

В вооруженном восстании в Москве видную роль играли Ст. Бобиньский, С. Моравский, С. Будзиньский и др.

Польские интернационалисты приветствовали установление Советской власти в России и на многих митингах высказывались за необходимость всемерной поддержки ее [74]. На одном из митингов (в Саратове, 10 декабря 1917 г.) солдаты-поляки вынесли такую резолюцию: «Мы, солдаты-поляки, заявляем, что будем словом и оружием бороться рука об руку и плечом к плечу с революционной демократией России против контрреволюции, с какой бы стороны она ни появилась (с русской или польской), мы считаем сейчас долгом каждого солдата-поляка стать в ряды русских товарищей под общее знамя Интернационала для укрепления сил революции...»[75].

Действительно, когда русская контрреволюция и иностранные интервенты начинают борьбу против Советского государства, большое количество поляков вступает в Красную Армию, они создают свои национальные отряды, дружины, батальоны, полки и даже соединения, вроде Западной стрелковой дивизии, выросшей до размеров армейской группы [76]. Решающую роль в привлечении поляков, находившихся в России, на сторону Советской власти и к защите ее против белогвардейцев и интервентов сыграли образовавшиеся во многих городах группы СДКПиЛ и ППС-левицы. Представитель польского националистического «Демократического союза» в Петербурге Зябицкий в декабре 1917 г. доносил Регентскому совету Польши, что «польский социалистический лагерь пошел за большевизмом», что «значение этого лагеря после переворота несомненно возросло, так как он фактически принял на себя руководство наиболее важными польскими делами» [77]. Действительно, польские социалисты в России являлись представителями всего польского населения в сношениях с Советским правительством и польскими властями. Но главными своими задачами они считали: а) борьбу с польскими националистами всех мастей, начиная с ППС-фракции и кончая крайне правыми, и б) мобилизацию поляков на защиту власти трудящихся в России. Первая Всероссийская конференция групп СДКПиЛ, состоявшаяся в Петрограде 2—4 (15—17) января 1918 г., приветствовала Октябрьскую революцию и заявила о поддержке Советского правительства [78]. II Конференция групп СДКПиЛ в России, проходив-

---

[74] «Документы и материалы...», т. I, стр. 164, 187, 191, 192, 194—196 и др.

[75] Там же, стр. 195.

[76] Там же, т. II, стр. 28, 29, 33, 69, 79, 109, 225 и др.; А. Я. Манусевич. Польские социал-демократические и другие революционные группы в России в борьбе за победу и упрочение Советской власти (октябрь 1917 — январь 1918 г.). «Из истории польского рабочего движения», стр. 162, 171, 179 и др.

[77] «Документы и материалы...», т. I, стр. 204.

[78] А. Я. Манусевич. Указ. соч., стр. 183—188.

шая 12—14 мая 1918 г. в Москве, призвала «все группы... защищать революцию от деморализующего влияния националистического милитаризма (...) и развернуть энергичную агитацию среди польских беженцев и солдат за вступление в Красную Армию, а также развернуть энергичную работу по углублению революционной сознательности польских солдат» [79]. Вместе с СДКПиЛ в защиту пролетарской революции в России, хотя и с некоторыми колебаниями, выступила и другая польская революционная рабочая партия — ППС-левица. На конференции групп этой партии в России, состоявшейся в Москве в начале марта 1918 г., было принято обращение к пролетариям всего мира, призывающее встать на защиту Октябрьской революции. Этот призыв адресовался и польским трудящимся. «И ты, польский пролетарий и крестьянин, боровшийся всегда в первых рядах Интернационала, встань на борьбу, защищая знамя международной революции, которая принесет нам независимую демократическую республику и освободит от классового гнета» [80].

Совместная борьба СДКПиЛ и ППС-левицы объективно выдвигала задачи объединения этих партий, ставила вопрос о необходимости теснейшей связи с Российской Коммунистической партией (большевиков). III конференция групп СДКПиЛ, состоявшаяся в Москве 11—12 ноября 1918 г., приветствовала идею объединения с ППС-левицей, но решение этого вопроса передала на рассмотрение Главного правления партии в Варшаве. После I объединенного съезда СДКПиЛ и ППС-левицы в Варшаве начали объединяться и их группы в России, образовывая организации КРПП во главе с Центральным Исполнительным комитетом партии. Поскольку группы КРПП признавали себя частью РКП (б), VIII съезд партии решил, что все они должны войти в состав местных организаций РКП(б) на правах национальных польских секций, а для руководства их деятельностью создал Польское бюро при ЦК РКП(б) в составе Ю. Мархлевского, Ф. Кона, С. Бобиньского, Я. Долецкого и др. Теперь деятельность польских коммунистов настолько тесно увязывалась с работой партийных и советских организаций РСФСР, что многие польские коммунисты, например Ф. Дзержинский, Ю. Уншлихт, Ю. Лещиньский (Ленский), Б. Весоловский, А. Ганецкий (Фюрстенберг) и др., стали видными деятелями РКП(б) и Советского государства.

Существование групп КРПП в России имело особенно большое значение в 1920 г., во время польско-советской войны. Группы вели пропагандистскую работу среди польского населения, среди пленных и солдат польской армии, разоблачая захватнические цели польских помещиков и буржуазии и воспитывая поляков в духе интернационализма и солидарности с трудящимися Советской России и всего мира.

---

[79] «Trybuna», 30, 31 V 1918.

[80] «Документы и материалы...», т. I, стр. 327—328.

Вскоре после победы Октябрьской революции началось формирование польских революционных воинских подразделений для борьбы с врагами Советской республики. В конце 1917 г. был создан революционный польский батальон в Минске, вскоре направленный для борьбы против контрреволюционной украинской Центральной рады. Затем формирование революционных польских отрядов, вошедших в состав регулярной Красной Армии, происходит в Москве. В марте 1918 г. началось формирование 1-го Революционного Красного Варшавского полка, позднее был сформирован 2-й Революционный Люблинский полк. В июне 1918 г. были сформированы 1-й Польский пехотный полк и Мазовецкий полк уланов.

Личный состав этих польских воинских формирований состоял из польских солдат-добровольцев, служивших в русской армии, из бывших военнопленных, а также рабочих и крестьян, находившихся в России в качестве беженцев.

В августе 1918 г. было принято решение о создании Западной стрелковой дивизии, в состав которой были включены основные польские воинские формирования. В дивизию вошли: 1-й Революционный Красный Варшавский полк, 2-й Революционный Люблинский полк, Варшавский полк гусаров, 3-й Седлецкий полк, Мазовецкий полк уланов.

Уже весной 1918 г. в связи с усилением активности врагов Советской власти польские революционные формирования принимают участие в вооруженном подавлении контрреволюционных сил. В подавлении вспыхнувшего в июле 1918 г. контрреволюционного мятежа в Ярославле принимал участие батальон Революционного Красного Варшавского полка под командованием В. Филяновича. Под Казанью в борьбе против мятежного чехословацкого корпуса участвовали два эскадрона польских уланов под командованием Цесолкевича. В августе 1918 г. Революционный Красный Варшавский полк был направлен на Южный фронт для борьбы против банд генерала Краснова. Перед отправкой полка на фронт на общеполковом митинге с речью выступил В. И. Ленин. «Вам выпала великая честь,— сказал В. И. Ленин,— с оружием в руках защищать святые идеи и, борясь вместе с вчерашним врагом по фронту — германцами, австрийцами, мадьярами, на деле осуществлять интернациональное братство народов.

И я, товарищи, уверен, что если вы сплотите все военные силы в могучую интернациональную Красную Армию и двинете эти железные батальоны против эксплуататоров, против насильников, против черной сотни всего мира с боевым лозунгом: «Смерть или победа!» — то против нас не устоит никакая сила империалистов!» [81].

---

[81] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 37, стр. 26.

Польские коммунисты принимали участие в борьбе с пилсудчиками, в укреплении тыла Красной Армии. К этому времени в РКП(б) состояло 18 тыс. поляков, из которых 5700 человек вело работу на фронте [82]. Деятельное участие революционных интернационалистов, в частности поляков, в Октябрьской революции и в войне против русских белогвардейцев и иностранных интервентов (в том числе пилсудчиков) много способствовало победам Советской власти и в еще большей степени содействовало обогащению польского революционного движения опытом великой борьбы за социализм в России, укрепляло русско-польский революционный союз.

Участвовали в борьбе за победу Советской власти в России и югославские революционные интернационалисты. В России было много не только военнопленных югославян, но и бежавших в Россию из Сербии после ее оккупации Австрией. До вступления в войну Болгарии южных славян направляли на сербский фронт, а затем в России был создан Югославский добровольческий корпус под командованием сербских королевских офицеров.

После Февральской революции в России солдаты Югославского корпуса потребовали установления в корпусе тех же порядков, что и в русской армии, в частности права создавать солдатские комитеты. В знак протеста против жестокого обращения с ними офицеров солдаты начали покидать корпус. В 1917 г. из него ушло 12 тыс. человек [83]. Некоторые из них вступали в Красную Армию, а чаще создавались отдельные югославские (или только сербские) революционные отряды, выступавшие в защиту завоеваний Октября. В конце 1917 г. несколько таких отрядов образовалось на Украине, в том числе прославленный отряд Олеко Дундича. В феврале 1918 г. большой югославский отряд Красной Армии (600—700 человек) был сформирован в Одессе, а позже возникли такие же отряды в Самаре, Саратове, Царицыне, Казани, Астрахани и многих других городах. Летом 1918 г. из ряда отдельных югославских отрядов в Царицыне был сформирован 1-й Югославский коммунистический полк. Этот полк, как и другие югославские отряды, самоотверженно сражался против белогвардейцев под Царицыном, Черным Яром, Астраханью и т. д., многие его бойцы отдали свою жизнь за Советскую власть. На станции Лог и на р. Иловле героически погибла целая рота выходцев из южнославянских стран (150 человек) [84].

---

[82] Р. Ермолаева. Агитационно-пропагандистская деятельность коммунистов-поляков в период польско-советской войны 1920 г. «Из истории польского рабочего движения», стр. 314.

[83] «Југословенски добровољачки корпус у Русији». Београд, 1954, стр. 147.

[84] И. Очак. Из истории участия югославян в борьбе за победу Советской власти. «Октябрьская революция и зарубежные славянские народы», стр. 307

Около 2500 югославян служили в Красной Армии в Сибири: воевали с колчаковцами, вели пропаганду в югославских частях, сражавшихся на стороне Колчака. В феврале 1920 г. член Реввоенсовета 5-й армии Смирнов писал Югославянской коммунистической секции при ЦК РКП(б): «Сообщаю, что под руководством коммунистов-югославян на нашу сторону перешли два югославянских батальона с бронепоездами» [85].

Кроме военных формирований, в Советской России возникают политические организации югославян. В начале 1918 г. была образована в Москве Югославянская революционная организация, выступившая за объединение всех югославянских народов в единое демократическое государство с автономными правами каждого народа, за установление тесных связей с Советской Россией. Федерация издавала в Петрограде свою газету «Слобода». В мае 1918 г. в Москве оформилась югославянская коммунистическая группа, призывавшая всех южных славян к защите Советской власти в России и к вступлению в ряды Красной Армии. Подобные же группы образовались затем в Петрограде, Царицыне, Саратове, Киеве, Одессе, Екатеринославе, Астрахани и многих других городах Центральной России, Украины, Сибири и Средней Азии.

Центральная югославянская группа издавала в 1918 г. в Москве на сербско-хорватском языке газету «Революция». Позже киевская группа издавала газету «Югославянский революционер», иркутская — газету «Коммуна», а ташкентская — «Красный флаг». Издавались на сербско-хорватском и других югославянских языках отдельные произведения В. И. Ленина и различные пропагандистские брошюры.

Поддержка, оказанная югославянскими интернационалистами большевикам в укреплении Советской власти, их участие в гражданской войне много способствовали росту революционной и классовой сознательности югославянских интернационалистов. Уезжая на родину Югославянская коммунистическая группа писала РКП(б): «...Мы благодарим вас за великую науку, которую от вас получили, за вашу солидарную поддержку, через которую и мы приобрели возможность продолжать начатое вами великое дело(...). С тем опытом и той наукой, которую вы нам дали, мы возвращаемся и восклицаем: Да здравствует свободная коммунистическая Россия! Да здравствует всемирный коммунистический союз во главе с нашим великим вождем Владимиром Ильичем Лениным!» [86]

В 1917 г. в России находилось много тысяч военнопленных чехов и словаков. Из них в свое время русское правительство

---

[85] Там же, стр. 312, 316.

[86] И. Очак. Из истории участия югославян в борьбе за победу Советской власти. «Октябрьская революция и зарубежные славянские народы», стр. 326—327.

создало даже целый корпус для использования его в войне против Германии. Октябрьская революция расколола и без того весьма непрочное единство чехословацкого корпуса. Офицерство и часть солдат-националистов объявили себя противниками Октябрьской революции, другая часть офицеров и солдат предлагала оставаться на нейтральных позициях, но значительное число солдат и унтер-офицеров (среди них было много левых социал-демократов и рабочих) решительно стало на позиции поддержки Советской власти. Революционно настроенные чехи и словаки сблизились с большевиками, влились особыми отрядами или вошли индивидуально в части Красной Армии и беззаветно сражались против русских белогвардейцев и иностранных интервентов на фронтах гражданской войны, отстаивая завоевания Октября [87].

Всех не пожелавших поддержать Советскую власть было решено эвакуировать в Западную Европу через Владивосток и, несмотря на транспортные затруднения, им были предоставлены эшелоны, растянувшиеся почти по всей Транссибирской магистрали. Агентам Антанты, стремившимся любыми средствами подавить русскую революцию и избежать распространения революционного пролетарского движения на Запад, удалось спровоцировать мятеж чехословацкого корпуса против Советской власти. Мятеж вспыхнул 25 мая 1918 г., и скоро вся Сибирь оказалась отрезанной от Центральной России, а затем началось наступление на Запад — на Волгу. Восстание не преследовало национальных интересов чешского и словацкого народов и было даже не в интересах самих эвакуируемых.

Молодой, только еще создающейся Красной Армии пришлось напрячь все силы, чтобы справиться с чехословацким мятежом и хотя он был подавлен, осколки корпуса позже продолжали борьбу с Советской властью в армии Колчака [88].

Интересно отметить, что почти одновременно с началом мятежа — 26—29 мая 1918 г. в Москве состоялся съезд делегатов чехословацких коммунистических групп, представлявших 7450 членов. Чехословацкие коммунистические группы стали создаваться с начала 1918 г. Центром их явилась Пенза, где местная коммунистическая группа издавала газету «Ческословенска Руда Армада», призывавшую к поддержке Советской власти и вступлению в ряды Красной Армии. Съезд образовал Чехословацкую коммунистическую секцию РКП(б) («Чехословацкую коммунистическую партию в России»), объединившую в своих рядах передовую часть военнопленных чехов и словаков. Чехословацкие

---

[87] И. Кршижек. Славные боевые традиции чехословацких красноармейцев. Пенза, 1958; П. А. Голуб. Братство, скрепленное кровью. М., 1958.

[88] А. Х. Клеванский. Чехословацкие интернационалисты и проданный корпус. М., 1965.

коммунисты вели широкую разъяснительную работу в националистическом Чехословацком корпусе, особенно в период мятежа против Советской власти и после подавления этого восстания. Они агитировали малосознательных или просто обманутых солдат корпуса за вступление в ряды Красной Армии, за участие в борьбе на стороне русских рабочих и крестьян. Признавая Советскую Россию оплотом международной революции, чехословацкие коммунисты считали своим долгом всеми силами защищать ее от нападения белогвардейцев и иностранных интервентов.

Революционный отряд чехословаков принимал участие в боях с немцами под Псковом и Нарвой в феврале 1918 г. Другие отряды сражались с немцами и петлюровцами на Украине, многие участвовали в действиях частей Красной Армии против войск Колчака, в том числе и против чехословацких частей, входивших в колчаковскую армию. Чехословацкие интернационалисты сыграли большую роль в боях с Деникиным и на других фронтах гражданской войны [89]. Всего в составе Красной Армии сражалось более 10 тыс. чехов и словаков [90]. Особенно среди них отличились Ю. Хораз, Ф. Коза, Ф. Каплан, Я. Водичка, С. Частек, Я. Штромбах, Э. Кужело, В. Почандо и многие сотни других. Большинство их, вернувшись на родину, играло видную роль в революционном движении и сопротивлении антисоветскому курсу правительств Чехословакии, как буржуазных, так и социал-демократических.

Добившись независимости, Чехословакия стремилась получить от великих держав гарантию неприкосновенности своих границ и суверенитета; с этой целью она вошла в сферу французской политики и присоединилась к антисоветскому блоку. О прямой интервенции чехословацкой армии в Советскую Россию не могло быть и речи, поскольку движение солидарности с русской революцией было очень широким, да и сама чехословацкая армия была еще слаба. Правда, некоторая часть чешской буржуазии была заинтересована в ослаблении России, полагая, что это позволит ей играть известную роль в странах западных и южных славян. Чешские правые социал-демократы, с одной стороны, боялись восстановления царизма в России, что привело бы к реакционному повороту не только в России, но и в Европе, с другой — опасались распространения пролетарской революции и на Чехословакию. Поэтому пражские правители ограничивались лишь содействием Антанте, а во время советско-польской войны, несмотря на нажим западных держав, объявили о нейтралитете Чехословакии. Что касается левых социал-демократов

---

[89] J. Veselý. Česi a Slovaci v revolučním Rusku 1917—1920. Praha, 1954, str. 78—79.

[90] И. Веселы. Основание коммунистической партии в Чехословакии. «Сб. докладов». М., 1951, стр. 76.

и рабочих, то они решительно выступали против всякой помощи интервентам в России, разоблачали клевету на Советскую республику и требовали оказания поддержки русскому пролетариату. В общем, можно сказать, что чехословацкие рабочие и левые социал-демократы действовали так же, как и их товарищи-интернационалисты в России.

Участвовали в защите Советской власти от белогвардейцев и иностранных интервентов также и болгарские интернационалисты из числа переселенцев, эмигрантов и военнопленных. Многие из них принимали участие в Октябрьской революции [91] и затем образовали в Петрограде коммунистическую группу [92]. Особенно велика была роль болгарских интернационалистов на юге — в Одессе и Крыму [93], где тысячи болгарских интернационалистов сражались против иностранных интервентов, врангелевцев и прочих врагов пролетарской власти в России [94].

Помимо болгарских интернационалистов в России, в защиту Октябрьской революции и ее завоеваний выступали трудящиеся Болгарии под руководством БКП. Они протестовали против антисоветской интервенции стран Антанты, против их попыток вовлечь в эту авантюру Болгарию, против любой поддержки белогвардейцев и интервентов. Портовики отказывались грузить и отправлять оружие, посылаемое белогвардейским армиям, задерживали отправку подкреплений интервентам. Коммунисты вели пропаганду среди русских пленных, которых белогвардейцы вербовали в свои части, вели работу среди солдат Антанты, направлявшихся в Россию, распространяли революционную литературу на иностранных языках и даже провозили ее в Одессу и другие города, оккупированные интервентами. Деятельность болгарских коммунистов содействовала разложению войск интервентов и создавала затруднения белогвардейцам, а тем самым помогала разгрому их Красной Армией [95].

---

[91] М. А. Бирман. Към въпроса за участието на българи във Великата Октомврийска социалистическа и гражданската война. «Исторически преглед», 1957, кн. 6.

[92] М. А. Бирман. К истории возникновения Болгарской коммунистической группы в Петрограде. «Интернационалисты в боях за Советскую власть». М., 1965.

[93] Д. Тишев и П. Панайотов. Революцийна дейност на българи в г. Одеса през 1917. «Исторически преглед», 1957, кн. 5; Г. И. Чернявски и Д. Даскалов. Борбата на БКП против врангелистския заговор. София, 1964.

[94] Д. Тишев и П. Панайотов. Указ. соч., стр. 72.

[95] Ц. Николов. Дейноста на БКП в защита на Съветска Русия 1917—1920 г. София, 1960; Д. Косев. Борбата на българския трудов народ под руководството на БКП (т. с.) в защита на Съветска Русия през 1919—1920 г. «Исторически преглед», 1954, кн. 5; Х. Катев. В рядах борцов за победу революции. «Советское славяноведение», 1967, № 1, стр. 51—55.

4. Октябрьская революция и образование социалистических республик в славянских странах

Октябрьская революция и участие в борьбе за Советскую власть в России многих тысяч западных и южных славян оказало решающее влияние на всю послеоктябрьскую историю Польши, Чехословакии, Югославии и Болгарии[96].

Победа Октябрьской революции сделала невозможным сохранение чужеземного господства в славянских странах и создала условия для образования там независимых государств. Под влиянием Октябрьской революции в России значительно выросло и революционизировалось рабочее и крестьянское движение в этих странах, непрерывно оказывавшее давление на буржуазные правительства данных стран.

Победа русского пролетариата и трудового крестьянства в Октябрьской революции и гражданской войне под руководством партии большевиков ускорила выделение в славянских социал-демократических партиях левого крыла, образование национальных коммунистических партий, усилила их влияние на массы.

Совместная борьба славянских интернационалистов и рабочих и крестьян России за победу Октябрьской революции, совместно пролитая ими кровь сцементировали ставший традиционным союз революционных сил славянских зарубежных народов с трудящимися страны Советов.

После революционного подъема в славянских странах, вызванного Октябрьской революцией, наступает период отлива революционной волны. В этот период влияние идей Октября на славянские и другие народы укрепляется примером роста социалистического строительства в СССР, усиления его мощи и международного авторитета.

В связи с приходом к власти в Германии фашизма и угрозой нападения гитлеровцев на соседние страны, Советское правительство предложило заинтересованным государствам принять меры коллективной безопасности против гитлеровской агрессии, но на этот призыв откликнулась только Чехословакия, заключившая в 1935 г. договор о союзе и взаимной помощи. Однако и она не установила должного сотрудничества с Советским правительством, предпочитая подчиниться диктату западных держав, которые привели ее сначала к мюнхенской трагедии, а затем к

---

[96] Подробно об этом, кроме указанной уже литературы, см.: «Интернационалисты в боях за власть Советов». М., 1965; А. Я. Манусевич. Польские интернационалисты в борьбе за победу Советской власти в России. М., 1965; М. Д. Очак. Югославянские интернационалисты в борьбе за победу Советской власти в России. М., 1966; А. Ф. Хацкевич. Польские интернационалисты в борьбе за власть Советов в Белоруссии. Минск, 1967; «Интернационалисты». М., 1967; С. М. Стецкевич. Рабочее движение в Польше в 1918—1919 годах. Л., 1966; Я. Б. Шмераль. Образование Чехословацкой республики в 1918 г. М., 1967.

оккупации ее гитлеровскими войсками. Югославия пошла на соглашение с Советским Союзом лишь за несколько часов до оккупации, а польское правительство отклонило предложение СССР о совместной защите против фашистской Германии даже в то время, когда гитлеровцы открыто заявляли, что очередной их задачей является захват Польши. В результате антинациональной политики правящих клик славянских стран эти государства потеряли независимость и оказались под пятой немецко-фашистских оккупантов, а народы их подверглись угрозе полного физического уничтожения.

Народы славянских государств под руководством коммунистических партий в межвоенный период боролись со своими реакционными правительствами за демократизацию, за прогрессивные реформы, за установление дружеских отношений с Советским Союзом, гарантирующих от империалистической агрессии [97]. Когда же из-за предательской политики реакционных правителей славянские страны стали жертвой фашистской агрессии, народы этих стран, сплоченные коммунистами в единый антифашистский фронт, оказали решительное сопротивление оккупантам, которое особенно усилилось после нападения гитлеровской Германии на Советский Союз. Поэтому, когда Советская Армия при содействии союзников по антигитлеровской коалиции разгромила немецко-фашистских захватчиков, силы сопротивления в славянских странах установили у себя народно-демократический строй и пошли по пути социалистического развития. В результате этого возникла мировая социалистическая система, названная Т. Живковым «детищем Великого Октября» [98].

Народно-демократические и социалистические революции в зарубежных славянских странах и других государствах Центральной и Юго-Восточной Европы, приведшие к установлению там народно-демократического, а затем и социалистического строя, явились прямым продолжением Октябрьской революции, они знаменовали новый этап в мировом революционном процессе. Они нанесли новый мощный удар по империализму, открыли перед этими странами путь к социалистическому развитию.

Народно-демократические и социалистические революции, совершившиеся в зарубежных славянских странах, венчали собой многолетнюю борьбу народов Болгарии, Польши, Югославии, Чехословакии за подлинную национальную независимость и социальное освобождение. Революционные преобразования в зарубежных славянских странах, осуществляемые в результате победы революции, были прямым итогом всей предшествующей революционной борьбы трудящихся. Победа революции была

---

[97] Л. Б. Валев. Болгарский народ в борьбе против фашизма (накануне и в начале второй мировой войны). М., 1964.

[98] «Правда», 30 сентября 1967.

обусловлена в первую очередь внутренними процессами, теми общественными сдвигами, которые произошли там в годы второй мировой войны, резким размежеванием между трудящимися массами, решительно выступившими в защиту национальной независимости, свободы, демократии и социальной справедливости, и буржуазной реакцией, предавшей национальные интересы своих стран.

Разумеется, было бы неправильно рассматривать революции в славянских и других восточноевропейских странах как нечто изолированное, самодовлеющее, целиком связанное лишь с внутренними условиями этих стран. Конечно, дело не в том, что необходим всесторонний учет внешнего фактора, оказывающего естественное влияние на ход революционного процесса в той или иной стране. В данном случае речь идет о явлении несравненно большем, нежели внешний фактор в обычном смысле слова.

Великая Октябрьская социалистическая революция и вся сумма связанных с нею исторических изменений стали как бы составной частью революционного развития зарубежных славянских стран и других государств Центральной и Юго-Восточной Европы. Совершившиеся здесь революции вместе с тем в огромной мере явились своеобразным результатом воздействия Октябрьской революции и созданных ею новых исторических условий. Воздействие Октябрьской революции проявилось самым различным образом во всех сторонах революционного процесса в Болгарии, Польше, Югославии, Чехословакии и других восточноевропейских странах. Оно оказалось важнейшим элементом победивших там революций, без серьезного учета и понимания которого невозможно понять смысла революционных событий, происшедших в славянских странах в годы второй мировой войны.

Говоря о связи Великой Октябрьской революции с народно-демократическими и социалистическими революциями в Болгарии, Югославии, Чехословакии, Польше, отметим здесь по крайней мере два особенно существенных, как нам представляется, момента.

Прежде всего необходимо подчеркнуть огромное идейно-теоретическое влияние опыта Октября, всего исторического опыта большевизма на коммунистические и рабочие партии зарубежных славянских стран, как и других государств Центральной и Юго-Восточной Европы. В сложной обстановке второй мировой войны и первых послевоенных лет, отличавшейся резкими переменами в политических, национально-государственных, экономических и иных условиях жизни народов этих стран, идейное наследие русской революции сыграло чрезвычайно важную роль при выработке и осуществлении чехословацкими, югославскими, болгарскими, польскими коммунистами динамичной и гибкой революционной линии, отвечавшей реальным историческим условиям и национальной специфике этих стран.

Творческое осмысление, применение и дальнейшее развитие опыта Великой Октябрьской революции и большевистской партии в соединении со своим собственным опытом и конкретной практикой революционной борьбы позволили компартиям зарубежных славянских стран выдвинуть в тяжелую годину национальной катастрофы и фашистского порабощения такую политическую платформу, которая открывала единственно возможный путь подлинного освобождения, органически сочетая национально-освободительные цели с задачами перестройки общества на глубоко демократических и в конечном счете социалистических принципах. Огромную роль сыграла здесь, несомненно, ленинская теория перерастания демократической революции в социалистическую в рамках единого революционного процесса. Она легла в основу всей главной стратегической концепции коммунистических партий зарубежных славянских и других восточноевропейских стран о достижении конечных социалистических целей через последовательное осуществление радикальных революционно-демократических преобразований в политической и экономической сферах, доведя эти преобразования до той крайней точки, когда их дальнейшее углубление выходит в итоге за собственно демократические рамки и перерастает таким образом непосредственно в социалистическое переустройство общества.

Выдвинутая на этой основе коммунистическими партиями антифашистская, освободительная, революционно-демократическая платформа сделала возможным сплочение самых широких общественных слоев в общем потоке революционного движения. Она привела к образованию мощных национальных, народных, отечественных фронтов, объединивших в своих рядах все подлинно демократические и патриотические элементы. Коммунисты, выступившие инициаторами создания таких организаций и заложившие их основы, стали главной силой национального демократического возрождения в Болгарии, Польше, Чехословакии, Югославии. В этих условиях освобождение зарубежных славянских стран привело не к восстановлению довоенных буржуазных порядков, а к установлению там новой народной революционно-демократической власти. Осуществляя глубокие общественные преобразования, приобретавшие все более ярко выраженный антикапиталистический характер, народно-демократическая власть, руководимая рабочим классом и его революционной партией, стала постепенно осуществлять функции диктатуры пролетариата, приведя таким образом народы зарубежных славянских стран на путь социализма.

Однако значение Великого Октября в развертывании и победе народно-демократических и социалистических революций в зарубежных славянских странах и других странах Центральной и Юго-Восточной Европы отнюдь не ограничилось лишь сферой

идейного и морального влияния. Важнейшая сторона неразрывной связи этих революций с Октябрем коренится в том, что исторические условия, в которых они выросли и смогли победить, в огромнейшей мере были определены Октябрьской революцией и существованием созданного ею первого государства рабочих и крестьян.

Уже к началу 40-х годов само существование СССР стало одним из наиболее влиятельных факторов международного развития. Он стал ведущей силой в борьбе против гитлеровской Германии и ее сообщников по «оси», сыграл решающую роль в разгроме фашистского блока. Именно в этих обстоятельствах стало возможным развертывание и победа народно-демократических и социалистических революций в зарубежных славянских странах и других государствах Центральной и Юго-Восточной Европы.

Очень важной была и экономическая помощь СССР зарубежным славянским и другим народно-демократическим государствам на завершающем этапе войны и в первые послевоенные годы. Она сыграла значительную роль в облегчении тяжелого экономического положения этих стран, в восстановлении их хозяйства, парализовала экономическое давление, а затем форменную блокаду со стороны Запада, серьезно способствуя тем самым успешному развитию и победе революций, укреплению народно-демократического строя.

Таким образом, именно новые исторические условия, связанные с победой Великого Октября, с превращением рожденного им Советского государства в мощный фактор международного развития в огромной степени сделали возможным успешное развертывание народно-демократических и социалистических революций в Болгарии, Польше, Чехословакии, Югославии. Эти условия явились сильнейшим ускорителем революционного процесса в Центральной и Юго-Восточной Европе, сыграли первостепенную роль в ликвидации контрреволюционной угрозы со стороны международного империализма и внутренней реакции, стали важнейшим фактором решительной победы народной демократии, исторического поворота зарубежных славянских и других восточноевропейских стран на путь социализма.

С. А. Никитин

ОБЩИЕ ЧЕРТЫ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ СЛАВЯНСКИХ НАЦИЙ В XIX в. (преимущественно на южнославянском материале)

Дискуссия по вопросу о нации, идущая в СССР уже около пяти лет [1], прошедшая в 1966 г. в Польше [2], литература, появившаяся и продолжающая появляться в ряде южнославянских стран [3], свидетельствуют о том, что потребность в изучении возникновения и развития нации велика, что решение соответствующего круга проблем представляет важную задачу марксистской науки.

Автор настоящего доклада не претендует на сколько-нибудь широкое освещение вопроса, не собирается он предложить и новое определение нации. В его задачу входит взглянуть на то,

---

[1] См., в частности: П. М. Рогачев, М. А. Свердлин. О понятии нации. «Вопросы истории», 1966, № 1; М. А. Джунусов. Нация как социально-этническая общность людей. «Вопросы истории», 1966, № 4; С. Т. Калтахчян. К вопросу о понятии «нация». «Вопросы истории», 1966, № 6; В. И. Козлов. Некоторые проблемы теории нации. «Вопросы истории», 1967, № 1; Н. А. Тавакалян. Некоторые вопросы понятия «нация». «Вопросы истории», 1967, № 2; А. А. Лащук. О формах донациональных этнических связей. «Вопросы истории», 1967, № 4; И. П. Памерян. Актуальные вопросы марксистско-ленинской теории нации. «Вопросы истории», 1967, № 6. Дискуссия продолжается.

[2] «Z pola walki», 1966, № 3.

[3] Edvard Kardelj Sperans. Razvoj slovenačkog nacionalnog pitanja. Drugo izd. Beograd. s. a.; Драган Ташковски. Ратањето на македонската нација. Скопје, 1966; В. Паскалева. За началния етап в образоването на българската нация. «Исторически преглед», 1962, № 6; она же. Развитие на градското стопанство и генезис на българската буржуазия през XVIII в. «Паисий Хилендарски и неговата скопа». София, 1962; она же. За някои особенности и фактори в образуването на българската нация през първата половина на XIX в. «Известия на Института за история», т. 16, 17. София, 1966; B. Đurđev. Osnovna istorijsko-etnička pitanja u razvitku južnoslovenskih naroda do obrazovanja nacija. «Pregled». Sarajevo, 1960, № 7—8; B. Grafenauer. Zgodovina slovenskega naroda, zv. V. Ljubljana, 1962; F. Zwitter, J. Sidak, V. Bogdanov. Nacionalni problemi v habsburški monarhiji. Ljubljana, 1962; D. Djordjević. Revolutions nationales des peuples balkaniques. 1804—1914. Beograd, 1965.

как признаки, всегда считавшиеся основными для нации, проявляют себя в историческом развитии.

Представляется удобным начать с вопроса о территориальной общности.

Понятие территориальной общности имеет два аспекта. Во-первых, это — этническая территория, т. е. та территория, которая в процессе предшествующей исторической жизни была занята и освоена народом.

Во-вторых, понятие территориальной общности содержит представление о единстве этой территории, так как только территориально-этническое единство обеспечивает последующее национальное развитие.

Иначе говоря, если этническая территория народа разорвана крупными включениями иного народа, которые отделяют части одного народа от других большими пространствами с инонациональным населением, территориальная общность не возникает.

Например, греческое население в Болгарии, разбросанное в массе болгарского народа, не обладало территориальной общностью, оно не могло сложиться и не сложилось в особую нацию и всегда считало себя частью греческого народа, несмотря на то, что историческая судьба этой группы греков была не тождественна судьбам греческой нации.

Территориальная общность есть явление историческое, складывающееся длительно и уходящее глубокими корнями во времена, предшествующие формированию нации. Для развития последней она является уже готовой предпосылкой, хотя различные пертурбационные факторы (войны и др.) могут оказывать здесь свое действие и в последующее время.

Так, первоначально существовавшая территориальная общность населения Мизии, Фракии и Македонии была разрушена границами, установленными Берлинским конгрессом. Нахождение этих земель в разных государствах видоизменило их экономическое, политическое и культурное развитие.

В литературе давно поставлен вопрос о связи этнических и государственных границ, о влиянии государственного или административного расчленения территориальной общности. Исторические факты свидетельствуют о том, что в этой сфере, во-первых, не действует какой-либо единый закон и что, во-вторых, влияние государственного расчленения неоднозначно. Об этом говорят приводимые ниже примеры.

Первый пример. Украинский народ и его территория были расчленены между Россией и Польшей, а затем Россией и Австрийской империей задолго до начала формирования украинской нации. У него не было к периоду вызревания нации экономической общности, так как экономически украинские территории составляли части экономической общности указанных многонациональных государств. Но имелась общность языка, культуры,

религии, существовало культурное общение и это укрепляло связи разорванных частей народа. Можем ли мы говорить что украинская нация не сложилась? Очевидно — нет.

Второй пример — Италия, где едва ли не основным вопросом в процессе складывания нации был вопрос о национальном объединении. Эту цель прежде всего преследовали освободительные войны итальянского народа. Очевидно, компактная масса единого народа особенно остро ощущала раздробленность страны между множеством феодальных княжеств и чужеземных владений. Борьба за объединение была в то же время борьбой за низвержение феодализма, за открытие пути широкому развитию капиталистических отношений и — тем самым — за завершение процесса национальной консолидации.

Иным было положение южнославянских народов. Словенский народ не имел своего государства, был разделен между смежными территориально-административными единицами Австрии. В Словении существовал только немецкий господствующий класс, части словенского народа в некоторых районах словенской этнической территории (Кочевье) были разъединены немецкими поселениями. Вопрос об административном объединении поднимался во время словенского национального движения, но оно не осуществлялось в течение длительного времени. В условиях такого территориально-административного разделения, не разрушавшего территориальной общности, сложилась словенская нация. Она продолжала оставаться угнетенной нацией, не имевшей ни государства, ни автономного устройства в составе Австро-Венгерской монархии. Но процесс формирования нации тем не менее совершался.

Можно указать на мнение болгарского историка В. Паскалевой, что административное разделение Болгарии внутри Османской империи не влияло на образование общности болгарского народа [4]. Сходным было и положение Хорватских земель. Хорватия и Славония входили в состав Венгрии, а Военная Граница, Истрия и Далмация являлись провинциями Австрии. Но это административное расчленение не помешало образованию нации.

Приведенные данные показывают, что расчленение территории формирующейся нации административными границами не разрушает территориальной общности и не препятствует складыванию нации. Там же, где нация расчленена государственными границами, воздействие политического и экономического разобщения иногда бывает значительнее.

Следует подчеркнуть: только конкретный анализ может выяснить значение этого фактора в процессе складывания каждой отдельной нации, причем его влияние должно рассматриваться во взаимодействии с другими.

---

[4] В. Паскалева. За началния етап..., стр. 45.

Другим основным моментом формирования нации является этническая общность. Отдельные племена стягиваются в единое целое в период формирования феодализма. Возникает то, что называют народностью.

Ряд интересных соображений привел недавно этнограф Лащук, привлекший материалы античного мира, Древнего Востока и некоторые другие. Он говорит: «В странах с этнически однородным составом населения устанавливались территориальные «национальные области» (по терминологии С. А. Токарева и Н. Н. Чебоксарова), которые при дальнейших успехах экономического и политического развития становились базой формирования народностей—непосредственных предшественников европейских наций. В таком аспекте народность феодальной формации вырисовывается не простым генетическим продолжением и расширением племенной общности, а качественно новой «преднациональной» этнической общностью» [5].

Таким образом, в этническом плане образование нации значительно уже подготовлено предшествующим развитием. Надо было бы точнее выяснить, чем отличается преднациональная этническая общность от нации. Это, очевидно, одна из тех задач, которые еще стоят перед историками и этнографами.

Нельзя не отметить еще одну сторону вопроса. Приведенная цитата говорит о случае развития в нацию этнически однородного населения. Там же, где смешано разноплеменное население, всегда возникает вопрос о том, кто кого ассимилирует, и формирование нации осложняется национальной борьбой сожительствующих этнических элементов.

Не являясь лингвистом, автор не может рассматривать проблему языка во всей широте. Важно лишь отметить разные в силу различия исторических условий обстоятельства развития единого языка наций (литературного). Значительная раздробленность словенского народа приводила на первом этапе национального развития к возрастанию значения областных языков («Краньский язык» Кумердея), и лишь позже (Е. Копитар) встала задача создания единого языка [6]. Может быть, в меньшей степени диалектные особенности проявили себя в Болгарии, где хотя и были попытки те или иные говоры положить в основу литературного языка, но всегда имелся в виду единый язык. Основа же, с которой продолжается развитие языка в период формирования нации, вырабатывается в той или иной степени еще в период феодализма, причем там, где в период феодализма литературным языком был славянский, а не латинский, процесс выработки национального языка протекает легче.

Нельзя не отметить и того, что основы национального культурного развития закладываются также в донациональную пору.

---

[5] П. А. Лащук. Указ. соч., стр. 90.
[6] E. Kardelj. Указ. соч., стр. 224—229.

Существуют в это время и наука, и литература, и искусство. Но в период феодализма они пронизаны конфессиональными чертами, и национальное возрождение всегда связывается с секуляризацией культуры, переходом от идеологии церковной, школы церковной, живописи церковной к светскому мышлению и к светской культуре.

В этом отношении очень характерна фигура Паисия Хилендарского, монаха, вспоминавшего, что в средневековой Болгарии были свои патриархи и святые, но звавшего к чисто светским целям, к осознанию своей национальности и национальной борьбе. Церковное прошлое Болгарии было здесь всего лишь аргументом, материалом, привлеченным Паисием для доказательства и мотивировки совсем других целей.

Закончить этот раздел можно следующим итогом. Территориальная общность, этническая и языковая, известный уровень культурного развития народа — все это исходные данные, без которых нельзя себе представить последующее формирование нации. Однако думается, что проблема сравнительного изучения этих сторон развития народа в донациональный и национальный период не снимается. Наоборот, для понимания существа и особенностей развития нации в этой пограничной области с донациональным необходимы серьезные исследования.

Как ни существенны рассмотренные стороны нации, формирование ее начинается и определяется прежде всего экономическим развитием. В. И. Ленин, говоря о России, указывал, что установление буржуазных связей и было установлением связей национальных [7].

Еще точнее он определяет роль капиталистического развития в другом месте, говоря о национальных движениях: «Экономическая основа этих движений состоит в том, что для полной победы товарного производства необходимо завоевание внутреннего рынка буржуазией, необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке, при устранении всяких препятствий развитию этого языка и закреплению его в литературе. Язык есть важнейшее средство человеческого общения; единство языка и беспрепятственное развитие есть одно из важнейших условий действительно свободного и широкого, соответствующего современному капитализму, торгового оборота, свободной и широкой группировки населения по всем отдельным классам, наконец — условие тесной связи рынка со всяким и каждым хозяином или хозяйчиком, продавцом и покупателем» [8].

Так как нация — категория капиталистической эпохи, то главное и определяющее в процессе складывания нации — это образование экономической общности. Что же это такое?

---

[7] См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. I, стр. 154.
[8] Там же, т. 25, стр. 258, 259.

Уже средневековье не является временем совершенно замкнутых и изолированных хозяйств — сеньорий, городов. Но особенность средневековой экономики заключалась в том, что рынок был узок и территориален. Базар являлся рынком небольшого района, куда производители приносили свои продукты спорадически, ради удовлетворения нужды в каком-то другом продукте.

Лишь единичные торговые центры на Балканах — приморские города, такие, как Дубровник, Котор и подобные, играли более крупную роль в обмене, отправляя торговые караваны по всему Балканскому полуострову. Но нельзя забывать, что сфера этой торговли, широкая территориально, была крайне узкой социально. Торговля купцами из названных центров совершалась в узком кругу феодалов и торговцев-перепродавцов.

Во второй половине XVIII в. во всех славянских странах начинают развиваться новые отношения — отношения рыночные, капиталистические.

Когда речь идет о капиталистических отношениях и формировании нации, не следует думать, что она складывается после появления крупной фабричной промышленности [9].

Основное в образовании экономической общности — развитие рыночных связей, совершающееся на базе товарно-денежного хозяйства, т. е. хозяйства капиталистического, так как рынок, рыночные связи скрепляют разные части страны, разные экономические районы, особенно зримо создают экономическое единство.

Но «Рынок» является там и постольку, где и поскольку появляется общественное разделение труда и товарное производство. Величина рынка неразрывно связана с степенью специализации общественного труда» [10]. Таким образом, хотя в области обмена, в области рыночных отношений интересующее нас явление выявляется особенно ярко, в сущности речь идет о целостном процессе капиталистического развития.

Начальный период капитализма и является порой начала формирования нации. В эту пору в городском производстве господствует ремесло, развивается мануфактура, растет товарное производство в сельском хозяйстве. Для мелких товаропроизводителей работа на рынок становится не эпизодом, как ранее, а системой. А рыночные отношения, отношения купли-продажи приобретают черты повседневного и общего явления.

Новые экономические отношения, регулярность рыночного обмена скрепляют территорию все больше. Местные рынки приобретают большую широту, связываются между собой, складывается тенденция образования общенационального рынка.

До сих пор, к сожалению, не установлены общепризнанные критерии определения образования национального рынка. Нам

---

[9] См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. I, стр. 87.
[10] Там же, стр. 94.

представляется, что национальный рынок — это такая стадия развития рыночных отношений, когда сложилась возможность циркуляции товаров между всеми частями страны, когда между районами-производителями и районами - потребителями устанавливается систематическое взаимодействие путем торгового обмена.

В. Паскалева полагает, что в XVIII в. в Болгарии были заложены основы формирования экономической общности, а сложилась она во второй четверти XIX в. [11] Действительно, в 30-е годы XIX в. местные ярмарки в Болгарии (в Сливене, Джумае и других пунктах) выросли до такого уровня, что товары из разных районов страны могли передвигаться при помощи ярмарочной торговли практически по всей стране. Это значит, что процесс формирования национального рынка в Болгарии проделал уже значительный путь. Однако к этому времени он еще не сложился окончательно, так как ярмарочная торговля имеет спорадический характер: каждая ярмарка собирается один, много — два раза в году на сравнительно небольшой срок и не может обеспечить непрерывную циркуляцию товаров. Только тогда, когда железнодорожная сеть и другие транспортные пути и средства свяжут страну крепче и, подорвав значение местных ярмарок, обеспечат систематический, повседневный обмен разными товарами между разными районами, можно сказать: вот уже существует сложившийся национальный рынок. Думается, что накануне освобождения Болгария находилась в стадии, когда национальный рынок в основном сложился и экономическая общность стала реальным фактом. Но полное завершение процесса в Болгарии, на наш взгляд, произошло после освобождения, когда экономические связи окончательно окрепли и оформились, приспособившись к тем границам, какие определились в 1885 г.

Однако следует оговориться: 1) что здесь предложено очень схематическое изображение процесса, 2) что процесс этот в малых странах, как Болгария, и крупных, как Россия или Австро-Венгрия, протекает не тождественно в силу ряда конкретных причин (размеры территории, степень товаризации хозяйства и пр.).

Охарактеризованный вариант образования экономической общности довольно близок в таком схематическом виде к типу развития западноевропейских стран, хотя в конкретном изложении этого процесса следовало бы указать и ряд черт, отличающих его от западного развития и связанных прежде всего с моментами национального угнетения. Сходным образом шло развитие в Словении и Хорватии.

Особый вариант развития экономической общности представляет Сербия. Здесь иначе развивались капиталистические отношения. Основой их было не ремесло, а скотоводство. Сербы разводили большие стада свиней, которые продавали в Австрию.

---

[11] В. Паскалева. За някои особенности.., стр. 427.

Сербские князь, воеводы Первого сербского восстания были свинаторговцами. И Кара Георгий, и многие воеводы были прасолами, продававшими свиные гурты за Дунай, в Австрию. Скупщики приобретали свиней и у крестьян, тем самым вовлекая их в рыночные связи.

Экономическая отсталость, низкий уровень развития городского ремесла приводили к тому, что буржуазные отношения развивались прежде всего не в городе, а в деревне. И как новый класс в связи с этим выступала не городская, а сельская буржуазия.

Что такой вариант развития капитализма может существовать, подтверждает следующая мысль Маркса: «...вступление капитала в земледелие как самостоятельной и ведущей силы, — говорит он, — совершается не разом и не повсюду, а постепенно и в особых отраслях производства. Он захватывает сначала не собственно земледелие, а такие отрасли производства, как скотоводство...» [12]. Далее Маркс называет, поскольку речь идет в цитируемом месте об Англии, овцеводство. Применительно к Сербии, речь должна идти о свиноводстве как об особой, свойственной данной стране отрасли производства.

Развитие рыночных товарных отношений в Сербии захватывало в отличие от болгарского варианта не весь ареал сербских земель, а преимущественно небольшую территорию Белградского пашалыка, где богатые шумадийские леса свободно прокармливали свиные стада. На этом исконном сербском промысле закладывалась основа экономической общности Сербии.

Думается, что узость экономической базы и недостаточные экономические связи с другими сербскими землями повлияли на малые размеры Сербского княжества, отразились в слабости общесербской освободительной идеи в период восстания [13].

Говоря так, мы останавливаемся только на том, что относится к наиболее существенной стороне экономической истории Сербии и не касаемся других факторов: династической борьбы, позиции других сербских областей, международно-политических условий.

Нам хотелось на этих примерах показать, что экономическое развитие разных типов может приводить к тождественным результатам: созданию экономической общности. Но особенности этого экономического развития проявляются в тех результатах, в размахе, в широте создающейся экономической общности и в отдельных особенностях, в том числе и политических. В одном случае возникла нация на всей этнической территории, в другом — в пределах области. Недаром Маркс называл Сербское княжество ядром сербской нации. Ему мыслилось возможным такое дальнейшее развитие, когда вокруг этого ядра объединятся про-

---

[12] К. Маркс. Капитал, т. III. М., 1950, стр. 814.

[13] В. Чубриловић. Историја политичке мисли у Србији XIX в. Београд, 1958, стр. 87.

чие части сербского народа, но, как известно, в условиях XIX в. это предвидение не оправдалось.

Нельзя не остановиться особо на вопросе о формировании экономической общности у политически зависимых народов. Это важно, в частности, в силу высказанного некоторыми авторами мнения о необходимости для образования нации политической ее независимости.

Когда речь идет об австрийских славянах, часто отмечают особое положение Хорватии, Словении, Словакии и Чехии. Эти области, входя в состав австрийских владений, включались и в экономическую жизнь Австрии и Венгрии, входили соответственно в австро-венгерский рынок [14]. Имело ли это значение? Несомненно. Препятствовало ли образованию нации? В конечном счете — нет. Хотя включение в рынок многонационального государства может создавать подчиненной нации менее благоприятные условия для экономического развития и в силу этого тормозить его. В то же время общенациональный рынок в какой-то мере способствует развитию местного рынка подчиненной нации как части целого.

Болгарская исследовательница В. Паскалева считает, что «Болгарский национальный рынок формировался в тесной связи с развитием товарообмена и внутреннего производства всего Балканского полуострова и это благоприятно отразилось на экономической жизни у нас» [15]. Надо сказать, что сама история болгарского рынка изучена еще очень недостаточно. В частности, соотношения болгарского и турецкого капитала в Болгарии рисуются весьма неотчетливо. Но все же можно говорить, что буржуазия господствующей нации не доминировала на рынке. Кроме того, значение болгарской буржуазии на всем турецком рынке было весьма значительно. И это не могло не отражаться на развитии рынка собственно болгарского. Иначе протекает развитие, когда в условиях национальной зависимости развитие метрополии обгоняло экономическое развитие территории угнетенной нации. При этом нередок случай оттеснения буржуазии угнетенной нации на второй план, вытеснение ее на второстепенные экономические позиции. Так, в Словении немецкий капитал захватил в свои руки промышленность, оттеснив местную буржуазию в сферу торговли и ростовщичества. Тем острее буржуазия угнетенной нации ощущала свою неполноправность и тем слабее был ее натиск на угнетателя, в руках которого была реальная экономическая сила. Однако при всем том буржуазные отношения в Словении развивались, и словенская нация совершала свой восходящий путь.

---

[14] В положении Хорватии и Словении было некоторое отличие, состоявшее в том, что до середины XIX в. Хорватия была отгорожена от Австрии таможенной границей, чего Словения не знала.

[15] В. Паскалева. За някои особенности..., стр. 427.

Испытывала серьезные затруднения в своем развитии и Хорватия. Австрийское производство, находившееся в привилегированном положении, защищенное пошлинами, имело лучшие условия промышленного развития. Государственная политика Австрийской империи способствовала превращению хорватских земель преимущественно в аграрную область. Отрицательно влияли на хорватскую экономику транспортная политика и другие меры австрийского правительства. В силу сказанного в первой половине XIX в. Хорватия была областью преимущественно ремесленного производства с малым числом более крупных предприятий. Аграрная реформа 1848 г., уничтожив зависимость крестьян, открыла большой простор развитию капитализма, хотя в деревне и сохранились некоторые феодальные пережитки, а само развитие капитализма в сельском хозяйстве пошло по «прусскому» пути. И в последующие десятилетия XIX в. сохранилось преобладание австрийской промышленности, чему помогала железнодорожная сеть, построенная с учетом не хорватских, а имперских интересов. До постройки железных дорог водный путь по Саве и Купе способствовал внутреннему экономическому развитию Хорватии. Построенные в 60-х годах железные дороги, связавшие Будапешт с Триестом, разрывали исконные национальные связи, подрывали национальный хорватский рынок к выгоде австрийсковенгерского капитала.

Капиталистические отношения в Хорватии формировались, но складывалась не отдельная хорватская экономическая общность. Хорватия была частью общеимперского рынка и входила в общеавстрийскую экономическую общность. Это положение отразилось и в характере хорватского национального движения, в котором преобладали автономистские тенденции, указывавшие на экономическую связанность складывавшейся хорватской нации с империей.

Приведенные данные показывают, что отсутствие самостоятельного национального рынка не является препятствием для сложения нации. Для угнетенной нации важно наличие капиталистического рынка в том многонациональном государстве, в которое она входит. А собственный рынок — это цель, к которой стремится буржуазия и реализацию которой она видит в той или иной форме национального государства, средством к чему является национальное движение.

Сказанное до сих пор является свидетельством ошибочности мнения тех авторов (В. И. Козлов), которые подчеркивают необходимость национального государства для формирования нации. Надо точно понимать слова Ленина о национальном движении: «Экономическая основа этих движений состоит в том, что для полной победы товарного производства... необходимо государственное сплочение территорий с населением, говорящим на одном языке...

Образование *национальных государств*, наиболее удовлетворяющих этим требованиям современного капитализма, является поэтому тенденцией (стремлением) всякого национального движения»[16]. Однако национальное государство не является условием сложения нации. Сейчас именно это нам и важно[17].

Но нация — не только экономическая общность, но и общность идеологическо-психическая. Нация — это не только система капиталистических связей в определенной этнической среде, но и сознание национальной общности. Национальное сознание — один из важнейших элементов нации, без которого не существует и национальной культуры.

Национальное сознание — это не просто сознание принадлежности к определенному народу, хотя рождается оно отсюда. Национальному сознанию всегда способствует понимание, что народ свой не хуже, не ниже, не менее способен к науке, искусству, практической и прежде всего политической деятельности, чем любой другой, что в прошлом у него были выдающиеся деятели и крупные достижения, что язык его не менее благозвучен и способен к передаче различных оттенков мыслей и чувств, что обычаи его не менее почтенны, чем обычаи других, а обряды, песни и т. п. не менее красивы и выразительны. Так, Паисий Хилендарский говорил о величии прошлого Болгарии, о болгарских святых, о выдающихся царях и патриархах, о том, что болгарский язык не ниже греческого, а простые болгарские крестьяне не хуже греческих купцов и не менее способны к разнообразной деятельности. Не менее характерна речь Блаже Кумердея (1779 г.), который выражал радость по поводу возможности говорить покраньски, был счастлив, что родной язык выходит из мрака на свет. Он ссылался на то, что в свое время словенцы имели свой алфавит (глаголица) и звал к совершенствованию языка и правописания[18].

Подобные мотивы мы встречаем и у других славянских «будителей».

Формирование национального самосознания — это такой же процесс, как и формирование других сторон нации. Он начинается с началом развития капиталистических отношений. Он проявляется в разных формах, свидетельствующих о процессе национальной консолидации и затрагивает различные области. Надо сказать, что эта сторона развития нации изучена еще слабо.

---

[16] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, стр. 258, 259.

[17] Автор считает необходимым обратить внимание на крайне недостаточную изученность истории складывания внутреннего рынка в славянских странах, в силу чего его суждения имеют значение лишь предварительных гипотез. Без изучения товарооборота, истории форм торговли, денежного обращения, цен, кредита и т. п. наши знания долго будут носить приблизительный характер.

[18] E. Kardelj. Указ. соч., стр. 229.

Только глубокая разработка проблемы позволит дать четкую картину процесса, хотя бы в главных его чертах. Не претендуя на это, остановимся на некоторых вопросах.

Бросается в глаза известная последовательность развития. Она начинается чаще всего с появления обостренного интереса к элементам своей народной культуры: к языку, фольклору, прошлому. Интеллигенция эпохи национального возрождения впитывает поэзию народных песен, вслушивается в предания, разыскивает свидетельства о славных событиях родной истории и пр.

Вполне закономерно, что Паисий Хилендарский в Болгарии, Линхард в Словении и другие обратились к родному прошлому, ища в нем подтверждения жизнеспособности и будущего развития своего народа, доказывали его единство. И не случайно то распространение, какое получали такого рода сочинения, в частности «История» Паисия, нашедшая стольких восторженных читателей и переписчиков. Современники вдохновлялись примерами славного прошлого, усиливали преданность национальному делу и веру в его успех.

Огромную роль в вызревании национальной идеологии имел фольклор. Национальное возрождение обычно окрашено своеобразным культурным народничеством. Черты и формы его не тождественны, но обычно присутствуют в идеологии ранней поры складывания национального самосознания и национальной идеологии.

Ярче всего, но и своеобразнее, это проявилось у сербов, патриархальность уклада жизни которых придала указанному явлению особые черты — народные песни были привычной культурной сферой серба. «Под гуслу пели крестьяне — главы семей, священники и гайдуки, торговцы и ремесленники, т. е. люди всех общественных положений и любого возраста...» [19] Песни звучали и дома, и на сходке у церкви, и в корчме. Через песню прошлое народа оказывало влияние на формирование его политической мысли сильнее любого другого воспитательного средства [20]. А носителями народной культуры, выраженной в народном творчестве, языке были те самые общественные силы, которые повели в 1804 г. борьбу против турецкого феодализма [21].

В других случаях обращение к народному творчеству носит характер возврата к забытым источникам красоты, к сокровищам народной мудрости. В Словении крупным собирателем фольклора был еще в XVIII в. каринтийский деятель Урбан Ярник, позже

---

[19] В. Чубриловић. Историја политичке мисли у Србији XIX в., стр. 99.

[20] Там же, стр. 47.

[21] Там же, стр. 155.

много песен записал Станко Враз, издавший их частично в конце 30-х годов XIX в.,. Интерес к фольклору отразился и в литературе, где обрабатывались различные фольклорные сюжеты (Левстик, Турноградская, Я. Грдила) [22].

Рано появляется интерес к фольклору и в Хорватии. Уже в 1756 г. далматинец А. Качич-Миошич издал в Венеции сборник исторических рассказов и песен. Значительное развитие эти интересы получили здесь в период иллиризма.

Однако, как представляется, внимание к прошлому народа и интерес к фольклору в разных случаях появляются не одновременно, они могут заменять друг друга и в конкретном развитии отдельных наций проявляются не всегда одинаково. В то время как в Сербии важнейшую роль в развитии национального сознания играл фольклор, в Болгарии — историческая публицистика Паисия.

Указанное не является попутным с национальным движением, развитием культуры, литературы, фольклористики и истории, как это нередко изображается. Это — необходимый для созревания нации процесс мобилизации культурных богатств в целях углубления патриотических чувств, обоснования прав национальной культуры, аргументации своего особого национального и культурного бытия.

Только спустя какой-то срок — в разных случаях различный — в национальном сознании появляются политические мотивы и стремления и провозглашаются те или иные политические программы.

В свое время существовало понятие «Славянское Возрождение». Потом его стали избегать, затем как бы вернулись к нему опять. По-видимому, есть все основания не отказываться от него. Славянское возрождение — это начальный период складывания нации, начальный период формирования национального сознания до того как сформируется политическая программа нации. Но та культурная деятельность, какая подготавливает ее и служит формированию национального самосознания заслуживает и внимания и признания.

Сознание, впитывающее определенные культурные ценности, живущее в кругу национальных идей, формируется в национальном направлении. Возникает известная общность мнений, мыслей, культурного уровня. Ведь у людей, у которых так много общего, всегда складывается и известная близость мышления. Возникает национальная идеология. Она буржуазна, так как складывается буржуазная нация. Но на определенном этапе развития она на какое-то время объединяет все социальные группы нации.

Процесс сложения национального сознания, национальной

---

[22] L. Legiša, A. Slodnjak, Zgodovina slovenskega slovstva, zv.II. Ljubljana, 1959, стр. 41, 162, 183 и др.

идеологии проходит в большинстве во всяком случае славянских стран примерно одинаковые этапы. Растущее национальное самосознание выражается сначала в выступлениях отдельных идеологов («будители»). Оно обычно совпадает с начальным процессом складывания экономической общности, проходит через подъем национальной культуры, приобретает все большую широту.

Когда национальное сознание достигает значительной всеобщности, можно говорить, что оно сформировалось. Так, в Болгарии мы бы отнесли сложение национального сознания к концу 60 — 70-х годов XIX в., когда возникла сеть революционных комитетов, охвативших практически всю страну, вобравших в себя представителей всех социальных групп и поставивших задачу национального освобождения.

В то же время имеют место случаи, когда национальное сознание не достигало такой широты и столь яркого выявления и проявлялось в иных формах. Во всяком случае эта сторона формирования нации требует такого же конкретного анализа, как и все другие.

Нация — общность, охватывающая разные социальные элементы, ведь речь идет о классовом обществе. Естественно, возникает вопрос о взаимоотношениях классов внутри нации.

Касаясь объединительной роли буржуазии, которая уничтожила свойственную предшествующей эпохе раздробленность «средств производства, собственности и населения», Маркс пишет: «Независимые связанные почти только союзными отношениями области с различными интересами, законами, правительствами и таможенными пошлинами, оказались сплоченными в *одну* нацию, с *одним* правительством, с *одним* законодательством, с *одним* национальным классовым интересом, с *одной* таможенной границей» [23].

Очень существенно, что всюду автором подчеркнуто слово «одним», в том числе и тогда, когда речь идет об одном национальном классовом интересе. Классовый интерес, который движет буржуазию, объединяет на определенном этапе всю нацию и выступает как национальный интерес, а буржуазия как представительница этого интереса.

Таким образом, нации в начальный период своего существования — это период краха феодализма, когда национальные движения становятся массовыми [24]; в целом для Европы он определяется датами 1789—1871 гг., но для каждой отдельной страны хронологические границы требуют уточнения на конкретном материале, представляют известное единство. Классовые противоречия и в это время являются существенным явлением, несомнен-

---

[23] К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 4, стр. 428.

[24] См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 27, стр. 100, 101; см. также: т. 26, стр. 75.

ным фактом, но они не исключают возможности возникновения единства нации.

Но единство нации непостоянно. Ленин писал о необходимости «строго разделить две коренным образом отличные, с точки зрения национальных движений, эпохи капитализма. С одной стороны, это — эпоха краха феодализма и абсолютизма, эпоха сложения буржуазно-демократического общества и государства, когда национальные движения впервые становятся массовыми, втягивают так или иначе *все* классы населения в политику путем печати, участия в представительных учреждениях и т. д. С другой стороны, перед нами эпоха вполне сложившихся капиталистических государств, с давно установившимся конституционным строем, с сильно развитым антагонизмом пролетариата и буржуазии, — эпоха, которую можно назвать кануном краха капитализма»[25].

На первом этапе своего развития нация относительно едина, хотя наличие этой национальной общности не исключает классовых противоречий и частных, подчас существенных, конфликтов, на втором этапе в нации возникают настолько сильные классовые противоречия, что они разрушают национальное единство.

Первый этап — период раннего капитализма, второй — период полной победы промышленного капитализма. Более точные грани должны быть установлены конкретным анализом условий развития каждой страны.

Первый этап развития — этап единства нации — характеризуется относительным единством национального сознания, единством национальной идеологии. Однако нам представляется, что первый этап может быть в свою очередь подразделен. Первой трещиной в единстве национальной идеологии является появление революционно-демократических идей, которые впервые в развитии общественной мысли как главное выдвигают не национальные, а социальные мотивы и интересы. Если до этого времени в составе национальной культуры присутствуют демократические элементы, представленные различными формами народного творчества, они все же остаются только элементами культуры. Сложение революционно-демократической идеологии символизирует начальный этап формирования демократической культуры, противостоящей культуре буржуазной. Но окончательно она складывается к концу первого этапа развития нации, когда на смену революционно-демократической приходит социал-демократическая идеология и когда ее расширяющееся воздействие приводит к зарождению пролетарской литературы и других составных частей новой революционной культуры[26].

Если складывание революционно-демократической идеологии в Сербии и Болгарии протекает примерно в одно время — 60—

---

[25] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 25, стр. 264.
[26] См.: В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 24, стр. 124, 129, 130.

70-е годы XIX в., то развитие социал-демократии в Сербии отстает по сравнению с Болгарией. Это является объективным результатом различий социально-экономического развития, но в то же время выявляет и некоторые своеобразные черты развития этих наций.

Сделанные наблюдения приводят к мысли о больших вариациях в развитии разных сторон отдельных наций. Нации развиваются не в одном и том же порядке, их признаки не формируются синхронно и тождественно. Поэтому в каждый данный момент у них может быть не одинаковое соотношение отдельных сторон развития и удельный вес последних не обязательно тождествен. В одних случаях важное место занимает одна, в других — другая сторона. Это зависит от специфики условий и раскрывается в борьбе данной складывающейся нации за свое освобождение. И хотя в связи с основным процессом, ведущим к конституированию наций,— развитием капитализма, возникает проблема завоевания национального государства — оно, это завоевание, у каждой нации идет своим путем, выявляя особенности национального развития данного народа.

В этом нет ничего удивительного или необычного. Ведь «один и тот же экономический базис — один и тот же со стороны главных условий — благодаря бесконечно различным эмпирическим обстоятельствам ...может обнаруживать в своем проявлении бесконечные вариации и градации, которые возможно понять лишь при помощи анализа этих эмпирических данных обстоятельств» [27].

---

[27] К. Маркс. Капитал, т. III. М., 1950, стр. 804.

А. С. Мыльников

ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ПРОСВЕЩЕНИЯ В ЧЕШСКИХ ЗЕМЛЯХ И ЕГО РАННИЙ ПЕРИОД

Разработка проблемы генезиса идеологии Просвещения у отдельных славянских народов теснейшим образом связана с необходимостью выявления непосредственных предпосылок, конкретных путей и форм исходного развития просветительских взглядов. Современные чехословацкие и советские исследователи показали, что возникновение просветительской идеологии в Чешских землях в XVIII в. было обусловлено в первую очередь происходившими здесь и в масштабах всех Австрийской монархии важнейшими социально-экономическими процессами и обострением классовой борьбы в городе и деревне [1]. А. Клима, например, прямо связывает зарождение и последующее развитие в Чешских землях различных форм антифеодальной идеологии, в том числе и просветительских взглядов, с ростом мануфактурного производства и распространением вследствие этого буржуазных общественных отношений [2]. Но такой вывод, при всей своей принципиальной значимости, содержит лишь первичный, наиболее общий ответ на поставленные вопросы. Социально-экономические факторы, будучи необходимой и важнейшей предпосылкой культурно-политических сдвигов, не могли быть единственной причиной возникновения идеологии Просвещения в Чешских землях. Здесь в силу особых условий страны, лишенной государственной независимости, роль политических факторов возрастала, причем последние могли

[1] Общую оценку буржуазной и марксистской историографии чешского национального возрождения, в том числе и начальной его истории, см. в кн.: «Přehled československých dějin», т. I. Do roku 1848. Praha, 1958, str. 617, 618; J. Kočí. Naše národní obrození. Praha, 1960, str. 5—24; F. Kutnar. Doba národního obrození (Přehled dějin Československa v epoše feudalismu), č. IV, Praha, 1963, str. 12—18; J. Vlček. Z dějín české literatury. Praha, 1960, S. 598, 607, 681—693 (дополнение).

[2] A. Klima. Die tschechische Frühaufklärung im Zusammenhang mit der Entwicklung des Manufakturwesens. «Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas», Bd. 7. Berlin, 1960.

в определенные моменты не только замедлять, но и ускорять те или иные процессы общественного развития, как это, например, имело место в отношении некоторых реформ, осуществленных при Марии Терезии и Иосифе II. Отсюда вытекает настоятельная необходимость проанализировать гораздо менее изученные идейно-политические предпосылки генезиса Просвещения в Чешских землях. Уместно напомнить в этой связи чрезвычайно важную мысль Ф. Энгельса, подчеркивавшего, что всякая общественная теория, хотя корни ее и лежат в экономических факторах, должна прежде всего исходить из накопленного до нее идеологического материала [3].

В предлагаемом докладе речь пойдет об идейно-политических предпосылках и генезисе Просвещения в Чешских землях. До сих пор, насколько нам известно, в качестве объекта самостоятельного исследования этот вопрос не выдвигался. Поскольку просветительская идеология проникала в различные сферы духовной деятельности, исследование указанной проблемы возможно лишь посредством комплексного изучения идейно-политической и культурной жизни эпохи на основе привлечения данных источников из истории развития общества, философии, литературы, политики, экономики и права, естественных наук, музыки, театра, живописи и т. д. В каждом случае приводимые сведения осмысливаются под углом зрения их общественного воздействия и идеологической ценности. В этом и заключается сущность авторского подхода к исследованию данной комплексной проблемы. Преимущественное внимание в докладе обращается на неразработанные или дискуссионные вопросы: о наличии определенной национально-патриотической традиции и о преемственности в культурном развитии страны к середине XVIII в., о характере и хронологических рамках периода раннего Просвещения в Чешских землях и о его месте в ряду аналогичных процессов у остальных славянских и других европейских народов, об основных формах ранней просветительской деятельности и о социальных слоях, определивших ее содержание и направленность [4].

Внутренняя политика Габсбургов, в состав монархии которых входили Чешские земли, означала не только социально-экономическое и политическое, но и национальное угнетение чешского народа.

Главным орудием политики контрреформации, достигшей своего апогея в первые десятилетия XVIII в., стал орден иезуитов. А в качестве основной формы подавления было избрано насильственное обращение народа в католицизм. С помощью преследования

---

[3] См. К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 20, стр. 16.

[4] В настоящем докладе автор исходит из основных положений, сформулированных им в статье «Идейно-политические предпосылки зарождения национально-просветительской идеологии в Чешских землях». «Славянское возрождение. Сб. статей и материалов». 1966, стр. 3—47.

инакомыслящих, гонений на чешский язык, истребления или «исправления» изданных ранее чешских книг, объявленных еретическими, искоренялись гуситские революционные традиции [5].

Можно ли, учитывая это, ставить вопрос о непрерывно развивавшейся национально-патриотической традиции в Чешских землях к середине XVIII в.? Да, можно. Более того, было бы неправильно буквально понимать иногда употребляемое определение этой эпохи как «эпохи тьмы». Если мы хотим понять особенность складывания идеологии национального возрождения, первой фазой которого была эпоха Просвещения, то следует, отбросив предвзятые мнения, тщательно проанализировать имеющиеся источники, запечатлевшие динамику культурного развития Чешских земель XVII — первой половины XVIII в. При этом необходимо помнить, что различные классы и социальные группы чешского общества вырабатывали соответственно своему положению ту или иную идеологическую позицию в борьбе за свои экономические и социально-политические интересы [6]. Каково же было содержание этого процесса?

Социально-экономическая и национальная политика Габсбургов в Чешских землях прежде всего отразилась на феодально-зависимом крестьянстве, численно преобладающем классе чешского общества. Стремление противодействовать социальному и национальному угнетению приводило к оживлению в его среде оппозиционных настроений, выливавшихся не раз в форму восстаний [7].

Единой общественно-политической программы у крестьян не было. Помимо низкого уровня классовой сознательности этому препятствовала и неоднородность их рядов в результате социальной дифференциации и пауперизации деревни. Но все крестьяне испытывали гнет феодально-крепостнического режима, несли военные и финансовые тяготы и страдали от роста налогов. В этом отношении они представляли определенное целое, противостоявшее господствующим классам. Резкий классовый антагонизм в дерев-

---

[5] J. V l č e k. Dějiny české literatury, t. 2. Praha, 1951, str. 58; J. H a n u š. O pobělohorské protireformaci. Úvodem k českému obrození. «Sborník filosofické fakulty university Komenského v Bratislavě», roč. 4, N 39 (I). Bratislava, 1926, str. 24, 25.

[6] Отсутствие классового анализа и особенностей взглядов различных социальных групп чешского общества первой половины XVIII в. было недостатком едва ли не первой касавшейся специально этой проблемы работы: F. K u t n a r. Sociálně myšlenková tvářnost obrozenského lidu. Praha, 1948.

[7] Учитывая необходимость отдельной разработки этой проблемы, мы не касаемся специально вопроса о культурных взаимоотношениях чешского и немецкого населения Чешских земель XVIII в. Что касается масс крестьянства и городской бедноты, то, как это установлено И. Кочи, до последней трети XVIII в. национальные противоречия не играли в их среде сколько-нибудь заметной роли (см.: J. K o č í. Selské bouře a české národní obrození. «Československé přednášky pro V. mezinárodní sjezd slavistů v Sofii». Praha, 1963, str. 341).

не отмечали в это время и иностранные наблюдатели [8]. Об этом свидетельствуют и дошедшие до нас памятники устного народного творчества.

Большое место в них занимали темы осуждения барщины и католической церкви, что отражало оппозиционные, антифеодальные по существу настроения народных масс [9]. В то же время фольклорные образы Яна Жижки и Яна Гуса, воспоминания о таборитах, овеянные духом героизма и исполненные привлекательности, использовались крестьянскими массами для резкой критики существующих общественных отношений [10]. Подобное истолкование гуситской традиции в годы контрреформации означало, что именно народные массы спасали и защищали достояния национальной культуры [11].

Те же мотивы недовольства проглядывают и в произведениях о жизни неимущей части городского населения, особенно в королевских городах, где социальное расслоение ощущалось острее, нежели в городах, принадлежавших шляхте. Показательна в этом отношении анонимная, дошедшая не полностью, рифмованная «Сатира на четыре сословия». Она появилась около 1700 г. и содержала острую критику духовенства, шляхты и имущих городских сословий [12]. Под ее влиянием другой анонимный автор в 1744 г. написал «Стихи о пряничниках», социальное звучание которых оказалось, впрочем, слабее [13].

Та часть мещанства, которая не порвала с традициями отечественной культуры, ощутила ранее всего тяжесть национально-политического угнетения и поэтому с особой чуткостью относилась к защите своих национальных прав [14].

В свое время, поднимая на щит роль «католического барокко» в истории чешской культуры, сторонники школы Пекаржа особо выделяли деятельность ученого иезуита Богуслава Бальбина (1621—1688). Они много и тенденциозно писали о так называемой

---

[8] V. Schwarz. Město vidím velike. Cizinci o Praze. Praha, 1940, str. 47.

[9] J. B. Čapek. Československá literatura toleranční, t. I. Praha, 1933, str. 169; M. Machovcová a M. Machovec. Utopie blouznivců a sektařů. Praha, 1960, str. 306; Z. Tichá, K dějinam kramářské písně v 18. «Česka literatura», 1953, N 3, str. 137.

[10] Z. Tichá. K husitské tradici v 17. a 18. st. «Časopis Matice Moravské», 1954, str. 321; J. Obršlik. K husitské tradici v písňove tvorbě českého lidu na počátku 18. st. «Časopis Matice Moravské», 1952, str. 149, 153.

[11] K. Palas. K problematice krajové pololidové literatury 18. st. Praha, 1964, str. 63.

[12] «Satira na čtyří stavy». K vyd. připr. Z. Ticha. Předml. napsal J. Hrabak. Praha, 1958, str. 15.

[13] «Verše o pernikářství». K vyd. připr. Z. Tichá. Úvod naps. J. Hrabak. Praha, 1964; J. Hrabák. Hlavní proudy v starší české literatury. Praha, 1960, str. 133.

[14] A. Novotný. Praha doznivajícího baroka. Praha, 1947, str. 168.

бальбиновской традиции, якобы примирившей два противоборствовавших прежде начала — католицизм и национально-патриотические традиции чешской культуры [15]. Отсюда, по их мнению, исходила подлинная программа национального возрождения [16]. Деятельность Б. Бальбина привлекла к себе внимание и других буржуазных исследователей. Одни писали о нем с симпатией, как о патриоте [17], другие использовали его биографию для реабилитации роли ордена иезуитов в истории чешского народа [18].

Оценкой роли Б. Бальбина занимались также советские и чехословацкие ученые-марксисты, отмечая связь его деятельности с развитием культуры чешского побелогорского мещанства [19]. Действительно, Б. Бальбину и группировавшемуся вокруг него в 1660—1680-е годы кружку единомышленников было присуще стремление примирить, согласовать идеи патриотизма с духом правоверного католицизма. Но именно в этом стремлении были заложены истоки тех вопиющих противоречий, которые логикой вещей приводили их, и прежде всего самого Б. Бальбина, не к согласию с тезисами контрреформации (как ошибочно утверждала школа Пекаржа), а к конфликту с ними.

Б. Бальбин лучше всех остальных его членов осознал упадок, который переживали во второй половине XVII в. Чешские земли. И потому в мировоззрении Б. Бальбина значительное место занимают религиозно-политические проблемы, в частности — отношение к гуситскому революционному движению. Оценивая его в целом отрицательно, он не проявил, тем не менее, характерного для своего времени религиозного фанатизма [20]. Он довольно реалистически судил о религиозно-политических догмах, усматривая в этом определенные политические интересы [21]. Это еще не было признанием тезиса о веротерпимости, но уже содержало некоторые его предпосылки.

---

[15] V. Bitnar. Duch českého baroku. Praha, 1935, str. 10, 11.

[16] J. Strakoš. Počátky obrozenského historismu v pražských časopisech a M. A. Voigt. Praha, 1929, str. 10, 11; J. Muk. Po stopách národního vědomí české šlechty pobělohorské. Praha, 1931, str. 117, 118.

[17] J. Šimek-Balbín a jeho Bohemia docta. «Časopis Českého muzea», 1887, str. 260, 261; J. Hanuš. Boh. Balbína Bohemia docta. ČČH, 1906, str. 135; J. Vlček. Dějiny, t. I, str. 585; K. Krofta. O Balbínovi dějepiscí. Praha, 1938. Обзор литературы к 250-летию со дня смерти Бальбина см.: «Listy filologické», 1939, стр. 283—285.

[18] A. Reizek. Boh. Balbín. Jeho život a práce. Praha, 1908, str. 397.

[19] Z. Nejedlý. O literatuře. Praha, 1953, str. 964; J. Loužil. Boh. Balbín a tradice protireformačního vlastenectví. «Hradecký kraj». Hradec Kralov, 1958, str. 215—220; Ю. Фучик. О Бальбине-патриоте. В кн.: Ю. Фучик. Избранное. М., 1956, стр. 128—130; «История Чехословакии», т. 1. М., 1956, стр. 310; «Dějiny české literatury», t. I, 1959, str. 463, 464.

[20] R. Urbanek. Žižka v památkách a úctě lidu českého. Brno, 1924, str. 100—102, 105; B. Balbín. Bohemia docta. Ed. R. Ungar, т. 3. Pragae, 1780, str. 41.

[21] B. Balbín. Historia de ducibus ac regibus Bohemiae. Pragae, 1687, str. 217.

Используя Б. Бальбина, католическая церковь вместе с тем с подозрением относилась к его патриотическим исканиям, а важнейшие его труды — «Защита» и «Ученая Чехия» на доброе столетие были погребены орденом иезуитов в архивах. Поэтому нельзя говорить о «бальбиновской традиции», как о чем-то целостном. Скорее наоборот, противоречивость воззрений бальбиновцев создавала возможность различного их истолкования, как в реакционном, так и в прогрессивном национально-патриотических направлениях.

Рост национального самосознания в среде мещанства не только в Праге, но и в других чешских городах привел к тому, что с начала XVIII в. стали появляться сочинения, в которых содержалось обоснование его (мещанства) патриотических позиций. Среди них в первую очередь следует упомянуть «Предисловие переводчика к читателям и дорогим чехам» пльзеньского мещанина А. Фрозина (1671—1722) к изданному им в Праге чешскому переводу книги иезуита В. Кумпенберга о марианском культе, «Предисловие к чешской газете или предшественник чешского почтальона» видного пражского книгоиздателя К. Розенмюллера (1719) и некоторые другие, близкие по духу произведения, вышедшие из-под пера представителей чешского мещанства как в Праге, так и в провинции [22]. В целом же документов, свидетельствующих о патриотических настроениях в среде мещанства, крайне мало. По преимуществу они относятся к первым двум десятилетиям XVIII в., когда наметилось некоторое оживление культурной жизни, заторможенное вскоре мерами контрреформации. Характерно, что после этого вплоть до середины XVIII в. дошла (если говорить о публикациях) едва ли не единственная книга яромержского мещанина Вацлава Витека «Земля добрая, то есть земля чешская». Она представляет собой своеобразный историко-социологический трактат и интересна для уяснения настроений чешского мещанства того времени [23].

В этом же смысле представляет источниковедческую ценность проект пражского переводчика Матея Блажея, переданный им в 1725 г. на рассмотрение властей и содержавший соображения по спасению чешского языка от грозившей ему гибели. Примечательно, что хотя этот проект отличался умеренностью и в основе его лежали не столько национально-патриотические, сколько утилитарно-государственные доводы, он был крайне сдержанно встречен

---

[22] A. Frozín. Předmluva k čtenáří a k milým čechům překladatele této knižky na česko. «Obroviště maryánského atlantu. Pilností kněze W. Kunpenberka z tovaryšstva ježišového sebíraných. A odemně Antonina Frozína plzenského vladyky Hor Březových Libušiních blíž Hory Svaté obyvatele na česko v několika desítkách přeloženych». Praha, 1704, str. 1—20; «Předchudce českého postyliona aneb předmluva na noviny české». Praha, 1719.

[23] V. Vitek. Země dobra, to jest země ceská. Všehno z hodnověrných spisovatelův a kněh sebraně a k potěšení slavného národu a k zvelebení jazyka českého od upřimného vlastence sebrane a sepsané. Hradec Kralov, 1754.

на философском факультете в Праге, куда был передан на заключение [24].

В известных нам литературно-публицистических выступлениях мещанства, направленных на обоснование и пропаганду историко-культурных традиций народа, большое место занимала борьба за чешский язык, подчеркивалась его древность, выразительность и богатство (Ян Стржедовский). Очень часто проблемы развития и обогащения чешского языка связывались с пониманием родства чешского народа с остальными славянами [25].

Многие прогрессивные черты чешской мещанско-бюргерской идеологии получили продолжение в деятельности таких идеологов антикатолической эмиграции, как Я.-А. Коменский (1592—1670) и П. Странский (1583—1657). Под влиянием их идей чешские эмигранты в протестантских центрах Германии приступили с конца XVII в. к агитации против Габсбургов. В начале XVIII в., то есть в период апогея контрреформации, они расширяют сферу своей деятельности, перенося ее в Чешские земли и ориентируясь не только на мещанско-бюргерскую, но и на крестьянско-плебейскую массу.

Особо важную роль в пропаганде антикатолических идей сыграла Словакия [26], где политика контрреформации никогда не достигала таких масштабов, как в Чехии. Это, а также близость языка и культуры позволило многим чешским протестантам найти приют и продолжить книгоиздательскую деятельность в Словакии, где на рубеже XVII—XVIII вв. также заметно постепенное оживление в культурной сфере.

Словакия сохранила связи с некоторыми протестантскими центрами Германии, прежде всего с Галльским и Йенским университетами, куда поступала учиться молодежь из протестантских семей. Это было тем более важно, что пантеистские идеи Коменского, получив распространение в Европе, отчасти были использованы такими авторитетами науки того времени, как Лейбниц, Спиноза и Декарт, и, по некоторым предположениям, оказали влияние на возникшее в начале XVIII в. (в рамках немецкого протестантства) религиозно-нравственное учение пиэтизма [27]. В результате из германских научных центров в Чешские земли проникали многие важные положения, развитые в свое время Я. Коменским.

---

[24] B. Rieger. Drobné spisy. Usp. K. Keldéc, sv. I. Praha, 1914, str. 69, 70.

[25] J. Jirásek. Rusko a my, t. I, vyd. 2, Praha, 1946, str. 10; J. Pfaff a V. Závodský. Tradice česko-ruských vztahů v dějinách. Praha, 1957, str. 47.

[26] D. Čapková-Votrubová. Český a slovenský ohlas názorů Komenského na výchovu nejmenších dětí. «Archiv pro bádání o životě a díle J. A. Komenského», t. 22, 1964, str. 88—91.

[27] J. Misianik a j. Dějiny staršej slovenskej literatury. Bratislava, 1958, str. 165, 166; H. Peukert. Die Slawen der Donaumonarchie und die Universität Jena. Berlin, 1958, str. 199.

Большой резонанс вызвал в Чешских землях конца XVII — начала XVIII в. и трактат П. Странского «О чешском государстве» (1634) [28].

Впрочем, как ни любопытны приведенные выше факты, свидетельствующие о наличии к середине XVIII в. определенных национально-патриотических настроений в среде мещанства, их нельзя преувеличивать ввиду экономической слабости и политического бессилия чешского мещанства, идеологически еще не обособившегося из общей массы городского населения.

Прослеживая вклад народных масс и патриотически настроенного мещанства в формирование национально-патриотической традиции, нельзя не коснуться отношения к ней со стороны чешской шляхты.

До начала XVIII в. чешская шляхта не проявляла сколько-нибудь значительной политической активности. И если к середине XVIII в. она стала пытаться занять определенное место в общественно-культурной жизни Чешских земель, то в основе этого лежал ряд факторов экономического и социального характера, прежде всего существенные изменения, происходившие в самом ее положении. Мелкопоместная шляхта не играла и теперь сколько-нибудь заметной роли в общественной и экономической жизни, зато определенная часть крупной шляхты стала втягиваться в товарно-денежные отношения и начала проявлять интерес к мануфактурам [29].

Изменения в положении и социальной структуре шляхты приводили к известной противоречивости в ее поведении. Проявления оппозиционности соседствовали с консервативными тенденциями и даже прямой реакционностью ее общественно-политических позиций [30].

Некоторая часть крупной шляхты критически подходила (Ф. Шпорк, Г. Чернин) к внутренней политике австрийского правительства, к роли ордена иезуитов. Оппозиционность и критицизм шляхты, вопреки мнению таких буржуазных историков, как И. Гануш [31], не шла далеко, она совершенно не затрагивала коренных социально-экономических проблем.

Проведение правительством Марии Терезии в 1740—1750-х годах первого тура реформ, направленных на централизацию государственного управления, повело к росту фрондерских, «патриотических» настроений среди шляхты Чешских земель. Патриотизм этот не носил, учитывая состав шляхты, национально-чешского

---

[28] V. Zeleny. Tomaš Pešina z Čechorodu. ČČM, 1884, str. 16. Существует предположение, что план серии «Miscellanea» был составлен Б. Бальбином не без влияния книги П. Странского (J. Brambora. Listy filologicke, 1939, str. 283).

[29] A. Klima. Указ. соч., стр. 249.

[30] J. Muk. Указ. соч., стр. 135—139.

[31] J. Hanuš. Národní museum a naše obrození. Praha, 1921, str. 11, 12.

характера. Он имел территориальный, земский смысл. Если собственно чешская и моравская шляхта и стала проявлять интерес к национальной культуре и языку, то лишь потому, что видела в этом практическую целесообразность [32]. Но при определенных условиях подобная ее деятельность становилась фактором, содействовавшим пробуждению в чешском обществе национального самосознания. По-своему воспринимая проявление земского патриотизма в среде шляхты, представители чешского мещанства питали наивную веру в ее способность обеспечить будущее чешского народа.

Итак, рассмотренный период в истории чешской общественной мысли не был ни временем полного торжества «католического барокко», ни, тем более, периодом так называемого идейного вакуума. Каковы же были те наметившиеся к середине XVIII в. и имевшие существенное значение для формирования просветительских взглядов историко-культурные процессы, которые вытекали из развития национально-патриотической традиции и наличия определенных международных связей Чешских земель?

Идеи Просвещения начинают проникать в Чешские земли в конце XVII — первой половине XVIII в., находя здесь по мере прогресса в общественно-политическом и культурном развитии все более широкий общественный отзвук. Примерно в 20—30-х годах XVIII в. идеи Просвещения, выйдя за пределы узкой группы либеральной шляхты, становятся достоянием более широких кругов, преимущественно интеллигенции мещанско-бюргерского происхождения.

Особо надо выделить идею чешско-русской дружбы, которая как часть чешско-славянского общения входила в круг общей проблематики Просвещения и в данный период проявлялась в сообщениях местной печати о России, в переписке чешских и русских ученых, личных контактах населения в период пребывания союзных русских войск в Чешских землях в 1735—1736, 1748—1749 гг. [33]

Уже в первой половине XVIII в. в Чешских землях начинают раздаваться голоса о пересмотре многих традиционных представлений в сфере общественной мысли, особенно в культуре и науке. При всем внешнем различии в этих мнениях прослеживается довольно определенная тенденция использовать идеи Просвещения для установления более тесных связей культуры и науки с потребностями жизни Чешских земель. Объективно все это выражало

---

[32] O. Květoňova-Klímová. Styky B. Balbína s českou šlechtou pobělohorskou. ČČH, 1926, N 3, str. 502, 511, 526.

[33] J. Vavra. K pobytu ruských vojsk v Čechách a na Moravě v první polovině 18. st. «Časopis společností přátel starožitnosti», 1962, str. 207—212; А. С. и Т. А. Мыльниковы. Первая чешская газета о России, «Советское славяноведение», 1967, № 1, стр. 60—64.

протест против засилья феодально-клерикальной идеологии эпохи контрреформации.

В искусстве этот процесс проявлялся в постепенном изживании стиля барокко и усилении влияния классицизма. В свое время И. Пекарж писал о благотворном влиянии контрреформации на искусство [34], но многочисленные разыскания в области изобразительного и прикладного искусства этого периода опровергают его тезис [35].

Хотя еще продолжали пользоваться успехом картины, фрески и скульптуры религиозного содержания в стиле барокко (картина «Апофеоз св. Непомука» была создана Ф. К. Палько около 1750 г.), бытовая, жанровая, историческая (мифологическая) живопись и скульптура уже пробивали себе дорогу [36]. Значительное развитие в это время получает также народное прикладное искусство (орнаментика, резьба по дереву и т. п.). Отличавшееся чертами самобытности и жизненной правды, оно нередко оказывало воздействие на искусство чешского барокко [37].

Во многом сходные процессы происходили и в области театрально-музыкальной культуры [38]. В частности, к середине XVIII в. в чешском театре наметился переход к новым формам, связанным с влиянием идей Просвещения (немецкого и французского в немецкой интерпретации). Реформатором пражского театра в этом направлении некоторые исследователи склонны считать Я. Бруниана [39].

---

[34] J. Pekař. Dějiny Československé. Praha, 1921, str. 103.

[35] J. Neumann. Malířství XVII st. v Čechách. Barokní realismus. Praha, 1951; J. Neumann. Karel Škréta. Praha, 1956; В. Новотный. Мастера живописи из собрания национальной галереи в Праге. Прага, 1963, № 31 (К. Шкрета), 62 (Ян Купецкий), 63 (П. Брандль), 64 (Н. Грунд); J. Neumann. Matiáš Braun. Kuks. Praha, 1959; J. Kříž. K otázce vyvojových proměn Grundova díla. Klasicizujicí tendence let 1760—1767. «Uměni», 1964, N 2, str. 109 и след.

[36] См. картины Н. Грунда («Качели», «Паром» и «Рыбаки») и И. Гартмана («Пожар замка» и «Приморская гавань») из собр. Эрмитажа («Гос. Эрмитаж. Отдел западноевропейского искусства. Каталог живописи», т. 2. Л.—М., 1958, стр. 449, № 1816, 1817, 4687, 8642, 8643).

[37] «Всемирная история», т. 5. М., 1958, стр. 453; более подробно сведения о развитии архитектуры чешского барокко см. в кн.: «Československá architektura od nejstarších dob do současnosti». Praha, 1962; O. Stefan. Barokni princip v architektuře Čech. 17. a 18. st. «Uměni», 1959, str. 305—330.

[38] J. Vondraček. Přehledné dějiny českého divadla. Praha, 1926, str. 11; И. Бэлза. Очерки развития чешской музыкальной классики. М.—Л., 1951, стр. 65; F. Slabý. Hr. F. A. Sporck. «Listy filologické», 1907, str. 436; T. Volek. Czech music of the 17. and 18. cent. «Musica antique europae orientalis». Bydgoszcz, 1966. Acta scientifica congressus, т. I. Warszawa, 1966, p. 80—96.

[39] «Přehledné dějiny českého divadla». «Česká literatura», 1959, str. 241; M. Hysek. Dějiny českého divadla v Brně. Brno, 1907, str. 5; J. Vondraček. Dějiny českého divadla. Doba obrozenska. 1771—1824. Praha, 1956, str. 33.

Серьезные сдвиги происходили в первой половине XVIII в. в Чешских землях и в области науки. Если оставить в стороне своеобразные и не имевшие широкого резонанса усилия в этом направлении деятелей типа Ф. А. Шпорка, то первые выступления против схоластических пут феодально-клерикального мировоззрения следует отнести к 1730—1740-м годам. Они были связаны с деятельностью таких профессоров пражского университета, как Й. Степлинг (1716—1778), И. Скринци (1697—1773) и Н. Кёнигсман (1688—1752) [40].

В характерном для Просвещения духе серьезное внимание было уделено естественнонаучным и прикладным дисциплинам, особенно математике, достигшей к концу первой половины XVIII в. значительного развития [41]. Показательно, что именно в Праге в первые десятилетия XVIII в. развернулась деятельность инженерной школы, а за полтора-два десятилетия до реформы австрийских университетов, когда в программы было введено преподавание физики, химии, теоретической и практической медицины и некоторых других дисциплин, а равно философии в истолковании Хр. Вольфа, пропагандистами идей Просвещения в этих науках в Праге выступили Й. Степлинг и И. Скринци, преимущественно занимавшиеся физикой и химией. С 1730 г. начинаются поиски новых методов исследования и в гуманитарных науках, прежде всего — в праве, а затем в исторических дисциплинах.

По мере оживления общественно-политической и культурной жизни в Чешских землях создаются условия для складывания различных и столь свойственных эпохе Просвещения объединений научно-литературного характера.

Кроме того, история раннего периода Просвещения в Чешских землях неразрывно связана с возникавшими в 70-е годы, преимущественно в Праге, шляхетскими салонами и с масонским движением, которое в Чехии возникло в начале XVIII в. в связи с деятельностью Ф. Шпорка. К 70-м годам оно крепнет. Известно, например, что И. Борн и многие участники общественно-культурной жизни Чешских земель в 70-е годы и позднее состояли в тайных (если не на деле, то по видимости) ложах, а масонские связи играли не последнюю роль в установлении личных и общественных контактов.

В Чешских землях ни крупная шляхта (как в Польше), ни тем более мелкопоместная шляхта (как в Венгрии) [42] не играли видной

---

[40] J. Klabouch. K počátkům protischolastických proudů na pražské university v 18. st. «Sborník prací k poctě 75. narozenín akad. V. Vojtiška (Philosophica et historica)», t. 2. Praha, 1958, str. 99.

[41] L. Nový. Učebnice praktické geometrie v Čechách ke konci I poloviny 18. st. «Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky», t. 3. Praha, 1957, str. 153; L. Nový. Matematika v Čechach v 2. pol. 18. st. «Sborník pro dějiny přírodních věd a techniky», t. 5. Praha, 1960, str. 29.

[42] B. Suchodolski. Nauka polska w okresie Oświecenia. Kraków, 1935, str. 46; B. Zolnai. Über Frühaufklärung in Ungarn. «Quellen und Studien

роли в период раннего Просвещения. Несомненно, главным носителем просветительских идей здесь оказалась интеллигенция недворянского происхождения, рекрутировавшаяся за счет выходцев из различных классов и сословий, преимущественно же из мещанско-бюргерских кругов и крестьянства — таково во всяком случае социальное происхождение подавляющей части деятелей науки и культуры в Чешских землях [43].

Если учесть конкретную историческую обстановку Чешских земель рассматриваемого периода, то не приходится удивляться, что в подавляющем большинстве случаев местное население оставалось приверженцами католицизма. Принадлежа часто к монашеским орденам бенедиктинцев, пиаристов, даже иезуитов, многие лица субъективно стремились лишь избавиться от крайностей религиозного фанатизма и политики ордена иезуитов, ратовали за реформу католицизма [44]. Но, несмотря на всю сложность и противоречивость такого подхода, объективно он означал начало борьбы за преодоление феодально-клерикального мировоззрения и за утверждение в Чешских землях передовой по тому времени буржуазной идеологии.

Просветители, выступившие в Чешских землях в середине XVIII в., так или иначе подвергали критике феодально-клерикальную идеологию, осуждали предрассудки, суеверия и фанатизм, приветствовали политический курс правительства в духе «просвещенного абсолютизма». Для зарождавшегося движения были также характерны стремления к развитию культуры и науки, к перестройке народного образования в светском направлении, воспитанию в народе чувства патриотизма, признание желательности пересмотра крепостного права для его смягчения или отмены.

Вместе с тем, знакомясь с общим ходом умственного и культурного развития Чешских земель в середине XVIII в., нельзя не обратить внимания на наличие разных оттенков и толкований просветительской идеологии. С точки зрения отношения ее к национально-патриотической традиции, современному состоянию и потребностям развития чешской культуры выделяются три главных направления. Во-первых, это официально поддерживаемая концепция австрийского Просвещения, наиболее полно выраженная в трудах венского профессора И. Зоненфельза и имевшая сторонников в Чехии и Моравии, в частности среди профессуры Пражского университета.

---

zur Geschichte Osteuropas». Herausg. von E. Winter. Bd. 7. Berlin, 1960, S. 154—176.

[43] Й. Матль. Эпоха Просвещения в России и ее отличие от Просвещения в других славянских странах. «Роль и значение литературы XVIII в. в истории русской культуры». М.—Л., 1966, стр. 202, 203.

[44] E. Winter. Der Josefinismus. Die Geschichte des österreichischen Reformkatholizismus, 1740—1848. Berlin, 1962, S. 59 и след.

Во-вторых, это истолкование просветительских идей в общенемецком духе, получившее на рубеже 60—70-х годов XVIII в., особенно в Праге, распространение в кругах «шенгейстов» (в начале своего пути к ним принадлежали А. Фойгт и Ф. М. Пельцль). Глашатаем этого направления был профессор философского факультета Пражского университета К. Сейбт. Некоторая оппозиционность группе зонненфельзианцев не мешала ему, впрочем, поддерживать контакты с католическими церковными кругами, а в 70-е годы выполнять отдельные поручения венского правительства.

Оба эти направления были в конечном счете индифферентны в отношении национальных чешских традиций, а патриотизм, поскольку он ими затрагивался, мыслился либо в общеавстрийском (Зонненфельз), либо в территориально-земском (Сейбт) аспектах. В намерения третьего направления, представленного И. Питером, Г. Добнером, А. Фойгтом, Ф. М. Пельцлем и др., входило использование идей Просвещения для нужд развития чешской науки и культуры. Именно это направление, которое мы определяем как национально-просветительское, имело для последующих судеб чешской культуры громадное значение. Процесс, который можно назвать синтезом прогрессивных черт отечественной национально-патриотической традиции с идеями Просвещения и который означал создание основ последующего генезиса национально-просветительской идеологии, под воздействием причин социально-экономического, а в еще большей степени идейно-политического характера начинается где-то на рубеже 40—50-х годов. Поэтому именно с этого времени и можно датировать начало перио а раннего Просвещения в Чешских землях, завершающегося к концу 70-х годов.

Наиболее полное проявление национально-просветительская идеология получила в филологии и истории.

Берущая начало от «Защиты славянского, в частности чешского языка» Б. Бальбина, форма «защит» и апологий чешского языка и литературы с 70-х годов становится одним из излюбленных способов проявления национального самосознания чешского народа. Эта форма, получившая развитие в конце XVIII — начале XIX в., не достигала, впрочем, здесь такой степени распространения и не имела столь значительной традиции, как в родственной Словакии, где проблема спасения этнической самобытности народа в силу экономических и политических причин ставилась острее [45].

Сильное общественное звучание приобретает в Чешских землях в середине XVIII в. историческая наука. Для этого имелись свои причины. К опыту истории, особенно к осмыслению эпохи гуситского революционного движения, в Чешских землях обращались

---

[45] См.: J. Tibenský. Chvály a obrany slovenského národa. Bratislava, 1965.

выразители настроений крестьянства и социальных низов города, мещанства. Приверженцы шляхты также искали в истории аргументы в защиту ее сословных привилегий. И вместе с тем, пожалуй, нигде груз контрреформации и мертвящее влияние феодально-клерикальной идеологии не сказывались с такой силой, как в исторических дисциплинах.

В итоге историография выдвинулась к середине XVIII в. в общественно-политической жизни Чешских земель на одно из первых мест, превратилась в арену острейшей идейной борьбы.

К середине XVIII в. феодальная идеология вступила во все более усиливавшееся противоречие с объективным ходом развития социально-политической и культурной жизни в Чешских землях, ставших одним из наиболее экономически развитых центров мануфактурного производства Австрийской империи. Прежняя национально-патриотическая традиция, несшая на себе отпечаток духа контрреформации (мы видели проявление этого в трудах конца XVII — первой половины XVIII в.), уже переставала соответствовать задачам дальнейшего развития чешской культуры и общественной мысли. Простое повторение некоторых ее положений при известных обстоятельствах приобретало консервативный и даже реакционный характер. Яркой иллюстрацией этого может служить знаменитая дискуссия середины 1760-х годов вокруг критического комментария Г. Добнера к «Чешской хронике» [46] — сочинению чешского католического писателя XVI в. В. Гайка, впервые изданному в 1541 г. Данный спор, одним из участников которого был А. Л. Шлецер, приобрел широкую международную огласку и открыто политический смысл. Г. Добнер выступал с прогрессивных позиций, защищая интересы развития чешской культуры. Он подчеркивал, что патриотическая задача науки заключается не в бездумном повторении вымыслов и искажений средневековых хронистов, как бы они ни были приятны для национальных чувств, а в тщательной проверке источников, исправлении ходячих мнений и критике во имя поисков истины [47]. Это была поистине трансформация старого понимания национально-патриотической традиции, принципиально иной подход, логически завершавший усилия предшественников Г. Добнера и сочетавший ее с коренными требованиями философии Просвещения.

Широкое переосмысление сторонниками национально-просветительского направления задач исторической науки вело не только к усилению ее авторитета, но и к тому, что уже в 70-е годы в разного рода критико-библиографических и литературно-публицистических выступлениях (Ф. М. Пельцль, А. Фойгт, отчасти Й. В. Монсе в Моравии) обращения к истории чешского народа заняли

---

[46] M. Kudělka. Spor Gelasia Dobnera o Hájkovu kroniku. Praha. 1964.

[47] J. Hanuš. Počátký kritického dějezpytu v Čechach. ČČH, 1909, str. 301, 435.

значительное место. Абсолютизируя такое положение, приверженцы школы Й. Пекаржа в свое время были склонны рассматривать «историзм» первых чешских просветителей как ответную национальную реакцию на австрофильские и вообще привнесенные идеи Просвещения. Подчеркивались антипросветительские тенденции А. Фойгта (фигуры действительно сложной и своеобразной) или даже подвергалась сомнению принадлежность Г. Добнера и других просветителей к идейному течению Просвещения [48].

Не говоря уже об односторонней интерпретации взглядов первой плеяды чешских просветителей, беспочвенна сама мысль об отделении философии Просвещения от исторической науки. Не кто иной, как Вольтер, известный прежде всего как философ, подчеркивал необходимость критического осмысления исторических источников, а в своих трудах «История Российской империи в царствование Петра Великого» (1759—1763), «Философия истории» (1765), «Опыт о нравах и духе народов» (1765—1769), «История царствований Людовика XIV и Людовика XV» (1759) и др., применил исторические сведения для подтверждения своей концепции. Тем более в Чешских землях, где борьба за идеи Просвещения шла об руку с борьбой национально-освободительной, значение исторической науки повышалось. Интерес к ней первых чешских просветителей, начиная с Г. Добнера, противопоставление у Ф. М. Пельцля или А. Фойгта высокого уровня развития культуры, науки и литературы средневековой Чехии в пору ее независимости современному состоянию не только носили оппозиционный характер в своей основе, но и превращались в своеобразный моральный аргумент в пользу необходимости и реальности борьбы за новый расцвет национального языка и литературы как средства укрепления национального самосознания.

Эта черта, составившая одну из примечательных особенностей чешского Просвещения в ранней фазе его развития, не была, однако, чисто местным, локальным явлением. Выдвигая плодотворную мысль о существовании научно-публицистического и литературного течения историографии славянского Возрождения, А. Н. Робинсон подчеркивал, что в славянских странах к XVIII в. «историография приобретает по мере своего развития программно-идеологический характер» [49]. Интерес к отечественной истории, защиту национального языка Э. Винтер отнес к важнейшим признакам славянского Просвещения [50]. В той или иной мере они были

---

[48] J. Starkoš. Počátky obrozenského historismu v pražských časopisech a Mik. Ad. Voigt. Příspěvek k historii protiosvícenské reakce v národním obrození. Praha, 1929, str. 24, 25; J. Hobzek. České dějepisectví doby barokní a osvícenské. Praha, 1941, str. 18, 19.

[49] А. Н. Робинсон. Историография славянского Возрождения и Паисий Хилендарский. См.: «Славянска филология», т. 8. Литературознание. София, 1966, стр. 90.

[50] E. Winter. Die Aufklärung in der Literaturgeschichte der slawischen Völker. «Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin.

действительно свойственны и остальным славянским народам, но, разумеется, далеко не одинаково. Так, если «литературными средствами» русского и польского Просвещения была сатира, сатирическая журналистика, сатирическая комедия, «восточные повести» и т. п. [51], то для эпохи Просвещения в Чешских землях, а также в Словакии и у южных славян, особенно в ранний период, более типичным было внимание к разработке исторических и филологических проблем (Ю. Папанек, Ю. Скленар, Паисий Хилендарский, Софроний Врачанский, И. Раич). Речь идет именно о типичном и наиболее распространенном, ибо, подобно тому, как, например, в России XVIII в. разработка отечественной истории М. В. Ломоносовым приобрела крупное общественное значение, в Чехии с 70-х годов XVIII в. определенное место заняли усилившиеся к исходу века также собственно литературные средства просветительской деятельности (поэзия, проза, сатирическая и морализирующая журналистика). Во всяком случае отсутствие государственной независимости и национальное угнетение сближали порабощенные западно- и южнославянские народы не только друг с другом, но и с такими народами неславянского происхождения, как венгры, греки или итальянцы, также испытывавшими гнет чужеземного господства [52].

Попытаемся в предварительном порядке рассмотреть в сравнительно-историческом плане типологию Просвещения в славянских странах рядом с общеевропейским Просвещением. В зависимости от уровня социально-экономического развития, прежде всего от степени интенсивности процесса первоначального накопления и темпов разложения феодализма, представляется возможным наметить здесь по крайней мере три основных типа развития.

Первый тип, которого славянские страны не знали, был характерен для обстановки наиболее буржуазно зрелых в экономическом смысле стран (Англия, Франция). Второй тип присущ таким странам, как Россия и Германия, где рост капитализма замедлялся и тормозился сохранившими еще силу феодально-крепостническими отношениями. Наконец, третий был связан со странами, в которых социально-экономическая ситуация, отме-

---

Gesellschaft-und Sprachwissenschäftliche Reihe». 1959/60, N 3, S. 183—187. См. также: Славянская филология, т. 3. М., 1958, стр. 282—293; Э. Винтер. Просвещение в истории литературы славянских народов. В кн.: «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии», т. I, 1962, стр. 239.

[51] П. Н. Берков. Основные вопросы изучения русского просветительства. В кн.: «Проблемы русского Просвещения в литературе XVIII века». М.—Л., 1961, стр. 17—23; T. Kurdybacha. Die Frühaufklärung in Polen. In: «Quellen und Studien zur Geschichte Osteuropas». Herausg. von E. Winter, Bd. 7. Berlin, 1960, S. 184—192.

[52] Всемирная история, т. 5. М., 1958, стр. 227—229; J. Tibenský, J. Papaneka J. Sklenar. Obrancovia slovenskej národnosti v XVIII st. Martin, 1958, str. 49 и след.

ченная для второго типа, усложнялась утратой национальной независимости (большинство южных и западных славян, венгры, греки, население Северной Италии и т. п.).

Сходство в главном — в антифеодальной направленности Просвещения у славянских народов с аналогичными процессами у других европейских народов того времени — несомненно. Что касается различий в проявлениях Просвещения у отдельных славянских народов, то они представляли собой отражение своеобразия в характере генезиса капитализма и культурного развития каждого из них. Зависевшие от множества причин, эти сходства и отличия в конечном счете определялись теми реальными социально-экономическими, политическими и общественно-культурными задачами, которые стояли в данный момент перед тем или иным славянским народом.

Итак, в ряду различных форм просветительской идеологии, получивших распространение в Чешских землях в 50—70-е годы, с точки зрения перспектив прогрессивного развития культуры и общественной мысли первенствующим значением обладало национально-просветительское направление. Его происхождение не было ни результатом автаркичного развития, ни следствием простого внешнего заимствования идей — безразлично, в духе ли Я. Влчека — Т. Масарика, или в духе И. Пекаржа — Й. Стракоша. Национально-просветительная концепция являлась плодом синтеза прогрессивных черт национально-патриотической традиции с идеями европейского Просвещения, синтеза, происходившего под воздействием коренных сдвигов социально-экономического характера, обострения классовой борьбы и развития буржуазных общественных отношений. Мировоззрение первых чешских просветителей формировалось в обстановке идейных исканий передовых мещанско-бюргерских кругов и выражавшей их настроения интеллигенции. Вместе с тем группа лиц, посвятивших свою деятельность отстаиванию прав чешского языка, разработке проблем национальной культуры и науки имела возможность бороться за это только благодаря тому, что оказалась подлинной хранительницей национально-патриотических традиций.

Слабость чешского мещанства, не имевшего реальных политических союзников, отсутствие в эти десятилетия широко народного движения, уход с политической сцены мелкопоместного дворянства и, как следствие того и другого, несмотря на рост социальных противоречий в деревне и городе, недостаточное еще «давление снизу» (как это, например, имело место в соседней Венгрии) [53], предопределяло в значительной мере умеренность

---

[53] И. Ачади. История венгерского крепостного крестьянства. М., 1956, стр. 233; D. Silagi. Jakobiner in der Habsburger Monarchie. Wien — München, 1962, S. 17.

взглядов почти всех чешских просветителей. Отсюда чувствующиеся уже в период раннего чешского Просвещения своеобразная корректировка, смягчение ими более радикальных представлений народных масс, стремление достичь реализации национально-патриотических чаяний мирным путем при содействии шляхты и т. п. Но, несмотря на присущую им умеренность и сословно-классовую ограниченность, первые чешские просветители выразили общедемократические чаяния подавляющего большинства народа. А период раннего Просвещения 50—70-х годов XVIII в. непосредственно подготовил период развитого чешского Просвещения 80— начала 90-х годов XVIII в.

В. Д. Королюк

К ВОПРОСУ О СЛАВЯНСКОМ САМОСОЗНАНИИ В КИЕВСКОЙ РУСИ И У ЗАПАДНЫХ СЛАВЯН В X—XII вв.

До недавнего времени не вызывавший среди подавляющего большинства историков-славистов серьезных разногласий, казалось бы, даже само собой разумеющийся тезис, что славянским народам и в далеком прошлом было свойственно сознание их исторической общности [1], в самые последние годы оказался предметом довольно оживленной дискуссии. С решительной критикой этого тезиса, в определенной мере находящегося в противоречии со схемой двух изолированных — западнолатинского и византийского — кругов европейской цивилизации, выступили западногерманские историки. Тезис этот, по их мнению, не имеет опоры в источниках и не соответствует реальным историческим условиям развития славянских народов в период раннего средневековья. Очень четко такая точка зрения сформулирована М. Хелманом, считающим, что в средние века невозможно обнаружить даже «следов проявления чувства славянской общности» [2]. Аналогичную позицию занимает и американский историк Д. В. А. Файн. Критикуя высказанную мною мысль, что сознание единства происхождения славянских народов было в ту эпоху (речь идет о событиях XI—XII вв.— *В. К.*) важным элементом их национального, народного самосознания [3], он не только считает ее ошибочной, ссылаясь на то, что отношения между раннефеодальными славянскими государствами были чаще скорее враждебными, чем дружественными, но и пытается представить ее панславистской. Мой американский рецензент,

[1] J. Bidlo. Dějiny Slovanstva. Praha, 1927, стр. 8; ср.: Н. С. Державин. Славяне в древности. М., 1945; Obrysy Slovanstva. Praha, 1948.

[2] M. Hellmann. Grundfragen slawischer Verfassungsgeschichte des frühen Mittelalters. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, Bd. 2, H. 4, 1954, S. 403; ср.: J. Barnik. Deutsche-russische Nachbarschaft. Stuttgart, 1959, S. 154.

[3] В. Д. Королюк. Западные славяне и Киевская Русь в X—XI вв., М., 1964, стр. 88.

полагающий, что приведенная выше формулировка свидетельствует о стремлении нарисовать «картину панславянской общности» (picture of a Pan-Slavic community)[4], вольно или невольно допускает при этом передержку, пользуясь как синонимами понятиями «панславизм» и «славянская общность». Синонимами эти термины не были даже и в XIX в., когда действительно сформировался панславизм как четко выраженное реакционное общественно-политическое течение, отражающее интересы определенных политических кругов российского класса помещиков. Тем более нет оснований допускать такое смешение понятий для эпохи раннего средневековья. Общественная жизнь в ту пору, само собой разумеется, не могла породить такие по своему существу буржуазно-националистические, характерные именно для отстававших в XIX в. в своем общем историческом развитии стран Восточной и Центральной Европы, политические течения, как пангерманизм и панславизм.

Что же касается конфликтов между раннефеодальными славянскими государствами, о которых говорит Файн, то факт этот общеизвестен. Формулируя свою точку зрения на проблему славянского самосознания в эпоху раннего средневековья, я отнюдь не отвлекался от анализа политических противоречий в славянском мире, как это легко можно увидеть, ознакомившись с моими исследованиями. Более того, именно учет этих конфликтов, как и исследование общего политического развития стран Центральной и Восточной Европы в X—XI вв., побудил меня подчеркнуть, что «сознание единства происхождения и языковая близость славян не заслоняли от современников факты их самостоятельного национального существования»[5]. «Несмотря на родство и ярко выраженную тогда общность культуры всех славянских народов,— подчеркивал я,— анализ политического развития восточного и западного славянства приводит к выводу, что главным, направляющим процессом в это время был процесс образования в основном этнически однородных раннефеодальных государств»[6].

Итак, не некая трансплантированная в X—XII вв. мессианистическая славянская идея или панславистская идеология XIX в., а сознание общности происхождения и языкового родства — вот о чем конкретно идет речь, когда встает вопрос о славянском самосознании у славянских народов X—XII вв. Что касается культурной общности, то имеется в виду, конечно, общность неоднократно отмеченной археологическими исследованиями

---

[4] См. рецензию на кн.: В. Д. Королюк. «Западные славяне и Киевская Русь в X—XI вв.» в журнале «Kritika. A review of current soviet books on russian history», vol. II, 1966, № 3, p. 2.

[5] В. Д. Королюк. Западные славяне и Киевская Русь в X—XI вв. стр. 29.

[6] Там же, стр. 337.

материальной культуры[7], что не исключает, впрочем, заметной специфики развития материальной культуры в отдельных славянских землях. Такая трактовка культурной общности, естественно, отнюдь не воспроизводит характерную для славяноведения XIX в. романтическую трактовку культурной общности славянских народов, которую современный чехословацкий исследователь Л. Гавлик вполне правильно определяет как научную фикцию[8].

Начавшийся в современной чехословацкой исторической науке пересмотр вопроса о славянском самосознании у древних славян тесно связан с критикой буржуазного славяноведения, особенно панславистских и славянофильских концепций. В этом, бесспорно, сильная сторона новейших исследований чехословацких историков. Проводя решительное разграничение между содержанием понятия славянское самосознание в средние века и так называемой славянской идеей XIX в., они стоят на почве того исторического исследования, на которой стояла и советская историческая наука в тот период, когда преодоление ошибочных славянофильских и панславистских взглядов в 20—30-х годах являлось решающей предпосылкой организации в нашей стране славистических исследований на новой основе. Иное дело, насколько удачными или убедительными представляются предлагаемые конкретные решения вопроса о славянском самосознании у древних славян. Из работ, посвященных этой проблематике, особого внимания заслуживают исследования Ф. Грауса, давшие сильный толчок для пересмотра традиционных для чешского буржуазного славяноведения точек зрения. Пересмотр взглядов на характер славянского самосознания как общественно-культурного фактора в средние века тесно связан в работах Грауса с пересмотром значения великоморавской традиции для развития средневековой чешской государственности. Отрицая сколько-нибудь серьезную роль великоморавской государственной и культурной традиции для процесса формирования раннефеодальной чешской государственности и не видя в славянской письменности X в. никакого существенного культурного или политического фактора в жизни чешского общества[9], Граус на основе анализа позднеантичных

---

[7] А. В. Арциховский. Культурное единство славян в средние века. «Советская этнография», 1946, № 1; П. Н. Третьяков. О происхождении славян. «Вопросы истории», 1953, № 11; И. И. Ляпушкин. К вопросу о культурном единстве славян. «Исследования по археологии СССР». Л., 1961 и др.

[8] L. Havlík. Zapadní Slované a Kyjevskà Rus. «Slovanský pžehled», 1965, № 6, str. 366. Не думаю, что в настоящей связи следовало бы особо подробно оговариваться, что моя точка зрения на проблему славянской культурной общности в древности не имеет общих методологических основ с историографией прошлого столетия.

[9] F. Graus. Velkomoravská Říše v české středověké tradíci. «Československý časopis historický», 1963, № 3; F. Graus. Slovanská liturgie a písemnictví v Přemyslovských Čechách 10. století. «Československý časopis histo-

и раннесредневековых упоминаний о славянах приходит к выводу, что традиция единства происхождения и родства славянских народов — явление относительно позднее, не коренящееся в историческом развитии самих славянских народов, а выросшее на основе средневековой (неславянской) образованности. Это своеобразная ученая схема, свойственная средневековому образу мышления [10]. Близкую к точке зрения Грауса концепцию развивает и Л. Гавлик, проделавший большую работу по критической систематизации позднеантичных и раннесредневековых письменных источников о славянах. И в его концепции понятие славянской общности — явление сравнительно позднее, а не начальное. Понятие это возникает первично вне пределов славянского мира, прежде всего в рамках римско-византийской историографии, и лишь впоследствии начинает играть ту или иную роль в жизни самих славянских народов.

Нетрудно заметить, что выраженный таким образом тезис о происхождении славянского самосознания в раннесредневековом славянском обществе находится в остром противоречии с установившейся в советской и зарубежной историографии точкой зрения, исходящей из того, что сознание общности происхождения было свойственно славянским народам уже на очень ранних ступенях их развития. На этой точке зрения, хотя, может быть, и не формулируя ее достаточно четко и определенно, как не сформулировал в свое время ее и я, стоит большинство наших историков-славистов. В очень определенной форме высказал ее в последнее время польский славист Г. Лябуда, а до него советский историк М. Н. Тихомиров [11].

В задачи настоящего сообщения и входит попытка разобраться в том, насколько обоснованной можно считать новую трактовку вопроса о происхождении у славянских народов славянского самосознания в новейших трудах части чехословацких ученых. Логика исследования подсказывает, что начинать следует с анализа позднеантичной и раннесредневековой литературной традиции.

Уже античные источники (Тацит — в I в. н. э., Птолемей — во II в. н. э.) упоминают славян как целое под общим именем венедов. В дальнейшем это общее для славян наименование прочнее сохранилось на Западе, в то время как в пределах Восточ-

---

rický», 1966, № 4; ср. D. Třeštík. Miscelanea k I staroslovanské legendě o sv. Václavu: «Každy kdo povstává proti pánu svému, podoben jest Judáši». «Československý časopis historický», 1967, N 3.

[10] F. Graus. Deutsche und slawische Verfassungsgeschichte. «Historische Zeitschrift», 1963, S. 272—277.

[11] G. Labuda. Fragmenty dziejów Słowiańszczyzny zachodniej, t. I. Poznań, 1960; М. Н. Тихомиров. Исторические связи русского народа с южными славянами с древнейших времен до половины XVII в. «Славянский сборник», М., 1947, стр. 128.

норимской , а затем Византийской империи очень быстро распространилось другое — славяне, о чем свидетельствуют сочинения Прокопия Кессарийского, Иордана, Иоанна Эфесского, Феофилакта Симокатты и др. При этом необходимо отметить, что позднеантичная и раннесредневековая византийская традиции дают все основания полагать, что уже в то время на юго-востоке Европы прекрасно отдавали себе отчет в том, что славяне — собирательное наименование, означающее некую широкую этническую общность, охватывающую множество более мелких этнических единиц. Особенно важны в этом отношении показания жившего в Византии готского историка Иордана. Определяя местоположение поселений венедов, которых он помещает к востоку от Вислы, Иордан замечает: «Хотя их (венедов.— *В. К.*) наименования теперь меняются соответственно различным родам и местностям, все же они преимущественно называются славянами и антами» [12]. В другом месте своего труда готский историк VI в., вновь возвращаясь к венедам, подчеркивает общность их происхождения: «Эти (венеты)... происходят от одного корня и ныне известны под тремя именами: венетов, антов, склавенов» [13].

То обстоятельство, что такое общее наименование, как венеды, а затем славяне, могло распространиться в соответствии с уровнем географических и этнографических знаний, а порой и просто по традиции на племена неславянского корня, равно как и появление самих славян в византийских источниках под другими традиционными именами, например под именем скифов, ни в какой мере не может поколебать того факта, что в VI в. в Византии существовало твердое понятие о славянах как широкой этнической общности.

Аналогичное понятие славянской общности сложилось и на Западе, в пределах Франкской, а впоследствии в Немецкой империи, где постепенно в течение VII—IX вв. тоже получил более широкое распространение термин славяне, оттесняя старое название венеды. Может быть, лучшим доказательством тому могут служить неоднократно цитировавшиеся в славистической литературе свидетельства биографа Карла Великого Эйнгарда, знавшего, что под славянами понимаются многие народы, различающиеся между собой обычаями и образом жизни [14].

Для целей настоящего сообщения не менее важны, пожалуй, сообщения о славянах арабских источников, тем более что арабские путешественники и торговцы имели контакты как с восточным, так и с южным и западным славянством.

Можно считать установленным, что в сочинениях арабских писателей термин as-Sakālib означает прежде всего народы славян-

---

[12] Иордан. О происхождении и деяниях гетов. М., 1960, стр. 71, 72.
[13] Там же, стр. 90.
[14] Einhardi. Vita Caroli Magni. c. 15. «Monumenta Germaniae Historica Scriptores», t. II.

ского происхождения и никогда не употребляется таким образом, чтобы славяне оказывались вне определенного этим термином географического или этнического понятия [15]. Расширительное употребление этого термина, как и в случае с византийскими авторами, разумеется, не меняет дела. Однако арабским источникам известно не только о славянах как этническом целом, но они сохранили и легенды о бывшем прежде политическом единстве славян. Автор «Золотых лугов», географического трактата начала X в., Масуди не только утверждает: «Если бы славяне не были так раздроблены и если бы между отдельными их племенами было менее несогласия, то ни один народ в мире не в состоянии был бы им противиться» [16],—но и вспоминает о том, что некогда одно из славянских племен (валинана) господствовало над другим и что во главе этого объединения стоял верховный царь Маджак. Не менее, если не более, важно сообщение такого хорошо информированного автора, побывавшего в 60-е годы X в. в Центральной Европе, в том числе в Чехии и у бодричей, как Ибрагим ибн Якуб [17] — арабский купец и дипломат еврейского происхождения. Вот что он пишет о славянах: «Образуют они многочисленные, отличающиеся друг от друга племена. В прошлом их объединял вместе какой-то король, носивший титул Māhā. Он происходил из одного их племени, называемого велитаб, и это племя в очень большом почете у них. Потом они поссорились между собой, так что пропал у них порядок, а их племена образовали особые объединения, и каждым племенем стал править особый король[18]». Далее идет подробная характеристика Бодрицкого княжества, Чехии, Польши и Болгарии.

Итак, нет никакого сомнения в том, что в окружающем славян мире в VI—X вв. существовало вполне определенное понятие о них как о широкой этнической общности, основанной, разумеется, на единстве происхождения и языковом родстве. В качестве термина, означающего эту общность, укоренилось в конце концов всюду — и в сочинениях византийских писателей и арабских географов, и в анналах и хрониках франкского и немецкого происхождения — коренное этническое наименование — славяне, хорошо известное всем трем ветвям славянского этноса. Последнему обстоятельству очень большое значение придавал М. Н. Тихомиров [19]. Напомним к тому же, что некоторые сочинения иностранцев сообщают сведения и о некогда существовавшем политическом единстве славян.

---

[15] «Zródła arabskie do dziejów Slowiańszczyzny», t. I, str. 86.

[16] А. Я. Гаркави. Сказание мусульманских писателей о славянах и русских. СПб., 1870, стр. 135.

[17] «Monumenta Poloniae Historica. Nova Series», t. I. Kraków, 1946, стр. 41, 42 (комментарий Т. Ковальского).

[18] Там же стр. 188.

[19] М. Н. Тихомиров. Указ. соч., стр. 128.

Вместе с тем характерной чертой византийских, арабских франкских и немецких известий о славянах является указание на их политическую раздробленность, отличия в общественном быте и обычаях. Такое ясное представление о множественности славянских племен и народов, об их политической обособленности и различиях в общественном строе и образе жизни вполне отвечает всему тому, что известно о славянах на основании как более поздних письменных, так и современных археологических источников. Оно отражает важнейшие процессы, происходившие тогда в славянском мире,— процессы зарождения и формирования раннефеодальной государственности и образования самостоятельных славянских народностей на всей славянской территории, включая и территорию полабо-прибалтийских славян, о чем мне уже неоднократно приходилось писать [20-21].

Но, если в византийской, арабской и франко-немецкой письменной традиции существовало определенное понятие славянской общности, естественно возникает вопрос, каким образом, вопреки реальной политической и отчасти культурной и этнической неоднородности славянского мира, оно могло возникнуть? Поскольку сами источники не дают ответа на этот вопрос, возникает логическая возможность неоднозначного его решения. Во-первых, можно предположить, что понятие славянской общности сложилось в неславянской литературной традиции на основе многочисленных и разнообразных контактов и наблюдений над славянами, путем синтеза конкретных знаний о славянском мире с библейскими представлениями о происхождении народов. И тогда понятие славянской общности, т. е. единство происхождения славян и родства славянских языков, окажется прежде всего логической научной комбинацией, филологической по преимуществу. Более того, можно будет настаивать на том, что понятие славянской общности возникло прежде всего вне славянского мира, а у славян оно появилось только как вторичное, трансплантированное им или усвоенное ими понятие, а следовательно, нет нужды и придавать этому фактору сколько-нибудь существенного значения в процессе формирования национального самосознания славянских народов в раннем средневековье. Именно на такой точке зрения стоят названные выше чехословацкие историки.

Во-вторых, вполне закономерно предположение, что понятие славянской общности в том виде, в каком оно определено выше, было усвоено окружающим славян миром из славянской среды,

---

[20-21] См.: В. Д. Королюк. Западные славяне и Киевская Русь в X—XI вв.; он же. Некоторые общие закономерности раннефеодальной истории восточных и западных славян. «Краткие сообщения Института славяноведения», 1963, № 39; он же. К вопросу о раннефеодальной государственности у полабо-прибалтийских славян. «Славяно-германские отношения». М., 1964.

в которой сохранялись представления об общем происхождении и в которой были широко распространены в качестве самоназвания термины «славяне», «славянский язык».

И наконец, нельзя исключать третьего решения вопроса: понятие славянской общности в неславянской, прежде всего византийской и арабской письменности, могло сформироваться в результате синтеза существовавших у славян и известных их соседям прямо или через посредников (показательна в этом смысле готская традиция Иордана) исторических преданий об общности происхождения славянских племен и народов с конкретными наблюдениями путешественников-купцов, военных и политиков над языком и обычаями славян и диктуемыми библией представлениями об единстве происхождения человеческого рода.

Для того чтобы избрать одно из сформулированных таким образом решений, необходимо, думается, обратиться к соответствующим показаниям источников славянского происхождения. К сожалению, славянские памятники письменности возникли позже основных разобранных выше источников иностранных. Но это обстоятельство ни в коем случае не может предрешить решения вопроса в пользу первого варианта, отстаиваемого Ф. Граусом или Л. Гавликом.

Если оставить в стороне в силу их очень тесной связи с византийской образованностью паннонские легенды, то по тем же причинам следует воздержаться от привлечения славянских житий Вячеслава и Людмилы и легенды так называемого Кристиана, содержащих в связи с рассказом о богослужении на славянском языке упоминания о славянских странах как едином целом[22]. Помимо того, неясность хронологии Кристиана вообще ослабляет значение показаний этого источника [23].

По-видимому, больший интерес для наших целей могут представить показания Козьмы Пражского, в хронике которого трудно уловить какие-либо признаки большого влияния Кирилло-Мефодиевой проповеди [24]. Писавшего в начале XII в. чешского хрониста нельзя, конечно, упрекать в незнании античной и раннесредневековой традиции. Вся его хроника, особенно вступительные разделы, свидетельствует о большой по тому времени образованности пражского каноника, декана капитула собора св. Вита. Поэтому не было бы ничего удивительного, если бы в его хронике нашел отражение существовавший уже в VI—X вв. на Западе взгляд на славян как на единое по языку и происхож-

---

[22] См., например: «Missas preterea ceterasque canonicas horas in ecclesia publica voce resonare statuit, quod et usque hodie in partibus Sclavorum a pluribus agitur, maximeque in Bulgariis, multeque ex hoc anime Christo domino acquiruntur» (J. P e k a ř. Die Wencels und Ludmila-Legenden und die Echtheit Christians. Prag, 1906, str. 89, 90).

[23] F. G r a u s. Slovanská liturgie a písemnictví..., стр. 490.

[24] Там же, стр. 492.

дению этническое целое. Козьме Пражскому действительно известны такие понятия, как «славяне», «славянский язык» [25]. Важно подчеркнуть при этом, что «славянский язык» употребляется хронистом отнюдь не в смысле языка богослужения, а как синоним языка чешского, а «славяне» — как синоним чехов. В том, что понятие «славянский язык» и православный обряд со славянским языком богослужения в представлениях Козьмы не одно и то же, убеждает и его пересказ подложной грамоты Иоанна XIII об основании пражской епископии. «Однако ты выбери для этого дела (т. е. для назначения на епископскую кафедру.— *В. К.*),— говорилось будто бы в этой грамоте папы к чешскому князю,— не человека, принадлежащего обряду или секте болгарского или русского народа или славянского языка, но... особо сведущего в латинском языке...» [26].

Прибегая к употреблению терминов «славяне» и «славянский язык» при противопоставлении чехов и немцев, Козьма, однако, не обращается к ним, касаясь характеристики отношений чехов со славянскими народами, хотя из его хроники ясно видно, что он не только всегда отличал от чехов поляков [27], но и противопоставлял Чехию, чешскую страну — Руси, Болгарии, стране лужицких сербов [28] и даже Моравии [29]. Более того, излагая древние предания о появлении в Чехии, которую хронист называет частью Германии [30], конечно, в античном понимании этого географического понятия, первого населения, о происхождении названия Чехия и чехи и, наконец, о местном крестьянском родословии правящей княжеской династии Пржемысловцев [31], Козьма вообще не затрагивает темы славянского происхождения чешского народа.

А это уже свидетельствует о многом. Ясно, что «славяне» и «славянский язык» в произведении пражского хрониста — не результат усвоения им сложившихся вне славянского мира «ученых» представлений о славянской общности, хотя такие представления должно быть были ему известны, а прежде всего отражение самоназвания чешского народа и вместе с тем свидетельство широко распространенного в чешском обществе его времени славянского самосознания. В том, что такое самосознание не было явлением

---

[25] Козьма Пражский. Чешская хроника. М., 1962, стр. 66, 68, 113.

[26] Там же, стр. 66. Вот как звучит важное для нас место в оригинале хроники: «Non secundum ritus aut sectam Bulgariae gentis vel Ruziae aut Sclavonicae linguae» (Cosmae Pragensis Chronica Boemorum. l. I. c.22. «Fontes Rerum Bohemicarum», t. II).

[27] Козьма Пражский. Указ. соч., стр. 69, 79, 82, 93, 102, 113, 149 и др.

[28] Там же, стр. 66, 114, 153.

[29] Там же, стр. 93, 123, 165 и др.

[30] Там же, стр. 32.

[31] Там же, стр. 33—45.

новым, а опиралось на местные традиции, говорит как сама известная всем славянам этнотерминология «славяне», «славянский язык», так и употребление ее чехами в качестве самоназвания. Но, осознавая себя славянином, человеком, говорящим на славянском языке, Козьма прежде всего чувствовал себя чехом, как чувствовали и называли себя чехами его современники. Отсюда его гордое: «... Чешская страна стоит, стояла и будет стоять вечно» [32].

Поразительно, что именно такое же соотношение славянского и развивающегося национального самосознания было характерно и для Польши начала XII в., о чем ярко свидетельствует первая польская хроника так называемого Галла-Анонима. Галл-Аноним тоже постоянно противопоставляет поляков не только чехам [33] и русским [34], но, что особенно важно, поморянам [35]. Порою он не скупится даже на бранные слова. Он не любит чехов и пылает открытой ненавистью, как и положено фанатику-христианину, к язычникам-поморянам. И тем не менее для его хроники в большей мере, чем для хроники Козьмы Пражского, свойственно развитое чувство славянского единства. Не случайно, очевидно, он начинает свой рассказ о подвигах польских государей с характеристики Польши как составной части славянского мира: «Со стороны Аквилона Польша является северной частью земли, населенной славянскими народами»,— пишет он. И тут же, говоря о соседях Польши, называет поморян, как и других язычников, «змеиным родом» [36]. Это не мешает, впрочем, ему сразу же перейти к описанию области расселения славян в целом: «Земля славянская... тянется от сарматов, которые называются и гетами, до Дании и Саксонии, от Фракии, через Венгрию, некогда захваченную гуннами, называемыми также венграми, спускаясь через Каринтию, кончается у Баварии, на юге же возле Средиземного моря, отклоняясь от Эпира, через Далмацию, Хорватию и Истрию, ограничена пределами Адриатического моря и отделяется от Италии там, где находится Венеция и Аквилея» [37].

Если это характеристика областей славянского расселения и может быть легко объяснена европейской образованностью автора хроники, который к тому же был скорее всего не поляком, а иноземцем, нашедшим приют и службу в Польше [38], то зато следующие затем строки его сочинения, звучащие как гимн богатству, славе и доблести славянских стран, свидетельствуют уже об очень четком и сильном славянском самосознании описывае-

---

[32] Там же, стр. 97.

[33] Галл-Аноним. Хроника и деяния князей или правителей польских. М., 1961, стр. 27, 32, 33, 51, 60, 67, 102, 103 и др.

[34] Там же, стр. 27, 33, 37, 39, 51.

[35] Там же, стр. 27, 51, 66—68, 71, 89, 90, 94, 98, 102, 104, 110 и др.

[36] Там же, стр. 27.

[37] Там же.

[38] См.: M. Plezia. Kronika Gałła na tle historiografii XII w. Kraków, 1947.

мого им общества. «Страна эта,— восклицает Галл-Аноним,— хотя и очень лесиста, однако изобилует золотом и серебром, хлебом и мясом, рыбой и медом, больше всего ей следует отдать предпочтение перед другими народами в том, что она, будучи окружена столькими вышеупомянутыми народами, христианами и язычниками, и подвергаясь нападению с их стороны, действовавшими как вместе, так и в одиночку, никогда, однако, не была никем полностью покорена. Это край, где воздух целителен, пашня плодородна, леса изобилуют медом, воды — рыбой, где воины бесстрашны, крестьяне трудолюбивы, кони выносливы, волы пригодны к пашне, коровы дают много молока, а овцы шерсти» [39].

Но если нельзя свести эти восторженные отзывы польского хрониста к сухой ученой схеме, привнесенной к тому же извне, то столь же трудно предполагать, что нашедшее в них отражение развитое славянское самосознание польского общества начала XII в. было всего лишь недавно зародившимся явлением. Для того чтобы одушевлявшие польского летописца чувства зазвучали с такой силой и выразительностью, они должны были, очевидно, корениться в прочных, сложившихся традициях. Говорить, что традиции эти могли сложиться только на базе усвоения византийской или немецкой, шире — западноевропейской, образованности в польских условиях, при относительной слабости связей польского общества со странами Западной и Юго-Восточной Европы и непродолжительности культурного воздействия христианской идеологии на польское общество, очевидно, более чем рискованно. Более убедительным кажется предположение, что и в Польше, как и в Чехии, исходным пунктом развития чувства славянской общности были местные традиции, коренящиеся в народных представлениях и народном самоназвании. «Славяне» и «славянский язык», вероятно, и здесь были синонимами «поляки» и «польский родной язык». Кстати, об этом свидетельствуют, как кажется, и слова самого Галла-Анонима. Замечая, что Гнезно по-славянски означает гнездо [40], а какие-то миски по-славянски называются cebri [41], он, без сомнения, имел в виду местную польскую речь, так же как в XI в. имелась в виду Адамом Бременским речь бодричей, когда он сообщал о том, что бодрицкий князь Готшалк «сам с ободряющими речами обращался в церкви к народу, а именно: желая передать яснее славянскими словами то, что епископами и пресвитерами говорилось туманно» [42]. Думается, что и само название «Славия» или «Славония» [43] для обозначения бодрицкого княжества было

---

[39] Галл-Аноним. Указ. соч., стр. 27, 28.
[40] Там же, стр. 28.
[41] Там же, стр. 29.
[42] A. Bremens. Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Hannoverae, 1846, I. III c. 19.
[43] Там же, I. III, c. 18.

всего лишь латинской передачей местного понятия «славянская земля». Другое дело, что острота славянского самосознания в раннефеодальной Польше (как, впрочем, и у полабо-прибалтийских славян) могла и даже должна была усиливаться остро враждебной и длительной польско-германской конфронтацией. Известную роль могли при этом сыграть и честолюбивые планы Болеслава Храброго основать обширную западнославянскую монархию как часть четырехчленной империи Оттона III под названием Sclavinia [44]. Наконец, не могло не способствовать развитию славянского самосознания в Польше и тесное польско-чешское политическое сотрудничество 60—80-х годов X в., активное участие Чехии в христианизации Польши и связанное с этим проникновение в страну сложившихся уже на Западе четких представлений об общности славянского мира.

Иными словами, нашедшее на страницах Галла-Анонима развитое общеславянское сознание синтезировалось на основе прежде всего местных традиций, опыта политического развития и в какой-то мере влияния западных представлений о славянах.

Но если славянская идеология Галла-Анонима была, таким образом, результатом известного синтеза, то в еще большей мере синтез этот должен быть характерен для Чехии, где так или иначе долго сохранялся славянский язык в богослужении и чувствовались отзвуки просветительской деятельности Кирилла и Мефодия.

Об аналогичном синтезе нужно, очевидно, говорить, переходя к проблеме славянского самосознания в Киевской Руси. Замечательным памятником его является труд Нестора, тоже возникший в начале XII в.

«По мнозех же времянех,— пишет летописец,— сели суть Словени по Дунаеви, где есть ныне Угорська земля и Болгарська, и от тех Словен разидошася по земле и прозвашася имены своими, где седше на котором месте, яко пришедше седоша на реце имянем Морава и прозвашася Морава, а друзии Чеси нарекошася, а се ти же Словени Хровате Белии и Серебь и Хорутане. Волхом бо нашедшем на Словене на Дунайския и седшем в них и насилящем им. Словени же ови пришедше седоша на Висле и прозвашася Ляхове, а от тех Ляхов прозвашася Поляне. Ляхове друзии Лутичи, ини Мазовшане, ини Поморяне. Такоже и ти Словене пришедше и седоша по Днепру и нарекошася Поляне, а друзии Древляне, зане седоша в лесех, а друзии седоша межю Припетью и Двиною и нарекошася Дреговичи. Инии седоша на Двине и нарекошася Полочане, речьки ради, яже втечеть в Двину, имянем Полота. От сея прозвашася Полочане. Словени же седоша около озера Илмеря, и прозвашася своим имянем и сделаша град

---

[44] В. Д. Королюк. Западные славяне и Киевская Русь в X—XI вв., стр. 184—186 и сл.

и нарекоша и Новъгород. А друзии седоша по Десне и по Семи и по Суле и нарекошася Север. И тако разидеся словеньский язык тем же и грамота прозвася Словеньская»[45].

Для писателя, задумывавшегося над вопросом, «откуда есть пошла русская земля, кто в Киеве нача первее княжити и откуда руская земля стала есть», такое обращение к славянской праистории, по-видимому, представлялось совершенно необходимым. При этом сознание славянского единства у Нестора, как и в сочинениях Галла-Анонима и Козьмы Пражского, нисколько не мешало четкому представлению, что речь идет не об одной, а о группе самостоятельных родственных народностей. Сознание славянского единства не противоречило, не вступало таким образом в конфликт с развивающимся на Руси национальным самосознанием. Скорее наоборот. Именно стремление понять себя как особую народность, определить место этой народности в тогдашнем цивилизованном мире, прежде всего в семье народов Европы и Средиземноморья, ответить на вопрос, «откуда есть пошла руская земля», и побуждала обращаться к эпохе, понимаемой как эпоха славянского этнического единства.

Делалось это, разумеется, на уровне тогдашней европейской образованности, в соответствии с библейскими представлениями об единстве человеческого рода. Славяне признавались потомками сына Ноя и Офета: «От сих же 70 и 2 языку бысть язык словенеск, от племени Афетова, нарци, еже суть словене»[46].

Чисто ученой комбинацией была, конечно, и теория Нестора о дунайской прародине славян, теория, сложившаяся не без сильного воздействия Кирилло-Мефодиевой традиции. Однако не только византийская образованность или великоморавская традиция определяли ученую схему Нестора. Разрабатывая свою теорию происхождения славянских народов, русский летописец опирался, по-видимому, и на изучение реального опыта межславянского общения. Он не только понимал, что широкое понятие «славяне» или «славянский язык» охватывает большую группу славянских народностей, но и внутри формирующихся славянских народностей подчеркивал этнические различия между моравами и чехами, польскими полянами и мазовшанами. Очевидно, результатом самостоятельных изысканий, если не самого Нестора, то его предшественников и современников, был взгляд на ляхов как особую ветвь западного славянства. В полном соответствии с современным языкознанием[47] к этой лехитской ветви отнесены им не только поляки, но и поморяне, и прибалтийские славяне — лютичи.

В труде Нестора наличествует, таким образом, синтез европей-

---

[45] ПСРЛ, т. I. Л., 1926, стб. 5, 6.
[46] Там же, стб. 5.
[47] Т. Лер-Сплавинский. Польский язык. М., 1954, стр. 55.

ской образованности с образованностью русской, с опытом и наблюдениями русского общества. Но был еще один третий элемент этого синтеза: коренящееся в народном самоназвании «славяне» и «славянский язык» древнее народное представление о славянском единстве. О том, что и в Киевской Руси термины «славяне» и «славянский язык» употреблялись в качестве самоназвания, прямо свидетельствуют слова летописца об ильменских славянах, которые «прозвашася своим имянем».

Завершая анализ источников славянского происхождения XII в., приходится констатировать, что проблему развития славянского самосознания, нашедшего отражение в них, оказывается невозможным свести только к проблеме усвоения славянской историографией сложившихся в эпоху раннего средневековья в Европе представлений о единстве происхождения и родстве славянских языков. В выработке этого самосознания участвовала и местная традиция, и собственный исторический опыт политического развития. Особый акцент необходимо при этом ставить, очевидно, на местной традиции, на коренящихся в самих самоназваниях «славянский язык» и «славяне» представлениях о славянском единстве. Политические и экономические связи между славянскими народами в X—XI вв. могли способствовать развитию этих представлений, но не могли обусловить их появление. Экономические контакты не проникли еще глубоко в народную толщу, сами купцы, связанные с внешней торговлей, были еще слишком слабым социальным фактором в обществе для того, чтобы формировать его национальное самосознание (хотя их жизненный опыт и наблюдения и могли, естественно, расширять горизонт образованных слоев раннефеодального польского, чешского или русского обществ), помогать ему формулировать свои представления о расселении, языке и быте славянских народов. Очевидно, не купцы были источником славянского самосознания Киевской Руси, Польши и Чехии.

Не более обоснованной представляется и попытка вывести местные славянские традиции из политической идеологии и политического опыта правящих славянских династий и их окружения. Особенно убедительно подтверждает это положение варяжская концепция начала Древнерусского государства, развивавшаяся на Руси, как политическая идеология правящего княжеского рода. Ведь именно опираясь на эту явно несоответствующую славянской идеологии, отраженной в труде Нестора, концепцию, русская княжеская династия оправдывала свои права на все русские земли, одновременно используя ее и как орудие упрочения политической независимости Руси. Варяжская концепция как идеология политического единства Руси сосуществовала, но не могла никогда совпасть с имеющей в конечном счете ту же направленность концепцией славянского единства. В условиях конфронтации с Византией или Германской империей

концепция славянского единства могла отвечать интересам династий и господствующих классов в Польше и Чехии, она легко совмещалась с концепцией местного происхождения княжеской власти; кровавые польско-немецкие и чешско-немецкие конфликты, как и противостояние Руси и Византии, могли усиливать ее, но не в политическом опыте князей и королей коренились ее первоначальные истоки. Следует учитывать к тому же, что именно в среде светской феодальной знати, как и в среде духовенства, особенно сильны были чужеземные (скандинавские, германские, византийские, тюркские) элементы.

В сочинениях духовных лиц нашли свое отражение славянские представления, существовавшие в X—XII вв. на Руси, в Польше и Чехии. Именно в трудах духовенства и мог только произойти синтез местных славянских традиций с европейской образованностью, но отсюда еще очень далеко до того, чтобы признать духовенство главным или единственным носителем славянской идеологии в эпоху раннего славянского средневековья. Для духовенства главное значение имела вероисповедная общность, которая в ряде случаев заслоняла собой родство этническое. Особенно ярко это сказалось в хронике Галла-Анонима при характеристике языческих поморян. Религиозные противоречия способствовали развитию антипольских настроений в среде киевского духовенства во второй половине XI в. [48] Конфликт язычества и христианства на западе славянского мира, церковный раскол XI в., разделивший славян на католиков и православных,— таковы основные факты из области религиозного самосознания, которые вступали в противоречие с традициями славянского единства.

Остается, следовательно, только одно — признать, что славянское самосознание у восточных и западных славян X—XII вв. могло основываться, иметь своим истоком только старые, а потому народные (общенародные) традиции. Трудно сказать в какой форме эти традиции сложились в предшествующий период истории восточных и западных славян. Здесь только отчасти может помочь такой драгоценный источник, как русская летопись. В ней сохранились следы бытовавших некогда легенд и преданий о древнеславянских передвижениях в Восточной Европе (отсюда и летописная статья о ляшском происхождении радимичей и вятичей) [49], в нее проникла, по-видимому, и западнославянская устная традиция о столкновениях и борьбе славянских и неславянских кочевнических племен [50]. Интересно, что следы анало-

---

[48] ПСРЛ, т. I, стб. 140.

[49] В. Д. Королюк. Западные славяне и Киевская Русь в X—XI вв., стр. 98.

[50] В. Д. Королюк. Авары (обры) и дулебы русской летописи. «Археографический ежегодник за 1962 год». М., 1963.

гичных преданий можно обнаружить и в сочинении Константина Багрянородного. Думается поэтому, что не будет слишком рискованным предположить, что предания о расселении и передвижениях славян искони были свойственны славянской устной исторической традиции. В ней могли сохраняться с тем, чтобы затем отразиться у арабских авторов, и предания о древних, объединяющих многие племена славянских военно-племенных союзах. Издревле, видимо, существовало у славян и само название «славяне» и «славянский язык», т. е. складывались известные у разных групп славянских племен неодинаковые по своему территориальному ареалу представления о славянской общности. Но тем самым решается и поставленный выше вопрос об источниках понятия «славянство» в раннеславянских памятниках. Именно местные представления и были использованы позднеантичными и средневековыми неславянскими писателями для создания ученого понятия «славяне» и «славянство», основанного на синтезе славянских традиций и существовавших тогда общих взглядах на развитие человечества. В XII в. синтез этот на более высоком научном уровне с учетом опыта политического развития IX—XI вв. был повторен в трудах Галла-Анонима и особенно Нестора. Синтез этот несомненно имел место и в Чехии XI — начала XII в. Анализ хроники Козьмы Пражского уполномочивает только на то, чтобы признать этот синтез в Чехии начала XII в. для формирования государственной идеологии Пржемысловцев менее значительным, чем для формирования государственной идеологии Руси или Польши. Объяснение этому, разумеется, надо искать в конкретных политических условиях развития Чехии в конце XII в. Но это уже особая тема исследования.

Все сказанное выше приводит к выводу, что славянское самосознание не только существовало, но и играло активную роль в национальном развитии восточных и западных славян в раннефеодальный период их истории. Оно способствовало, а не противоречило в тот период формированию самостоятельного национального самосознания русских, чехов и поляков. Для последних оно являлось важным идеологическим фактором в отпоре начавшемуся германскому феодальному «Дранг нах Остен».

Само собой разумеется, что самосознание это должно было способствовать и развитию политических, экономических и культурных связей между славянскими народами. Но в таком случае не могло ли оно оказать своего воздействия на такие важные явления в жизни тогдашнего славянства, как принятие Русью христианства со славянским языком богослужения, участие Чехии в христианизации Польши, церковнославянские традиции в Чехии X—XI вв., чешские элементы в формировании польской и русской государственной идеологии? Вопросы эти ждут своего решения.

А. И. Рогов

ЧЕШСКОЕ НАСЛЕДИЕ В КУЛЬТУРЕ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Вопрос о чешском наследии в культуре древней Руси относится к числу тех проблем славистики, внимание и интерес к которым непрерывно возрастает.

Вопрос этот можно назвать узловым. От решения его зависит выяснение не только картины межславянских контактов, но и важнейших сторон в истории древнерусской культуры, не говоря уже о древнейшей чешской литературе на старославянском языке. В последнее время науку занимает прежде всего именно этот последний аспект проблемы. Ведь едва ли не полностью, за сравнительно небольшими исключениями, памятники древнейшего периода чешской литературы дошли в русских списках и русской редакции. Вот почему определить объем и характер чешского наследия в древней Руси — это в значительной мере решить вопрос об объеме и характере славянской литературы в Чехии.

Рассматриваемый вопрос чрезвычайно осложняется необходимостью отделить памятники собственно чешского происхождения от великоморавского литературного наследия, которое могло прийти на Русь необязательно чешским путем. Возможность балканского пути распространения этой культуры на Руси тем более необходимо иметь в виду, что прямые данные говорят о том, что ученики Кирилла и Мефодия нашли пристанище себе именно на Балканах, а не в Чехии. Задачи исследователя облегчаются, когда речь идет о такой эпохе, где факты прямого общения между Чехией и Русью бесспорны. Так, к настоящему времени совершенно определенно установлено, что Сазавский монастырь, служивший в период своего существования (1033—1096 гг.) опорой для развития славянской письменности в Чехии по крайней мере во второй половине XI в., судя по совершенно определенным историческим данным, становится центром весьма оживленных культурных контактов между Чехией и Русью. Но и в этой казалось бы ясной сфере культурного общения для нас в действительности далеко не все ясно. Наиболее важными нам представляются здесь два вопроса. Во-первых, имел ли что-

то преемственное Сазавский монастырь с Кирилло-Мефодиевой традицией на территории, когда-то входившей в состав Великой Моравии, а теперь включенной в состав Чешского государства? И, во-вторых, каким могло быть литературное общение, в том числе даже в сфере литургических текстов, между католической Чехией и православной Русью. Если по многим вопросам расхождения между католической и православной церковью были не столь уж велики, то в форме, в составе богослужения они были более чем ощутимы, и решительно не могло быть и речи о возможности хоть как-то приспособить католические молитвословия вечерни к ничего общего с ними не имеющему православному всенощному бдению.

Окончательный ответ пока дать трудно. Можно предполагать только, что в Сазавском монастыре было принято по крайней мере наряду с католическим и православное богослужение с тем, конечно, что и то и другое совершалось на славянском языке. В связи с этим предположением следует упомянуть об известных Пражских глаголических листках второй половины XI в. Слависты давно уже солидарны в отнесении их к Сазавскому монастырю. Между тем по своему содержанию листки являются отрывками чисто православного богослужения — утрени [1]. Это светильны на праздники, которых не знает и не знала католическая церковь.

Выше говорилось, что рассматриваемая проблема давно уже привлекала внимание ученых. Их ряд открывает А. Х. Востоков, который, систематически обрабатывая рукописи Румянцевского музея в Москве в 1827 г., открыл и опубликовал по русской рукописи XV в. «Торжественнику» — один из древнейших памятников чешской славянской литературы, озаглавленный «Убиение святого Вячеслава, князя чеська» [2]. Востоков полагал, что это перевод с какого-то чешского памятника, написанного вскоре после убийства князя (929 г.). Характерно, что Востоков не допускал мысли о том, что перед ним оригинал, как и вообще о том, что в древней Чехии, как и в древней Руси, существовала славянская письменность.

Открытие А. Х. Востокова послужило началом целой серии открытий памятников, связанных с вацлавской традицией. Сам же Востоков в своем знаменитом «Описании русских и словенских рукописей Румянцевского музеума» (М., 1842, стр. 454—456) указал на находящиеся в прологах краткие жития Вячеслава (под 28 сентября) и Людмилы (под 16 сентября) и сказание о перенесении мощей Вячеслава (под 4 марта) [3]. Строго говоря,

---

[1] M. Weingart. Československý typ cirkevnej slovančiny. Jeho pamiatky a vyznam. Bratislava, 1949, str. 68—75.

[2] «Московский вестник», 1827, № 17.

[3] Опубликован в кн.: А. Х. Востоков. Филологические наблюдения. СПб., 1865, стр. 91—92.

открытием это уже не являлось, так как текст Пролога, в том числе и указанных его статей, не только был широко известен и часто переписывался в древней Руси, но был опубликован еще в 1659 г. в двухтомном московском издании Пролога. В составе достаточно известного сборника — многотомных Четьях-Минеях митрополита Макария — находилась и опубликованная в 1847 г. минейная редакция открытого Востоковым памятника «Убиение....»[4] В середине XIX в. И. И. Срезневским и И. Куприяновым был открыт и совершенно неизвестный до того времени богослужебный текст в честь св. Вячеслава — канон ему по спискам XII—XIII вв. В 1886 г. И. В. Ягич опубликовал его по списку 1095—1097 гг.[5] Наконец, в 1904 г. Н. К. Никольским был обнаружен русский перевод латинского сочинения мантуанского епископа Гумпольда о Вячеславе[6]. Публикация Никольского была одновременно и исследованием этого замечательного переводного памятника, а то обстоятельство, что в руках ученого был латинский оригинал, позволило сделать ценные наблюдения и выводы относительно среды и времени возникновения перевода.

При всей важности перечисленных выше публикаций, бесспорно являющихся определяющими источниками для решения проблемы чешского наследия в культуре древней Руси, для исследователей не могла не быть чрезвычайно узким местом ограниченность памятников исключительно вацлавской тематикой. Брешь в этом отношении была пробита А. И. Соболевским в 1900 г., когда он издал свое исследование «Церковно-славянские тексты моравского происхождения» (Варшава, 1900). А. И. Соболевским были изучены такие памятники, как «Беседы папы Григория Великого», киевские глаголические листки, жития св. Вита и св. Бенедикта, Никодимово евангелие, и с несомненностью показано их западное, латинское происхождение. При этом если, как это видно уже из самого заглавия исследования, первоначально Соболевский видел именно Моравию как место, где возникли указанные переводы, то позже, после ряда критических замечаний своих оппонентов, он был склонен отстаивать не моравское, а чешское происхождение переводов, так как затруднялся точно определить не столько место, сколько время их появления[7]. И все же это не решало главного методологического вопроса спора: правомерно ли на основании встречающихся в тексте богемизмов связывать его происхождение с Чехией. Особенно решительно

---

[4] «Чтения в обществе истории и древностей Российских», т. 3, 1847.

[5] И. В. Ягич. Служебные минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь в церковно-славянском переводе по русским рукописям 1095—1097 гг. СПб., 1886.

[6] Н. Никольский. Легенда мантуанского епископа Гумпольда о св. Вячеславе Чешском в славяно-русском переложении. «Памятники древней письменности и искусства», вып. CLXXIV. СПб., 1904.

[7] А. И. Соболевский. Материалы и исследования в области славянской филологии и археологии. СПб., 1910, стр. 48—109.

возражал А. И. Соболевскому Г. А. Ильинский, допускавший, что указанные переводы могли быть сделаны в любом другом месте, но при участии чехов [8]. Соображения Ильинского, во всяком случае в их критической по отношению к Соболевскому части, были поддержаны рядом славистов, таких, как Ф. Пастернек, И. Ягич и др. Но вместе с тем очень многие ученые так или иначе разделили и по сей день разделяют точку зрения Соболевского. Среди них М. Вейнгарт, И. Вашица, Р. О. Якобсон. В изданном недавно Брненским университетом сборнике «Magna Moravia» в поддержку положений Соболевского решительно выступают Р. Вечерна и Я. Людвиковский.

Определенный А. И. Соболевским круг новых памятников русско-чешского культурного общения в древнейший период, какие бы оживленные споры он ни вызывал, не мог однако отвлечь внимание ученых от бесспорных и оригинальных памятников вацлавского цикла. Интерес к ним особенно оживился в конце 20 — начале 30-х годов текущего столетия в связи с исполнившимся в 1929 г. тысячелетием гибели Вячеслава. Особо значительным вкладом в науку явился изданный в 1929 г. под редакцией И. Вайса «Сборник старославянских литературных памятников о св. Вацлаве и св. Людмиле» [9], где опубликованы буквально все славянские тексты (как кириллические, так и глаголические) о Вячеславе и Людмиле. Публикациям предшествуют отдельные небольшие вступительные статьи И. Вайса, Н. Серебрянского и И. Вашицы. Как правило, они подводят итоги изучению того или иного памятника. Наиболее новыми являются высказывания Н. Серебрянского относительно проложной редакции житий, местом возникновения которых он считает юг Киевской Руси, несмотря на то, что древнейшие списки их явно северного происхождения. Обширные исследовательские статьи чешских ученых, посвященные всем сторонам вацлавской проблематики, были изданы в двухтомном Святовацлавском сборнике (т. I, 1934; т. II, 1939), однако славянским памятникам в этом сборнике не уделялось большого внимания, если не считать статей Я. Славика «Младшая славянская легенда о св. Вячеславе и ее значение в свете критики латинских легенд» и М. Вейнгарта «Первая церковно-славянская легенда о святом Вячеславе».

В эти же годы, но независимо от Вацлавского юбилея и вне этой проблематики, Н. К. Никольский выдвинул гипотезу о существовании в Моравии и Чехии памятника, специально посвященного происхождению и раннему этапу истории славян, следы которого он находит в «Сказании о преложении книг»,

---

[8] «Известия Отделения русского языка и словесности», т. V. СПб., 1900, кн. 4, стр. 1385—1386.

[9] «Sborník staroslovanských literárních památek o sv. Vaclavu a sv. Ludmile». Uspořádal J. Vajs. Praha, 1929 (далее — «Sborník...»).

вошедшем в состав «Повести временных лет»[10]. Н. К. Никольский вполне допускал, что реконструируемый им памятник попал в Россию через Чехию, где таким образом он бытовал и после гибели Великой Моравии. Гипотеза Н. К. Никольского не встретила поддержки ученых, однако даже наиболее решительные оппоненты Никольского, не допуская существования отдельного памятника, не отрицали, что предания из Моравии дошли до Руси[11], т. е. в принципе признали, что эта часть моравско-чешского наследства отразилась в культуре древней Руси.

Никольский был не одинок в своем методе реконструкции утраченных моравско-чешских памятников, на основе дошедших до нас произведений. Так, Р. О. Якобсон выдвинул гипотезу о том, что в том же «Сказании о преложении книг» отразились возникшие в X в. и не сохранившиеся в самостоятельном виде «Привилегии моравской церкви» и «Эпилог о св. Кирилле и обращении Моравии и Чехии». Следы этих же памятников Р. О. Якобсон усматривает и в Хронике Козьмы Пражского[12]. На основе Пролога и латинского жития Людмилы, известного под названием «Fuit in provintia Bohemorum», ряд исследователей восстанавливают утраченное славянское житие Людмилы[13], а на основе так называемой первой латинской легенды о Прокопе Сазавском — также его славянское житие[14]. Все эти гипотезы при всей их большей или меньшей убедительности содержат немало ценных наблюдений, в целом расширяющих и уточняющих наши представления о судьбе чешских памятников на русской почве, так как основой для реконструкции этих памятников являются именно их русские переводы, версии или обработки.

Если обратиться, наконец, к современному состоянию рассматриваемой проблемы, то как характерное в нем можно отметить интерес к двум вопросам. Первый из них можно было бы сформулировать следующим образом: в какой мере собственно чешская культура восприняла Кирилло-Мефодиево наследие Великой Моравии? И в связи с этим: можно ли в полной мере как о заметном явлении, не ограниченном парниковыми условиями Сазавского монастыря, говорить о славянской литературе в Чехии, а значит и о ее непосредственном воздействии на русскую?

---

[10] Н. К. Никольский. Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры, вып. 1. Л., 1930.

[11] В. М. Истрин. Моравская история славян и история поляно-руси как предполагаемые источники начальной русской летописи. «Byzantinoslavica», R. III, sv. 2. Praha 1931.

[12] R. Jakobson. Český podíl na cirkevněslovanské kulture. «Co dalý naše země Evrope a lidstvu», Praha, 1939, str. 9—20.

[13] V. Chaloupecký. Prameny X stoleti legendy Kristanovy a svatym Václavu a svaté Ludmile. «Svatovaclavský sbornik», t. II. Praha, 1939.

[14] V. Chaloupecký — Ryba. Středoveké legendy Prokopské. Praha, 1953.

Решение этого вопроса в значительной мере зависит от датировки тех или иных памятников славянской чешской литературы. В том случае если какой-либо из этих памятников датируется второй половиной XI в., то считается, что это еще одно доказательство узкосазавского существования славянской культуры в Чехии, и, наоборот, выведение памятника за эти пределы расценивается как аргумент в пользу теории о преемственности Кирилло-Мефодиевой традиции в Чехии. Наиболее решительным противником прочности славянской культуры в Чехии X — XI вв. выступает Ф. Граус. Им сформулированы, пожалуй, наиболее четко и резко основные положения этой группы ученых в недавно опубликованной статье «Славянская литургия и письменность в Пшемыславской Чехии X столетия»[15]. Сама мысль о возможности славянской литературы в Чехии решительно объявляется Граусом «тенденциозной сказкой». Характерной чертой статьи Грауса является стремление свести проблему к чисто политическому звучанию. И литургический спор, и борьба за язык для него имеют лишь политическое и юрисдикционное, но не культурное значение и тем более представляются малозначимыми с точки зрения развития чешской культуры. Никаких центров, где могла бы развиваться славянская культура в Чехии, он не находит. Вопроса о времени появления на Руси чешских памятников Граус не касается, а между тем не вызывает сомнения тот факт, что при отсутствии в самой Чехии таких памятников — это едва ли не важнейший момент в решении проблемы. При современном состоянии науки мы еще далеки от возможности указать более или менее точно время появления на Руси того или иного памятника, тем более что ни один из них не дошел до нас в списке ранее самого конца XIII в. (проложные жития по списку Типографской библиотеки). И все же косвенные признаки знакомства Руси если не с известными в настоящее время чешскими памятниками, то с самой традицией, основной тематикой чешской славянской литературы до создания Сазавского центра, несомненны. Напомним, что Сазавский монастырь только зародился в 1033 г., а уже в 1034 г. Ярослав Мудрый дает имя Вячеслава своему сыну. В «Повести временных лет» известие об этом помещено вслед за указанием о том, что Ярослав стал «самовластцем Рустей земли». «И все время родися Ярославу сын нарекоша имя ему Вячеслав»,— читаем мы в летописи[16]. Трудно себе представить, что в столь торжественный момент могло быть случайно дано имя сыну русского «самовластца», кстати сказать имя чисто христианское, а не так называемое княжое, под кото-

---

[15] F. Graus. Slovanská liturgie a písemnictví v Přemyslovských Čechách 10. století. «Československý časopis historický», R. XIV, č. 4, str. 473—495.

[16] ПСРЛ, т. II, стб. 138, т. I, стб. 150 (под 1036 г.)

рыми известны другие сыновья Ярослава. Это обстоятельство можно расценивать как свидетельство уже сложившегося почитания на Руси чешского святого. А раз так, то должны были существовать соответствующие богослужебные тексты. Их частью, дошедшей до нас в списке 1095 г., и был знаменитый канон Вячеславу. Канон этот не мог быть составлен на Руси, а был написан значительно ранее и за ее пределами, так как именно Русь («восток») исключается из числа стран, где прославляется имя Вячеслава. Во 2-м тропаре 5-й песни канона читаем: «Паче солнца, блаженне, просвети севера и юга и запада пресветьлами зарями чюдес ти» [17]. Болгарию и Сербию, не говоря уже о Византии, надо исключить, так как ни в одной из их церквей Вячеслав никогда и ни в коей мере не почитался. Противоречащим этому могут показаться имеющиеся в каноне болгаризмы [18]. Но эта особенность текста легко может быть объяснена переписчиками рукописей на Руси в XI в., т. е. той эпохи в истории русской письменности, которая просто была немыслима без них. Остается, таким образом, сама Чехия (не случайно автор канона наполнил его бесконечными похвалами Праге [19]); причем время возникновения канона определяется не позже начала XI в., когда он уже по всей вероятности попал на Русь. Это с теми или иными несущественными поправками признается большинством ученых. А. В. Флоровский, подведший итог научной дискуссии по этому вопросу, добавляет от себя: «Естественно возникает вопрос: не предшествовало ли приходу на Русь службы св. Вячеславу — в составе минеи — его житие, знакомство с которым делало бы более сознательным и мотивированным самое усвоение церковного чествования этого святого в форме службы ему» [20]. Такого рода предположение вполне допустимо, однако не более. Ведь известны в агиографии факты, когда служба святому предшествовала составлению пространного жития ему (например, Савва Сторожевский) [21], но хотя бы самое краткое житие не могло не существовать. И дело здесь не только в литературном источнике, необходимом при написании службы, а в том, что это краткое житие обязательно должно было прочитываться как синаксарь после 6-й песни канона [22]. Таким видом житий обычно являлись проложные редакции.

---

[17] И. В. Я г и ч. Указ. соч., стб. 0220.

[18] «Sborník...», стр. 137.

[19] Например: «Весело ликует Праг днесь, преславный ти град»—и далее Прага также названа «прехвальной» (И. В. Я г и ч. Указ. соч., стр. 0221).

[20] А. В. Ф л о р о в с к и й. Чехи и восточные славяне, т. I. Прага, 1935, стр. 124.

[21] М. Н. Т и х о м и р о в. Андрей Рублев и его эпоха. «Вопросы истории», 1961, № 1, стр. 10.

[22] К. Н и к о л ь с к и й. Пособие к изучению устава богослужения православной церкви. СПб., 1874, стр. 316.

Проложные жития Вячеслава и Людмилы хорошо известны, однако возникновение их датируется в литературе самое раннее концом XI в.[23], а большинство ученых склоняются к концу XII — началу XIII в. Н. Серебрянский даже писал, что: «Нет достоверных доводов, чтобы мы могли отнести появление этих легенд в Прологе ко времени более раннему, нежели середина XIII столетия» [24]. Столь поздние датировки делаются обычно исходя не из внутреннего анализа памятника, а из истории складывания самого Пролога. История эта едва ли не одна из самых сложных проблем в области древнеславянских литератур. Последним словом в ее изучении является труд югославского ученого В. А. Мошина «Славянская редакция Пролога Константина Мокийского в свете византийско-славянских отношений XII — XIII вв.». В. А. Мошин придерживается той точки зрения, что Пролог возник в русской среде, причем складывался этапами. Наиболее ранним он считает так называемый 1-й слой редакции, появившийся «после 1132 г.» [25] Житий Вячеслава и Людмилы в этом слое еще нет. Они появляются в Прологе лишь во II его редакции, т. е. в конце XII в. И в то же время Мошин пишет, что празднование князя Вячеслава Чешского было установлено в конце XI в. Трудно решить этот запутанный вопрос иначе, как допустив, что чешские жития проникли в Пролог раньше, еще до того времени, как были созданы такие русские жития, как Бориса и Глеба, Феодосия Печерского и Мстислава, составляющие русскую часть Пролога. Может быть, это был греческий менологий, т. е. та основа, на которой развился славянский Пролог, но с некоторыми дополнениями. Эти дополнения могли даже вноситься и не под соответствующими числами, а все вместе в конце книги. К сожалению, никаких древних списков такого предполагаемого менология до нас не дошло. Однако, по-видимому, случайно в списке начала XVI в. дошел один Пролог из собрания Костромской библиотеки, хранящийся в настоящее время в Отделе рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина под № 14. В Костромском Прологе многие русские статьи даны в дополнении. Примечательно, что среди них все еще нет статьи об освящении церкви Георгия в Киеве, включенной в Пролог, по мнению В. А. Мошина, еще на стадии образования его второго слоя и во всяком случае еще в XI в. Нет, правда, в нашем Прологе и житий Вячеслава и Людмилы, но в данном случае важен сам факт существования такой разновидности Пролога.

По поводу возможности проникновения на Русь в очень раннее время памятников, связанных с почитанием Людмилы, срав-

---

[23] V. Mošin. Slavenska redakcja prologa Konstantina Mokisijsog u svjetlosti vizantijsko-slavenskich odnosa XII—XIII vijeka. «Zbornik Historijskog Instituta Jugoslovenske Akademije», t. II. Zagreb, 1959, str. 57.

[24] «Sborník...», стр. 50.

[25] V. Mosin. Указ. соч., стр. 44.

нительно недавно высказал интересные предположения Р. О. Якобсон, полностью поддержанные Ф. Дворником [26] Р. О. Якобсон обратил внимание, что в летописном рассказе о княгине Ольге константинопольский патриарх обращается к ней со словами, которые чуть ли не повторяют слова одной чешской гомилии, обращенной к Людмиле. Имеется в виду следующее место в летописи: «И поучи ю патреарх о вере и рече ей: «Благословена ты в женах руских яко возлюби свет, а тьму остави» [27]. Ни у кого из исследователей русских летописей никогда не возникало сомнений, что повествование о княгине Ольге входит в ту часть летописи, которая является ее древнейшим ядром независимо от того, древнейший ли это Киевский свод 1037 г., как утверждал А. А. Шахматов [28], «Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси», выделяемое Д. С. Лихачевым [29], летопись, ведшаяся еще в конце X в. при Десятинной церкви, как полагает Л. В. Черепнин [30], либо Сказание о русских князьях X в., по мнению М. Н. Тихомирова [31]. За исключением А. А. Шахматова, все исследователи относят возникновение этой части летописи к X — самому началу XI в. Впрочем, и А. А. Шахматов отодвигает эту дату ко времени не позже 1037 г. Между тем Р. О. Якобсон указывает дату латинской гомилии, посвященной Людмиле,— XI — начало XII в. Сама по себе эта датировка уже представляется сомнительной. Ведь известно, что почитание Людмилы в Чехии было распространено в X в., забыто в XI — первой половине XII в. и вновь восстановлено лишь во второй половине XII в. [32] Таким образом, скорее возникновение гомилии можно было бы отнести либо к X в., либо ко второй половине XII в. Как видно из приведенных выше данных о древнейшей части летописи, показывающих знакомство с этим памятником, следует остановиться на X в.

Но и этим, однако, данный вопрос не исчерпывается. Дело в том, что указанная гомилия дошла до нас на латинском, а не старославянском языке. Ф. Дворник в связи с этим полагает, что латинская рукопись является переводом славянского оригинала, возникшего в X в. В этом предположении нет ничего не-

---

[26] R. Jakobson. The Kernel of Comparative Slavic literature. «Harvard Slavic Studies» t. I, 1952, стр. 44; F. Dvornik. Les bénédictins et la christianisation de la Russie. «L'église et les eglises», t. II, 1954, p. 332.

[27] «Повесть временных лет», т. I. М.— Л., 1950, стр. 44; «Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов». М., 1950, стр. 114.

[28] А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908.

[29] Д. С. Лихачев. Русские летописи. М., 1947, стр. 63.

[30] Л. В. Черепнин. «Повесть временных лет», ее редакции и предшествующие ей летописные своды. «Исторические записки», вып. 25, 1948.

[31] М. Н. Тихомиров. Начало русской историографии. «Вопросы истории», 1960, № 5.

[32] А. В. Флоровский. Указ. соч., стр. 130.

вероятного, если принять тезис о существовании славянской письменности в Чехии до начала деятельности Сазавского монастыря. История проложных редакций житий Вячеслава и, что в данном случае особенно важно, Людмилы, как говорилось выше, позволяет говорить об этом. Но даже, если и допустить, что оригинал гомилии был латинским, это не помешает выяснению путей проникновения его на Русь. Многочисленные латинские памятники попадали, как мы знаем, на Русь в славянских переводах. Среди них могла быть и гомилия о Людмиле.

Впрочем, возможен, хотя и очень, нам кажется, маловероятен, еще один путь знакомства на Руси с рассматриваемым здесь чешским памятником. В свое время Н. Н. Ильиным было высказано предположение, что «на протяжении всего XI столетия могли еще встречаться на Руси книжные люди, знакомые не только со славянскими, но и с латинскими легендами, о Людмиле и Вячеславе»[33]. В доказательство этого Н. Н. Ильиным, считавшим, что на древнерусские памятники непосредственно влияли сочинения на латинском языке в оригинале, приведены примеры параллельных мест из латинской легенды Кристиана и «Сказания о Борисе и Глебе». Эти сопоставления, однако, выглядят крайне неубедительно, так как не выходят за пределы общераспространенных агиографических форм. Иначе нельзя расценить такие совпадения, как упоминание о том, что убийцы после совершенного ими преступления пришли рассказать об этом к тому, кто их послал, либо рассказ о чудесах над телом святого[34]. Но главное, нет решительно никаких намеков в источниках, не говоря уже о каких-либо прямых указаниях, на знакомство в Киевской Руси с латинской литературой непосредственно.

Если вернуться теперь к современному состоянию изучения вопроса о чешско-русских культурных связях раннего периода, то можно выделить вторую важнейшую проблему, привлекающую в настоящее время внимание исследователей,— влияние чешских памятников на русские, т. е. творческое и активное усвоение чешского наследия. Собственно говоря, этот вопрос уже неоднократно затрагивался при решении первой проблемы, которая, как можно было видеть, неотделима от второй. О латинской гомилии

---

[33] Н. Н. Ильин. Летописная статья 6523 года и ее источник. М., 1957, стр. 52.

[34] Там же, стр. 59—63. Как на аргумент в пользу своей гипотезы Н. Н. Ильин указывает на римскую форму даты гибели Бориса в «Сказании»: «Успе месяца иуля в 24 дьнь преже 9 календа августа». «Обозначение дат событий по календам в церковной практике русской древности не применялось»,— замечает по этому поводу Ильин. С этим нельзя, однако, согласиться. Хотя и очень редко, в летописях можно встретить обозначение дат по календам. См., например, под 1136 г. в Новгородской первой летописи старшего извода: «Месяця июля в 19 преже 14 каланда августа» («Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов», стр. 24).

о Людмиле, повлиявшей на летописный рассказ об Ольге, только что говорилось. Славянское проложное житие Людмилы было использовано и автором «Сказания о Борисе и Глебе». Над телом убитого Глеба ночью загорается свеча точно так же, как и над телом задушенной чешской княгини [35].

Еще более разительным является влияние Востоковской легенды на «Сказание о Борисе и Глебе». Это влияние подробнейшим образом проанализировано Н. Н. Ильиным в его монографии «Летописная статья 6523 года и ее источник». Сам неизвестный нам по имени автор «Сказания» косвенно указывает на этот свой источник, когда пишет, что Борис «помышляшеть же мучение и страсть святого мученика Никиты и святого Вячеслава, подобно же сему бывъшю убиению» [36]. Обращение к житию Вячеслава было более чем закономерным: уж слишком сходны были ситуации убийства, совершаемого братом. Очень показательно, что при переработке древнейшего жития Вячеслава для Четьи-Минеи, т. е. сборника житий и поучений для каждодневного чтения, древнерусскому книжнику сразу же бросалось в глаза это разительное сходство, и он, передавая соответствующее место жития Вячеслава о наущении дьяволом Болеслава, сделал следующую вставку: «яко же и окаяннаго Святополка, иже совеща злое на братию свою в сердце своем, изби братию свою и приим власть един в Рустей Земли» [37].

Сопоставление русского и чешского памятника не входит в нашу задачу, тем более после выхода в свет исследования Н. Н Ильина. Однако хотелось бы отметить, что есть опасность, установив зависимость одного памятника от другого, слишком широко распространять эту зависимость. Помнить о такого рода опасности тем более необходимо, когда идет речь о памятниках агиографии с их неотъемлемыми устойчивыми нормами и необходимыми в рамках этого жанра штампами. Выше уже говорилось о такого рода упущениях в книге Н. Н. Ильина при сопоставлении им латинских и древнерусских сочинений. Но это же можно сказать и в отношении анализа взаимоотношений славянских памятников. Ведь никак нельзя, как это делает автор, усматривать влияния одного памятника на другой в цитировании священного писания, если эти цитаты совершенно различны и по содержанию; в прославлении правителей страны, если это прославление выражено по-разному; в указании на то, что у одного и другого князя были дети, если они действительно и у того и у другого бы-

---

[35] Ср.: «Sborník...», стр. 21; Д. И. Абрамович. Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им. Пг., 1916, стр. 44. См. об этом подробнее: Н. Ильин. Указ. соч., стр. 60.

[36] Д. И. Абрамович. Указ. соч., стр. 33.

[37] «Великие Минеи-Четии, собранные Всероссийским митрополитом Макарием». «Памятники славяно-русской письменности», т. I, вып. III. СПб., 1883, стр. 2189.

ли и т. д. [38] И тем более рискованно на основе таких сопоставлений делать вывод о первоначальном виде чешского памятника, полагая, что «редакция жития Вячеслава, использованная как образец при составлении первоначальной повести о Борисе и Глебе, вероятно, стояла к последней ближе известных нам житий Вячеслава как по составу фактов, так и композиционно» [39].

Еще большие возражения встречает метод исследования Г. Е. Прохазковой. В своей книге «По следам древней дружбы» Г. Прохазкова делает попытку не только проследить влияние чешской литературы на русскую, но и вскрыть причины ее использования и переработки на Руси. Прежде всего никак нельзя согласиться с тем, что в XI в. Русь «не имела еще своей собственной литературы» [40], а потому и обращалась к литературам других народов. Не говоря уже о расцвете русской литературы во второй половине XI в. (достаточно назвать «Изборник Святослава» 1076 г., жития и летописи), уже в середине XI в. было создано «Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, а в самом начале века, если не в конце предыдущего,— древнейший летописный свод. Связи же русской литературы с другими литературами скорее свидетельствуют о ее достаточно высоком уровне, чем об отсталости и тем более отсутствии. И потому весьма странно и вульгарно социологично звучит утверждение Е. Прохазковой о том, что святовацлавская легенда «помогала, во-первых, укреплять феодализм на Руси, а, во-вторых, преследовала дидактические цели, призывая народ к покорности и послушанию» [41]. Конечно, было бы крайним преувеличением полагать, что литературные памятники, попавшие на Русь из другой страны, могли служить столь эффективным орудием социальной борьбы. Как бы высоко мы ни оценивали роль чешского элемента в культуре древней Руси XI в., придавать чешским памятникам значение широко распространенной публицистики, носящей остро выраженный классовый характер, было бы по меньшей мере модернизацией прошлого. Столь же парадоксальным представляется и утверждение Е. Прохазковой о том, что минейная редакция была специально создана в Новгороде для того, чтобы идеологически обосновать его сепаратистские тенденции. Это обоснование Прохазкова находит в известной вставке о Святополке в тексте Востоковской легенды, поскольку, по мнению автора, Святополк являлся главным представителем идеи государственного единства [42].

---

[38] Н. Ильин. Указ. соч., стр. 54.

[39] Там же, стр. 65. Такого рода недостатки в труде Ильина отмечает и Н. К. Гудзий (см.: Н. К. Гудзий. Литература Киевской Руси и древнейшие инославянские литературы. «Исследования по славянскому литературоведению и фольклористике». М., 1960, стр. 21—23).

[40] H. Procházkova. Po stopach davného prátelstvi. Kapitoly z česko-ruských literarních styků do konce 17 stol. Praha, 1959, str. 13.

[41] Там же, стр. 14.

[42] Там же.

Такое утверждение находится в очевидном противоречии с фактами. Святополк, повсеместно именовавшийся Окаянным, нигде, и уж конечно не в Киеве, и никем на Руси не рассматривался как символ ее единства, а, наоборот, как братоубийца, сеявший рознь и вражду. Об этом говорят решительно все летописи и все без исключения памятники, связанные с Борисом и Глебом, независимо от того, когда и где они возникли.

Но и если посмотреть на вопрос о роли чешских памятников с другой стороны, взяв их как бы в чистом виде, без вставок, приближавших их к пониманию русского читателя, то очевидным будет их направленность именно против «междоусобной брани на Руси». В чешских памятниках русский читатель находил столь знакомые ему по собственной истории образцы, как бабка — княгиня — христианка и ее внук, утверждающий христианство в стране. Даже и без разительной аналогии в обстоятельствах убийства Вячеслава и Бориса и Глеба это одно приближало образы чешских князей к русскому читателю. Ум средневекового человека всегда стремился отыскать уподобления, аналогии, как бы вводящие описываемые им явления во что-то общее для рода человеческого. Жития полны сравнений, подобно тому как Новый Завет наполнен ссылками на Ветхий. Сравнения и даже уподобления, к которым прибегает средневековый писатель, как бы ставят на свое место то или иное событие, открывают его непреходящий смысл. Но это общее положение для Руси XI в. дополнялось тем важным обстоятельством, что речь шла о людях и событиях в родственной славянской стране. В этом отношении очень показателен контекст, в котором в «Повести временных лет» говорится о чехах: «... А друзии Чеси нарекошася, а се ти же Словени» [43].

С течением времени чешские святые как бы врастали в русское самосознание, так что к XVII в. их готовы были уже рассматривать и почитать как русских святых. Без всяких оговорок проложное житие Вячеслава и проложное же Сказание о перенесении его мощей были включены в состав сборника под названием «Сказание о российских святых чудотворцах» [44]. То же можно видеть и в русских изображениях XVII в. чешских святых. Изображений более раннего времени пока найти не удалось. Не обнаружено до сих пор и ни одной древнерусской иконы чешских святых. Но, однако, такие иконы, несомненно, писались. Об этом свидетельствуют указания на то, как следует изображать Вячеслава и Людмилу, содержащиеся в иконописных подлинниках, своеобразных пособиях древнерусских живописцев. В од-

---

[43] «Повесть временных лет», т. I, стр. 126.

[44] А. Родосский. Описание 432-х рукописей, принадлежащих С.-Петербургской духовной академии и составляющих ее первое по времени собрание. СПб., 1893, стр. 276, 277.

ном из них, знаменитом Клинцовском иконописном подлиннике, хранящемся в настоящее время в Государственной публичной библиотеке в Ленинграде, под 16 сентября мы читаем: «И святыя мученицы Людмилы княгини. Аки Елена или Ольга княгиня» [45]— и под 28 сентября: «Святаго Вячеслава князя чешьскаго, надсед, брада аки Василий Кесарийский, кудряв, риза княжеска, власы со ушей. Его же уби брат его Болеслав»[46]. По-видимому, такой иконографический тип чешских святых был достаточно определившимся в древнерусской живописи, перейдя впоследствии к мастерам-палешанам. В одном из их подлинников XVIII в. приводятся почти дословные описания чешских святых с той только разницей, что относительно облика Людмилы говорится более конкретно: «... На главе венец царский и плат, аки у Елены царицы и ризы таковы же» [47].

Как уже говорилось, настенные изображения Вячеслава и Людмилы, хотя и очень немногие, сохранились [48]. Изображение Людмилы пока удалось обнаружить только одно. Оно находится в Крестовоздвиженском соборе г. Романова-Борисоглебска (ныне Тутаева), неподалеку от Ярославля, во втором ярусе восточной стороны северо-западного столба. Роспись [49] Крестовоздвиженского собора почти совершенно не привлекала к себе внимания исследователей, если не считать чрезвычайно беглых упоминаний о ней в трудах Н. Покровского [50], Ю. Шамурина [51], Б. В. Михайловского и Б. И. Пуришева [52] и С. С. Чуракова [53]. Невыясненной остается даже дата самой росписи. Если Н. Покровский, а вслед за ним Ю. Шамурин и С. Чураков полагали что она была выполнена сразу же после сооружения храма в 1658 г., то Б. В. Михайловский и Б. И. Пуришев датировали роспись 90-ми годами XVII в. Между тем на западной стороне первого яруса юго-восточного столба сохранилась, правда фраг-

---

[45] ГПБ, QXIII.II, л. 23, об.

[46] Там же, л. 34.

[47] «Вестник Общества древнерусского искусства при Московском публичном музее. 1871—1876». М., 1876, Материалы, стр. 55, 57.

[48] Во Львовском музее украинского искусства хранится галицийская икона XVII в. св. Вячеслава, однако она ничего общего не имеет с традициями древнерусского искусства.

[49] Рукописи Тутаева и Ярославля не являются в строгом смысле слова ни фресками, ни яичной темперой. Они произведены красками, разведенными на пшеничном отваре (см.: А. И. Суслов, С. С. Чураков. Ярославль. М., 1960, стр. 189—190).

[50] Н. Покровский. Стенные росписи в древних храмах греческих и русских. М., 1890, стр. 163.

[51] Ю. Шамурин. Ярославль, Романов-Борисоглебск, Углич. М., 1912, стр. 58, 59.

[52] Б. В. Михайловский, Б. И. Пуришев. Очерки истории древнерусской монументальной живописи со второй половины XIV в. Л.— Л., 1941, стр. 104, 105, 175.

[53] А. И. Суслов, С. С. Чураков. Указ. соч., стр. 20, 254.

ментарно, надпись, позволяющая точно датировать роспись Крестовоздвиженского собора. Надпись гласит: «Лета 7184 (1675) октября 26 написан... по обещанию воеводы Романовского Дмитрия Тихоновича Золотова». Едва ли можно сомневаться, что заказчик росписи воевода Дмитрий Золотов был самым непосредственным образом причастен к выбору тематики росписи. Так, в ней мы находим изображения четырех святых с именем Дмитрия: Дмитрия Солунского, Дмитрия Прилуцкого, Дмитрия-царевича и св. Дмитрия (очевидно, из раннехристианских мучеников). Быть может, уникальное изображение Людмилы было также связано с именем кого-нибудь из членов семьи романовского воеводы. Но даже если это и так, мастера, расписывавшие собор (а ими, по предположению С. С. Чуракова, были костромичи Василий Ильин и Гурий Никитин), поместили изображение княгини Людмилы так, что как раз на противоположной стороне столба оказывалось изображение княгини Ольги, с которой, как об этом неоднократно упоминалось выше, прочно ассоциировался образ чешской княгини. Если при этом принять во внимание многократные изображения на стенах собора царицы Елены, с которой был столь тесно связан праздник Воздвиженья (ему и посвящен храм), то мы получим законченную картину: трех правительниц, проповедниц христианства: Елена — Людмила — Ольга, как раз в том их сопоставлении, какое дает Иконописный подлинник.

Но, однако, сравнивая наше изображение с рекомендацией подлинника, нельзя не заметить и существенного различия между ними. На тутаевской фреске Людмила изображена без царского венца, как это предписывал подлинник. На голове ее женский головной убор новой или ушев, сыгравший столь трагическую роль в ее жизни. Художник, видимо, обратился к Прологу, где рассказывалось о том, как посланные Драгомирью убийцы сняли с головы княгини ушев и удушили им Людмилу [54]. Ушев написан мастером белоснежным, он концентрирует на себе внимание зрителя на фоне княжеских одежд Людмилы, довольно пестрых в соответствии со вкусами ярославской и костромской художественных школ XVII в.

Изображений Вячеслава известно в настоящее время два: в Успенском соборе Троице-Сергиевой Лавры в Загорске, который был расписан в 1684 г.[55], и в Софийском соборе в Вологде, расписанном в 1684—1686 гг. [56] Обе росписи были выполнены бри-

---

[54] «Имше же Людмилу и взвергоста уже (ушев) на шию ее и удависта ю» («Sborník...», стр. 65).

[55] Подробнее об этой росписи в целом и истории ее создания см.: О. А. Белоброва. К истории стенной живописи Успенского собора Троице-Сергиева монастыря. «Сообщения Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника», вып. 3. Загорск, 1960, стр. 65—84.

[56] Об этой росписи см.: И. Евдокимов. Вологодские росписи. «Старые годы», 1915, сентябрь, стр. 36, 38—40; он же. Вологодские стенные росписи. Вологда, 1922, стр. 31—50.

гадой ярославских мастеров под руководством Дмитрия Григорьевича Плеханова. Чешский князь изображен в обоих соборах на юго-западных столбах. Он представлен седовласым умудренным старцем. Не приходится и говорить, что такой образ Вячеслава чрезвычайно далек от того, который мы видим во всех памятниках вацлавского цикла — юного князя-мученика. Для Плеханова Вячеслав сродни таким святым князьям и царям, как Константин Великий, Владимир Ярославич, Василий и Константин Ярославские, которых он изобразил на тех же или на соседних столбах лаврского и вологодского соборов. Так, Вячеслав прочно входит в число не только чуть ли не русских святых, но и тех, кто олицетворяет собой государственную мудрость и величие. А для изображения с такой идейной направленностью уже не было никакой необходимости обращаться к подробностям жизни самого Вячеслава.

5 . Заказ № 229

М. Г. Рабинович

ИЗ ИСТОРИИ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ВОСТОЧНЫХ СЛАВЯН

Характер поселений — одна из важных черт культуры народа. Для народов, достигших уровня классового общества, большое значение имеют особенности развития не только сельских, но и городских поселений. Эти особенности тесно связаны и с экономикой страны, и с классовой структурой народа, и с расстановкой классовых сил в тот или иной период его истории, и с общим характером народной культуры. Они могут выявиться в соотношении городских поселений с сельскими, в числе городов, в их экономико-географических типах, топографии, планировке и застройке, архитектурном облике города.

С этой точки зрения интересно проследить развитие городов у восточных славян в период феодализма, начиная с времен Древнерусского государства до той поры, когда на город накладывает свой отпечаток рост внутри феодального общества элементов капитализма, т. е. примерно до середины XVII в. Ясно, что такая задача требует длительных кропотливых исследований и не может быть решена в одном кратком докладе. Здесь мы рассчитываем коснуться лишь отдельных, связанных с этой задачей вопросов.

Древний славянский термин «город» («град», «грод») обозначал, как известно, не только поселение определенного типа и, пожалуй, даже не столько поселение в целом, сколько оборонительные сооружения, укрепления[1]. Внутри самого поселения собственно «градом» назывался его укрепленный центр [2]. В этом узком значении («укрепленное место») в разряд городов попадает очень широкий круг укрепленных поселений, в том числе для рассматриваемого нами периода — усадьбы феодалов — замки, разного

[1] Можно было, например, сказать об обороняющемся отряде: «И начаша город чинити в лодиях» (ПСРЛ, т. XV. СПб., 1863, стр. 214).

[2] Еще в XVI в. о событиях на окраине Москвы говорили: «Якоже видехом из града Москвы», т. е. «как мы видели из Кремля» (ПСРЛ, т. VIII. СПб., 1859, стр. 182).

рода военные форты — «острожки», убежища и т. п. Мы будем исходить из современного значения этого термина и в дальнейшем называть городами лишь такие поселения, которые носили промышленный (а первая форма промышленности — это ремесло) и торговый характер, являлись экономическими, а иногда — и административно-политическими центрами большой или малой округи и имели военно-оборонительные сооружения. В эпоху, о которой мы говорим, эта последняя черта также является определяющей.

С точки зрения топографической для такого поселения, кроме укреплений, обязательно наличие ремесленно-торговой части — «предградия» или «посада», как ее иногда называли, и торговой площади — «торга» [3]. В отличие от некоторых зарубежных исследователей [4] мы не считаем обязательным признаком города наличие укреплений также вокруг его ремесленно-торговой части. Многие восточнославянские города, как известно, таких укреплений не имели.

* * *

Одним из сложных вопросов рассматриваемой проблемы является вопрос о времени появления и дальнейшем росте числа городов у восточных славян. В настоящее время никто не сомневается, что и принятое у соседей-скандинавов название восточнославянских земель «Гардарики» — «страной городов», и указание баварского географа IX в. на существование сотен городов едва ли не у каждого славянского племени [5] нельзя использовать для разрешения этого вопроса, так как в обоих случаях речь идет, по-видимому, как раз о «городах» в узком смысле этого слова, т. е. об укреплениях, куда безусловно могли входить и старые племенные убежища, и зарождающиеся феодальные замки.

Городские поселения вообще вряд ли могли возникнуть, пока для этого не было социально-экономических условий, пока не стало складываться классовое общество (у восточных славян — феодальное). Восточнославянские города появились, следовательно, как города феодальные.

Вполне понятно поэтому стремление ряда исследователей проследить процесс формирования и развития восточнославянских городов по письменным источникам эпохи феодализма.

---

[3] М. Н. Тихомиров. Древнерусские города. Изд. II. М., 1956, стр. 43—52.

[4] См., например: E. Ennen. Frühgeschichte die europäischen Stadt. Bonn, T. II, K. I, 1953.

[5] Известие анонимного баварского географа, дошедшее до нас в отрывке рукописи конца XI в., относится к 866—890 гг. Автор указывает, например, что в стране уличей — 318 городов, тиверцев — 148, волынян (дулебов) — 70, бужан — 230 городов (см.: P. J. Safařik. Slowanske starožitnosti. Praha, 1837, str. 550—551, 996—997).

Наиболее полные сведения о результатах этой работы дает книга М. Н. Тихомирова «Древнерусские города». Сопоставив ряд известий о городах, автор приходит к выводу, что в IX в. было не менее 10 русских городов, в X — 25, в XI — 89, в XII — 224 и в XIII в. (до татарского разорения) — 271 город. Список «русских городов дальних и ближних», составленный в конце XIV в., всего вернее — между 1387 и 1392 гг., перечисляет 358 городов (из них М. Н. Тихомирову удалось определить на современной карте 85% — 304 города). В него включены, однако, не только восточнославянские города. Если исключить города болгарские, польские и т. п., остается 256—257 городов, в том числе в границах тогдашних русских земель — всего 129. Многие восточнославянские города оказались в ту пору под властью Литвы, Польши, Ордена и т. п. В конце XVI в., по подсчетам Н. Д. Чечулина, в России было 220 городов [6] (без Сибири). С точки зрения приведенного нами определения города как поселения, пожалуй, наиболее надежны материалы Н. Д. Чечулина, так как и летописи, и список городов XVI в. включали, безусловно, и города в узком смысле этого слова, т. е. замки и острожки.

Подсчеты древнерусских городов, произведенные М. Н. Тихомировым, совсем недавно подвергнуты сомнению П. А. Раппопортом, высказавшим предположение, что в XII—XIII вв. на Руси было «во всяком случае не более 100» городов [7]. Однако аргументация П. А. Раппопорта, исходящего при определении города в широком понимании этого термина из того, что такое поселение должно занимать значительную площадь — не менее одного-двух гектаров — не представляется нам исчерпывающей, в особенности, если автор ее, как можно понять из контекста, имеет в виду площадь «городища», т. е. самого укрепления. Соотношение укрепленного центра и всей площади города может быть различным в зависимости от ряда обстоятельств. Относительно малый размер крепости может быть продиктован, например, природными условиями. Для заключения о характере поселения необходимо исследовать и крепость, и неукрепленную часть (если таковая имеется).

Можно, конечно, спорить о характере тех или иных поселений, определенных М. Н. Тихомировым как города. Но сейчас важнее отметить, что особенности письменных источников обусловливают неизбежную неполноту подобного рода сведений.

---

[6] М. Н. Тихомиров. Древнерусские города, стр. 15—42; он же. Список русских городов дальних и ближних. «Исторические записки», № 40, 1952; Н. Д. Чечулин. Города Московского государства в XVI в. СПб., 1889. М. Н. Тихомиров на свои картосхемы, относящиеся к XVI в., нанес 186 городов России (М. Н. Тихомиров. Россия в XVI столетии. М., 1962, стр. 160—161, 228, 277, 347, 417, 468, 511).

[7] П. А. Раппопорт. О типологии древнерусских поселений. КСИА, вып. 110, 1967, стр. 5.

Ведь, как правило, город попадал на страницы письменных источников значительно позже своего возникновения [8]. Даже в тех относительно редких случаях, когда источник прямо говорит о «заложении» таким-то князем такого-то города в таком-то году, эти сведения нуждаются в серьезной проверке, поскольку речь может идти как о строительстве городов в нашем понимании этого слова, так и о постройке или возобновлении укреплений [9]. С другой стороны, полное отсутствие упоминаний о каком-либо городе в письменных источниках может объясняться чисто случайными обстоятельствами (разумеется, если речь идет о небольших городах). Таким образом, как нам представляется, в каждый данный период число городов, установленное по письменным источникам даже после тщательного критического их изучения, будет меньше фактического числа городов, существовавших в этот период.

Сведения письменных источников необходимо дополнять археологическими материалами. Но и здесь возникают сложности. Понятна, например, трудность отождествления археологических памятников с древними селениями, ныне не существующими и известными по прежним упоминаниям. Наиболее надежным внешним признаком городских поселений являются остатки укреплений. На восточнославянской территории это обычно — земляные валы. Однако, исходя из вышесказанного, ясно, что вал — это только один из признаков города и притом не исключительно ему присущий. Для того чтобы уяснить характер древнего поселения, необходимо исследовать его культурный слой. В городском поселении, как правило, при этом выявляются остатки «предградья» или посада, расположенного зачастую вне укрепления.

Археологическое исследование древнерусских городов широко развернулось в советское время. Масштабы его все увеличиваются. Достаточно сказать, что только за 10 лет с 1951 по 1961 г. стационарными и разведочными работами было охвачено около ста городов [10]. Можно сказать без преувеличения, что в настоящее время все крупные древнерусские города исследованы археологически, хотя, конечно, в большинстве из них раскопки охватили лишь незначительную часть территории древнего города.

Сплошное обследование древнерусских крепостей, проводимое в течение ряда лет П. А. Раппопортом [11], дало чрезвычайно

---

[8] На это обращал внимание еще А. В. Арциховский в работе «Курганы вятичей» (М., 1930, стр. 159).

[9] Например, известие 1116 г.: «Мстислав Володимировичь Маномашь заложи Новгород боле перваго, а посадник ладожскый Павел заложи город Ладого камен» (ПСРЛ, т. XV, стр. 191).

[10] Н. Н. Воронин, П. А. Раппопорт. Археологическое изучение древнерусского города. КСИА, вып. 96, 1963, стр. 3—14.

[11] П. А. Раппопорт. Очерки по истории русского военного зодчества X—XII вв. МИА, № 52, 1956; он же. Очерки по истории русского военного зодчества северо-восточной и северо-западной Руси X—XV вв. МИА,

важные результаты не только для истории русского военно-инженерного искусства, но и для выявления русских городов. Им учтено и описано около 450 укреплений. Автору удалось изучить и характерные особенности планировки различных типов укрепленных поселений. Однако вопрос об определении многих из них как городов остается открытым впредь до сплошного археологического обследования этих памятников, поскольку ремесленно-торговый их характер еще не установлен. Как мы видели выше, и сам П. А. Раппопорт не склонен считать большинство обследованных им крепостей городами.

Таким образом, археологическое исследование и составление точной археологической карты [12] остается пока важнейшей задачей изучения восточнославянских городов. Все же имеющиеся материалы позволяют сделать некоторые предварительные выводы о возникновении и начальном периоде развития восточнославянских городов.

Города у восточных славян как тип поселения сложились, по-видимому, не ранее IX в. Интересно отметить, что города, возникновение которых М. Н. Тихомиров, не имея точных данных, предположительно относил к IX в.— Белоозеро, Изборск, Киев, Ладога, Любеч, Муром, Новгород Великий, Полоцк, Ростов, Смоленск [13],— в большинстве оказались моложе [14].

В настоящее время никто из археологов не поддерживает высказанных лет 15 тому назад предположений, что у восточных славян были города в VI—VIII вв. Нужно думать, что процесс возникновения и развития городов был тесно связан с формированием феодальных отношений и с освоением славянами новых территорий.

Он шел в течение нескольких веков. В IX—X вв. проходила, видимо, лишь начальная его стадия. К VIII—IX вв. относятся некоторые укрепленные поселки, в которых уже начинало скла-

---

№ 105, 1961; он же. Военное зодчество западных русских земель X—XIV вв. Л., 1967.

[12] Эта задача была поставлена Н. Н. Ворониным еще в 1951 г. (см.: Н. Н. Воронин. К итогам и задачам археологического изучения древнерусского города. КСИИМК, вып. 41, 1951, стр. 27).

[13] М. Н. Тихомиров. Древнерусские города, стр. 15.

[14] Русский город в Белоозере возник поблизости от более древнего мерянского поселка в начале XI в.; посад Изборска датируется X в. (хотя там было и более древнее поселение, видимо, не городского типа); Киев сложился как город на основе нескольких поселков в X в.; Ладога до X в. тоже не была городом; укрепления Любеча относятся к XI в., древнейшая дендрохронологическая дата Новгорода Великого — 953 г.; на месте Полоцка был в VIII—IX вв. поселок, но городище в устье Полоты возникло на рубеже X и XI столетий; Ростов как русский город возник в X—XI вв. и лишь на рубеже XI—XII вв. был обнесен стеной; в Смоленске древнейший горизонт посада относится к XI в. (Н. Н. Воронин, П. А. Раппопорт. Указ. соч., стр. 3—14; М. К. Каргер. Древний Киев, т. I. М.— Л., 1958, стр. 523; Б. А. Колчин. Дендрохронология Новгорода. СА, 1962, № 1).

дываться ремесленное население и которые исследователи считают предшественниками городских поселений [15].

Пути образования восточнославянских городов были многообразны и в общих чертах сходны с путями образования городов у других народов Европы и Востока. В обыкновенном сельском поселении развитие ремесел и торговли могло пойти быстрее, чем в окрестных селах, под влиянием, на первый взгляд, незначительных обстоятельств — большего удобства сообщения с этими селами или с каким-либо более крупным центром, наличия хорошей гончарной глины, железной руды, ценных пород дерева или еще какого-либо промышленного сырья, залежей соли, излишков в округе сельскохозяйственных продуктов, которыми можно было бы торговать. Постепенно все больше жителей втягивалось в занятия ремеслами и торговлей, а хлебопашество отходило на задний план. Приходили со стороны и селились здесь новые ремесленники и торговцы. Возникала потребность в новых товарах. Опасность нападений заставляла жителей окружить поселок рвом и валом, но обычно уже очень скоро строения распространялись за пределы крепости. Так становилась городом недавняя деревня.

Города возникали и из укрепленных замков феодалов-землевладельцев, когда у стен замка селились ремесленники, а затем и купцы. Развитие ремесел и торговли делало такой поселок экономическим центром округи, местным рынком. Нередко владельцы замков, заинтересованные в увеличении населения, давали на первых порах некоторые льготы тем, кто здесь селился, в особенности мастерам различных специальностей.

Город мог возникнуть и из ремесленно-торгового поселка (на севере Руси такие поселки обычно назывались «рядками»). Тогда здесь опять-таки вырастали укрепления.

Наконец, город мог быть построен по распоряжению того или иного крупного феодала — князя, иногда даже среди нерусского населения, и заселен специально вывезенными из других владений этого князя людьми — ремесленниками, купцами; ставили здесь и воинские гарнизоны.

Во всех этих случаях восточнославянский город развивался как центр большой или малой сельскохозяйственной области, непосредственно с ней связанный. Он обслуживал окрестное сельское население изделиями своих ремесленников [16] и товарами, привозимыми из других городов и стран. А область в свою очередь снабжала город сельскохозяйственными продуктами — питанием и сырьем.

Все эти обстоятельства отразились на характере восточнославянского города как поселения.

---

[15] Из поселений этого типа лучше других изучено городище Новотроицкое на р. Псёл (см.: И. И. Л я п у ш к и н. Городище Новотроицкое. МИА, № 74, 1958, стр. 226—231).

[16] Б. А. Р ы б а к о в. Ремесло древней Руси. М., 1948, стр. 452—481.

Археологические исследования раннефеодальных городов рубежа IX и X вв. в Прутско-Днестровском междуречье показали, что такие города имели, как правило, мощные валы (за которыми жила феодальная знать и ремесленники, занимавшиеся наиболее сложными производствами), довольно обширные неукрепленные посады, где жили ремесленники менее сложных профессий — гончары, кричники и кузнецы, а также крестьяне. К городам «тянули» окрестные сельские поселения, образовавшие своеобразное гнездо — небольшой местный рынок. Таких гнезд-поселений прослежено четыре на Днестре и одно около Прута. Аналогичная картина наблюдалась и в Рязанской земле [17].

Пожалуй, слабее других путей образования городов изучен процесс сложения города на основе феодального замка. Это связано прежде всего с особенностями самих феодальных замков у восточных славян. В 30-х годах XX в. было высказано предположение, что феодальные замки в славянских землях обладали мощными укреплениями, каких не могло бы соорудить их небольшое население, что эти крепости строили окрестные феодально зависимые крестьяне «просто для защиты одного большого дома». Однако дальнейшее археологическое изучение таких мощных укреплений показало, что они окружали не усадьбы местных феодалов, а настоящие города с ремесленным населением и посадом, что само сооружение мощных валов было вызвано пограничным положением этих городов, ставших в определенный исторический период важными опорными пунктами молодого русского государства. Изучены в этих землях и настоящие феодальные усадьбы со значительно менее мощными укреплениями, не превратившимися в города [18]. Нет сомнения, что многие города выросли из аналогичных замков. Такой могла быть и Москва. Археологам еще предстоит найти тот переходный тип поселения, который мог бы дать пример образования города из замка — усадьбы феодала.

Но археологические раскопки вскрыли уже не один город, построенный князем и, вероятно, заселенный по его приказанию прежде всего с целью закрепления за этим князем тех или иных земель, иногда даже еще не колонизированных славянами. Укрепления таких городов, строившихся на новых местах, сооружались по последнему слову тогдашней градостроительной техники, могли быть слишком велики для первоначально небольшого

---

[17] Г. Б. Федоров. Древнерусский город на Днестре. «Вестник АН СССР», 1960, № 10; он же. Население юго-запада СССР в I — начале II тысячелетия н. э. «Советская этнография», 1961, № 5, стр. 91—93; А. Л. Монгайт. Рязанская земля. М., 1959, стр. 251.

[18] А. В. Арциховский. К вопросу о возникновении феодализма в Суздальско-Смоленской земле. «Проблемы истории докапиталистических обществ», 1934, № 11—12, стр. 50; М. Г. Рабинович. Крепость и город Тушков. «Советская археология», вып. XXIX—XXX, 1959, стр. 277; В. В. Седов. Сельские поселения центральных районов Смоленской земли. М., 1960, стр. 51—125. Множество замков изучено в южных областях России.

населения и застраивались лишь постепенно. Примером такого города в Суздальской земле может служить Перемышль-Московский [19]. На юге восточнославянских земель, по-видимому, к княжескому строительству следует отнести города, построенные по единому плану; жилища и хозяйственные постройки в них связаны с самими конструкциями оборонительных валов.

Нередки были случаи захвата князьями городов, возникших ранее. Князья обычно строили здесь новые, более совершенные укрепления, как, например, в Москве, которая существовала как город по крайней мере с конца XI в., в середине XII в. была захвачена Юрием Долгоруким, а во второй половине получила новые мощные укрепления [20]. Княжеское строительство городов особенно развилось в XII в. Исследователи видят в этом прямую аналогию западноевропейским «новым городам» [21].

* * *

Каким бы путем ни образовался город, в условиях феодализма он становился владением, а большей частью — и резиденцией крупного или мелкого феодального сеньора. Это сказывалось и в планировке городов. Мы уже говорили, что центром города была крепость — собственно «град» или «детинец», как ее называли в древней Руси. Последнее название прямо связано с дружиной феодала — «детьми» или «отроками». Стены детинца не только служили убежищем для населения города в случае нападения внешнего врага, но и главным образом защищали феодала и его приближенных от гнева горожан, восстания которых в XII в. отнюдь не были редки [22]. Поэтому в большинстве восточнославянских городов укрепления не охватывали всей территории города. Посад обычно не был укреплен. Вторая линия укреплений, защищавшая посад, появлялась гораздо позже возникновения города и притом только в крупных городах. Позднейшие свидетельства говорят о том, что укрепления вокруг посада сооружались уже не только на средства князей, но значительную часть средств давали духовенство и горожане. Так было, например, при постройке каменных стен Китай-города в 1535 г. в Москве. Духовенство, московские бояре и купцы вносили по $^1/_3$ наложенной на город суммы, а князь давал от себя «сколько подобно» [23].

Феодальная верхушка сохраняла в восточнославянских городах господствующее положение в течение всего рассматриваемого

---

[19] М. Г. Рабинович. К истории русской фортификации. «Культура древней Руси». М., 1966.

[20] М. Г. Рабинович. О древней Москве. М., 1964, стр. 16—33.

[21] Н. Н. Воронин, П. А. Раппопорт. Указ. соч., стр. 15.

[22] Н. Н. Воронин. Оборонительные сооружения Владимира XII в. МИА, № 11, 1949, стр. 235; М. Г. Рабинович. О начальной истории московского Кремля. «Вопросы истории», 1956, № 1, стр. 129.

[23] «Софийский временник, ч. II. М., 1821, стр. 380.

нами периода. Вече — общее собрание горожан — еще в XI—XII вв. постепенно утратило свое значение. С этим обстоятельством связана характерная особенность планировки восточнославянских городов. Детинец-кремль, феодальный центр города, сохраняет также значение центра его планировки. От кремля и находящейся под его стенами главной торговой площади расходятся к территории города его основные магистрали, в то время как у западных соседей, которые в древности имели такие же города, как восточные славяне [24], распространение так называемого Магдебургского права и сходных с ним институтов обусловило иную планировку. Замок феодального сеньора оставался как бы в стороне от города, центром города становилась рыночная площадь, на которой строилась ратуша; город отгораживался от замка своей собственной стеной. Такую планировку приобретали и некоторые восточнославянские города, вошедшие в состав западных государств. Достаточно указать на различие планировки Киева и Львова.

В Новгороде Великом, где городская организация была сильнее, чем в других восточнославянских городах, в XII в. как будто бы начала складываться планировка с двумя центрами. Детинец стал центром религиозным, где стояла патрональная церковь св. Софии и была резиденция архиепископа. На другой стороне Волхова, на месте княжеского двора и расположенного рядом торга, стало собираться народное вече и была впоследствии построена гридница. Князья и их наместники были вынуждены обосноваться на Рюриковом городище, на расстоянии полета стрелы от городских стен. Видимо, не случайно Новгород относится к тем немногим восточнославянским городам, где и посад издавна имел свою линию укреплений.

Однако сильное влияние землевладельцев-бояр в Новгородской феодальной республике постепенно привело к тому, что фактическим центром города снова стал детинец, где жил «владыка» — архиепископ и где собирался под его председательством знаменитый «совет господ» — боярское правительство республики. А в конце XV в. с включением Новгорода в состав централизованного Русского государства, вечевая площадь утратила свое значение.

Территориальный рост восточнославянского города шел прежде всего за счет его ремесленно-торговой части. С развитием ремесел и торговли расширялись старые и вырастали новые посады. Возникали новые торговые площади.

---

[24] См.: W. Hensel. Słowiańszczyzna wczesnośredniowieczna. Warszawa, 1965, str. 374—375; он же. Archeologia o początkach miast słowiańskich. Wrocław, 1963; G. Labuda. Die Anfänge des polnischen Stadtwesens im Hochmittelalter. Ergon, v. III. Warszawa, 1962; W. Radig. Bürgenarchäologie und Landesgeschichte. Frühe Burgen und Städte. Berlin, 1954.

Однако в городах, которые становились крупными феодальными центрами, рос и детинец-кремль, по большей части захватывая прилегающую территорию города, занятую ранее посадом. Ярким примером служит рост Киева, Новгорода, Москвы [25]. В Москве территория кремля за четыре столетия (с XI по XV в.) выросла примерно в 20 раз. По мере расширения кремля не только посадские люди, но и феодалы принудительно выселялись на новые места в том же городе. Так, нередко на посадах образовывались и новые слободы — как «черные», зависевшие непосредственно от государя, так и «белые», принадлежавшие более мелким феодалам.

Специфика социальной топографии восточнославянского феодального города сказывалась и на планировке отдельных его частей. Посад в большинстве случаев имел уличную планировку. В детинце она была выражена гораздо слабее. Можно думать, что феодальный центр города до XV в. имел преимущественно кучевую планировку. Более того, при раскопках в Москве удалось проследить, что существовавшие на посаде мощеные улицы исчезали, когда эта часть территории оказывалась занята великокняжеским или митрополичьим двором.

* * *

Значительный интерес представляет проблема формирования этнического лица города. Общеизвестно, что этнический состав городского населения уже в силу специфики города как поселения обычно сложнее, чем этнический состав окружающего сельского населения. Все же у нас имеются основания предполагать, что во многих случаях восточнославянские города первоначально имели весьма однородный этнический состав, причем население их принадлежало даже к одному только племени или союзу племен. На эту мысль наводят еще указания «Повести временных лет» о том, что Смоленск — это город кривичей и что Новгород построили словене [26]. Археологические исследования восточнославянских городов показали, что в ряде случаев древнейшее ядро их населения принадлежало к тому племени, которое населяло и окрестные села. Об этом говорят, например, находки в городах таких же женских украшений, какие носили в ту пору и окрестные крестьянки. Так, на городище Екимауцы в Прутско-Днестровском междуречье найдены украшения тиверцев, в Москве — исключительно украшения вятичей [27]. Но наряду с этим

---

[25] М. К. Каргер. Указ. соч., т. I, стр. 528; М. Г. Рабинович. О древней Москве, стр. 144. Конечно, при этом в детинце могли жить и ремесленники, например, принадлежащие к княжескому хозяйству.

[26] «Повесть временных лет», ч. I, М., 1950, стр. 11, 13.

[27] Г. Б. Федоров. Славяне Поднестровья. По следам древних культур. Древняя Русь. М., 1953; М. Г. Рабинович. Об этническом составе первоначального населения Москвы. «Советская этнография», 1962, № 2.

известны города, первоначальное население которых принадлежало к другой этнической группе, чем окрестные крестьяне, а иногда и к нескольким разным этническим группам. Об этом говорят и письменные источники, и археологические материалы, полученные при исследовании как культурного слоя городов, так и окрестных могильников. Общеизвестно, что город Юрьев был основан как западный форпост Руси в землях, населенных прибалтийско-финнскими племенами, что Нижний Новгород вырос среди мордовского населения [27а]. Раскопки курганного могильника, бывшего кладбищем древнерусского города Гочева, показали, что среди населения города были представлены, например, северяне и радимичи [28]. В Гнездовском могильнике — на кладбище древнего Смоленска — наряду с кривичами погребены наемники — варяги. Но их в Смоленске было немного. Из летописи мы узнаем, что варяжская дружина была в других русских городах, например в Киеве и Новгороде.

Но эти немногочисленные иноземцы не могли повлиять сколько-нибудь серьезно на развитие древнерусских городов. Они уже во втором-третьем поколениях ассимилировались русскими, как это произошло в более поздний период с татарами, сурожанами-итальянцами и многочисленными «немцами» в Москве.

Здесь мы подходим к одной из интереснейших проблем этнографии города.

Ясно, что лишь на ранней стадии своего существования город мог сохранить такой однородный этнический состав, как мы говорили выше. И чем более оживленной была городская жизнь, тем раньше приток населения приводил к усложнению его этнического состава. В таких городах, как Киев, даже самые ранние слои не дают в этом отношении однородной картины. Здесь черты племенного наряда с самого начала были стерты. Но ясно, что наряду с полянами в Киеве жили, например, тиверцы — при раскопках найдены характерные для них привески. В Новгороде в слое XI—XIII вв. найдены украшения, принадлежавшие не только словенам, но и кривичам, вятичам и радимичам [29]. Это и понятно. Ведь крупные центры притягивали издалека и славянское и неславянское население.

Но важно отметить, что первоначальное этническое ядро городского населения в дальнейшем обычно успешно ассимилиро-

---

[27а] В. Т. Пашуто насчитывает 24 русских города, построенных в Карелии, Прибалтике, прусско-литовских землях, в Приуралье, Поволжье и на Северном Кавказе среди нерусского населения. (В. Т. Пашуто. О некоторых путях изучения древнерусского города. Города феодальной России. М., 1966, стр. 93—98).

[28] На сложный состав населения Гочева обратил внимание Б. А. Рыбаков. См. также: Д. Я. Самоквасов. Атлас гочевских древностей. Приложение к дневнику раскопок. М., 1915.

[29] М. К. Каргер. Указ. соч., табл. 27; М. В. Седова. Ювелирные изделия древнего Новгорода (X—XV вв.). МИА, № 65, 1959, стр. 224—225.

вало инородные элементы и в основном определяло этническое лицо города. Это особенно ясно видно на примере Москвы. Возникнув как небольшой городок, населенный только вятичами, Москва в дальнейшем принимала иногда очень крупные группы населения как из других восточнославянских земель (Чернигово-Северской, Новгородской и т. п.), так и из стран, совершенно чуждых по языку и культуре. Кроме упомянутых выше иноземцев, в Москве целыми слободами селились, например, грузины, армяне. Но, несмотря даже на такую обособленность поселений (слободы), уже через одно-два столетия все «московские иноземцы» ассимилировались, восприняли русскую культуру и, вероятно, характерный для данного района «акающий» говор.

* * *

Важный объект для изучения представляют основные и подсобные занятия горожан. Сам факт появления городов, отделение города от деревни говорит о разделении труда, осуществляющемся путем товарного обмена [30]. Основными занятиями горожан являются ремесло и торговля. Однако, как уже было сказано, процесс превращения сельского поселения в городское мог идти медленно. И на известной его стадии наряду с ремеслами и торговлей, ставшими уже их основными занятиями, горожане занимались еще и пашенным земледелием.

На примере английских городов это отмечено Я. А. Левицким. В нижних горизонтах культурного слоя восточнославянских городов встречаются находки, свидетельствующие о занятиях жителей пашенным земледелием — бывшие в употреблении сошники, серпы, косы [31]. По некоторым известиям «Повести временных лет» можно заключить, что пашенное земледелие не было чуждо горожанам в X в. [32]

Но надо сказать, что пашенное земледелие довольно рано исчезает в городах. Находки сельскохозяйственных орудий встречаются в культурных слоях городов и гораздо позже, но обычно это, например, сошники, еще не бывшие в употреблении и по всей вероятности изготовленные городскими ремесленниками на продажу или по заказу окрестных сельских жителей. Почти каждый исследованный раскопками городской дом является в то же время и мастерской ремесленника.

Но в качестве подсобного занятия земледелие в восточнославянских городах продолжало играть очень большую роль. Глав-

---

[30] К. Маркс. Капитал, т. I. М., 1952, стр. 360.

[31] Я. А. Левицкий. Города и городское ремесло в Англии в X—XII вв. М.— Л., 1960, стр. 167, 217—218; М. Г. Рабинович. О древней Москве, стр. 270.

[32] Осаждая древлянскую столицу Искоростень, Ольга склоняла затворившихся в городе врагов к сдаче, говоря, что другие древлянские города уже сдались и жители их «делают нивы своя и земле своя», т. е. вернулись к мирному труду. («Повесть временных лет», т. I, стр. 42).

ными его формами стали огородничество и садоводство. Путешественники, приехавшие с запада, не раз отмечали, что восточнославянские города кажутся (пропорционально их населению) очень большими преимущественно из-за обилия садов и огородов. И в самом деле, «дворы»-усадьбы в этих городах были обычно значительно обширнее, чем на Западе. И в богатой, и в бедной усадьбе обязательно были огород и сад, различающиеся правда, размерами.

«Домострой» — хозяйственное руководство XVI в.— рекомендует уделять большое внимание огороду и саду, рационально эксплуатировать участок, сажая, например, между яблонями различные овощи (в нашем современном понимании этого слова). Иначе все придется покупать [33].

При раскопках часто находят различные огородные инструменты — мотыги, части грабель, бойки для посадки капусты и т. п. Важную роль в быту горожан играло также скотоводство. Городская усадьба обычно включала конюшни и хлевы для домашнего скота. При раскопках в городах попадаются иногда значительные скопления навоза, который здесь в отличие от сельских поселений не вывозился с усадеб, так как город не был окружен требовавшими удобрения полями. Часто находят разные предметы, употребляющиеся при обработке молочных продуктов — сосуды для отстоя сливок, откидывания творогу (в древней Руси он назывался «сыр»), мутовки для сбивания масла и т. п. Больше всего горожане разводили, разумеется, молочный скот — коров, овец, коз; на втором месте, по-видимому, был мясной скот — свиньи, и только на третьем — лошади. Это естественно для городского населения, поскольку лошадь как рабочий скот здесь применялась лишь для транспорта, а не для обработки земли. Отношения между горожанами, возникавшие на почве содержания скота (коллективный наем пастухов и пр.), еще предстоит изучить. Но уже сейчас можно сказать, что большое значение в жизни города имели выгонные земли, где пасли городское стадо. Недаром Уложение 1649 г. посвящает несколько пунктов специально защите городских выгонов от захвата окрестными помещиками [34].

До сих пор мы говорили о процессе становления и развития городов, который характеризуется понижением роли земледелия и повышением роли ремесел и торговли. Но этот процесс был обратимым: не только сельское поселение могло при известных условиях превратиться в городское, но и город при изменившихся условиях мог стать деревней. Такие случаи были в древней Руси не так уж редки. Мы привыкли думать, что город может погиб-

[33] «Домострой по Коншинскому списку и подобным». «Чтения в Обществе истории и древностей Российских». М., 1908, кн. 2, стр. 45, ст. 45.

[34] «Соборное уложение царя Алексея Михайловича 1649 года». «Памятники русского права», вып. VI. М., 1957, статьи 6, 7, 9, 10, стр. 307—309.

нуть от неприятельского разорения, пожара, от стихийных бедствий. Но как раз в этих случаях города нередко возрождались из пепла. Город мог погибнуть и постепенно, если утрачивалось то главное значение, которое он имел, и на смену ему не приходило другое. Наиболее типичным примером могут служить города-крепости. В каждом феодальном княжестве таких городов было много, особенно по границам. Военное значение этих городов (в которых были и небольшие торгово-ремесленные посады) было главным. Устойчивого местного рынка они вокруг себя обычно не создавали. Между тем границы менялись, и прежние пограничные крепости становились ненужными. Лишившись военного гарнизона, городки не могли уже играть прежней роли. Ремесленное и торговое население оставалось без заказчиков и если не покидало городок, то зачастую возвращалось к сельскому хозяйству. Так, бывший город мог постепенно стать селом, даже оказаться во владении какого-нибудь помещика или монастыря. И только мощные, хотя и пришедшие в упадок укрепления, да обилие церквей напоминали о былом величии. В писцовых же книгах сообщалось лишь, сколько жители косят сена, сеют ржи, льна и сколько из урожая отдают феодальному владельцу [35].

Так же могли захиреть и города, расположенные по какому-то торговому пути, если он утрачивал свое значение, или города, основой ремесленного труда которых было какое-либо сырье, запасы которого приходили к концу. Именно поэтому нельзя определять число городов в каждый данный период путем простого прибавления новых городов к уже известным ранее.

* * *

Общеизвестно, что в массе населения Руси горожане составляли лишь незначительную часть. И в экономике феодального государства больший удельный вес имела деревня. Однако известно и то, что в ряде важнейших областей жизни народа города играли ведущую роль. Она общепризнанна как в области политической жизни страны, так и в области духовной культуры. Многие стороны материальной культуры народа получали значительный стимул для своего развития именно благодаря городам. В истории таких важных (и притом традиционно считавшихся присущими преимущественно культуре крестьян) разделов материального быта народа, как, например, жилище и одежда восточных славян, города сыграли немалую роль. Именно городское население создавало новые формы жилого дома и костюма, которые затем постепенно распространялись и в сельской местности.

Остановимся лишь на некоторых примерах.

---

[35] Из упомянутых выше городищ такая судьба постигла, например, Тушков и Перемышль-Московский (см.: Дионисий. Можайские акты. СПб., 1892, стр. 204; В. и Г. Холмогоровы. Исторические материалы о церквах и селах XVII—XVIII ст. М., 1889, стр. III и 8).

Жилища рядовых горожан обычно на первых порах были такими же, как крестьянские жилища данной местности. Здесь главную роль и играли ландшафт и климат. Южная (точнее — юго-восточная) Русь знала преимущественно жилища-полуземлянки с каркасной конструкцией стен, дерновой или чаще соломенной кровлей. Это жилище — предшественник поздней нашей хаты-мазанки, господствовало в зоне лесостепи, где климат был теплый, а леса мало. Северная и северо-западная части территории, занятой восточными славянами, лежали в зоне хвойных лесов. Суровый климат и обилие такого великолепного строительного материала, как сосна и ель, обусловили создание здесь иного типа жилища — срубной избы с земляным или деревянным полом и тесовой кровлей. Чем дальше на север, тем больше поднималось жилое помещение над землей, тем выше был подклет. Между этими крупными природными зонами, в зоне лиственных лесов, бытовали оба только что описанные типы жилища. На одном поселении здесь можно было встретить и полуземлянки, и срубные дома. Но известны и случаи, когда при раскопках открывали полуземлянки, например под Новгородом, в зоне господства срубных изб. Исследователи связывают такие факты с переселением каких-то групп крестьян или горожан, привыкших у себя на родине строить жилище определенного типа. Однако вряд ли такие строительные традиции, если они не соответствовали новым природным и экономическим условиям, могли бытовать в течение сколько-нибудь длительного времени. В особенности это можно сказать о перенесении северных строительных традиций на юг. Трудно себе представить, чтобы рядовые крестьяне или горожане могли продолжать срубное строительство в течение, скажем, жизни нескольких поколений в условиях лесостепи, где пригодный для этого материал почти отсутствует. Однако если еще в XIII—XIV вв. наблюдается некоторое расширение зоны господства срубного жилища на юг и юго-восток, то в этом процессе немалую роль сыграли города, где население было более зажиточным и товарно-денежные отношения были развиты. Примером может служить жилище Суздаля. В этом городе, расположенном в своеобразной растительной зоне — так называемом Ополье — безлесной местности, окруженной лесами, до XIII в. жилища строили преимущественно полуземляночного типа. В XIII же и XIV вв. полуземлянки были вытеснены срубными домами. Аналогичная картина, видимо, наблюдалась и в Ярополче Залесском [36]. Археологические исследования восточнославянского жилища в последние десятилетия продвинулись далеко вперед, но важным их пробелом является относительно слабая изученность сельского

---

[36] А. Ф. Дубынин. Раскопки в Суздале. КСИИМК, вып. 11, 1945, стр. 94; М. В. Седова. Раскопки Ярополча Залесского (1961 г.). КСИА, вып. 96, 1963, стр. 48.

жилища эпохи феодализма. Восточнославянские селища вообще, как правило, очень трудно обнаружить и изучить, так как этот тип поселения не имеет таких устойчивых внешних признаков, как города. И на тех селищах, которые удалось исследовать (а их теперь уже немало), сохранность жилищ обычно плохая, особенно, если это были наземные жилища. Ведь селища в большинстве случаев распахивались в течение ряда столетий. Переписные книги не фиксировали состава крестьянского жилища. Поэтому в настоящее время трудно еще говорить, например, о развитии плана восточнославянского деревенского жилища. Однако ряд более поздних материалов заставил исследователей предположить, что крестьянское жилище восточных славян в древности имело лишь одну жилую комнату и строилось даже без сеней. Двух- и трехкамерные крестьянские дома с трудом прослеживаются глубже слоев XVI—XVII вв., а дома так называемого усложненного типа— пятистенки, крестовики и т. п. развились в деревне не ранее XIX в. [37]

При раскопках же восточнославянских городов двух- и трехкамерные срубные дома встречаются начиная с X в. [38], а дома с усложненным планом, в частности и пятистенки, известны в Новгороде с XI—XII вв., в Москве — с XIV в. [39] Составители писцовых книг XV—XVI вв., описывая усадьбу рядового городского ремесленника, нередко отмечали, что «на дворе у него хором: горница черная на глухом подклете да горница белая на глухом же жилом подклете, меж ними сени, под сенями погреб» [40], т. е. описывали ставшее впоследствии традиционным у восточных славян трехкамерное жилище, в котором две жилые комнаты (одна — с курной печью — «черная», другая, где печь имела трубу — «белая») соединены «холодными» (неотапливаемыми) сенями. Это жилище восточные славяне в XVII—XVIII вв. принесли с собой и в Сибирь [41].

Вопрос о путях развития восточнославянского жилища от однокамерного к трехкамерному нуждается еще в дальнейшем исследовании. Но нам представляется, что уже сейчас можно говорить о ведущей роли в этом процессе городского жилища по отношению к жилищу деревенскому. Если планировка усадьбы

---

[37] Е. Э. Бломквист. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов. «Восточнославянский этнографический сборник. Труды Института этнографии». Новая серия, т. XXXI, 1956, стр. 148.

[38] Б. А. Колчин. Топография, стратиграфия и хронология Неревского раскопа. «Труды Новгородской археологической экспедиции», т. I, 1956, стр. 112, 114.

[39] П. И. Засурцев. Усадьбы и постройки древнего Новгорода. МИА, № 65, стр. 9—11; М. Г. Рабинович. О древней Москве, стр. 200—202.

[40] И. Е. Забелин. Домашний быт русских царей, стр. 456.

[41] В. А. Александров. Русское жилище Восточной Сибири в XVII — начале XVIII в. «Советская этнография», 1960, № 2.

диктовалась преимущественно хозяйственными соображениями и уже в силу этого различия между городским и сельским двором были глубоки и непреодолимы, то планировка жилого дома могла и должна была иметь общие черты, причем рациональные новшества охотно заимствовались.

Гораздо сильнее были, по-видимому, традиции во внутренней планировке жилого помещения. Привычный уклад домашней жизни старались сохранить и на новом месте. Поэтому положение печи относительно входа, парадного «красного» угла, «середы» или «бабьего кута» сохранялось в небогатом городском жилище едва ли не до XIX в. Однако иногда и здесь наблюдалась перестройка, вызванная, например, более суровыми климатическими условиями. Так, удалось проследить изменение внутренней планировки московского дома XVI в. К избе были пристроены сени, переделан вход, и южнорусская планировка комнаты сменилась северно-русской [42]. В этом случае, впрочем, трудно говорить о специфике городского жилища. То же могло бы произойти и с южанином, переселившимся в подмосковную или более северную деревню.

Сильным было, по-видимому, влияние городского жилища на деревенское в области архитектурного убранства. Городской дом, как и деревенский, в X—XIII вв. еще не часто выходил на улицу. Естественно было, что украшения его сосредоточивались на тех частях, которые были видны снаружи: коньке кровли, фронтоне или вообще силуэте постройки, вереях ворот. Но с развитием товарного обмена городские, а потом и деревенские дома стали ставить непосредственно у самой улицы или во всяком случае так, что с улицы была видна не только кровля дома да ворота. С этим процессом, по-видимому, связано появление и развитие оконных наличников, столь характерных впоследствии для убранства восточнославянского жилища. Полного своего развития этот вид убранства достигает с распространением косящатых окон, вытеснивших волоковые по мере того, как печь с трубой вытесняла курную. Для XVIII и XIX вв. бесспорно доказано, что при строительстве сельских жилищ охотно заимствовали модные в городе формы наличников. Так, в деревню проникали, например, оконные наличники в стиле «барокко» и в стиле «ампир». Можно предполагать, что и в более ранние периоды восточнославянский город играл ведущую роль в развитии украшений жилища.

В одежде, пище и утвари городского населения традиционные элементы были, пожалуй, несколько менее устойчивы, чем в жилище. Здесь (особенно в одежде) легче воспринимались различные влияния, причем решающую роль играло развитие обмена, проникновение в быт товарно-денежных отношений. Через городской рынок в замкнутый прежде домашний быт горожанина попали и новое платье, и новые вещи, и новые кушанья, и новые привычки.

---

[42] М. Г. Рабинович. О древней Москве, стр. 220—221.

И все же до конца рассматриваемого нами периода (а в малых городах — и гораздо раньше) в домашнем быту горожан можно проследить влияние более древних традиций. Кажется, оно больше сказывалось в пище и утвари рядового населения, которому не по карману были дорогие привозные деликатесы и вещи, меньше — в средствах передвижения и в одежде. В свою очередь одежда, пища и утварь горожан оказывали влияние на деревню. Общеизвестно, например, что в XIX—XX вв. в период развития капитализма «городская» одежда постепенно вытесняла у восточных славян традиционный народный костюм. Но и сам этот традиционный комплекс костюма еще ранее, в период феодализма, испытал немалое влияние города. Можно даже сказать, что в том виде, в каком застали его исследователи в XVIII—XIX вв., русский народный костюм сложился при активном участии городского населения. В самом деле, если тот комплекс, который называют южнорусским, характеризующийся наличием набедренной одежды поневы, тесно связан с другими комплексами восточнославянского женского костюма, в частности с одеждой украинской, и был, по всей вероятности, в древнейшие времена распространен гораздо шире, то так называемый северный русский комплекс с сарафаном, по-видимому, сложился гораздо позже и притом сначала в городах [43].

Мы говорили, что пища рядовых горожан дольше других областей материальной культуры сохраняла традиционные особенности. Это обусловливалось как сравнительно малым достатком, не позволявшим пользоваться дорогими «заморскими» продуктами, так и, главным образом, развитием подсобных занятий — огородничества, садоводства, скотоводства, рыболовства. Это наложило известный отпечаток и на застройку городской усадьбы, где всегда были добротные помещения для хранения продуктов. И если бедный человек имел один погреб, то богатый горожанин, как показали раскопки, строил несколько амбаров и погребов-ледников, оборудованных по последнему слову тогдашней техники. Это в особенности было необходимо феодалам, получавшим из своих сельских владений в счет натурального оброка большое количество продуктов и державшим в городском доме многочисленную челядь, которую нужно было кормить.

Однако по мере развития товарно-денежных отношений горожанам становилось невыгодно тратить много сил на подобные занятия. Все больше съестных припасов, а потом и готовых блюд рядовые горожане стали покупать. «Домострой», как мы говорили, советовал обращаться к торгу пореже, но его советы, видимо, годились скорее для зажиточных, а люди победнее предпочитали

---

[43] Г. С. Маслова. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в. «Восточнославянский этнографический сборник», стр. 640—643.

работать больше над своим основным делом и чаще ходить на рынок. Иначе трудно объяснить большое развитие в русских городах в XVI—XVII вв. производства и продажи разного рода снеди. Среди посадских людей появились не только мясники, жившие, например, в Москве отдельной слободой, но и рыбники, и мучники, и хлебники, и калачники, и пирожники, и блинщики, и квасники, и хмельники, и солодовники [44]. В Туле лавки, торговавшие съестными припасами, составляли более половины всех торговых заведений [45].

Это явление не могло не отразиться на питании горожан. Вероятно, уже в тот период их пищевой рацион несколько изменился. Однако продукты и кушанья, которые покупало на рынке большинство населения, еще принадлежали к традиционной народной кухне.

Сам характер городской трапезы у восточных славян долго сохранял черты, обусловленные еще сельским бытом. Достаточно сказать, что «Домострой», подробно регламентируя домашний быт, учитывает только две трапезы — обед и ужин, применительно к которым детально разрабатывает «рациональные меню», разумеется, отдельно для господ и для слуг [46]. О завтраке не говорится ни слова. Религиозное руководство того же времени особо оговаривает, что перед обедом и перед ужином полагается молиться, а перед завтраком и полдником — необязательно [47]. Таким образом, мы узнаем, что ели (по крайней мере — зажиточные люди) все же три или четыре раза в день. Еще более ранние сведения фиксируют завтрак, обед и ужин как время трапезы феодала [48]. Возможно, что в земледельческом быту, где очень рано выходят на работу в поле, завтрак как коллективная трапеза всей семьи да еще с предварительной молитвой, вряд ли всегда был возможен. Утренняя еда зачастую ограничивалась остатками вчерашней, а то и просто хлебом и квасом, иногда даже не дома, а по дороге в поле. В городах имелись свои особенности семейного быта, благодаря которым старая традиция была, как видим, сильна.

* * *

Мы говорили о различных особенностях городских поселений восточных славян, преимущественно о тех, которые связаны с этническим развитием и бытом горожан. При этом мы стремились лишь обратить внимание исследователей на некоторые вопросы изучения восточнославянских городов, для решения которых достигнутый в настоящее время уровень изучения письменных и вещественных источников также дает известный материал.

---

[44] «Переписная книга 1638 г. города Москвы». М., 1883.

[45] Н. Д. Чечулин. Указ. соч., стр. 134—135.

[46] «Домострой», ст. 51, стр. 51.

[47] И. И. Срезневский. Материалы для словаря древнерусского языка, т. I, б г., стб. 903.

[48] См., например, «Повесть временных лет», стр. 172; «Слово о полку Игореве». Изд. I, 1800, стр. 41.

В. П. Грачев

ЖУПНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ У СЛАВЯН И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

В послевоенной славяноведческой литературе неоднократно поднимался вопрос о слабой разработанности проблемы политической организации славянских народов в период средневековья. В последние годы обсуждение этого вопроса со страниц специальных работ перенесено на международные форумы историков-славистов. При обсуждении этих вопросов небезосновательно указывалось и на тот факт, что недостаточная разработка проблемы с позиций исторического материализма способствует тому, что в ряде случаев вплоть до настоящего времени продолжают сохранять силу некоторые ошибочные положения и вопросы, разработанные еще историографией XIX — начала XX в., которая освещала их не столько на основе фактического материала, сколько с позиций общетеоретических представлений соответствующего периода [1].

В советской исторической науке сравнительно лучше вскрыта и показана ошибочная сущность и несостоятельность теоретических основ домарксистской историографии, занимавшейся разработкой соответствующих вопросов русской истории. Однако по отношению к истории южных и западных славян этой проблеме советская историческая наука уделяет значительно меньше внимания. Отсюда и большее число ошибочных решений вопроса. С нашей точки зрения, неверно рассматривается, в частности, вопрос о так называемой жупной организации у южных и западных славян, который неразрывно связан с проблемой генезиса и развития государственности у этих народов. Ошибочное его решение до сих пор отрицательно отражается на дальнейшей разработке указанной

[1] В частности, Ю. Бардах, указывая пути дальнейшего исследования затронутой проблемы, призывает исследователей прежде всего отказаться от «балласта романтических теорий» и прочно встать на позиции «научно обоснованной теории общественно-экономического развития» (J. B a r d a c h. Historia praw slowiańskich. Przedmiot i metody badawcze. «Kwartalnik Historyczny», LXX, 2. Warszawa, 1963, стр. 284).

проблемы. Наиболее характерным примером этого является тот факт, что в современной историографии довольно прочно удерживается положение старой историографии о том, что государственность у сербов начала оформляться лишь на рубеже XII—XIII вв.

* * *

Изучение историографии вопроса показало [2], что начиная с середины XIX в. и вплоть до 40-х годов XX в. (а в отдельных случаях и до настоящего времени) в славяноведческой литературе почти безраздельно господствовала (правда, в нескольких вариантах) следующая схема политической организации южных и западных славян в период средневековья. После переселения южных и западных славян на занимаемые ими в настоящее время территории эти народы первоначально разделялись на племена. Каждое племя, состоящее из нескольких родов, занимало территорию, которая называлась *жупой*. Управителем такой единицы был племенной старейшина — *жупан*. Жупы были, как правило, изолированы друг от друга, а жупан являлся единственным представителем власти, который выбирался из наиболее знатного рода. Такая форма жупной организации, с точки зрения домарксистской историографии, представляла собой так называемую *первичную форму политического быта*, которая, по мнению большинства исследователей, без особых изменений сохранялась почти у всех южных и западных славян приблизительно до конца XIII—XIV в. Она была настолько устойчивой, что продолжала существовать даже после распада кровнородственных союзов, отдельные группы которых расселились по территории данной жупы и даже по территориям соседних жуп. Вследствие этого жупа приобретала территориальный характер. Но эти изменения, согласно господствующей точке зрения, ни в коей мере не отразились на формах административного управления жупой. Жупан по-прежнему оставался главой жупы и выбирался из наиболее знатного рода. Созданные на такой основе так называемые примитивные государства представляли собой союз (федерацию) жуп, во главе которого мог быть великий жупан, великий князь, король и даже царь. Причем возникновение этих примитивных государств у разных славянских народов, как было принято считать с 70-х годов XIX в., происходило в разное время и различными путями. Эти государства, как правило, были очень непрочными. Они могли быстро распадаться и возникать вновь на основе той же жупной организации. В период их существования жупаны, оставаясь по-прежнему управителями жуп, лишь номинально подчинялись главе государства и рассматривались как государственные чиновники.

---

[2] В. П. Грачев. Из истории изучения славянских средневековых институтов. (Вопрос о жупах и жупанах в историографии). «Уч. зап. Ин-та славяноведения АН СССР», ч. XIX, 1965, стр. 178—209.

С распадом такого государства жупаны вновь обретали прежнюю независимость и т. д. По определению большинства исследователей конца XIX — начала XX в., возникшие на такой основе политические объединения еще не представляли собой государств «в полном смысле этого слова» [3] и были организованы по чужеземному образцу [4].

Первичная форма политического быта, согласно рассматриваемой схеме, ликвидировалась постепенно и сменялась сверху законодательным путем. Процесс ее ликвидации у разных славянских народов начинался в разное время и протекал неравномерно, поскольку он зависел от интенсивности внешнеполитических влияний. Под воздействием этих влияний народные массы постепенно начинали убеждаться в превосходстве новых, более развитых государственных форм управления, а центральная власть по мере проникновения идей государственности в широкие массы народа постепенно отменяла старые формы управления, заменяла их новыми государственными учреждениями и вводила новые законы, которые проникали извне вместе с церковной организацией и церковными догматами [5].

Таким образом, новая государственная система развитого типа, согласно точке зрения славистов конца XIX — начала XX в., не являлась следствием поступательного развития так называемой жупной организации. Более того, она оформлялась вопреки этой организации на базе чуждых славянскому миру государственных учреждений и законов, которые могли укорениться лишь после того, когда к их восприятию было подготовлено народное самосознание [6]. Следовательно, согласно рассматриваемой схеме,

---

[3] В частности, А. Л. Погодин считал, что собирание племен у сербов «носило совершенно импульсивный характер и не привело ни к каким долговечным результатам», так как этому мешала «исконная славянская анархия». Стремления одного сербского князька к созданию более крупной государственной системы парализовались тенденциями другого сербского же князя. «...Группы разнородных племен делались... народом» только в начале XII в., когда отношения родовые под влиянием столкновения с римским правом начали переходить в правовые. И только под конец XII в. в Сербии наступила новая эра государственного существования...» (А. Л. Погодин. История Сербии. СПб., 1909, стр. 15, 17—18, 30, 31).

[4] Объясняя причины возникновения чешского, моравского, польского, хорватского и болгарского государств в IX—X вв., Л. Нидерле полагал, что эти государственные организмы «... образовались по чужеземному германскому или тюрко-татарскому образцу, а создателями их отчасти были германцы или тюрко-татары» (Л. Нидерле. Славянские древности. Перевод с чешского Т. Ковалевой и М. Хозанова. М., 1956, стр. 298).

[5] Подробнее см.: В. П. Грачев. К вопросу о жупах и жупанах. «Вопросы истории славян». Воронеж, 1966, стр. 88—90.

[6] В частности, П. С. Сречкович полагал, что развитие сербского народа следует рассматривать под углом зрения развития народного самосознания, а возникновение и развитие государственности как сложный процес перехода общества из «анархического племенного состояния» к «...высшей форме общественного бытия — государству». Поэтому основную движущую силу

жупная организация как «форма старого самоуправления», сохранявшаяся почти у всех южных и западных славян на протяжении VII—XIV вв., по мнению подавляющего большинства исследователей указанного периода, была вообще лишена всяких потенциальных возможностей органического развития в государственную систему развитого типа [7].

Исследователи уже давно обращали внимание на то, что охарактеризованная выше схема применительно к истории западных славян (по крайней мере после XII в.) не всегда соответствует исторической действительности. В данной связи подчеркивалось, что первые самые общие упоминания о жупанах у западных славян относятся к XII в., а о жупах — только к XIII—XIV вв. и что к данному времени эти термины уже не имели никакого отношения к племенной организации и обозначали самые различные категории административного управления [8].

Следовательно, документальной базой для построения изложенной выше схемы мог служить только соответствующий материал, относящийся к истории южных славян, у которых интересующие нас институты прослеживаются с VIII в. Между тем иссле-

---

данного процесса он видел в «... энергии отдельных племен и «отдельных вождей» (П. С. Сречковић. Историја српског народа, т. I. Београд, 1899, стр. 438—439).

[7] Принципиальные разногласия вызывал лишь вопрос о возможности и степени использования данной организации для государственного управления. Одни исследователи считали, что жупная организация без особых изменений могла сохраняться и в условиях развитой государственной системы, но она была изолирована от государственных органов. В частности, возражая Т. Флоринскому, П. Сречкович утверждал, что жупы у сербов сохраняли свое самоуправление еще в середине XIV в., «которое было отделено от государства» (П. С. Сречковић. Историја српског народа, кн. II. Београд, 1888, стр. 803).

[8] Например, в Чехии XII—XIV вв. жупанами назывались государственные чиновники, которые отличались от графов, бургграфов и кастелянов, а также определенная категория землевладельцев-бенефициариев. Но как одни, так и другие в данный период не имели никакого отношения к управлению жупами (А. Н. Ясинский. Падение земского строя в Чешском государстве X—XII вв. Юрьев, 1912, стр. 94, 96, 173). Из грамоты 1181 г. Оттона, маркграфа Мейссенского, известно, что у лужицких сербов жупаны были сельскими старостами: «...seniores villarum quos lingua sua supanos vocant» (Л. Нидерле. Указ. соч., стр. 307). На территории польских земель термин «жупан» (zuparii, supparii, suppanarii) в XIII—XIV вв. также употреблялся в нескольких значениях. Им одновременно обозначались как государственные, так и местные административные и судебные чиновники, а также сельские старосты (O. Balzer. O zadrudze slowiańskiej. «Kwartalnik Historyczny», r. XIII, z. II, 1899, str. 209, 210, 220). Термином «жупа» в XIII—XIV вв. у лужицких сербов обозначался податный и судебный округ (Н. Стребов. Жупа. Новый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, т. 18, стр. 480), а в Чехии и Моравии с XIV по XVII в. им обозначались одновременно единицы административно-территориального деления и церковные округа (А. Н. Ясинский. Указ. соч., стр. 480). В источниках, относящихся к истории польских земель XIII—XIV вв., термин «suppa» или «zupa», по наблюдениям О. Бальцера, обозначал несколько понятий: сферу власти

дования последних лет показали, что охарактеризованная выше концепция также противоречит и фактическому материалу, относящемуся к истории Болгарии, Хорватии[9], Словении[10] и Сербии.

Найденные в последнее время протоболгарские надписи IX в. также вступают в противоречие со старой концепцией, так как в них упоминаются жупаны, выступающие в качестве чиновников, стоящих на самых различных ступенях административной иерархии[11]. Из этих надписей отчетливо видно, что жупаны в Болгарии IX в. также не являлись единственными представителями власти и представляли собой чиновников самых различных рангов, которые функционировали как среди славянского населения, так и среди протоболгар.

Между тем вплоть до настоящего времени в историографии продолжает бытовать мнение, что материал сербских средневековых источников якобы дает неоспоримые факты для доказательства справедливости охарактеризованной выше концепции.

Следуя советам члена-корреспондента АН СССР Ю. В. Бромлея и профессора С. А. Никитина, мы занялись анализом сербского материала под охарактеризованным выше углом зрения. Прослеживая пути эволюции этих институтов и категорий, мы пришли к убеждению, что источники X—XIV вв. не фиксируют ни одного случая, когда сфера власти жупана совпадала бы с территорией жупы.

Таким образом, сербский материал также явно противоречит основному положению охарактеризованной выше схемы жупной организации. Пристальнее присмотревшись к методике доказа-

---

чиновников, которые назывались жупанами, доход, получаемый этими чиновниками, и соляные копи (O. Balzer. Указ. соч., стр. 210).

[9] Югославский историк Н. Клаич, резюмируя результаты исследований по истории средневековой Хорватии, справедливо констатирует, что разработанная старой хорватской историографией система доказательств соответствующей концепции строилась «...больше на фантазии, чем на основе материала источников» (N. Klaić. Postanak plemstva «Dvanadesetero plemena kralevine Hrvatske». «Histor. zbornik», XI—XII. Zagreb, 1958/59, str. 125).

[10] Словенские грамоты XIV в. дали основание Л. Гауптману справедливо утверждать, что под термином «жупан» в указанный период выступает довольно широкая и разнообразная по своему правовому положению прослойка словенского крестьянства, а под термином «жупница» — земельный надел крестьянина (L. Hauptmann. Staroslovenska družba in obred na kneźjem kamenu. «Dela slovenske Akademije znanost i umetnosti», 10. L. 1954, str. 8, 73, 74).

[11] Т. Тотев. Сребрълна чаша с надпис от Преслав. «Известия на Археологическия институт», XXVII, 1964, стр. 515; V. Beševliev. Protobulgarische Inschrift auf einer Silberschale. Byzantion, Bd. XXXV. Bruxelles, 1965; В. Бешевлиевъ. Първобългарски надписи. София, 1934, стр. 41; V. Beševliev. Die protobulgarischen Inschriften. Berlin, 1963, S. 287, 291; И. Венедиков. Новооткритият в Преслав първо български надпис. «Известия на Българския археологическия институт», XV. София, 1946, стр. 147—159; J. Venedikov. Trois inscriptions protobulgares. «Разкопки и проучавания», IV. София, 1950, стр. 186.

тельства старой историографии, мы убедились, что она несовершенна и при доказательстве других положений.

В соответствии с господствующей точкой зрения большинство исследователей определяли жупу как сложный комплекс, представлявший собой территориально-географическое, этническое, хозяйственное и административное единство, который оформился еще в период поселения славянских племен на Балканский полуостров и просуществовал без особых изменений по крайней мере до конца XIV в. В пределах данного периода жупы постепенно утрачивали лишь свое первоначальное самоуправление, а утратив его, превращались в территориальные единицы, которые были использованы центральной властью для целей государственного управления [12].

На этом основании в специальной литературе, особенно в историко-географических работах, до сих пор продолжают считать, что любая территория, топоним которой совпадает с названием того или иного географического объекта (реки, горной местности, а иногда и города), представляет собой жупу со всеми свойственными ей качествами. Такое определение сохраняет силу и в том случае, когда термин «жупа» вообще никогда не употреблялся для данного района [13].

Такая практика выделения «жуп» в ряде случаев явно противоречит показаниям источников и вносит разногласия в определения статуса тех или иных конкретных территорий [14]. Но значительно важнее то, что такое понимание значения термина «жупа» в целом ряде случаев явно противоречит показаниям источников. Чтобы

---

[12] Вопрос о времени таких изменений различными исследователями решался по-разному, в зависимости от общих воззрений авторов на процесс возникновения и развития государственности у сербов. В послевоенной югославской историографии была высказана точка зрения, что процесс утраты самоуправления жуп начался еще в IX в. и продолжался до середины XIV в. Д. Янкович замечал по этому поводу, что сербские правители, «... подавляя жупы как самоуправляющиеся единицы, в то же время не были заинтересованы в полной ликвидации жупной организации; они лишь стремились утвердить там (т. е. внутри жуп.— *В. Г.*) влияние центральной государственной власти. Именно поэтому в период феодализма во главе жупы стоял жупан, который и был ее собственником или держателем (т. е. баштинником или прониаром) или же господином-кефалией, которого назначал правитель» (Д. Јанковић. Историја државе и права феудалне Србије (XII—XV вв.). Београд, 1957, стр. 75).

[13] Например, согласно установившейся традиции, К. Иречек районы Хвостна, Топлицы, Рудника, Браничева и другие называет «жупами», хотя термин «жупа» вообще никогда не упоминался в источниках для определения данных районов (К. Јиречек. Историја Србе, т. II. Београд, 1952, стр. 4).

[14] В частности, среди специалистов по исторической географии до сих пор нет единого мнения, каким термином следует определять такие районы, как Хвостно, Патково, Плав и др. Одни называют их областями, а другие — жупами. Например, Хвостно Р. Иванович в одном случае определяет термином «жупа» (Р. Ивановић. Дечанско власталинство. Историски Часопис. IV. Београд, 1954, стр. 182), в другом — «область» (там же, стр. 184), а в третьем — «жупская область» (там же, стр. 181).

нагляднее убедиться в неправомерности такого подхода, рассмотрим свидетельства наиболее важных источников, в которых упоминается термин «жупа». Впервые термин «жупа», точнее πανια упоминается в гл. 30 «De adm. imp.», в которой четко определяются 14 районов, входящих тогда в состав Хорватского раннефеодального государства. В данной связи важно подчеркнуть, что послевоенными исследованиями установлено, что указанные районы в данный период уже не имели никакой связи с племенным делением и представляли собой территориально-административные единицы раннефеодального Хорватского государства [15]. Особый интерес для нас представляют три района: Ростока, Мокро и Дален [16], так как они позднее упоминаются в составе Сербских земель. Их топонимы несколько раз встречаются в сербских источниках, но уже без определения их термином «жупа». Наиболее определенные свидетельства сохранились о районе Мокро. В грамоте 1402 г. он определялся как «locum vocatum Mocro». С 1469 г. этот район упоминается уже как турецкая нахия Мокро. Иногда же его называли другим топонимом — Гласинац [17].

Рассмотренный материал показывает, что для определения одних и тех же районов в разные хронологические периоды и в разных условиях были использованы самые различные термины. Термин «жупа» удерживался за этими районами только в период их вхождения в состав раннефеодального Хорватского государства.

Совершенно иная картина наблюдается при характеристике К. Багрянородным районов Конавли, Требинье, Врма и Рисана. Если К. Багрянородный называет район Конавли термином χωρα [18], а остальные топонимы рассматривает как города, то в более поздних источниках почти все эти районы бесспорно определяются термином «жупа». Однако в данной связи обращает на себя внимание и другой факт, что в период вхождения этих районов в состав государства Неманичей, термин «жупа» для обозначения этих районов тоже не употреблялся.

Самое большое количество районов (38), определяемых термином «жупа», точнее «jupania» указывается в Дуклянской летописи — источнике, возникновение которого обычно относят к середине XII в. Но этот источник дошел до нас в редакциях XVII в.

---

[15] M. Kostrenčić. Nacrt historije hrvatske države i hrvatskog prava. Zagreb, 1956, s. 138; Ю. В. Бромлей. Становление феодализма в Хорватии. М., 1964, стр. 190.

[16] ...τρεις, ἔχουσα φουπανίας, τὴν ραστωζσαν και τὸν Μοκρον καὶ τοῦ Δάλεν...» Византиски извори за историју народа Југославије, т. II, обрадио Б. Ферјанчић. Београд, 1959, стр. 34—35.

[17] М. Динић. Земле херцога светог Саве. Глас САН 82. Београд, 1940, стр. 160.

[18] Constantine Porphyrogenitus. De administrando imperio. Ed. Gy. Moravcsik. Budapest, 1949, p. 152, 162.

и с точки зрения достоверности интересующей нас терминологии далеко не безупречен. Однако,сконцентрировав основное внимание на историко-географической стороне вопроса, большинство исследователей, руководствуясь охарактеризованной выше системой представлений, приняло на веру терминологию Дуклянской летописи и безоговорочно определило эти районы термином «жупа». Но если поставить под сомнение терминологию Дуклянской летописи, а для этого есть все основания, и проверить ее по другим актовым материалам, то вырисовывается весьма любопытная картина. Насколько нам удалось проследить по изданным источникам (включая дубровницкие и боснийские документы), если не считать данных Дуклянской летописи, то термин «жупа» во всех остальных источниках применительно к подавляющему числу перечисленных выше районов вообще не употребляется. Им обозначаются всего только шесть или восемь районов. К их числу относятся районы: Грбаль, Конавли, Попово, Жерновница, Драчевица, Горска жупа и, возможно, Врм и Рудины. Причем оказывается, что районы Грбаль, Конавли, Драчевица и Жерновница в оригинальных источниках совершенно отчетливо начинают определяться термином «жупа» только после того, как они вышли из сферы административного управления государства Неманичей и вошли либо в состав Боснии, либо оказались зависимыми от соседних далматинских городов Дубровника и Котора, располагавших автономным самоуправлением.

Показательно и то, что в период вхождения этих районов в состав государства Неманичей их топонимы сравнительно часто упоминаются в самых разнообразных источниках, но сами эти районы ни разу не определяются термином «жупа». Для примера несколько подробнее рассмотрим статистику упоминаний термина «жупа» применительно к району Конавли, который значительно раньше и чаще других районов встречается в самых разнородных и разновременных источниках.

Упомянутый впервые К. Багрянородным в X в. как χωρα, этот район в других источниках до конца XIV в. встречается не менее 50 раз, но вплоть до 1391 г., если не считать терминологии Дуклянской летописи и одного очень неопределенного свидетельства 1315 г., ни разу не определялся термином «жупа»[19]. Термином «жупа» этот район совершенно определенно стал обозначаться только с 1391 г.[20], когда государство Неманичей уже распалось,

[19] «Monumenta Ragusina», t. I. стр. 22, 63, 92, 93, 96, 98, 108, 119, 158, 197, 269, 271; t. II, стр. 184, 258, 251, 277, 323, 325; t. III, стр. 94, 151, 198, 286, 309; t. IV, стр. 86, 120, 124, 130, 131, 148, 149, 203, 246; «Законски Споменици српских држава среднега века». Прикупио и уредио Ст. Новаковић. Београд, 1912 (далее: Зак. Спом.), стр. 194, 195, 217; J. Тадић. Писма и упутства Дубровачке републике. Београд, 1935, стр. 2, 16, 218, 225, 239, 242, 312; «Liber omnia Reformationum», изд. А. Соловјев, Петерковић. Београд, 1936, стр. 93.

[20] Зак. Спом., стр. 252, 317, 325—330.

а часть района Конавли отошла вначале (в 1378 г.) к Боснии, а в 1391 г. была передана Дубровнику [21].

В данной связи заслуживает особого внимания хронологически близкое времени написания Дуклянской летописи (не ранее 1159 г.) свидетельство грамоты 1164 г., которую подписал «dominus Terrae Canali et Seruannitie» [22]. Из этой подписи хорошо видно, что районы Конавли и Жерновницы, определяемые в Дуклянской летописи термином «жупа», в акте данного же времени определяются термином «terra». Таким образом, рассмотренные факты лишний раз свидетельствуют о том, что термин «жупа» для района Конавли употреблялся в источниках более позднего времени (конец XIV в.). А это в свою очередь дает основание предполагать, что интересующая нас терминология Дуклянской летописи характерна не столько для времени ее происхождения, сколько для времени составления более поздних редакций.

К аналогичному выводу приводит и сопоставление терминологии разновременных редакций самой Дуклянской летописи: латинской редакции и ее итальянского перевода (XVII в.) с хорватской краткой редакцией (конца XIV в.) [23].

Таким образом, если придерживаться свидетельств, сохранившихся в актовых материалах, то оказывается, что для подавляющего большинства перечисленных в Дуклянской летописи районов термин «жупа» для условий государства Неманичей и более раннего периода вообще неприемлем.

В условиях государства Неманичей термин «жупа» бесспорно употребляется только для двух районов: Горска жупа [24] и жупа Попово [25].

Таким образом, если принять во внимание специфику терминологии Дуклянской летописи и показания актовых документов, то, с нашей точки зрения, сохранившиеся свидетельства не дают до-

---

[21] Вторая часть района Конавли была передана Дубровнику только в 1419 г. Подробнее см.: Р. Груић. Конавли под разним господарима од XII до XV в. «Споменик Српске Академије наук», 66, Београд, 1926.

[22] «Codex diplomatikus regni Croatiae, Dalmatiae et Slavoniae», t. II; Zagreb, 1904, p. 99; Р. Груић. Указ. соч., стр. 4.

[23] Об этом см.: В. П. Грачев. Термины «жупа» и «жупан» в сербских источниках XII—XIV вв. и трактовка их в историографии. «Источники и историография славянского средневековья». М., 1967, стр. 3—52.

[24] В грамоте Ст. Первовенчанного в 1220 г. этот район из области Зеты упоминается наряду с другими районами, обозначенными термином «жупа», которые расположены в области Рашка.

[25] Для района Попова поля, расположенного на территории Холмской области, термин «жупа» впервые упомянут в грамоте сербского короля Уроша I от 1254/64, которая воспроизводит текст несохранившейся грамоты Ст. Первовенчанного, где в свою очередь было записано подтверждение жалованной грамоты холмского князя Мирослава (Зак. Спом., стр. 595). Затем термин «жупа» («joba de Papoa») для данного района упоминается в 1319 г., когда район был уже в составе Боснии (М. Динић. Дубровачки трибути. «Глас СКА», 168, 1935, стр. 214).

статочных оснований для того, чтобы распространять термин «жупа» на все перечисленные в Дуклянской летописи районы не только в период их вхождения в состав государства Неманичей, но и в более раннее время. Бесспорно, в этот период обозначался данным термином только район из области Зеты — Горска жупа. Другая незначительная часть стала определяться этим термином только после выхода этих районов из сферы административного управления государства Неманичей или после его распада. Но подавляющая часть перечисленных в Дуклянской летописи районов в оригинальных источниках вообще никогда не определялась термином «жупа».

В оригинальных источниках термин «жупа» впервые упоминается в грамоте 1220 г. Стефана Первовенчанного сербской архиепископии, расположенной в монастыре Жича. Им обозначаются 14 территориально-географических районов, имеющих свои топонимы и расположенных, как правило, по течению одноименных рек. 13 из этих районов расположены в пределах области Рашки, а одна, Горска жупа, упомянутая в Дуклянской летописи, располагалась в области Зеты. В данной связи следует подчеркнуть, что значительная часть топонимов указанных в грамоте 1220 г. районов встречаются и в более поздних источниках, но в них они уже, как правило, не определяются термином «жупа», за исключением двух районов Расина и Левоч.

Таким образом, уже этот беглый обзор специфики употребления термина «жупа» в источниках дает основание для того, чтобы поставить под сомнение как методику доказательства старой историографии, так и достоверность самих выводов.

Если придерживаться показаний оригинальных источников, то следует признать, что подавляющее большинство охарактеризованных выше районов не определяется термином «жупа» вообще, а их границы далеко не совпадали со сферой власти известных нам жупанов.

Уже самые ранние источники IX—X вв. свидетельствуют, что на территории рассматриваемых областей институт жупанов хоть и был одним из основных органов местного административного управления, но он не был единственным. В это время источники называют и других представителей власти: князей, воевод, банов, сотников, казначеев, судей и т. д. А это дает основание думать, что институт жупанов в IX в. был лишь одним из звеньев в цепи уже развившейся системы раннефеодальной государственности.

Более поздние источники еще нагляднее показывают, что в период с X в. до 70-х годов XIV в. мы сталкиваемся не столько с распадом так называемой жупной организации, сколько с развитием и перестройкой форм управления раннефеодальной государственности в формы управления более развитого типа. При этом процесс такой перестройки протекал далеко не так, как это представляла домарксистская историография.

Все это позволяет заключить, что схема жупной организации у сербов, предложенная историографией середины XIX — начала XX в., представляет собой также логическую конструкцию, построенную не столько на анализе фактического материала, сколько на основе общих теоретических представлений соответствующего периода. Последнее обстоятельство вряд ли было случайным. Оно скорее закономерно.

Отсутствие данных о возникновении и первоначальных формах интересующих нас институтов, крайне слабое отражение в источниках процесса их эволюции и, наконец, многозначность понятий, которые в то же время находятся между собой в определенной взаимосвязи — все это существенным образом препятствовало объективному решению вопроса и толкало на путь общих социологических гипотез. Вопрос о жупах и жупанах в определенной мере до сих пор продолжает оставаться исторической и лингвистической загадкой. Наиболее темной стороной вопроса является происхождение этого института. В связи с этим достаточно указать на то, что этимология слов жупа и жупан остается невыясненной и продолжает вызывать серьезные разногласия среди исследователей.

При определении этимологии этих слов исследователи разделились в основном на три группы. Представители наиболее многочисленной группы (Ю. Венелин, П. Й. Шафарик, А. Ф. Гильфердинг, Ф. Миклошич, О. Бальцер, Ст. Новакович, Н. Ястребов, Ф. Тарановский и др.) считали эти термины исконно славянскими и выводили их значение из различных корней санскрита. Некоторые представители этой группы, беря за основу санскритский глагол guph (связывать, объединять, соединять), делали вывод, что термин «жупа» должен выражать понятие «связи», «союза». В качестве примера они обычно называли слово жуп, которое в словенском языке обозначало связку соломы [26]. В другом случае за исходное брали слово gopa от санскритского корня gup (защищать, охранять) и предполагали, что слово «жупа» должно обозначать территорию или объект, на который распространяется «защита». В связи с этим, как пример, называли греческое слово «γοπη» — пещера, которое якобы выражало собой понятие защиты [27]. И, наконец, в качестве третьей основы иногда называли санскритское слово «gop» — дом, от которого в свою очередь происходило слово «жупан» в значении «начальника дома» или «домачина» [28].

В отличие от сторонников санскритского заимствования, другая не менее многочисленная группа исследователей (Брюкнер, Л. Нидерле, Я. Пейскер, Ф. Шишич, М. Костренчич и др.) пыта-

---

[26] Ю. Венелин. Историко-критические изыскания, т. II. М.,1841, стр. 26; А. Гильфердинг. Собр. соч., т. 4. СПб., 1878, стр. 100.
[27] Н. Ястребов. Указ. соч., стр. 479.
[28] O. Balzer. Указ. соч., стр. 208.

лись найти этимологию слов «жупа» и «жупан» в языках тюркской группы [29]. Например, Я. Пейскер выводил их из аварского слова «kopan» [30], а Ф. Шишич и М. Костренчич ставят их в определенную зависимость от слова «ban», которым, по их мнению, авары называли одного из высших военных чинов [31].

И, наконец, третья группа исследователей (К. Оштир и М. Младенович) предполагают, что корни данных терминов следует искать в иллиро-фракийской языковой группе [32].

Не находя достаточно удовлетворительных решений ни на материале сохранившихся источников, ни в лингвистических конструкциях, исследователи середины XIX в. тем охотнее обращались к объяснению процесса эволюции этих институтов с помощью господствовавших в тот период общих представлений о путях развития общества и государства у славян, несмотря на то, что эти общие представления порой явно противоречили материалу источников.

Как мы уже отмечали, начало систематической разработки вопроса о жупах и жупанах с привлечением материала источников относится ко второй половине 30 — началу 40-х годов XIX в.

К этому времени соответствующие исторические концепции основных направлений и школ как в западноевропейской историографии, так и в русской исторической науке, как правило, строились на основе философской системы представлений Гегеля [33].

Как известно, по схеме Гегеля развитие человеческого общества шло в направлении от семьи через период так называемого гражданского общества. Однако «историческое» развитие «гражданского общества», согласно понятиям Гегеля, начиналось лишь с момента оформления государственности, которая возникала и развивалась независимо от внутренних процессов, происходящих в самом «гражданском обществе». Поэтому многие народы мира, как полагал Гегель, вообще могли не иметь государства. Та часть периода «гражданского общества», которая находилась «между семьей и государством» [34], в политическом отношении соответствовала периоду «патриархальных отношений», который уже вышел «за пределы связи, существующей благодаря кровному родству» [35] и пред-

---

[29] Л. Нидерле. Указ. соч., стр. 307.

[30] J. Peisker. Die älteren Bezeihungen der Slaven zu Turkotataren und Germanen und ihre sozialgeschichtliche Bedeutung. Berlin — Leipzig, 1905, str. 103—104.

[31] M. Kostrenčić. Nacrt historije hrvatske drźave i hrvatskog prava. Zagreb, 1956, str. 138; «Enciklopedija Jugoslavije», t. I. Beograd, 1955, str. 328—329.

[32] M. Mladenovich. Le Caractèr de l'Etat Serbe au Moyen Age. Paris, 1930, p. 65.

[33] Современник Гегеля И. Эверс, один из первых применивший его схему к истории Руси, замечал по этому поводу в 20-х годах XIX в., что к этому времени такие представления уже не были чем-то новым, а «истина их признана почти всеми» (И. Ф. Эверс. Древнейшее русское право в историческом его раскрытии. СПб., 1835, стр. 12).

[34] Г. Гегель. Философия права. Соч., т. VII. М.— Л., 1934, стр. 211.

[35] Г. Гегель. Философия истории. Соч., т. VIII. М.—Л., 1935, стр. 40—41.

ставлял собой «... переходное состояние, в котором семья уже размножилась до такой степени, что образовалось племя или возник народ, и поэтому взаимная связь уже перестала основываться только на любви и доверии и обратилась в связь, основанную на услугах» [36].

Процесс перехода от семьи к «гражданскому обществу», согласно схеме Гегеля, развивался по двум направлениям: с одной стороны, он представлял собой «спокойное расширение» семьи в народ, а с другой—«собирание рассеянных семейных общин, либо посредством принуждения властной руки, либо посредством добровольного объединения» [37]. Между тем данный процесс механического расширения общества не имел прямой и органической связи с процессом образования и развития государственности, поскольку само государство и его строй, согласно представлениям Гегеля, были «выше того, что создается» самим обществом. Другими словами: «...природа государства и его конструкции таковы же, как и природа религии» [38].

К истории славян, в частности к истории Руси, эта общая схема Гегеля, по всей вероятности, впервые была применена И. Эверсом уже в конце первого десятилетия XIX в. Но поскольку Гегель как философ отказался от рассмотрения догосударственного (или по его формулировке, «доисторического») периода, считая это задачей историков, то И. Эверсу как историку пришлось более детально характеризовать этот период с учетом ряда положений, господствовавших в то время других исторических концепций. В частности, Эверс, по всей вероятности, под влиянием концепции представителей романтического направления немецкой историографии использовал для своих целей как основную часть разработанную еще Мезером схему маркового устройства, связав ее с племенной организацией славян [39]. Он ввел также и понятие о «примитивных государствах» племенного типа, созданных на основе «патриархального» устройства общества. Следуя за схемой Гегеля, Эверс также считал, что развитие общества шло в направлении от семьи через период «гражданского общества» к государству [40]. В начальный период «каждый народ слагался из многих племен, племена из родов и семейств или иначе сказать из небольших общественных союзов» [41]. Отдельные большие семейства, или роды, селились *«на одном известном пространстве земли»* [42] и объединялись между собой «... *потомком одного общего начальника*

---

[36] Там же.
[37] Там же.
[38] Там же, стр. 49, 330.
[39] Е. А. Косминский. Историография средних веков. М., 1963, стр. 269, 316.
[40] И. Ф. Эверс. Указ. соч., стр. 14.
[41] Там же, стр. 1.
[42] Там же, стр. 351.

племени для взаимной защиты против иноплеменников» [43]. Но в отличие от Гегеля И. Эверс считал, что такие союзы со временем могли явиться основой для примитивных государств, которые «... суть не что иное, как соединения отдельных, бывших дотоле совершенно свободными, родов или больших семейств, под владычеством одного общественного главы». Но в то же время он настойчиво подчеркивал, что такие государства, хоть и были «вторым шагом в постепенном образовании человеческого рода» [44], но они «совсем не походили на наши настоящие» государста современного типа [45]. Первые, по определению Эверса, создавались «рукою воинов» [46] и базировались на основе «патриархального устройства общества» [47], а вторые представлялись ему как «божественные учреждения» [48]. В данном случае важно подчеркнуть то, что первые примитивные государства также не являлись результатом внутреннего развития общества, а были только «делом необходимости», чтобы защитить себя от нападения [49].

После образования такого государства место племенного вождя занимал глава государства — князь. Но «княжеская власть утверждалась на том же естественном основании, на каком и власть главы семейства» [50]. Между тем главы племен еще долгое время удерживали за собой часть своих прежних прав, а семейства и роды «все еще продолжали представлять в себе одно независимое целое» [51]. «Таким образом,— заключает И. Эверс,— общие правила, которые сами собой развиваются из существа общежития, и первоначальные учреждения первого общества (может быть, с некоторыми только отменами) в течение долгого времени удерживаются в своей силе» [52]. Эти старые порядки постепенно начинают отменяться законодательной властью только тогда, когда начинает «...образовываться тесно соединенное во всех частях своих целое государство в собственном смысле этого слова» [53], т. е. государство «современного» типа. Согласно представлениям И. Эверса, «все государства идут по этому направлению. Во всех юных державах законодательство первее всего стремится к этой цели, и тем сильнее, чем обширнее государство» [54]. Важно подчеркнуть в связи с этим и тот факт, что предложенная И. Эверсом схема была высказана раньше, чем началась систематическая разра-

---

[43] И. Ф. Эверс. Указ. соч., стр. 2.
[44] Там же, стр. 8.
[45] Там же.
[46] Там же, стр. 340.
[47] Там же, стр. 10.
[48] «Очерки истории исторической науки СССР». М., 1955, стр. 287.
[49] И. Ф. Эверс. Указ. соч., стр. 8.
[50] Там же, стр. 355.
[51] Там же, стр. 2.
[52] Там же, стр. 11—12.
[53] Там же, стр. 339.
[54] Там же, стр. 339—340.

ботка данных проблем на материале истории южных и западных славян.

Как уже отмечалось выше, большая часть русских и зарубежных (из славянских стран) историков также выделяли в развитии южных и западных славян так называемую первичную форму политического быта, которую они видели в жупной организации, и государственный период, под которым они подразумевали государство «в собственном смысле этого слова». Так называемые примитивные государства, созданные на основе «патриархального устройства общества», к разряду последних не относились.

Но в то же время историки-слависты 30—40-х годов XIX в. в противовес немецкой историографии пытались доказать, что часть славянских народов (в частности, сербы, хорваты и частично чехи) создали свои «примитивные» государства без всякой посторонней помощи уже в процессе поселения славян. Более того, некоторые историки пытались даже установить определенную закономерность в развитии этих ранних государств, выделяя несколько последовательных этапов: жупанийский, княжеский, или королевский, и в отдельных случаях царский. Однако тезис о создании таких «примитивных» государств уже в период поселения славян на территории Юго-Восточной Европы удерживался в историографии сравнительно недолго. Уже в конце 60 — начале 70-х годов XIX в. стало господствующим мнение, что в начале все славяне разделились на племена, а племенные государства у них возникли позднее, в разное время и самым различным путем.

При разработке вопросов внутренней организации славян подавляющая часть историков из разных славянских стран исходила из того, что жупная организация у славян по своей внешней форме мало чем отличалась от германской марковой организации, а германская марка была тождественна славянской жупе [55]. Но, с другой стороны, подавляющее большинство историков из славянских стран сосредоточило свои усилия на доказательстве того положения, что внутренняя организация славянских племен была совершенно одинаковой у всех славянских народов, поскольку в ее основе лежала единая система так называемой жупной организации. Наличие такой организации доказывалось с помощью соответствующей методики анализа источников, которую предложили в 30—40-х годах XIX в. П. Й. Шафарик и Ф. Палацкий. Основу ее составляло отождествление понятий, обозначаемых разными терминами. Например, такие термины из источников на латинском языке, как provincia, regio, pagus, comitat и др., переводились ими словом «жупа», а их значение отождествлялось. Точно такой же прием использовался ими и при толковании терминов castellansu, prefectus, comes и др., которые приравнивались к

[55] В частности, К. Иречек немецкую марку называл «немецкой жупой» (К. Јиречек. Указ. соч., стр. 4).

славянскому термину «жупан» [56]. Поскольку все перечисленные выше термины в наиболее ранних источниках, написанных на латинском языке, встречались, как правило, у всех южных и западных славян, то из этого делался вывод, что жупная организация была известна всем этим народам и что она якобы отчетливо фиксировалась самыми различными источниками. Не располагая более конкретным материалом для выяснения внутренней организации жуп, исследователи обычно для этих целей привлекали более поздние источники XIV—XVII вв., часто относящиеся к истории других народов, а полученные результаты распространяли на характеристику жуп в условиях VIII—X вв. Такой чисто лингвистический и формально-юридический подход к интерпретации материала источников позволял высказывать самые невероятные гипотезы. В частности, по убеждению А. Ф. Гильфердинга, наличие жупной организации у прибалтийских славян «...несомненно утверждается производным жупан, которое сохранила нам одна Поморская грамота (около 1189 г.)» [57]. Таким образом, вся система организации жуп и института жупанов у этих народов была воссоздана им на основании лишь единственного, к тому же очень неопределенного упоминания термина «жупан» в источниках.

Жупная организация, по мнению большинства исследователей середины XIX—начала XX в., не могла органически превратиться в государственную систему развитого типа. В лучшем случае она была пригодна лишь для «примитивных» государств. Ликвидация этой исконной и самобытной формы политической организации происходила не под влиянием внутреннего органического процесса развития общества, а путем постоянного ее приспособления или вытеснения более совершенными государственными учреждениями, проникающими извне вместе с немецким или византийским правом и соответствующими церковными догмами.

Как известно, марксистская историография при решении данных проблем руководствуется диаметрально противоположной философской системой. Историки-марксисты уже давно отвергли старые взгляды на пути возникновения и развития государственности. Но отсутствие специальных критических исследований и неразработанность вопроса о жупах и жупанах в марксистской историографии способствовали тому, что интерпретация фактического материала, изложенная в работах домарксистской историографии, постепенно стала переноситься и в работы историков-марксистов. Стремясь объяснить происхождение государственности на основе законов внутреннего развития общества, некоторые авторы по логике теоретического мышления пытались найти корни государ-

---

[56] П. Й. Шафарик. Славянские древности, т. VI, кн. 2. М., 1847, стр. 89, 96, 101, 208, 355, 356; т. II, кн. 3, стр. 271 и др.; F. Palacky. Dějiny národa českého v Čechach a v Moravě, t. 1. Praha, 1959, str. 157, 495, 499 (первое издание вышло в 1848 г.).

[57] А. Ф. Гильфердинг. Собр. соч., т. 4. СПб., 1874, стр. 101.

ственности в жупной организации, а затем вывести из нее вс государственную систему. Например, уже в 1932 г. автор статьи «Жупа», помещенной в БСЭ, пытаясь наметить основные этапы эволюции жупной организации, без особых отклонений воспроизвел уже знакомую нам схему старой историографии[58].

По такому же пути пошел и В. Т. Дитякин, который в 1944 г. одним из первых в советском славяноведении выступил с критикой буржуазных концепций происхождения государственности у хорватов[59]. Но наиболее наглядно противоречивость такого подхода проявилась в работе акад. Н. С. Державина «Славяне в древности», который, отчетливо сознавая оторванность старой концепции от материала источников, в конечном итоге признал правильность схемы К. Кадлеца[60]. Стремясь теоретически обосновать процесс эволюции жупной организации, Н. С. Державин ссылался на положение Ф. Энгельса о возможности продолжительного существования у германцев родового строя в измененной, трансформированной форме в виде маркового строя и считал вполне допустимым применение этого положения и к истории славян. Но, следуя по пути рассуждений Ф. Энгельса, Н. С. Державин в то же время совершенно механически заменил марковый строй жупной организацией, полностью сохраняя при этом для характеристики последней схему старой буржуазной историографии. Он писал: «Территориальная соседская община или община-марка у южных славян носила в древности название жупа, а старейшина ее — жупан»[61]. Таким образом, с помощью произвольного и искусственного приема Н. С. Державин связал две диаметрально противоположные концепции о путях общественного и государственного развития, поскольку принятая им схема жупной организации бесспорно представляла собой лишь одну часть общей концепции буржуазной историографии. Следовательно, в данном случае мы совершенно очевидно сталкивались с примером теоретической непоследовательности. Наряду с этим обращает на себя внимание и другая сторона вопроса. Те исследователи, которые так или иначе признали исторически достоверной охарактеризованную выше схему догосударственной политической организации сла-

---

[58] Большая Советская Энциклопедия, т. 25. М., 1932, стр. 608.

[59] Признавая недостаточность разработки рассматриваемого вопроса, В. Т. Дитякин тем не менее говорит о достоверности старой схемы, считая, что «...жупы были основными ячейками политической организации хорватов, которые по крайней мере до конца VIII в. управлялись родовыми старейшинами — жупанами» (В. Дитякин. Образование государства у хорватов. «Исторический журнал», 1944, № 10—11, стр. 77).

[60] Н. С. Державин писал по этому поводу: «Схема Кадлеца не вызывает в общем возражений. Но если мы пойдем несколько дальше, если посмотрим, каким содержанием автор заполняет свою схему, мы окажемся на пустом месте, так как ... картина древнеславянского общества, как она рисуется Кадлецом, имеет очень мало сходства с подлинной исторической действительностью» (Н. С. Державин. Славяне в древности. М., 1945, стр. 55—56).

[61] Там же, стр. 65.

вян, логикой рассуждения были поставлены перед необходимостью определять периодизацию процесса генезиса и развития государственности у каждого народа в отдельности рамками заимствованной ими схемы.

В этом мы можем наиболее наглядно убедиться на примере освещения этапов развития государственности у сербов во всех наших учебниках по истории государства и права зарубежных стран. Начиная с 1949 г. и вплоть до настоящего времени в них утверждается, что государственность у сербов оформилась только в конце XII в., в то время как в югославской литературе эта устаревшая точка зрения была отвергнута еще в конце 40 — начале 50-х годов XX в. Более того, признав справедливой старую схему жупной организации, З. М. Черниловский, неизменный автор соответствующих глав всех упомянутых учебников по истории государства и права, попытался найти ей обоснование с позиций исторического материализма. Он считает, что одной из причин позднего возникновения государственности у сербов явилось господство натурального хозяйства, которое «делало излишними экономические слияния одной жупы с другой» [62]. Но, встав на такой путь, он был вынужден повторить и другое положение старой концепции о сохранении жупной организации в условиях уже оформляющегося государства. В частности, он признал, что новое административное деление в Сербии было введено реформой только в середине XIVв.[63]

Попытка югославского ученого Д. Янковича, автора двух учебных пособий по истории государства и права народов Югославии, отказаться от старой периодизации процесса возникновения и развития государственности у сербов при сохранении исходных положений старой схемы жупной организации, на наш взгляд, также была неудачной, поскольку предложенное им объяснение путей эволюции жупной организации содержит в себе ряд внутренних противоречий и явно не соответствует материалу имеющихся в нашем распоряжении источников [64].

Основываясь на материале ранних болгарских надписей и на

---

[62] «История государства и права», т. I. М., 1949, стр. 511.

[63] З. М. Черниловский полагает, что новое административное деление «... не совпадало со старыми родо-племенными жупами» и было «... реакцией против старых жуп, в которых царская власть видела угрозу единству страны» («История феодального государства и права». М., 1959, стр. 207; «История государства и права зарубежных стран», т. I. М., 1963, стр. 542).

[64] Процесс эволюции жупной организации у сербов Д. Янкович представляет следующим образом: «При раннефеодальном порядке жупы остаются, но их характер полностью меняется, они больше не являются самоуправляющейся территорией отдельных племен, а становятся лишь частями государства, административно-территориальными единицами (состоящими из нескольких сел), во главе которых стоят отдельные феодалы как административно-судебные органы правителя. И в период развитого феодализма (после XII в.) жупы сохраняют точно такой же характер. Их самоуправляющийся характер все более исчезает» (Д. Ј а н к о в и ћ. Историја државе и права феудалне Србије. Београд, 1957, стр. 74).

свидетельствах ст. 3 и 22 «Закона судного людем», где встречаются упоминания о жупанах, Д. Ангелов и М. Андреев нашли возможным утверждать, что в Болгарии в начале X в. также существовало деление на жупства, или жупы [65]. Однако следует признать, что сохранившиеся свидетельства позволяют говорить только о наличии жупанов, но вряд ли могут быть достаточными для категоричного вывода о наличии жупного деления в Болгарии, тем более, что этот факт не нашел отражения ни в народной традиции, ни на материале исторической географии. В свете старой концепции трактуется этими авторами и вопрос о жупанах, за что их справедливо упрекает Ст. Лишев [66].

Все изложенное выше позволяет заключить, что предложенная домарксистской историографией середины XIX—начала XX в. схема политической организации южных и западных савян и объяснение соотношения процессов эволюции этой организации и генезиса, а также развития государственности у этих народов представляют собой логическую конструкцию, которая в лучшем случае создавалась с учетом возможной перспективы эволюции интересующих нас институтов. При этом ретроспектива воссоздавалась не столько на основе сохранившихся источников, сколько на основе и с позиций господствовавших в тот период философских и исторических теорий, которые в корне противоречат основным положениям исторического материализма. Поэтому попытки отдельных историков-марксистов, в первую очередь историков государства и права, характеризовать политическую организацию южных и западных славян в догосударственный период с привлечением старой схемы и на ее основе устанавливать периодизацию процесса возникновения и развития государственности не имеют ни теоретической, ни документальной базы. Судя по общей перспективе развития интересующих нас институтов, которая может быть построена с позиций исторического материализма, и по специфике употребления в источниках терминов «жупа» и «жупан», которыми в разных условиях и в разные хронологические периоды обозначали самые различные категории и институты, можно с достаточной уверенностью предполагать, что если «жупная» организация в какой бы то ни было форме и была раньше связана с племенной организацией славян, то хронологически эту связь следует отнести за пределы дошедшего до нас материала (т. е. за пределы VIII—IX вв.). Этот факт важен в том отношении, что он в новом аспекте подтверждает выводы тех современных исследователей, которые совершенно справедливо ищут корни государственной организации у западных и южных славян (в том числе и у сербов) по крайней мере ранее IX в.

---

[65] Д. Ангелов, М. Андреев. История на българската държава и право. София, 1959, стр. 90.

[66] Ст. Лишев. За генезиса на феодализма в България. София, 1963, стр. 167.

О. А. Ганцкая, Л. Н. Терентьева

БАЛТО-СЛАВЯНСКИЕ КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ
(по данным этнографии)

Балто-славянские культурные связи — одна из важных проблем этнической истории народов Восточной и Центральной Европы. Наша цель — выявить и проследить эти связи по этнографическим материалам. Однако решение проблемы в целом невозможно без комплексных исследований разного рода источников и в первую очередь наряду с этнографическими — археологических, антропологических и лингвистических. Настоящий доклад поэтому может рассматриваться лишь как небольшая часть общих исследований; его выводы в известной мере ограничены материалами, положенными в основу.

Вместе с тем исследуемая проблема понимается нами очень широко. Под балто-славянскими культурными связями мы имеем в виду не только длительные взаимовлияния балтийских и славянских племен, народов, групп населения в области культуры, но и формирование их культуры на каких-то общих основах. Нами учитывается также локальная преемственность культуры и непрерывность ее развития.

В советской этнографической и археологической науках принято выделять Восточную Прибалтику — Литву, Латвию и Эстонию — как единую большую историко-культурную область Восточной Европы[1]. Этого взгляда придерживаются и авторы доклада. Поэтому при исследовании балто-славянских культурных связей в поле нашего зрения находится и финноязычное население — эстонцы, ливы, водь.

Основой для написания доклада послужили полевые материа-

[1] М. Г. Левин, Н. Н. Чебоксаров. Хозяйственно-культурные типы и историко-этнографические области. СЭ, 1955, № 4; Х. А. Моора, А. Х. Моора. К вопросу об историко-культурных подобластях в районах Прибалтики. СЭ, 1960, № 3.

лы авторов, материалы этнографических архивов и музеев, а также публикации, преимущественно последних десятилетий [2].

Этнографические данные позволяют наиболее полно осветить этническое развитие исследуемых народов примерно с XVIII в. до наших дней. По этим материалам выявляются также и некоторые древние элементы их культуры.

Благодаря широко развернувшимся в советский период комплексным исследованиям проблем этногенеза и этнической истории народов Прибалтики можно считать доказанным активное хозяйственно-культурное общение и физическое смешение балтийских, финских и славянских племен в процессе заселения ими территории Прибалтики и смежных с ней славянских земель, а также во время формирования племенных групп и слиянии их в народности.

При освещении вопросов культурных связей и общности культуры населения Прибалтики и соседних с ней областей важно прежде всего рассмотреть его этнический состав и особенности расселения.

Для Прибалтики характерна компактность расселения каждой из коренных национальностей. Иные национальности, из которых наиболее многочисленны русские, поляки, белорусы, расселены также сравнительно компактно, но только в восточных районах Прибалтики (преимущественно в Латвии и Литве), где они представлены в основной своей массе сельским населением. Они составляют также значительную часть населения прибалтийских городов, особенно столиц — Риги, Вильнюса, Таллина, а также ряда крупных промышленных центров.

Литовцы, латыши и эстонцы в подавляющем большинстве живут в пределах своих республик. Наиболее смешанной в отношении национального состава является Латвийская ССР, где латыши

---

[2] Следует отметить, что проблемами исторически сложившихся взаимоотношений народов Прибалтики и славянских народов археологи и этнографы Прибалтики стали заниматься лишь в советский период. Этому способствовало создание Институтом этнографии АН СССР в 1952 г. комплексной экспедиции, в задачу которой входило исследование этногенеза, этнической истории народов Прибалтики и их культурных связей с соседними народами. В 1955 г. экспедиция была преобразована в комплексную Прибалтийскую экспедицию, в которой, кроме этнографов и антропологов Института этнографии АН СССР, принимали участие сотрудники Института археологии АН СССР, археологи и этнографы институтов истории и республиканских музеев Прибалтийских Советских республик. Результатами работ экспедиции явилась публикация по данным проблемам ряда монографий, очерков и статей. Таковы упоминаемые ниже в докладе некоторые работы академика Х. А. Моора, публикации этнографов Эстонии А. Х. Моора, Е. В. Рихтер, А. О. Вийреса, Г. Ф. Троска и антрополога К. Ю. Марк, латышских этнографов М. К. Славы, И. А. Лейнасоре, Л. А. Думпе, антрополога Р. Я. Денисовой, литовских этнографов В. К. Милюса и П. В. Дундулене, московских этнографов и антропологов Н. В. Шлыгиной, Л. Х. Феоктистовой, Н. Н. Чебоксарова, М. В. Витова, В. П. Алексеева, авторов настоящего доклада, а также некоторых других.

оставляют 62% общей численности населения, в то время как в Эстонской ССР эстонцев — 74,6%, а в Литовской ССР литовцев — 79,3%.

Из других национальностей в Прибалтике больше всего русских; белорусы занимают второе место по численности в Латвийской ССР и третье — в Литовской ССР, в Эстонской ССР их немного; поляки живут преимущественно в Литовской, а также — в Латвийской ССР; украинцы — в Латвийской и Эстонской ССР [3].

Изучение инонационального населения Прибалтийских республик дает возможность выделить несколько его групп. К одной из них относится русское и белорусское старожильческое население, проживающее в полосе этнических границ. Русские, в прошлом по вероисповеданию православные, населяют северо-восточные районы Эстонии, восточные районы Латвии; белорусы — в прошлом православные и католики — живут в юго-восточной части Латвии и в восточных районах Литвы. Другая группа — это потомки русских старообрядцев, бежавших в Польшу в XVII—XVIII вв. из центральных и северных губерний России от религиозных преследований. Основная их масса компактно расселена в восточных районах Латвии, Литвы и вдоль западного побережья Чудского озера, в Эстонии. Выделяется также группа населения, которая ведет свое происхождение от русских переселенцев второй половины XIX в. Одни из них добровольно прибыли в Прибалтику (в частности, в Латвию) из западных губерний царской России, другие были принудительно переселены царским правительством с целью русификации края. Эти переселенцы в отличие от других названных восточнославянских групп представляли собою не компактное, а рассеянное население, значительная их часть оседала уже не в сельской местности, а в городах.

Сопоставление данных о современной численности и расселении народов Прибалтийских республик с данными предыдущих переписей свидетельствует об известных колебаниях соотношения коренного и инонационального населения, вызванных главным образом привходящими обстоятельствами и относящихся преимущественно к группе городского населения: отлив во внутренние губернии России в связи с эвакуацией промышленности в годы первой мировой войны, быстрый рост многонациональности населения Советских Прибалтийских республик в связи с их интенсивной индустриализацией.

Этнографические исследования устанавливают, что в Прибалтике группы русского, белорусского, украинского и польского населения (как старожильческого, так и пришлого) в основном сохраняют национальное самосознание, а отчасти — и родной

---

[3] Подробнее см.: О. А. Ганцкая, Л. Н. Терентьева. Этнографические исследования национальных процессов в Прибалтике. СЭ, 1965, № 5.

язык. Вместе с тем в Прибалтике и в соседних с ней областях отчетливо прослеживаются проходившие там в прошлом процессы ассимиляции и слияния, которые приводили к замене родного языка и даже к созданию своеобразных этнических групп.

Большинство русских Прибалтики, как и других районов страны, указывает в качестве своего родного языка русский. В Эстонской ССР всего только 2% русских считают родным языком эстонский, в Латвийской ССР — 1,5% — латышский, в Литовской ССР — 0,15% — литовский.

Среди поляков, белорусов и украинцев Прибалтийских республик несовпадений в определении национальности и родного языка больше, чем у русских. Из общего числа польских жителей в Латвийской ССР 25% считают своим родным языком русский, 7,2% — латышский. В Литовской ССР большинство поляков говорит по-польски или по-белорусски; русский в качестве родного языка указал лишь 1% поляков, литовский —1,3%.

Среди белорусов Литовской ССР около 30% считают своим родным языком русский, 1% — литовский, В Латышской ССР более 50% белорусов указали своим родным языком русский и 3% — латышский. Число украинцев, считающих своим родным языком русский, достигает во всех трех республиках 50—60%.

Литовцы, латыши и эстонцы в подавляющем большинстве родным языком считают язык своей национальности. В Латвийской ССР из общего числа латышей указали родным языком русский только 1,4%; эстонцы, живущие в Эстонской ССР,— 0,5%; литовцы, живущие в Литовской ССР,— 0,1%. Несколько выше этот процент у литовцев, латышей и эстонцев, проживающих за пределами своей национальной республики, в других Прибалтийских республиках. Так, из общего числа эстонцев Латвийской ССР 25% считают своим родным языком русский и 12% — латышский. Из общего числа литовцев, живущих в Латвийской ССР, 18% считают своим языком латышский и 3,5% — русский. Интересно отметить, что население, указавшее язык другой национальности своим родным языком, живет преимущественно в городах, где процесс этнического смешения всегда был более интенсивным, чем в сельских местностях.

Во время экспедиционных работ в восточных, особенно пограничных с РСФСР и БССР районах Латвийской ССР, наряду с широко распространенным двуязычием (а местами и трехязычием) нами выявлены случаи несовпадения у местных жителей национального самосознания с родным языком. В этих районах встречаются говоры, которые являются результатом длительного процесса смешения в бытовой речи двух или даже трех различных языков: например, латышского (в его латгальском диалекте), русского и польского или латышского, белорусского и польского, в частности в Лудзенском и Краславском районах Латвийской ССР. В подтверждение сказанному приведем некоторые примеры.

Так, русские пограничных с Латвией деревень Псковской области отличают себя обычно от русских — старожилов Латвии (в прошлом православных и нередко находящихся с ними в родственных отношениях). Они подчеркивают: «Мы русские, а они поляки, мы говорим по-русски, а они латышат». Особенно пеструю картину представляет сельское старожильческое население Краславского района Латвийской ССР, где длительное время в тесном контакте живет латышское (латгальское), белорусское и польское крестьянство. Среди населения этого района имеется группа жителей, называющих себя шутливо «белохвостики» (по вероисповеданию в прошлом католики). На вопрос, кто они по национальности, обычно слышишь такой ответ: «Мы сами не знаем кто: белорусы или поляки, или латыши. Язык наш польский. Но мы не понимаем поляков, приезжающих из Польши». Этнографическое изучение населения северо-восточной части Латвии приводит к заключению, что в прошлом здесь имело место обрусение латышей и олатышивание русских, сопровождавшееся сменой родного языка и изменением национального самосознания. Это происходило, по-видимому, совсем недавно — еще на памяти старшего поколения современных жителей. В юго-восточной части Латвии проходило обелорусивание латышей, олатышивание и ополячивание белорусов, что также привело к аналогичным явлениям.

К числу своеобразных этнических групп населения Прибалтики относятся сету — жители юго-восточной части Эстонии и Печорского района Псковской области. Этнической основой этой группы были потомки чудских и славянских племен и переселявшиеся сюда эстонцы и латгальцы. При языковом единстве с эстонцами сету по своей культуре до недавнего времени были ближе к русским, чем к эстонцам. Известное влияние на это оказала их принадлежность к православной церкви в отличие от эстонцев-лютеран [4]. Другая своеобразная этнографическая группа эстонского народа сложилась в северо-восточном районе Эстонии, на северо-западном побережье Чудского озера (в районе Ийсаку). В ее сложении наряду с эстонцами участвовали славянские и водские компоненты. В Причудье протекали длительные процессы обрусения эстонцев и обэстонивания русских [5].

Специальные исследования для освещения прошлых и современных этнических процессов начаты нами в районах Вильнюса, а также в пограничных районах Литвы и Белоруссии. Перепись 1959 г. показала в этих районах значительное число жителей,

---

[4] Е. Рихтер. Материальная культура сету в XIX — начале XX в. Автореферат. Москва — Таллин, 1961.

[5] А. Х. Моора. Эстонско-русские отношения в XVIII—XX вв. по данным этнографии. КСИЭ АН СССР, XII, 1960; M. Must. Vene-eesti kakskeelsus Kirde — Eestis (М. Я. Муст. Русско-эстонское двуязычие в северо-восточной Эстонии. «Из истории славяно-прибалтийско-финских отношений». Таллин, 1965, стр. 107—124).

назвавших себя поляками. Однако до сих пор остается еще неясным происхождение этой группы населения. По-видимому, в прошлом здесь протекала частичная полонизация литовцев и белорусов, принадлежавших к католической церкви. Это население с течением времени сливалось с местными поляками (мелкая шляхта, сельская интеллигенция, крестьяне-переселенцы из Польши).

Существенное влияние на этнические процессы в Прибалтике оказывали в прошлом различия в вероисповедании отдельных групп ее населения и политические факторы; случалось, что религиозная принадлежность затемняла национальное самосознание верующих. Так, было, например, с некоторыми, белорусами-католиками, которые считали свою веру «польской» и поэтому называли себя поляками. На определение национальной принадлежности нередко оказывали влияние и политические соображения, стремление оградить себя от последствий политики национальной дискриминации.

Большая часть отмеченных выше этнических процессов в среде коренного и инонационального населения проходила в недалеком прошлом по существу на памяти современного населения.

Антропологические и археологические материалы наряду с этнографическими и лингвистическими позволяют судить о более ранней этнической истории народов Прибалтики и славянских народов. Так, исследования советских, а также некоторых польских антропологов показали, что в состав летто-литовских (балтийских), прибалто-финских и славянских (русских, белорусов, поляков) народов входят близкие, а часто одни и те же компоненты; при этом границы антропологических типов не совпадают с границами современного расселения народов [6]. Антропологи выделяют среди населения Прибалтики несколько антропологических типов, в их числе западнобалтийский, восточнобалтийский и ильменско-днепровский. К первому они относят западных латышей, ливов, эстонцев о-ва Сааремая, некоторые группы западных литовцев, население северо-восточных районов Польши. Этот

---

[6] Ю. Ауль. Антропология эстонцев. Тарту, 1964; В. П. Алексеев. Краниологические материалы о проблеме происхождения западных латышей, СЭ, 1966, № 2, стр. 34—49; он же. Краниологические материалы к проблеме происхождения восточных латышей. СЭ, 1961, № 6, стр. 29—39; М. В. Витов, К. Ю. Марк, Н. Н. Чебоксаров. Этническая антропология Восточной Прибалтики. «Труды Прибалтийской экспедиции», т. II. М., 1960; Р. Я. Денисова. Особенности антропологического типа селов в современном населении юго-восточной Латвии. СЭ, 1965, № 4, стр. 84—93; она же. Антропологический тип восточных литовцев. «Известия АН Латвийской ССР», 1963, № 9, стр. 15—26; К. Ю. Марк. Вопросы этнической истории эстонского народа в свете данных палеоантропологии. «Вопросы этнической истории эстонского народа». Таллин, 1956, стр. 219—242; она же. Ida — Eesti 11—18. Sajandi rahvastiku antropologia. (Антропология населения Восточной Эстонии XI—XVIII вв.). «Из истории славяно-прибалтийско-финских отношений», стр. 150—195.

тип, таким образом, связывает балтийские народы, с одной стороны, с ливами и западными группами эстонцев, с другой — с северо-восточными поляками. Зона распространения восточнобалтийского типа в Прибалтике — северо-восток и юго-восток Эстонии, частично он прослеживается в центральной и западной частях Эстонии. Формирование этого типа, как отмечают антропологи, связано с взаимоотношением финно-угорских и славянских племен. За пределами Эстонии он прослеживается наиболее ярко и у води и у смешанных водьско-славянских групп населения новгородских земель. В дальнейшем проходил активный процесс славянизации води. Варианты этого типа встречаются и среди летто-литовского населения восточной части Латвии, Восточной Литвы и Северной Белоруссии. К славянскому этническому влиянию относят антропологи и распространение в Восточной Прибалтике в средние века ильменско-днепровского типа, основной областью которого является область славянского населения верховьев Днепра. Признаки этого типа (в различных вариантах) обнаруживаются в юго-восточных районах Латвии (Латгале), среди населения южной части Литвы (Дзукия), а также среди населения крайнего запада Латвии (в окрестностях Вентспилса и Лиепаи), т. е. в местах прежнего обитания известной по хроникам этнической группы вендов. Антропологический тип, весьма близкий к ильменско-днепровскому, выявлен в Центральной Литве и в современной Белоруссии. Интересные взгляды на наличие балтского субстрата у белорусов высказаны археологом В. В. Седовым и белорусским этнографом М. Я. Гринблатом [7].

Направления физических связей, устанавливаемые по антропологическим данным в районах наиболее интенсивного смешения прибалтийско-финских, балтийских и славянских народов, в значительной мере совпадают с распространением основных особенностей культуры этих групп населения и диалектальных различий в языке. Локальные различия в антропологических типах, диалектах языков и элементах культуры прослеживаются еще и в XIX в. среди населения всей остальной территории Литвы, Латвии и Эстонии. Границы историко-культурных подобластей, как показали исследования последних лет, в известной мере можно сопоставить с границами прежних территориальных образований в Прибалтике — земель. В Литве выделяются четыре такие подобласти: Аукштайтия, Жемайтия, Занеманье, Дзукия, в Латвии пять: Курземе, Земгале, Аугшземе, Видземе, Латгале. Некоторые крупные подобласти можно наметить и в Эстонии [8].

---

[7] В.В. Седов. К происхождению белорусов. СЭ, 1967, № 2; М.Я. Гринблат. К вопросу об участии литовцев в этногенезе белорусов. «Труды Прибалтийской экспедиции», т. I, М., 1959.

[8] С. Тараканова, Л. Терентьева, Н. Чебоксаров. Некоторые вопросы этногенеза народов Прибалтики. СЭ, 1956, № 2; А. Х. Моора. Об историко-этнографических областях Эстонии. «Вопросы

Исторически сложившиеся связи и взаимовлияния латышей литовцев, эстонцев и славянских народов сказались во многих свойственных им этнографических особенностях. В настоящем докладе мы ограничимся только некоторыми особенностями их хозяйственной деятельности и материальной культуры, оставляя пока что в стороне обширные и не менее важные области духовной культуры (обычаи, верования, фольклор и др.), общественного и семейного быта.

Даже относительно точную хронологию возникновения или появления и распространения на территории расселения латышей, литовцев и эстонцев элементов, общих или сходных с культурой славянских народов, определить, как правило, бывает очень трудно, а иногда невозможно. Одни из них, вероятнее всего, появились здесь в древности, другие—в эпоху раннего или развитого феодализма и позднее.

К наиболее древним элементам материальной культуры относятся орудия обработки земли и уборки урожая. Исследователи выделяют в Прибалтике три основных типа сох: сохи с двумя перекладными полицами, сохи с одной перекладной полицей и сохи с журавлями [9]. В Литве были распространены два первых типа сох, граница между которыми проходила по рекам Нямунасу и Нерису. К югу от этих рек пахали сохой с двумя перекладными полицами. Ее называли «литовской», «подлясской», «прусской», «мазовецкой». Такие же сохи использовались в восточных районах Польши [10], в юго-западной части Белоруссии и на Волыни («полесская» или «литовская» соха). Соху с одной перекладной полицей называли «русской». Известно, что именно такие сохи применялись в хозяйстве русских крестьян в лесных и нечерноземных областях, на севере и северо-востоке черноземной полосы. Кроме Литвы (к северо-востоку от названных рек), этот тип сохи был распространен повсеместно в Латвии и в восточных районах Эстонии. Там, в некоторых местах такую соху также называли «русской». В остальной Эстонии обжи у сохи были длинными и с загнутыми концами, называемыми «журавлями» (kured)[11]. Целину

этнической истории эстонского народа», стр. 243—292; Х. А. Моора, А. Х. Моора. К вопросу об историко-культурных подобластях в районах Прибалтики. СЭ, 1960, № 3; Н. Н. Чебоксаров. О древних хозяйственно-культурных связях народов Прибалтики. СЭ, 1960, № 3, стр. 94—115.

[9] П. В. Дундулене. Земледелие в феодальной Литве. КСИЭ АН СССР, XII, 1950; она же. Žemdirbusté Lietuvoje. (Земледелие в Литве). 1963; И. А. Лейнасаре. Земледельческие орудия в крестьянских хозяйствах Латвии в XIX в. «Труды Прибалтийской экспедиции», I; она же. Zemkopība un zemkopības darba rīki. Latvijā. (Земледелие и земледельческие орудия в Латвии. Рига, 1962); Л. Х. Феоктистова. Старинные эстонские земледельческие орудия. «Труды Прибалтийской экспедиции», т. I.

[10] «Polski Atłas Etnograficzny. Zeszyt pierwszy». Warszawa, 1964, mapa 3.

[11] A. Moora. Peipsimaa etnilisest Ajloost. Tallin, 1964, стр. 129, рис. 10; стр. 291; Л. Х. Феоктистова. Указ. соч., стр. 412.

во всей Прибалтике подымали пахотным орудием с одним лемехом, напоминающим нож [12]. Резак, или «отрез» служил для той же цели в северо-восточной части Белоруссии, у русских быв. Псковской губ. В Невельском районе, например, подсечную соху называли, как и в Латвии, резаком [13]. Как отмечает Н. Н. Чебоксаров в своей статье о древних хозяйственно-культурных связях народов Прибалтики, двузубое пахотное орудие типа сохи было известно на территории балтийских, прибалтийско-финских и восточнославянских народов с IX—XII вв. н. э., так же как и некоторые виды борон (суковатка, плетенка с деревянными зубьями), серпы с зубчатым лезвием, составные цепы для молотьбы [14].

Интересны совпадения и сходства в названиях частей сохи у балтийских, прибалтийско-финских и соседних с ними славянских народов. Так, в Латвии, в северо-восточной части Латгале, названия подвоев у сохи (macugi, matjugi, matigi) сходны с их русским названием «матюги», «матыги» (быв. Псковская и Тверская губ.), в юго-восточных районах Латгале и восточной части Аугшземе наименования подвоев (zemlenkas, zemlekas) соответствуют белорусскому их обозначению — «землянки» [15].

У латышей Латгале было известно название оглобель — «обжи» (obži — лат.), так же как и у русских и белорусов. Рукоятка в восточной части Латгале называлась «rogale», «rogač», в восточной части Видземе, в Земгале и в западных районах Латгале—«ragalis», «ragainis», «ragulis», «roguls», «roguteņč»[16]; подобные названия рукоятки—«rogi», «rogać», «ragi», «rohacze» «rogale»—встречались в деревнях Восточной Польши [17]. Любопытно, что в Эстонии, в западном Причудье, «рогачем», «рогачулькой» называли не какую-либо часть сохи, а соху целиком. Это была соха с прямыми и сравнительно короткими обжами. Как отмечает А. Х. Моора, названия ее деталей общие для северного и восточного Причудья, Псковщины, Северной Белоруссии, восточных частей Латвии и Литвы [18].

Этнографы выделяют в Прибалтике и соседних с ней областях несколько типов борон. Самым древним из них была, по-видимому, «вершалина», хорошо известная также славянам и другим народам Европы. Это верхушка дерева с сучьями, выполняющими бороно-

---

[12] И. А. Лейнасаре. Земледельческие орудия в крестьянских хозяйствах Латвии в XIX в.

[13] О. А. Ганцкая, Н. И. Лебедева, Л. Н. Чижикова. Материальная культура русского населения западных областей. «Материалы и исследования по этнографии русского населения Европейской части СССР». М., 1960, стр. 11.

[14] Н. Н. Чебоксаров. Указ. соч., стр. 113.

[15] И. А. Лейнасаре. Земледельческие орудия латышей в XVIII — первой половине XIX в. СЭ, 1957, № 6, стр. 22—23.

[16] Там же, стр. 23.

[17] «Polski Atłas Etnograficzny...», Zeszyt II. Warszawa, 1965, karta XXII, mapa 63.

[18] А. Моога. Указ. соч., стр. 291.

вание. В XIX в. такая борона была уже реликтом. Бороны-суковатки были распространены в большей части Латвии, а именно — в Видземе, Земгале (восточные районы), Латгале, в восточных и южных районах Эстонии (в середине XIX в. они применялись также в Северной и Центральной Эстонии, откуда позднее были вытеснены коленчатой бороной), в соседних районах расселения русских, в Белоруссии, в Польше у мазуров. За пределами рассматриваемой территории суковатка была известна, например, карелам и финнам. Плетеные бороны отмечены в юго-восточном районе Латгале и в Земгале, в Литве, в северо-восточных и центральных районах Польши.

В Прибалтике почти повсюду, где сохранялась в XIX в. жатва хлеба серпом, этот серп был с зубчатым рабочим краем. Подобные серпы открыты в Европе археологами. Источники свидетельствуют о давнем распространении зубчатого серпа в Западной Европе, но там он был вытеснен косой ранее, чем у народов Восточной Европы. В XIX— начале XX в. серпами с зубчатым рабочим краем и короткой рукояткой жали крестьяне восточных районов Литвы, а в Латвии—крестьяне Латгале, Аугшземе, восточной и северной частей Видземе. Серп с зубчатым лезвием был распространен в эпоху феодализма в большей части Эстонии. Только на ее островах и в западном материковом районе жали серпом с гладким рабочим краем и длинной изогнутой рукояткой [19]. Зубчатым серпом жали хлеб русские соседних с Прибалтикой западных и северных губерний России; в остальных ее районах с XVIIIв. хлеб не только жали, но и косили, причем в южных районах этот способ уборки преобладал. Белорусы убирали хлеб серпами, косили его только при обилии сорняков. В Польше в эпоху феодализма в одних районах косили, в других жали, что зависело от вида злаков и местных условий. После отмены крепостного права в большей части Польши коса вытесняет серп. Исключением были некоторые центральные и южные районы, где серп как жатвенное орудие встречался до недавнего времени [20].

В Прибалтике косьба хлеба в XIX в. была тоже очень распространена. С конца XVIII в. яровые хлеба эстонские крестьяне обычно не жали, а косили той же косой, что и траву. В Латвии в XVIII— начале XIX в. длинной косой косили хлеб крестьяне Курземе [21]; в Литве в XIX в. ею убирали рожь с полей в западных районах, а повсеместно косили сено. В центральных районах Литвы хлеб косили полукосой с небольшими грабельками такой же, как в

---

[19] Л. Х. Феоктистова. Указ. соч., стр. 416.

[20] «Народы мира. Народы зарубежной Европы», т. I. М., 1964, стр. 103.

[21] И. А. Лейнасаре. Земледельческие орудия латышей в XVIII — первой половине XIX в., стр. 26; Л. Думпе. Ražas novākšanas veidu attīstība Latvijā (no sēnākiem laikiem līdz XX gs. sākumam). Latvijas PSR Vēstures mūzeja raksti etnografija. Rīga, 1964.

Латвии — на западе Видземе и в Земгале [22]. Интересно, что у латышей восточной части Латвии (Латгале, восточные районы Аугшземе) длинные косы были с одной ручкой в виде дужки, подобно русским и белорусским. Этим они отличались от кос других латышских областей [23]. Коса с одной ручкой в XIX в. распространилась в Восточной Эстонии, где ее назвали «venevikat» — русская коса [24].

До распространения молотилок орудием обмолота в Прибалтике был цеп. По способу соединения ручки и била в Латвии, Литве и Эстонии выделяются цепы, однотипные с цепами Белоруссии, северо-восточной части Польши, бывших западных губерний России. В Латвии — это цепы Латгале, Илукстского района Земгале и части Видземе; в Эстонии они были распространены очень широко, за исключением ее западных районов и островов.

В этих цепах соединительный ремень (или веревка) закреплен около утолщения на ручке, а на биле—или пропущен в отверстие, или также закреплен, как на ручке. В конце XIX в. в западных районах и на островах Эстонии находила применение примитивная кичига (vart, varp), известная русским крестьянам. У эстонцев согнутая палка (кичига) считается самым старым орудием молотьбы [25].

Сходства можно было бы проследить и в других сельскохозяйственных орудиях эстонцев, литовцев, латышей и соседнего славянского населения.

Русское влияние прослеживается в хозяйстве эстонских рыбаков. Этот вопрос специально исследовала А. Х. Моора [26]. Еще в XV в. русские рыбаки поселялись на западном побережье Чудского озера. Они ловили рыбу также на морском побережье Эстонии. Русские приходили главным образом из Псковской, Новгородской, Петербургской и Тверской губерний. У них были лучшие орудия труда, которые заимствовали местные эстонские рыбаки. Особенно славились осташковские мастера по изготовлению сетей и другой снасти. Кроме того, они продавали эстонцам сапоги (осташи), рукавицы, фартуки.

Заимствование эстонцев от русских подтверждается терминологией некоторых частей рыболовных орудий. Так, например, известно, что основной снастью эстонских рыбаков издавна был невод (noot — эст.). Названия частей обычного невода — эстонские, тогда как некоторые детали разновидности невода крупных размеров — «мотни», перенятой от русских рыбаков, носят русские наименования (sutska — сучок) [27]. Очень древними в области рыболов-

---

[22] Л. Думпле. Указ. соч.
[23] Там же.
[24] Л. Х. Феоктистова. Указ. соч., стр. 417.
[25] Там же, стр. 408.
[26] А. Х. Моора. Указ. соч.
[27] Там же.

ства были заимствования славян от прибалто-финнов. Еще во времена проникновения в прибалтийско-финскую среду (середина I — начало II тысячелетия) славяне восприняли от местного населения названия некоторых пород рыб, как, например: сиг, вымба, килька, хариус, а также заимствовали некоторые орудия рыбной ловли или отдельные их детали. Об этом говорят такие известные русским рыболовные термины, как «мерда», «риса», «керевод»[28]. Культурные взаимовлияния и заимствования прослеживаются у латышских и русских рыбаков. Они были исследованы латышским этнографом С. Циммерманисом [29].

Известный польский этнограф К. Мошиньский отмечал область распространения разновидности сетей под названием «сане» (sanie — польск). Кроме Эстонии, Латвии и Литвы, эта область включала районы расселения мазур, северную и северо-восточную части Польши, Белоруссию, северо-западную часть России, Карелию. По мнению Мошиньского, их происхождение сравнительно позднее. Сходны были колющие орудия прибалтийских и славянских рыбаков (например, ости) [30].

Весьма показательны материалы по жилищу. В Прибалтике можно различить три основных типа традиционного крестьянского жилища, названных нами условно восточным, западным и северным [31]. Главное отличие восточного типа от западного состоит в характере очагов и месте расположения их в жилище, чем обусловливается и функциональное назначение отдельных помещений.

Восточный тип жилища характеризуется наличием в жилом помещении духовой печи типа русской, служащей как для обогревания, так и для приготовления пищи. Для западного типа характерен открытый очаг, расположенный вне жилого помещения,— в сенях, куда выходило и устье печи. Корпус печи находился в жилом помещении. Печь использовалась только для обогревания помещения и выпечки хлеба, остальная пища приготовлялась на открытом очаге. Жилище северного типа являлось одновременно и хлебосушильней (ригой).

Восточный тип жилища — изба (литовское — пирка, латышское — истаба) распространен на территории Восточной Латвии (Латгале и Аугшземе), в восточных и центральных районах Литвы (Аукштайтия и Дзукия) и на сравнительно небольшой территории

---

[28] Там же.

[29] S. Cimermanis. Saldúdenu zveja Vidremē 19. un 20. gs. Kr-mā. «Arheologija un etnografija» (С. Циммерманис. Рыболовство в пресных водах Видземе в XIX и XX вв., 5. Рига, 1963, стр. 77—113).

[30] K. Moszyński. Kultura ludowa słowian Część I. Kultura materialna. Kraków, 1929, str. 91.

[31] Л. Н. Терентьева. Основные итоги изучения жилища народов Прибалтики. «Труды Прибалтийской экспедиции», стр. 340—361; Х. А. Моора, А. Х. Моора. Указ. соч.

в восточных районах Эстонии. Данный тип жилища во многом сходен с белорусским, польским и с жилищем русских северо-западных областей[32].

Изба представляет собой двух- или трехраздельную срубную постройку без подклета, преимущественно под двухскатной крышей (старой конструкции —на самцах, новой — на стропилах), составными частями которой в конце XVIII — начале XIX в. являлись собственно изба и сени или изба, сени и камора.

Внутренняя планировка жилища этого типа одинакова на всей территории его распространения, а именно: печь стоит в углу при входе и обращена устьем к входным дверям, по диагонали от печи расположен чистый угол. Такая же планировка жилища западнорусского, белорусского, украинского и отчасти польского [33].

Перед устьем печи имелся широкий открытый шесток. В восточных районах Прибалтики в печи не только пекли хлеб, но и варили пищу. В связи с этим главной кухонной утварью были глиняные горшки и чугуны, которые задвигались в печь ухватами. Принято было также разводить огонь на шестке и варить пищу в подвесном котле. Для этого к углу печи, прилегающему к стене избы, прикреплялся свободно вращающийся железный крюк типа кронштейна, на который подвешивался небольшой чугунный котел. Во избежание пожара стену избы обмазывали плотным слоем глины.

По рассказам информаторов, в старое время в некоторых местах огонь разводили не на шестке, а на специальной площадке, сложенной из камней на полу перед печью [34].

Таким образом, в жилище восточного типа изба была основным помещением, где сосредоточивалась вся жизнь крестьянской семьи. Сени имели только подсобное значение: они защищали жилое помещение от холода, соединяли избу с каморой, служили местом хранения некоторой домашней утвари. Камора использовалась как клеть, для хранения запасов продуктов или одежды.

Западный тип жилища распространен на западе Литвы (в Жемайтии) и Латвии (в Курземе и Земгале, исключая ее восточную часть) и в некоторых северных районах Латвии (Видземе)[35]. Этот тип жилища обычно представляет собой также трехраздельную постройку, аналогичную по составным частям и конструктивным элементам жилищу восточного типа, т. е. состоящую из жилого по-

---

[32] Е. Э. Бломквист. Крестьянские постройки русских, украинцев и белорусов. «Восточнославянский этнографический сборник». М., 1956.

[33] Там же.

[34] Л. Н. Терентьева, А. И. Крастыня. Крестьянские поселения и жилище в Неретекском и Акнистском районах Латвийской ССР. «Труды ИЭ АН СССР», т. XXIII, 1954, стр. 84—113; Г. И. Гозина. Жилище и хозяйственные строения Восточной Литвы XIX — начала XX в. Там же, стр. 95—126.

[35] Л. Н. Терентьева. Указ. соч.

мещения, сеней и каморы. Имеются и двухраздельные постройки, состоящие из жилого помещения и сеней. Сени также сквозные и без потолка.

Способ постановки срубов на большей части названной территории такой же, как и в районах распространения жилищ восточного типа. В крайних западных районах Латвийской ССР (Лиепайский, Алсунгский, Вентспилсский) распространена столбовая конструкция. При такой конструкции горизонтально положенные бревна стен соединяются посредством столбов, врытых в землю. Столбы ставят по углам постройки, а при необходимости нарастить длину бревна — и в других местах, вдоль стены.

В отличие от восточного типа жилища, в котором сени всегда были холодными и имели подсобное значение, в жилище западного типа, как уже отмечалось выше, в сенях находился открытый очаг, служивший для варки пищи. Таким образом, по функциональному назначению это помещение было более органически связано с жилой частью дома и его только условно можно назвать сенями. Примечательно, что сени в домах этого типа называются namas (лат.), numas (лит.), так называлась ранее жилая постройка в целом. Существенным отличием этого типа жилища являлось также то, что в печи никогда не варили пищу, она служила только для выпечки хлеба. Чугуны и ухваты в западных (а в Латвии и в северных) районах не известны. Главной утварью были подвесные котлы. Печи строили целиком из камня — известняка или валунов (северные районы Латвии) или глинобитные, но не на деревянном опечье, а на каменном основании (западные районы Латвии и Литвы). Шесток в этих печах был закрытым и меньшего размера, сама печь и ее устье были значительно ниже. Корпус печи часто имел форму усеченной пирамиды с наклонными боковыми стенками (западные районы). Основание печи делалось шире ее корпуса, в связи с этим вокруг печи образовывался выступ типа лежанки.

Открытый очаг находился обычно в одном из задних углов сеней — намса. Он представлял собой небольшую площадку (примерно 2—3 $м^2$). Около одной из стен укреплялся вращающийся деревянный столб с деревянным плечом типа кронштейна, на которое надевался крюк для подвешивания котла. Неподалеку от очага, ближе к середине сеней, в поперечной стене дома имелся проем, в который выходила передняя стенка и устье печи. Очаг и устье печи ничем не отгораживались от остальной части помещения. Только для предотвращения пожаров стены в углу за очагом обмазывали глиной или складывали из камня. Перед печью для предохранения от искр также сооружали небольшое сводчатое перекрытие из камней.

В ходе дальнейшего развития дома место, где находился очаг и куда выходило устье печи, стали отгораживать специальными защитными сооружениями. Вначале это были только навесы, а затем разного вида замкнутые с трех или со всех четырех сторон камен-

ные сооружения, называвшиеся у литовцев каминас (kaminas — камин), у латышей — дижайс скурстенис (dižais skurstenis — толстая труба), мантельскурстенис (mantelskurstenis) и др.

Каминас, или дижайс скурстенис, представлял собой своеобразную большого размера вытяжную трубу пирамидальной формы, основанием которой служили отвесные стены. Этими стенами очаг и устье печи отгораживались от остального помещения сеней — намса. Для входа в каминас имелись двери.

Северный тип жилища (жилая рига) широко распространен в Эстонии и отчасти в северных районах Латвии (Видземе) [36]. Эта постройка служила одновременно и жильем, и хлебосушильней. Главными составными частями этого жилища первоначально являлись собственно рига и гумно; со временем его план усложнился за счет пристройки третьего помещения — каморы.

Полевыми исследованиями выявлены также смешанные типы жилища, ранее не охарактеризованные в литературе [37]. На территории Латвии и Литвы жилища смешанного типа встречаются в пределах довольно широкой полосы на стыке восточного и западного типов жилища. По внешнему виду и внутренней планировке эти постройки сходны с жилищем восточного типа, но в сенях у них имеется каминас с открытым очагом, что сближает их с западным типом жилища. Однако печь в этих домах расположена целиком в жилом помещении, устье ее не выведено в сени.

В основе развития такого жилища лежит, как теперь установлено, первый восточный тип, т. е. изба с русской печью и холодными сенями. Таким было это жилище до 70—80-х годов XIX в. Только впоследствии, по-видимому, с усилением экономических и культурных связей местных жителей с населением соседних восточных и западных районов Латвии и Литвы, в это жилище были внесены новые элементы — каминас и открытый очаг в сенях. Отрядами Прибалтийской экспедиции зарегистрированы жилые постройки, которые в прошлом были курными избами; в потолке этих изб еще сохранились отверстия с задвижками для выхода дыма. По сообщению информаторов старшего поколения, избы и после сооружения каминасов оставались курными. Только с течением времени, однако значительно ранее, чем на остальной восточной территории, здесь перешли к топке по-белому. При этом дымоход от печи поднимался только до чердака, а там путем прокладки борова вводился в пирамидальную трубу каминаса [38].

---

[36] Н. В. Шлыгина. Эстонское крестьянское жилище в XIX — начале XX в. «Балтийский этнографический сборник». М., 1956; К. И. Тихасе. Народное зодчество Эстонии. Л., 1964; T. Habicht. Rehielamu Kagu-Eestis 19. Saiandi teisel poolet. Tartu, 1964. A. Krastiņa Zemnieku dzivojamas ekas Vidzeme, Riga, 1959.

[37] Л. Н. Терентьева, А. И. Крастыня. Указ. соч.; А. Х. Моора. Эстонско-русские отношения в XVIII — XX вв. по данным этнографии.

[38] Л. Н. Терентьева, А. И. Крастыня. Указ. соч.

В правильности выводов об исходном типе этого жилища нас убедило также и то, что при наличии в сенях очага пищу в этих домах принято было варить в печах. В некоторых домах на чердаках была обнаружена старая кухонная утварь — чугуны и ухваты.

Своеобразны смешанные типы жилища на северо-западе Латвии а также на северо-востоке Эстонии.

В Латвии, в частности в Руйенском районе, нам приходилось встречать постройки, состоящие из риги, намса с ровисом и истабы [39]. В Эстонии в Йыхвиском районе (сельсовет Ийсаку) зафиксированы жилища, состоящие из жилой риги, холодных сеней и избы [40]. Таким образом, в Латвии эти постройки представляют собой как бы соединение второго и третьего типов жилища, а в Эстонии — первого и третьего. Полевые исследования показали, что в обоих случаях первоначально жилыми помещениями были риги, к которым впоследствии были пристроены под одну крышу не каморы, как на большей части территории, где распространен и третий тип жилища, а избы.

Таковы были в основном типы жилища в Прибалтике в конце XVIII—первой половине XIX в. При описании каждого из названных типов мы для большей четкости выделяли лишь их основные черты и не останавливались на деталях. С учетом этих деталей можно было бы выделить некоторые варианты указанных типов. Так, в восточном типе жилища в пределах его распространения обнаруживаются некоторые локальные различия. Они выражаются в пропорциях жилища, форме крыши, наличии и характере украшений, в терминологии частей постройки, а также во внутреннем убранстве. Не ставя перед собой цели в настоящем докладе останавливаться на этом подробнее, укажем только, что с учетом этих деталей вся восточная подобласть может быть разделена на четыре округа: северолатгальский, южнолатгальский, аугшземский и восточнолитовский.

Подобные различия в деталях жилища имеются и в остальных двух типах. В пределах границ бытования западного типа особенно резко выделяются жилища Видземе (дом с ровисом) и Занеманья.

Жилище третьего типа — жилая рига — тоже известно в двух вариантах: северном и южном [41].

Резюмируя сказанное выше о наличии в Прибалтике трех основных типов жилища, важно отметить, что границы распространения каждого из них не совпадают ни с современными, ни с прежними этническими границами. Формирование этих типов, относящееся, по-видимому, к средневековью, объясняется взаимодействием ряда

---

[39] А. И. Крастыня. Жилище латышских крестьян в Видземе в первой половине XIX в. «Труды Прибалтийской экспедиции», т. I, стр. 387—395.

[40] А. Х. Моора. Русские и эстонские элементы в материальной культуре населения северо-востока Эстонии, стр. 146—148.

[41] Н. В. Шлыгина. Указ. соч.; К. И. Тихасе. Указ. соч.

факторов. В их числе большое значение имели особенности хозяйства и культурные связи [42].

Наиболее ясным и как будто бесспорным является вопрос о сложении восточного типа жилища. Основываясь на археологических материалах, полученных за последние годы (раскопки городища Асоте и Кентескалнс в Восточной Латвии и Неменчинского городища в Восточной Литве) [43], можно предполагать, что в основе этого типа жилища лежит срубная однокамерная постройка с открытым очагом, который был заменен впоследствии духовой глинобитной печью, топившейся по-черному. В городище Асоте срубные жилые постройки с духовой печью были уже в IX—X вв. н. э. Дальнейшее развитие шло, по-видимому, путем пристройки к жилой избе с духовой печью подсобных помещений — холодных сеней и каморы; это происходило уже значительно позднее и прослеживается по историческим источникам и этнографическим материалам. В виде рудимента существовавшего некогда в этом жилище открытого очага остался очажок с подвесным котлом на шестке перед устьем печи.

Распространение в восточных районах Прибалтики избы с духовой печью произошло, по-видимому, под влиянием ранних форм восточнославянского жилища. В этой связи характерна общность внутренней планировки избы: печь стоит в углу при входе и повернута устьем к двери, по диагонали от печи расположен красный угол. Такая планировка, помимо Восточной Прибалтики, распространена в западных областях РСФСР (Новгородской, Псковской, Смоленской), а также на всей территории Белоруссии и Украины.

Общим для значительной части этой территории (исключая Новгородскую обл. и некоторые районы Псковской обл.) является и высотный показатель жилища — низкая изба без подклета. Не случайно, по-видимому, также и то, что двускатные крыши, столь типичные для севернорусского, среднерусского и западнорусского типов жилища, а также для жилища значительной части Белоруссии, распространены в Прибалтике именно в восточных районах. В русском жилище западных областей, как и в жилище русских старожилов или русских переселенцев в Латвии и Литве, можно отметить некоторые черты, отличающие его от жилища более глубинных восточных районов РСФСР, а именно: наличие подвесного котла в углу на шестке перед устьем печи [44], распространение наряду с двускатными полувальмовых крыш. По всей вероятности, эти особенности были восприняты русскими от соседей из Прибалтики — латышей и эстонцев. Русское влияние прослеживается в манере украшения жилища и в планировке деревенских усадьб. Так, в Латвии в районах смешанного расселения латышей и русских-

[42] Х. А. Моора и А. Х. Моора. Указ. соч.

[43] Э. Д. Шноре. Асотское городище. «Материалы и исследования по археологии Латвийской ССР», т. II. Рига, 1961.

[44] Е. Э. Бломквист. Указ. соч.

старообрядцев среди латышей получили широкое распространение украшения домов пропиловочной резьбой, воспринятые от местных русских мастеров [45]. В восточных районах Прибалтики получила распространение трехрядная и двухрядная связь дома и двора, аналогичная псковским и новгородским. В некоторых районах Латвии такой тип планировки называют «русский двор». Для всей остальной территории Прибалтики характерно свободное расположение построек в усадьбе.

Значительный интерес представляют данные по терминологии, связанной с жилищем и строительной техникой. Они свидетельствуют о взаимопроникновении терминов от русских и белорусов к латышам, литовцам и эстонцам и наоборот. Так, например, латыши в восточных районах называют свое жилище избой, а в более южных районах этой полосы, граничащих с Белоруссией (Краславском и частично Прейльском),—хатой. Несомненно, русским является и название сеней — синцис (sincis), часто можно услышать, что печь называют «криеву цеплис» (krievu ceplis — русская печь); много русских и белорусских терминов в названии хозяйственных построек: пуня, токовня, возовня, двор и др. Название возовня известно и полякам (wozownia). Вместе с тем немало латышских, литовских и эстонских слов употребляется русским и белорусским населением смежных областей: рига, рей (эст.— rehe, rei; латыш.— rija — рига), свирон (лит. свирнас — клеть) и др.

Особенно много воспринято русских терминов, относящихся к строительной технике. Последнее объясняется наличием в Прибалтике больших плотницких центров, образовавшихся в местах концентрации русских переселенцев (в Латвии быв. Резекненский уезд, особенно быв. Каунатская волость).

Плотницкое мастерство было в большой степени развито и в соседних западных районах РСФСР. Псковские и великолукские плотники испокон веков были известны в Эстонии и Латвии.

Много сходного у прибалтийских народов, русских, белорусов и поляков в разведении льна, прядении и ткачестве (сходные узоры и техника тканья). В ткачестве и особенно в художественном вязанье сильно сказывалось и сказывается влияние прибалтийских народов на местное и соседнее русское и белорусское население (распространение многоподножного тканья, вязаных узорных варежек, перчаток, свитеров, кофт и пр.) [46]. В Польше известны так называемые виленские узоры на скатертях и салфетках, подоб-

---

[45] Полевые материалы, ф. Прибалтийской экспедиции. Архив ИЭ АН СССР.

[46] A. Alsupe. Louku audeju darba rīki Vidzeme 19.G.S., «Archeologija un etnografija», III. Riga, 1961, стр. 97—111; она же. Louku audeju darinajumi Vidzeme 19 un 20 g.s. «Arheologija un etnografija», II, 1960, стр. 139—156; она же. Audumi weidi Vidzeme, стр. 157—186; она же. Орудия труда сельских ткачей Видземе и Латгале в XIX в. «Из истории техники Латвийской ССР», V. Рига, 1964, стр. 5—29.

ные литовским. Они представляют собой разные композиции мелких геометрических элементов, выполненных на ткацком стане с несколькими подножками.

Во второй половине XIX в. в Эстонии и в северо-восточной части Латвии от русских мастеров распространилось производство набивных тканей — «набойки». Русские набойщики обучали эстонцев своей профессии (например, в дер. Колки на западном побережье Чудского озера) [47].

Большое культурное влияние оказало русское население псковских районов на сету — юго-восточную группу эстонского народа, жившую в Печорском районе. Изучение сету показало, что из одежды от русских сету переняли в XVII в. старинный глухой сарафан, который позднее был заменен синим холщовым «китасником» и «сукманом» (распашным сарафаном). Во второй половине XIX в. женщины-сету начали носить рубахи так называемого новгородского типа — с широкими рукавами [48].

К старинной одежде латышей, литовцев и эстонцев относятся женские полотенчатые головные уборы, напоминающие славянские. У литовцев это «nuometas», у латышей Латгалии — «galvas auts», Аугшземе — «namats», у эстонцев «лынник». Литовское название nuometas и латышское — namats близки к белорусскому их наименованию «намитка», «наметка» и польскому—«namiotka», украинскому — «намітка».

Одежду литовцев, латышей и эстонцев сближают с белорусской и особенно с польской одеждой старинные женские и мужские рубахи туникообразного покроя с нашитыми наплечниками. У литовцев и латышей (Аукштайтия, Аугшземе) была также распространена и женская рубаха с прямыми поликами (пришитыми по основе или утку), сходного покроя с русской, белорусской, польской рубахой подобного типа [49].

Общим в одежде летто-литовцев с одеждой восточных и западных славян были черные шерстяные оборы, белорусский тип лаптей (у литовцев и части латышей), узкие узорчатые тканые пояса. По мнению советских этнографов Г. С. Масловой и М.К. Славы, несшитая женская поясная одежда из клетчатой ткани, которую но-

---

[47] А. Х. Моора. Русские и эстонские элементы в материальной культуре населения северо-востока Эстонии.

[48] Е. В. Рихтер. Итоги этнографической работы среди сету. «Материалы Балтийской этнографо-антропологической экспедиции». М., 1952, стр. 190—191.

[49] М. К. Слава. Комплексы женской народной одежды латышей в конце XVIII и первой половине XIX в. «Труды Прибалтийской экспедиции», т. I, стр. 488; она же. Latviešu tautas terpi. Riga, 1966; она же. Культурно-исторические связи Прибалтийских народов по данным одежды. VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук. М., 1964; М. Мастоните. Литовская народная женская одежда в XIX — начале XX в. (Автореф. канд. дисс.). Вильнюс, 1967; она же. Drabužiai Lietuviu etnografijos bruožai. Vilnius, 1964.

сили латышки и литовки еще в XVII в., свидетельствует, как и упомянутые полотенчатые головные уборы, о древних связях культуры летто-литовских и славянских народов [50].

Эстония, Литва и Латвия, так же как Белоруссия и Польша, входили в зону распространения в Европе народного женского костюма из рубахи и юбки, часто полосатой (в продольные или поперечные полосы) или клетчатой, с лифом (иногда пришивным) или без него. Полосатые юбки в Германии и Скандинавии бытовали до конца XVIII в., а местами встречались там и позднее (в конце XIX — начале XX в.) [51].

Общим элементом одежды латышей, эстонцев, литовцев с польской одеждой были женские наплечные покрывала. Летом литовские женщины накидывали на плечи покрывала, вытканные из льняных ниток, зимой — шерстяные. Они были одноцветными или клетчатыми и назывались «skara». В Эстонии в XX в. вместо домотканых наплечных покрывал «soba» (сыба) стали носить покупные шерстяные пледы. Летние белые или клетчатые льняные покрывала у латышей назывались «snatene», покрывала же зимние из шерстяной или полушерстяной домотканины именовались «виллайне» (в некоторых районах — «сагши»). В Польше были известны полотняная белая накидка «раньтух», «плахта» и полосатый шерстяной «велняк» (иначе «запаска») типа пелерины.

Интересные материалы о взаимовлияниях и общих элементах культуры прибалтийских и соседних с ним славянских народов дает изучение пищи. При этом особенно много общего выявляется в пище литовцев Аукштайтии, латгальцев и восточнославянских народов. Названия одинаковых для них блюд нередко сохранялись русские, белорусские или вообще славянского происхождения.

Вся Литва, Латвия и Эстония, так же как Польша, Белоруссия, северные, западные и центральные нечерноземные области России, относились в прошлом к зоне преобладающего потребления в Европе ржаного хлеба, выпеченного из кислого теста. И сейчас в этой зоне больше едят хлеб из кислого теста, поставленного на дрожжах или закваске. Однако муку для такого теста берут не только ржаную, но и пшеничную. Это не значит, что литовцам, латышам, эстонцам был неизвестен хлеб и хлебные изделия (пироги и пр.) из пресного теста: речь идет лишь о преобладании у них кислого ржаного хлеба в прошлом.

Подобно русским и белорусам, литовцы Аукштайтии пекут блины — «blynai». В северо-восточной части Эстонии (Йыхвиский район, сельсоветы Ийсаку, Йыга, Вайкла, Катасе) пекут из ржаной или пшеничной муки пироги с мясом, брюквой, капустой, с грибной или рыбной начинкой. Такие пироги для эстонской кухни

---

[50] Г. С. Маслова. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX в. «Восточнославянский этнографический сборник». М., 1956, стр. 752.

[51] Там же, стр. 633.

не характерны, их приготовление заимствовано, по-видимому, от русских [52].

В обрядовой пище литовцев и латышей общим с белорусами и украинцами было изготовление свадебного каравая из пшеничной муки, украшенного фигурками из теста, которым в старину приписывалось магическое значение. Однако выпечка каравая у них не сопровождалась такими сложными обрядовыми действиями, как это было у белорусов и украинцев [53].

Блюдо из овсяной муки в виде жидкой каши известно у литовцев под названием kisieliks, или žiure. Такое блюдо белорусы называют, так же как и поляки, — żur, латыши — kiselis, русские — овсяный кисель [54]. Его готовят и крестьяне северо-восточных районов Эстонии, так называемые Ийсакские эстонцы. Название этого блюда у них русское. В старину они же готовили похлебку из ячменной крупы с примесью гороха и бобов — «гущу», подобную гуще русских крестьян Новгородской, Псковской и Тверской губерний [55]. Латыши готовили болтанку из овсяной муки на кислом молоке. Овсяное толокно ели жители Восточной Эстонии; в юго-восточных районах Литвы его называют «tolokna», по-видимому, от русского слова «толокно». На пограничье с Белоруссией литовцам известно такое же блюдо, но под названием «maltinej». Интересно, что в соседних районах Белоруссии оно носит название «милта», по-видимому, балтийского происхождения (multai — по-литовски мука) [56].

Литовцы, подобно полякам и белорусам, готовят суп из гречневой, ячневой или иной крупы. Названия этого блюда у них сходные: «крупеня» — у белорусов, «krupnik» — у поляков, «krupnikas» — у литовцев. Из ячменной, ржаной, гречневой муки литовцы делают жидкую похлебку. У них она называется «zacirka», такое же блюдо есть у поляков, которое называется «zacierka», белорусов — «зацирка», украинцев — «затирка». Общим в пище литовцев с белорусской и украинской пищей является приготовление юшника из свиной или гусиной крови; литовцы называют его «juška», «jušnikas» [57].

Латыши варят жидкое блюдо — «kaposti» из разных овощей, такое же как белорусская «капуста». Борщ из свеклы у латышей называется «бачиняс», у поляков — «barszcz», у белорусов — «бураки». Латышам Латгалии известен «колодник» (бел.— холодник) — холодный суп из кваса с овощами. Многочисленные при-

---

[52] А. Х. Моора. Русские и эстонские элементы в материальной культуре населения северо-востока Эстонии, стр. 144.

[53] В. Милюс. Пища и домашняя утварь литовских крестьян в XIX — начале XX в. «Балтийский этнографический сборник». М., 1956.

[54] Там же.

[55] А. Х. Моора. Русские и эстонские элементы в материальной культуре населения северо-востока Эстонии.

[56] K. Moszyński. Указ. соч., стр. 273—275.

[57] В. Милюс. Указ. соч.

меры взаимовлияния белорусской, литовской и польской народной кулинарии содержатся в работе украинского этнографа И. П. Корзуна [58]. Интересные данные о русско-эстонских заимствованиях в области народной кулинарии приводит в своих статьях А. Х. Моора.

По-видимому, от русских заимствовали ийсакские эстонцы название «ворог» для творога; в старину они, как и русские, готовили его в печи в отличие от остальных эстонцев, приготавливавших творог на плите [59].

До недавнего времени мало исследованными в плане культурных связей народов Прибалтики являлись средства передвижения. За последние несколько лет обширный материал по этому вопросу накоплен эстонским этнографом А. О. Вийресом. Предварительные публикации А. О. Вийреса подтверждают все сказанное выше о хозяйственно-культурных связях народов Прибалтики с их соседями — восточными и западными славянами [60].

Приведенные в настоящем докладе материалы позволяют сделать некоторые выводы:

1. Этнический состав населения Литовской, Латвийской, Эстонской ССР и смежных районов РСФСР и БССР, особенности его физических типов и языковые показатели свидетельствуют об издревле протекавших процессах смешения летто-литовских, прибалтийско-финских и славянских групп населения. Результаты этих процессов этнического смешения и ассимиляции прослеживаются особенно явственно в районах расселения ийсакских эстонцев и сету, в полосе этнических границ прибалтийских и славянских народов, в областях расселения русских, белорусов и поляков среди компактного латышского, литовского, эстонского населения (восточные области Прибалтики) и др.

2. Устанавливается, что распространение восточно-балтийского антропологического типа примерно совпадает с распространением в северо-восточной и юго-восточной частях Эстонии некоторых элементов культуры, свойственных также русским (соха с короткими обжами в Восточной Эстонии, терминология ее частей, овсяный кисель, гуща в северо-восточной части, овсяное толокно в Восточной Эстонии и т. п.). Особенности материальной культуры (например, жилища), свойственные также культуре славян, прослеживаются в Латгалии и Дзукии, где выявлены признаки ильменско-днепровского антропологического типа. Русско-эстонское пограничье, где прослеживаются различные сочетания русских и прибалтийско-

---

[58] И. П. Корзун. Пища и питание колхозного крестьянства Белоруссии (Автореф. канд. дисс.). Киев. 1963.

[59] А. Х. Моора. Русские и эстонские элементы в материальной культуре населения северо-востока Эстонии.

[60] А. О. Вийрес. Традиционный сельскохозяйственный транспорт народов Прибалтики. VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук; А. О. Вийрес. Санный транспорт у эстонцев. «Труды Прибалтийской экспедиции», т. I.

финских элементов материальной культуры, является областью соприкосновения валдайского и восточнобалтийского антропологических типов.

3. В Литве, Латвии и Эстонии (в их современных границах) в XIX в. по основным элементам материальной культуры могут быть выделены три основные историко-культурные подобласти: 1) северная, охватывающая большую часть Эстонии и северную Латвию 2) западная, включающая западную Латвию и западную и центральную Литву; 3) восточная, в которую входит небольшая полоса восточной Эстонии, Причудье, юго-восточная часть Эстонии, восточная Латвия (Латгалия, частично Аугшземе) и восточная и юго-восточная части Литвы (Аукштайтия, Дзукия). В каждой из этих трех подобластей прослеживаются еще более дробные локальные культурные комплексы. Особенностей материальной культуры, близких или сходных с культурой русских и белорусов, больше всего в восточной подобласти Прибалтики. В свою очередь в культуре русских и белорусов смежных районов РСФСР и БССР обнаруживаются некоторые черты, воспринятые ими в разное время от летто-литовского и финно-угорского населения.

4. В материальной культуре народов Прибалтики и их соседей — славян в XIX в., а иногда и позднее, выявляются общие или сходные элементы древнего происхождения.

Прибалтика входила в зону древнего распространения двухзубого пахотного орудия — сохи с одной или двумя полицами. Ее возникновение здесь, так же как и в русских, белорусских, польских областях, связано, по-видимому, с подсечно-огневой системой земледелия лесной полосы Европы. Русская и белорусская терминология частей сохи в восточных и юго-восточных пограничных районах Латвии говорит о возможных изменениях этнической границы в связи с олатышиванием части русского и белорусского населения, сохранившего эту прежнюю терминологию. Могло быть и так, что она была воспринята латышами от русских и белорусов пограничных областей путем хозяйственного и культурного общения с ними или же в процессе этнического смешения.

Распространение сохи с двумя полицами, кроме части Прибалтики, включает некоторые районы Белоруссии и Польши. Есть известная доля вероятности того, что ее происхождение связано с областью расселения балтийских племен — ятвягов и аукштайтов. Известно, например, что ятвяги приняли участие в формировании польского народа; предполагается наличие балтского субстрата и в Белоруссии.

К общим или сходным элементам культуры балтов, прибалто-финнов и соседних славян, кроме сохи, относятся многие другие сельскохозяйственные орудия (борона-суковатка или смык, плетеная борона, разновидности цепов и др.). Выделяются районы распространения отдельных их типов на землях латышей, литовцев, эстонцев и соседних славянских народов.

Элементами балто-славянской славяно-прибалто-финской древней культурной общности являются, вероятно, женские полотенчатые головные уборы, приготовление овсяного киселя (русскими, литовцами, латышами, белорусами, поляками, частью эстонцев), «затирки» (литовцами, поляками, белорусами, украинцами) и др.

Распространение в Прибалтике избы с духовой печью произошло, по-видимому, под влиянием ранних форм восточнославянского жилища примерно в IX—X вв. (этот тип жилища устойчиво сохранялся в Прибалтике до начала XXв.). Очевидно тогда же соседним русским населением был воспринят подвесной котел на шейке перед устьем хлебной печи.

К более поздним элементам русской и белорусской культуры, воспринятым народами Прибалтики, относятся технические приемы строительной техники и украшения жилища, некоторые приемы и орудия рыболовства, техника набойки ткани, различные блюда и напитки, отдельные предметы одежды и обуви. В свою очередь наблюдались заимствования русскими и белорусами от народов Прибалтики техники многоподножного тканья и узорной вязки.

* * *

Естественный процесс взаимовлияний культуры балтийских, прибалтийско-финских и славянских народов и формирование ее общих черт наблюдался с разной степенью интенсивности и в начале XX в. В 20—30-х годах XX в. он был искусственно прерван в связи с образованием буржуазных прибалтийских государств. Политика националистически настроенных правящих кругов этих государств была направлена на полную изоляцию населения Прибалтики от народов СССР. По отношению к инонациональному населению Прибалтики осуществлялась политика дискриминации и денационализации. В этом отношении особенно сложным было положение в Литве, территория которой оказалась разорванной на две части. С момента восстановления Советской власти в Прибалтике культурные связи ее народов с другими народами СССР получили беспрепятственное развитие на новой социалистической основе. Наблюдение за современными этническими и историко-культурными процессами составляет важную область исследований советских этнографов.

Н. Н. Велецкая

О НЕКОТОРЫХ РИТУАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЯХ ЯЗЫЧЕСКОЙ ПОГРЕБАЛЬНОЙ ОБРЯДНОСТИ

(к анализу сообщения Ибн-Фадлана о похоронах «русса»)

Погребальная обрядность язычников состоит из сложного комплекса ритуальных действ. Корни их — в представлениях о власти мертвых над живыми, в двойственности их: предков воспринимали и как покровителей потомков, и как носителей вредоносной силы.

Описание похорон «русса» в книге Ибн-Фадлана принадлежит к важнейшим источникам изучения языческой погребальной образности; это — свидетельство очевидца, подробное и достоверное. О нем сложилось представление как об источнике изученном; однако там много неясного и спорного. В аспекте изучения древнеславянской погребальной обрядности наиболее подробно оно проанализировано Т. Левицким [1]: сведения Фадлана поставлены в связь с сообщениями других восточных авторов и рассмотрены на фоне славянских археологических материалов с привлечением этнографических данных. Большие заслуги в переводе и анализе источника принадлежат А. П. Ковалевскому [2]. Воссоздание первоначального текста на основе сохранившихся фрагментов и пересказов имеет важное значение. Но сводный текст не может восприниматься наравне с источниками, из которых составлен, ибо, как всякая реконструкция, содержит элемент допуска и субъективного восприятия; исследователю он не может заменить подлинные тексты. Соглашаясь с Ю. Грбеком[3] относительно ценности перевода раздела «русс» из сочинения Амина Рази, нельзя не отметить, что в нем ощутимы следы литературной обработки и субъективных восприятий автора. Использование его в историческом исследовании требует осторожного подхода: вставки в сводный текст в некото-

[1] T. Lewicki. Obrzędy pogrzebowe pogańskich Słowian w opisach podróżników i pisarzy arabskich. «Archeologia», 1955, t. V, str. 122—154.

[2] А. П. Ковалевский. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана об его путешествии на Волгу в 921—922 гг. Статьи, переводы и комментарии. Харьков, 1956.

[3] J. Hrbek. Vývoj a dnešní stav studia arabských pramenů o slovanstvu. Vznik a počátky slovanů, t. V. Praha, 1964, str. 26.

рых случаях искажают смысл источника (например, абз. 113, где невольница фигурирует в качестве жены).

При современном состоянии изучения источника главным становится вопрос: является ли комплекс обрядовых действ, описанных Ибн-Фадланом, характерным погребением представителя социальных верхов, или это специфическая форма погребального обряда, похороны холостого? Точку зрения о похоронах-свадьбе проводят последние исследователи источника — Левицкий и Ковалевский; ее придерживается С. А. Токарев [4]; от нее исходит Шрадер[5]; воздерживаясь от категорических заключений, к ней склоняются Нидерле [6] и Котляревский [7]. От решения вопроса зависит, можно ли источник положить в основу исследования погребальной обрядности позднего язычества, т. е. рассматривать его как типичное для той эпохи погребение, или привлекать с осторожностью, поскольку похороны холостых содержат особые ритуальные моменты. Так как вопрос о древнеславянских похоронах-свадьбе мало разработан, характер описанных Ибн-Фадланом похорон нельзя выявить путем простого сопоставления; при решении вопроса приходится исходить из сравнительного анализа фольклорных и этнографических материалов. Результаты его не дают оснований для заключения о похоронах-свадьбе. Действа, давшие основу для заключений Левицкого и Ковалевского и не получившие объяснения у их предшественников, оказываются характерными явлениями языческой погребальной обрядности.

Описанная Ибн-Фадланом обрядность распадается на два этапа: консервация трупа и сожжение покойника. Оба они содержат комплекс обрядовых действ, разумеется, взаимосвязанных. Основные из них в первом этапе: а) помещение покойника во временной могиле, б) раздел имущества покойного, в) подготовка определенного ритуалом снаряжения, г) выбор жертвы, е) обрядовые действа, входящие в комплекс похоронных игр; во втором: а) подготовка кострища, установление ладьи, условное обозначение пространства, символизирующего царство смерти, б) убранство покойника и оформление его «домовины», в) ритуальное возложение оружия, г) жертвоприношение животных, д) ритуальные действа оргиастического характера, е) жертвоприношение невольницы, ж) зажигание костра, з) оформление курганной насыпи.

Для рассмотрения поставленного вопроса наиболее важны действа, условно обозначенные индексами: I б-е; II б, д-ж.

Из сообщения Ибн-Фадлана видно, что к X в. в обрядности руссов сложилась заметная социальная дифференциация. Различия в погребении покойников обнаруживают исторические слои в разви-

---

[4] С. А. Токарев. Ранние формы религии и их развитие. М., 1964.

[5] O. Schrader. Totenhochzeit. Jena, 1904,

[6] L. Niederle. Život starých slovanů, d. I, sv. 1. V Praze, 1911.

[7] А. Котляревский. О погребальных обычаях языческих славян. М., 1868.

тии погребальной обрядности в целом: рабов оставляли на съедение зверям, свободных сжигали в специально изготовленной лодке, для знати существовал сложный и развитый церемониал. Определенный комплекс обрядности существовал в каждом из социальных слоев, и, поскольку обрядность свободного люда и верхов в целом сформировалась на единой основе (процесс происходил в рамках одной этнической группы), она имела много общих функциональных и идейных моментов. Перед нами общество, достигшее высокого социального развития. Ряд ритуальных явлений, находящихся в противоречии с уровнем общественного развития, пришел в упадок, близок к исчезновению. Но, несмотря на процесс разложения некоторых языческих институтов, и связанных с культом предков в том числе, сохраняет полную силу представление о власти мертвых над живыми.

Первое из действ, совершавшихся над умершим,— помещение его во временной могиле, покрытой деревянным настилом с земляной насыпью. Покойник обернут материей, в которой умер, возле него оставлено продовольствие, хмельной напиток (плод и набиз) и музыкальный инструмент. Все это — факты типологического характера. Широкие аналогии содержат славянские археологические и этнографические материалы. Аналогии конструкций могилы представлены у Нидерле и расширены Левицким. Сосуды с остатками еды и питья— распространенное явление. В дополнение к данным Нидерле и Левицкого можно указать на остатки деревянных ведер для хмельных напитков в Гнездове и Черной Могиле [8]. Среди предметов, найденных в кургане Безымянном, упоминается льняная ткань, сложенная в несколько рядов. Хронологически курган определяется между Гульбищем и Черной Могилой. Функционального назначения предмета не определяют ни Самоквасов, ни Рыбаков. Вероятно, это — материя, которая была на ложе умирающего и которой он был покрыт до торжественных погребальных церемоний. Этнографические данные свидетельствуют о том, что предметы, связанные со смертью и погребением, подлежали очищению или уничтожению. Примером служит распространенный у славян обычай выливать воду, которой мыли покойника, там, где никто не ходит и ничего не сажают, выбрасывать в реку или сжигать гребень, которым его причесывали. У карпатских горцев известен обычай класть в гроб подстилку, на которой скончался умерший, покрывать его новым полотном [9]. Отсюда явствует, что покрывало покойника

---

[8] Т. е. в курганах, характер погребального обряда которых идентичен описанному Фадланом погребению (см.: Б. А. Рыбаков. Черниговские древности. «Материалы и исследования по археологии СССР», № 11. М.— Л., 1949, стр. 24—53; В. И. Сизов. Курганы Смоленской губернии. Т. I. Могильник «Гнездово». СПб., 1902; Д. Самоквасов. Могилы русской земли. М., 1908).

[9] «Похоронні звичаї і обряди». Зібрав В. Гнатюк. «Етнографічний збірник», т. XXXI—XXXII. Львів, 1912 (далее — Гнатюк).

сжигалось язычниками вместе с ним. Из этнографических аналогий следует выделить также обычай не снимать с покойника белье, в котором умер, стлать ту же подстилку, на которой скончался, ставить возле покойника хлеб, воду, водку, мед, яблоко и т.п.[10] Аналогии былины о Потоке фигурируют в исследованиях, начиная с Котляревского.

Временное содержание покойника в могиле объясняется следующими обстоятельствами. Обрядность вступила в переходный период от сожжения к погребению. Поскольку в низших слоях архаический уклад более устойчив, там удерживается старый способ — сожжение. Изоляция в период подготовки к сожжению вызывается и стремлением предотвратить смертоносное воздействие трупа на окружающее. Земляная насыпь над настилом вызвана отчасти этими же соображениями. Аналогичен славянский обычай уносить тело в овин, на гумно, в чулан. В этом обычае, как и во многих других, сливается комплекс представлений: стремление изолировать покойника + взаимосвязь культа предков с аграрными культами.

Покойника снабжают продовольствием в силу представлений о загробном мире и длительном пути на тот свет. Музыкальный инструмент (лютня), сопровождающий его во временной могиле и на погребальном кострище, свидетельствует, возможно, о том, что игра на нем была любимым занятием покойного. Лютню использовали и в ритуальном веселье[11].

При разделе имущества покойного семье выделяется только третья часть. Изготовление роскошных одежд и предметов убранства — следствие языческих представлений о загробном мире и культа предков. Величина доли, выделяемой на хмельной напиток (треть), определяется ролью вина и меда в комплексе, составляющем ритуальное веселье при погребении покойников и культе предков в целом[12].

Итак, основные элементы подготовительной к трупосожжению обрядности имеют типологический характер и не дают оснований для заключений о похоронах-свадьбе.

Вопросы возникают в связи с главным актом обрядности — сожжением.

Неясен вопрос с ладьей. Если исходить из текста, знатного покойника сжигают в ладье, принадлежавшей ему при жизни. Однако это находится в противоречии с сообщением о похоронах простолюдинов, а также с этнографическими данными. Археологические материалы сожжения в ладье у восточных славян огра-

---

[10] Ср. обычай класть покойнику в гроб и в могилу излюбленные или необходимые при жизни предметы.

[11] Принципиально сходными явлениями можно считать музыкальный инструмент из кургана под Юрьевом-Польским; обычай класть в гроб рукописные или печатные песеннички, известный у поляков и словенцев.

[12] Ср.: М. Арнаудов. Кукери и русалии. София, 1920; «Стадии върху българските обреди и легенды», ч. II. София, 1924.

ничиваются Гнездовым (находки заклепок Сизовым и Авдусиным[13]), костромским курганом [14] и курганом в Приладожье [15]. Данные о погребениях в лодке и ладьеобразной яме также немногочисленны [16]. Однако сопоставление их с письменными источниками — Житием Бориса и Глеба, Легендой о древлянских послах, с фольклорными и этнографическими материалами — великорусским ряжением, где лодка служит реквизитом при изображении похоронной процессии, моделями лодок как предметом погребального убранства; похоронами в лодке у лужицких сербов; с данными мировоззрения язычников — идеей о путях и способах переправы в иной мир, воззрением на воду как барьер для душ умерших и необходимость для преодоления его изолирующего предмета, склоняет к заключению, что ладья — типологическое явление, имевшее место и у восточных славян. Остается вопрос: хоронили ли знатных покойников в принадлежавших им ладьях или строили специальные, спуская на какое-то время на воду, а перед самым сожжением вытаскивая на берег. Текст склоняет к заключению: покойника сожгли в его ладье вследствие смерти его в пути, в чужой земле. Известно, какое значение придавали язычники приобщению к сонму предков, каким несчастьем считалась смерть на чужбине, как необходимы особые меры, чтобы душа попала к пенатам. Ладья могла служить не только средством в пути, но и опознавательным знаком в царстве мертвых [17]. Могла сыграть роль и тенденция к смене характерного для данной этнической группы способа погребения — сожжения в лодке — погребением в земле.

О снаряжении покойника можно сказать следующее. Сложный парадный наряд представляет собой ритуальный комплекс, не носившийся в таком сочетании («шаровары, гетры, сапоги, куртка, парчовый кафтан с пуговицами из золота, шапка из парчи соболья»). Что это — не обычный для «руссов» костюм, явствует не только из громоздкости и роскоши его, но и описания обычной одежды (абз. 93, стр. 141), основным элементом которой был плащ. Наряд такого типа, по-видимому, был обычен для знатных покойников той эпохи. Это подтверждают фрагменты подобных предметов из Гнездова и Черной Могилы. Параллели, привлеченные Левицким, подкрепляются деталями. В Черной Могиле найдена парчовая шапка. Она была на голове покойника, так как находилась внутри золо-

---

[13] Д. А. Авдусин. Отчет о раскопках Гнездовских курганов в 1949 г. «Материалы по изучению Смоленской области», вып. 2. Смоленск, 1957, стр. 315.

[14] Д. Н. Анучин. О культуре костромских курганов и особенно находимых в них украшениях и религиозных символах. М., 1899, стр. 3.

[15] «История культуры Древней Руси», т. I. М.— Л., 1951, стр. 286—287.

[16] Д. Н. Анучин. Сани, ладьи и кони как принадлежности похоронного обряда. М., 1890, стр. 72—99.

[17] Девушку узнают, например, по вещи, данной ей матерью при жизни (ср.: В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки. Л., 1946).

ченого шлема. В Гнездове обнаружены нити от парчи и остатки золотой ткани. Ложе мертвого «русса» было устлано византийской парчой. На нем был кафтан с золотыми пуговицами. И в Гнездове, и в Черной Могиле обнаружены мелкие золотые и серебряные слитки — остатки драгоценных украшений. Убранство покойника в праздничный наряд встречается у разных славян: у карпатских горцев, для изучения славянской древности представляющих особый интерес, украинцев, болгар и сербов. Новая одежда и предметы убранства покойника — характерный славянский обычай. Важно, что в описании не обнаруживается специальных знаков свадебного наряда. Этнографические материалы свидетельствуют о том, что у всех славян при похоронах холостых они составляют неотъемлемую часть убранства. Характерным знаком являются венцы. В Гнездовском могильнике, в большом кургане, где похоронены мужчина и женщина, обнаружен фрагмент серебряного венчика. Вспомнив свидетельство Масуди: «Холостых женили по смерти»[18], этот факт можно рассматривать как подтверждение, что у древних славян похороны-свадьба носили не только символический характер.

Ароматические растения и травы — обычный атрибут убранства покойника. Что касается «разного рода цветов» (абз. 107) — фразы, вставленной А. Ковалевским в сводный текст из сочинения Амина Рази,— этот аргумент относительно похорон-свадьбы не убедителен. Карпатские горцы кладут покойнику много цветов[19]. При похоронах же холостых свадебным знаком являются специальные цветы или вечнозеленые растения, положенные в определенном месте и определенным образом.

В жертвоприношениях животных также не обнаруживается признаков похорон-свадьбы. Постановка вопроса о них как о приданом необоснованна. Остатки указанных жертвоприношений представлены в славянских археологических материалах, в том числе и в курганах, наиболее близких по характеру погребального обряда к описанию похорон «русса». Неоправданно и стремление Т. Левицкого связать с похоронами-свадьбой жертвоприношение кур. Куриные кости — распространенный предмет в славянских погребениях. Жертвоприношения петухов зафиксированы и в письменных источниках, например в описании Льва Дьякона погребения воинов Святослава под Доростолом. Курица — неотъемлемый элемент свадебной обрядности — не менее тесно связана с обрядностью погребальной. Из славянских материалов можно указать на предвещающие смерть приметы, связанные с кури-

---

[18] А. Я. Гаркави. Сказания мусульманских писателей о славянах и русских. СПб., 1870, стр. 129.

[19] Гнатюк, стр. 300 и др. «Посижіня і забави при мерці в українськім похороннім обряді». Подав З. Кузеля. Записки наукового товариства ім. Шевченка, т. CXXI. Львів, 1914, стр. 173—224; т. CXXII, 1915, стр. 149 и др. (далее — Кузеля).

цей; обычай давать курицу держащему за голову покойника при укладывании его в гроб; особенно показательны пережитки жертвоприношений у карпатских горцев (курицу передают через гроб или могилу) [20] и у сербов (опускают в могилу курицу или хоронят с привязанным на груди петухом [21]); кроме всего прочего, куры составляют один из характерных элементов поминальной еды.

В описании жертвоприношений животных обращает на себя внимание другое: пару лошадей перед закланием долго гоняли. Это — показатель высокой ступени развития обрядности. Хотя характер ритуала и не описан, думается, что в основе его лежат два момента: оказание почести знатному покойнику [22] и пережитки первобытных истязаний жертвы [23].

Стремление как можно торжественнее и богаче обставить похороны свойственно всем славянским народам. Огромная стоимость похорон характерна для карпатских горцев [24]. Существенны детали: изобилие хмельного, раздача через гроб части имущества покойника (сущность обычая как пережитка погребальных жертвоприношений выражают стоящие возле вол, корова или баран с золочеными рогами [25]).

Истоки всех этих действий — в мировоззрении язычников. В основе лежит двойственность восприятия покойника: почитание, стремление, ублаготворив почестями, заручиться покровительством в будущем, ужас перед его вредоносной силой. Следует иметь в виду и мышление по аналогии: чем выше социальное положение покойника, тем шире и могущественнее его влияние на благополучие коллектива живых.

В обрядности важную роль играет «посол смерти» [26]. Смысловое наполнение и функции данного персонажа представляют большой интерес. О наделении его функциями жреца-колдуна говорят обязанности (руководство подготовкой снаряжения покойника, оформляние его одеяния и шатра, жертвоприношение невольницы); внешний вид («старуха-богатырка, здоровенная, мрачная»); этнографические параллели («убирание» покойника специальными лицами, обычно старухами-ворожеями). Положение подтверждается

---

[20] Кузеля, стр. 103—160.

[21] С. Тројановић. Стари словенски погреб. «Српски књижевни гласник», 1901, кн. III, бр. 2, стр. 127—129.

[22] Ср.: «Илиада», песнь XXIII: «...Трижды вкруг тела они долгогривых коней обогнали».

[23] Ср.: Д. Н. Анучин. Сани, ладьи и кони как принадлежности похоронного обряда.

[24] См.: Гнатюк, Кузеля и др.

[25] О золоте как символе загробного мира см.: А. Петровић. Грађа за изучавање наше народне религије. «Гласник етнографског музеја у Београду», кн. XIV, Београд, 1939, стр. 41; В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки.

[26] Определение взято из перевода Дворжака (L. Niederle. Указ. соч., стр. 378). Ср. представление о том, что смерть посылает на землю своих посланцев: T. Mleczko. Świat zmarłych. Lud. We Lwowie, t. VIII, z. I, 1902, str. 50.

наследственной передачей функции «посла смерти»: дочери выступают в качестве ее ближайших помощниц. Этнографической аналогией является наследственная передача функции подготовки покойников к погребению в семье или группе родственников.

Относительно выбора жертвы следует заметить следующее. Он происходит среди невольниц покойника на началах добровольности. Замена жертвы недопустима. С этим связана двойственность функций опекающих ее дочерей «посла смерти» — особый уход и пристальнейшая, гарантированная охрана.

Для понимания круга действ, связанных с жертвоприношением невольницы, существенны открывающие их действа возле сооружения «наподобие обвязки ворот» (абз.110). Основную функцию его раскрывает реконструкция Б. А. Рыбакова [27]. Исходя из нее, можно предположить, что шатры родственников покойника располагались вокруг помоста, образуя «круговое ограждение погребального костра» [28]; сооружение же в виде ворот составляло основную деталь конструкции, определяющую ее смысл. Ремарка — шатры располагались «поодаль от его шалаша» (абз. 108) — свидетельствует о величине окружности, что соответствует размерам кострища в Гнездове и Черной Могиле. Сооружение символизировало вход в царство смерти, а пространство за ним (и шатрами) — потусторонний мир. Ритуальные действа возле него означали первый шаг предназначенной в жертву в загробный мир, начало приобщения к нему. Этим в значительной мере объясняется торжественность и строгая разработанность ритуала. Невольница по подставленным рукам, как по лестнице [29], поднимается над гранью, разделяющей земной и загробный миры, и заглядывает туда, куда нет доступа смертным. Ее действия и монолог подчеркивают наступившую связь с царством смерти, устремление вслед за умершим (абз. 110): «Я вижу своего отца и свою мать... Вот все мои умершие родственники... Вот я вижу своего господина, сидящим в саду, а сад красив, зелен... и вот он зовет меня, так ведите же меня к нему». Представление о прекрасных садах, в которых сидят предки, свойственно славянским воззрениям на рай [30]. Предназначенная в жертву как бы наделялась особыми свойствами: оказавшись над ритуальным сооружением, наделенным магическим содержанием, она обретала способность общения с загробным миром. Она отделилась от окружающих ее людей, приобрела особые, недоступные им свойства, переступила грань сверхъестественного. Трудно опреде-

---

[27] См.: T. Mleczko. Указ. соч., стр. 29—33.

[28] Ср.: коло — средство установления взаимосвязи между предками и живыми (С. Зечевић. Игре нашег посмертног ритуала. «Рад XI конгреса Савеза фольклориста Југославије. Загреб, 1966, стр. 379).

[29] Ср.: «ременные плетения» Жития Константина Муромского, модели лестниц, ставившиеся возле покойника.

[30] Гнатюк, стр. 261, 368 и др.; P. Bogatyrev. Actes magiques, ch. IV. Paris, 1929.

лить, что означают действия с поданной ей курицей. Они наделены сложным функциональным содержанием. Вероятно, связаны они с приобретением сверхъестественных свойств, наделяющих даром общаться с загробным миром: известно, что курица имеет связь с черной магией, а черная магия с подземным царством. Говоря о связи курицы с представлениями о смерти и ее царстве, уместно вспомнить представление об избушке бабы Яги на курьих ножках как заставе на границе двух миров [31]. Для понимания действий с курицей большой интерес представляют данные из погребальной обрядности карпатских горцев и сербов. Действиям невольницы, отрезавшей у курицы голову и швырнувшей ее, аналогичен сербский обычай отрубать курице голову и бросать в могилу или в гроб[32]. Роль курицы разъясняется пережиточной формой жертвоприношений у карпатских горцев (см. выше): «Щоби програбала дорогу души на той світ» [33]. Известную роль играют и распространенные у славян (и других народов Европы) представления о том, что посредством жертвоприношения курицы или петуха нейтрализуются, отвращаются злые силы [34].

Логическим продолжением действий невольницы возле специального сооружения служит снятие с нее браслетов. О символическом смысле действа, предваряющего вступление на погребальную ладью, говорят следующие факты. Браслеты вручаются колдунье — исполнительнице церемониймейстерских и жреческих функций. Значительность акта подчеркивается передачей ножных обручей помощницам колдуньи. В свидетельствах других восточных авторов (например, Ибн-Русте) при описании снаряжения покойников упоминаются и браслеты. Они имеются и в аналогичных погребениях; особенно важны данные Сизова о женском браслете из кургана Гнездово с орнаментом, подобным великорусской вышивке, свидетельствующем не только о местном происхождении, но и о магической функции. Браслеты имели ритуальную и магическую значимость [35]. В сказках среди украшений, способствующих внезапной смерти девушки, браслетов не встречается [36]. Вступив на кострище, обреченная отделяется от обычных людей. Этим диктуется необходимость расстаться с принадлежащими ей при жизни вещами, наделенными магическими функциями.

Снятие браслетов вызывает сомнение в восприятии невольницы в качестве невесты и затем жены. Сомнение в том, что погребение

---

[31] См.: В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки.

[32] С. Тројановић. Указ. соч., стр. 128—129.

[33] Кузеля, стр. 150.

[34] H. Biegeleisen. U kolebki. Przed ołtarzem. Nad mogilą. Lwów, 1929, str. 431; В. Клингер. Животное в античном и современном суеверии. Киев, 1911, стр. 237—238.

[35] Б. А. Рыбаков. Языческая символика русских украшений XII в. «Тезисы докладов советской делегации на I Международном конгрессе славянской археологии». М., 1965, стр. 64—73.

[36] В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки.

представляет собой похороны-свадьбу, вызывает и то, что ее укладывают возле сидящего покойника и умерщвляют в этом положении. Оно красноречиво выражает предназначенность женщины, восприятие ее. Сопоставление Левицкого с покладинами на свадьбе неправомерно. Наложницу укладывают возле сидящего господина. Для предположения об укладывании покойника перед сожжением нет оснований. Сожжение его сидящим на роскошно убранном возвышении соответствует всей обрядности, направленной на оказание всех возможных почестей умершему и подчеркивающей его высокое положение [37].

Славянские этнографические материалы свидетельствуют, что никаких обрядов, следующих после свадебного пиршества, в похоронах-свадьбе не фигурирует. Поминки отчасти воспринимаются как свадебный пир и обставляются в соответствии с этим воззрением. Если бы описанная Фадланом обрядность представляла собой похороны-свадьбу, естественно было бы невесту посадить рядом с покойником.

Сомнение в том, что невольница отправляется на тот свет в качестве жены, вызывает и способ умерщвления. Славяне эпохи позднего язычества жен сжигали или погребали с мужьями заживо, либо перед сожжением душили (свидетельства Масуди, Ибн-Русте и др.). Последнее — явление позднее, свидетельствующее об упадке обычая; смысл его — облегчение смерти. Анализ сложного способа умерщвления на фоне данных о выборе жертвы приводит к заключению, что в данной этнической группе из человеческих жертвоприношений для погребальной обрядности стало характерным жертвоприношение невольницы. В способе жертвоприношения прослеживаются разные наслоения: от пережитков варварских способов — длительных и мучительных — до удушения веревкой. Известную роль сыграла и развитая ступень драматизации обрядности. Вне этого комплекса трудно объяснить функции семерых, участвующих в ритуале, элементы театральности во внешнем оформлении обрядности и действиях основных действующих лиц: двое держат жертву за ноги, двое — за руки, двое постепенно затягивают концы наброшенной на шею петли, огромная старуха, вызывающая ужас и мрачным взглядом, и всем видом, и функциями, многократно повторяет один и тот же жест [38]: с размаху вонзает меж ребер громадный жертвенный нож под оглушительное сопровождение ударов в щиты дубинками.

В рассмотрении характера похорон «русса» центральным является вопрос о ритуальных оргиастических действах. Ключ к пониманию явлений, служивших главным аргументом в заключении о похоронах-свадьбе, дают похоронные игры, зафиксированные в

---

[37] Аналогии относительно сидячего положения покойника в археологических и письменных источниках см.: T. Lewicki. Указ. соч.

[38] По драматической функции его можно рассматривать как устойчивый.

Закарпатье, в Восточной Словакии, Хорватии, а также у угро-финнов (марийцев). Несмотря на то, что к началу XX в. они стали в значительной мере игровым действом, где драматическое оформление идет от народной театральной традиции, смысл их как ритуального действа сохранялся. Об этом говорят пояснение старого гуцула: «У нас се звич від давня, а не кумедія»[39] и обычай расходиться строго и чинно, считать великим грехом шутку или смешок по дороге из дома покойника[40]. Под слоем драматических элементов в играх обнаруживается древний пласт, восходящий к языческим представлениям и обычаям. Так, анализ похоронной игры «лубок» разрешает вопрос о существовании на Украине обычая убивать стариков [41]. Игра генетически связана с этим архаическим обычаем, что явствует из названия и основного действа (сильный удар палкой или крепким жгутом с камнем). На этом примере видно значение похоронных игр как источника изучения языческой погребальной обрядности. Сравнительный анализ закарпатских похоронных игр и описанных Ибн-Фадланом действ позволяют понять их характер, назначение. Для описанной обрядности характерны ритуальные оргии с ярко выраженной эротикой, начинающиеся в период изоляции покойника и достигающие апогея при сидящем в погребальном шатре мертвеце перед его сожжением (абз. 103—104, 108). Компоненты оргии: безудержное, беспробудное пьянство, музыка, сексуальная свобода.

Анализ средневековых письменных источников и материалов XIX—XX вв. приводит к заключению, что ритуальное веселье возле покойников составляет типологическое явление языческой погребальной обрядности. У разных народов, к периоду позднего язычества в особенности, оно приобретает известную специфику, но общими компонентами были хмельное питье, музыка, пение, танцы, игры ряженых, эротическая окраска.

Рудименты ритуального веселья сохранились у современных славянских народов преимущественно в виде ночных бдений в доме покойника. Известные в Польше под названием «pustą noc», они происходят в первую и вторую ночь после смерти. Родственники, соседи, знакомые собираются возле покойника, читают молитвы, поют песни, преимущественно набожные или связанные со смертью, иным миром и т.п., беседуют о покойном, причем разговор постепенно становится оживленным и шумным; у кашубов еще в XX в. пили пиво и водку. Аналогичные собрания известны у лужицких сербов[42].

---

[39] Кузеля, стр. 205.

[40] Гнатюк, стр. 281.

[41] Длительная дискуссия привела к заключению: данные об обычае «вывозить стариков на лубках», «сажать на лубок» следует считать фольклорным сюжетом, заимствованным с Кавказа или у монгольских народов (см.: Х. Вовк. Студії з української етнографії та антропології. Прага [б.г.], стр. 207).

[42] A. Fischer. Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego. Lwów, 1921, str. 206—210.

Более архаические формы сохранились у южных славян. В глухих горных местностях Хорватии они во многом аналогичны прикарпатским «посижіне». Характерно большое стечение народа, шумное веселье, танцы, различные игры, хмельное питье.

Пережитки ритуального веселья возле покойников с хмельным питьем, музыкой, танцами прослеживаются и у неславянских народов Балканского полуострова. Наиболее сходны с прикарпатскими «посижіне» собрания возле покойника у румын[43]. Водка, пение и развлечения — основные элементы ночных собраний возле покойника у литовцев[44]. В Восточной Пруссии аналогичные собрания проходят в пении песен (по песенникам). Архаичны корни обычая Прусской Мазовии: со дня смерти до похорон по вечерам поют возле покойника; при этом для мужчин ставят один бокал, из которого по очереди пьют водку, а для женщин ее наливают в миску, и они черпают из нее одной ложкой.

У немцев собрания возле покойников («Totenwacht», «Leichenwache») разнятся преимущественно характером развлечений (игра в карты, разного рода шутки) [45]. Для понимания идейной основы похоронных игр важны драматизированные сценки-пантомимы, разыгрывавшиеся на общественных собраниях возле покойника в Ирландии [46]: сюжетная основа их строится на теме смерти и чудесного воскресения.

Итак, многолюдные собрания в доме покойника в первую и вторую ночь после смерти с угощением и развлечениями — явление, характерное для славянских и других европейских народов. Формы их разнообразны. При сопоставлении выявляется процесс утраты древнего ритуального содержания и превращения в традицию, лишенную прежнего смыслового наполнения. Важное качество его— аналогии в формах развлечений у разных народов. Формы, характерные для западноевропейских народов, у которых похоронные игры не зафиксированы (повествовательные жанры фольклора с ясно выраженной основной тенденцией — рассмешить; игра в карты), идентичны формам, сменившим похоронные игры в Прикарпатье. Специальный анализ необходим для реконструкции языческой обрядности погребальной и для изучения путей и способов постепенного разложения комплекса средневековой погребальной обрядности, образовавшейся в результате синтеза языческих и христианских действ. Для решения же поставленного вопроса достаточно выявить следы описанных Ибн-Фадланом оргий и понять их сущность и направленность.

Архаические формы похоронных игр зафиксированы у гуцулов, лемков и бойков; они для анализа сообщения Ибн-Фадлана особенно важны. По свидетельству З. Кузели, показавшего себя вдум-

---

[43] Кузеля, стр. 184, 222—224; С. Зечевић. Указ. соч., стр. 378—382.
[44] A. Fischer. Указ. соч., стр. 211—212.
[45] Там же, стр. 207—208; Кузеля, стр. 184—186, 216—224.
[46] A. Fischer. Указ. соч., стр. 213.

чивым наблюдателем, в Западной Украине «посижіне і навіть цілий похоронний обряд не затратили ще веселого, подекуди, особливо в горах, навіть розгульного характеру» [47]. В погребальной обрядности отражается восприятие смерти не как узкосемейного события, а как нарушающего обычное течение деревенской жизни, причем, чем значительнее была личность умершего, тем более широкая округа оказывалась втянутой в орбиту обрядовых действий[48], направленных на нейтрализацию смертоносной силы, исходящей от покойника, предотвращение зла, которое он может причинить в будущем, обеспечение его благорасположения и помощи. Оградительные меры в целом однотипны: выливать воду, простоявшую ночь; не прикасаться к мертвецу правой рукой (ею сеют); не проносить покойника через пашню. Наиболее же ясным выражением восприятия смерти одного из членов сельского коллектива как общественного события являются собрания в доме покойника в первую и вторую ночь после смерти («посижіне», «свічіне»), на которые по обычаю сходится все село. Социальный характер явления, корни которого лежат в мировоззрении язычников, подчеркивает вариативность этих собраний, в значительной мере определяющаяся общественным положением умершего (в дом известного и богатого покойника сходятся и из окрестных селений). Тот факт, что общественные собрания возле покойника в прошлом составляли обязательный компонент славянской погребальной обрядности, подтверждает обычай приходить в дом умершего «попрощаться», «помолиться над покойником», «одвідати мерця» и т. п. всем односельчанам, независимо от степени близости и знакомства.

Для «посижіне» гуцулов (как похорон в целом, начиная с оповещения о смерти) характерна игра на трембитах (иногда и фуярах). Ритуальная музыка была общим элементом общественных собраний возле покойников. У лемков, для которых музыка как элемент похоронной обрядности не характерна, среди похоронных игр распространена была игра «весілля з музиками»[49]. Драматическая форма ее основана на обычной условности внешнего оформления образов и сценического воплощения действия. Главные действующие лица — «скрипач», «цимбалист» и «дудельник». Сюжетная основа: музыкантов просят сыграть, двое-трое парней встают у «комина» и с помощью условного по форме, примитивного реквизита изображают играющий оркестр. Об отражении в игре ритуального явления свидетельствует не только содержание, но и построение мизансцены, позиция актеров (ритуально-магическое значение очага-печи известно и в данном случае не требует особого комментария). Игра представляет собой явление, принципиально аналогич-

---

[47] Кузеля, стр. 201.
[48] См. материалы Гнатюка, Кузели и др.
[49] Гнатюк, стр. 239.

ное игре «лубок»: это — пережиток языческой эпохи, сохранившийся в народной традиции в драматизированной форме. Правомерность заключения, что в похоронных играх в той или иной форме отражаются явления, характерные для языческого погребального комплекса, подтверждается и игрой «горівку пити»[50], на связь которой с обычаем пить хмельное на собраниях возле покойника указывает название. Музыка как элемент похоронной обрядности зафиксирована у украинцев в Киевской губернии[51].

Итак, музыка составляет один из основных элементов погребальных действ оргиастического характера. Функции ее в похоронной обрядности этим не ограничиваются. У гуцулов трембитари участвуют в погребальной процессии; игра на трембите обязательна и на кладбище. Роль музыки в похоронной обрядности восходит к языческому восприятию музыки как могущественного магического средства, а также средства, способствующего экстатическому состоянию.

На «посижіне» полагалось угощение. Состав его варьировался от ужина из нескольких блюд до скромной закуски. Важно, что хмельное питье было на «посижіне» обязательно. В семьях, более стойко придерживающихся традиции, вино подавалось несколько раз в изрядном количестве. Случалось, что хозяин, умирая, в числе прочих распоряжений указывал количество хмельного для его похорон[52]. Хмельное питье составляло один из главных элементов «комашни» («умерлин»), сущность которых составляли жертвоприношения и пир в память умершего перед похоронами.

Для «посижіне» карпатских горцев характерна атмосфера бурного веселья. Основную форму развлечений составляют игры, многочисленные и разнообразные. Во многих из них налицо пережитки сексуальной свободы, сохранившиеся в рудиментарной форме. Для выявления их существенно замечание З. Кузели: «Бавляться у хаті або у хоромах, відповідно от того, чи яка гра вимага темного чи освиченого місця». Для анализа описания похорон «русса» наиболее важно игрище «дед и баба». Хотя в источниках оно фигурирует редко[53], П. Г. Богатыревым установлено, что разные виды его имели широкое распространение. Отсутствие полноценных описаний объясняется прежде всего откровенно эротическим содержанием игрища[54]. Характерная для народных драматизированных игрищ условность сочетается здесь с грубым натурализмом часто нарочито утрированным, причем проявляется он преимущественно

---

[50] Там же, стр. 243.

[51] «Киевская старина», 1890, № 1, стр. 130—132.

[52] Ср. литовский обычай назначать количество бочек пива «для приятелей в селе» (A. Brückner. Starożytna Litwa. Warszawa, 1904, str. 81).

[53] Схематичные упоминания имеются в материалах Гнатюка, Кузели, Сухевича и др.

[54] P. Bogatyrev. Les jeux dans les rites funébres en Russie subcarpathique. «Le monde slave», 1926, № 11, p. 196—224.

в деталях, подчеркивающих эротику. Они очевидны и в костюме, несущем на себе отпечаток гипертрофированных элементов фаллического культа, и в мизансценах, движениях и жестах, имеющих совершенно натуралистический характер, и в содержании, построении, стиле диалогов. Подобно играм «лубок» и «весілля з музиками», отражающим языческие явления, игрище «дед и баба» носит отпечаток сексуальной свободы, характерной для древних похоронных игр. Это подтверждается тем, что элемент эротики присущ закарпатским играм в целом. Независимо от содержания большая часть их заканчивается поцелуями; они содержат двусмысленные реплики и «пікантні жарти», сквернословия, жесты откровенно эротического характера, элементы заголения, свадебную тематику [55]. Эротические элементы, принимающие нередко натуралистическую форму, а подчас доходящие до разнузданности, характерны и для югославянских похоронных игр [56]. Наблюдается эротическая окраска и в похоронных играх марийцев [57], языческие представления и обрядовые действа которых близки славянским.

Ритуальные оргии возле покойников были характерным явлением погребальной обрядности у средневековых славян, а также и у неславянских народов Европы. Из письменных источников VIII—XVI вв. [58] вырисовывается картина многолюдных сборищ вокруг мертвецов, проходивших в виночерпии, пении и плясках, сопровождавшихся языческими мелодиями, играх ряженых и «бесстыдном распутстве». Иллюстрацией может служить воспоминание о языческих похоронах в Житии Константина Муромского: «Где сверения и бесования и горшая согрешения!...» И, наконец, все это находится в соответствии с другими восточными источниками, касающимися славянского средневековья — «Анонимной реляцией» в изложении Аль-Бекри и Ибн-Русте и сочинением Аль Масуди, где говорится о бурных увеселениях при сожжении покойников [59].

Таким образом, рудименты древних похоронных игр у карпатских горцев, ночные собрания возле покойника типа кашубских «pustą noc», чешских «umrlči večer», старинные танцы, связанные с погребальной обрядностью (например, словацкий «mečevy tanec», польский «tanec umarłych», югославянские танцы типа «mrtvačko kolo», «kolo naopak»), свидетельства других восточных авторов и славянских средневековых письменных источников показывают, что описанные Фадланом оргиастические действа составляли важ-

---

[55] Гнатюк, стр. 229, 239, 243, 275—276, 295—296; Кузеля, стр. 130, 146 и др.

[56] С. Зечевиħ. Указ. соч., стр. 378.

[57] Сообщение Акцорина на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук. М., 1964.

[58] Č. Zíbrt. Seznam pover a zvyklostì pohanských z VIII věku. Praha, 1894; он же. Jak se kdy v Čechach tancovalo. Praha, 1960, str. 24—25; 369.

[59] А. Я. Гаркави. Указ. соч., стр. 265; перевод «Анонимной реляции» см.: Т. Левицкий. Указ. соч.

нейший, органический элемент языческой погребальной обрядности, наполненный глубоким ритуальным смыслом. Магическая сущность их и идейная основа заключаются в стремлении противодействовать губительному воздействию смерти на все живое (т. е. прежде всего предохранить урожай, здоровье людей и плодовитость скота от смертоносной силы, исходящей от покойника). О смысловом содержании похоронных игр красноречиво говорят также яйцо как предмет реквизита [60], «коза» как действующее лицо, движения и жесты которого имеют эротическую окраску. Представления о влиянии сексуальных действ (и их имитации) на жизнеспособность, плодородие, урожай, функциональное содержание фаллических игр известны, и в специальном анализе или иллюстрациях нет необходимости. Погребальные оргии—одно из проявлений связей культа предков с аграрными культами. Существенное место в функциональном содержании похоронных игр занимает и установление связи между миром живых и миром мертвых, стремление способствовать приобщению души к сонму предков [61].

Ибн-Фадлан не описывает подробности и детали, но атмосферу ритуальной оргии передает ярко и точно. Естественно, что женщина, обреченная в жертву, оказывается в центре оргиастических действ. Она не только разделяет общее ритуальное веселье. Играют роль и представления о загробном бытии, в силу которых невольница соглашается сопровождать господина в потусторонний мир. Поскольку дело происходило в период позднего язычества, на жертвенвольнице сконцентрированы сложные представления о предназначении и смысле погребальных жертв [62] и о благах, привилегиях (абз. 104—105), которыми они пользуются до жертвоприношения. Кульминация оргии при возвышающемся на погребальном помосте покойнике объясняется как тем, что обрядность вступила в важнейшую фазу, так и тем, что покойник воспринимался как участник разгульного веселья, представлениями о необходимости доставить ему удовольствие, удовлетворить его желания и потребности, аналогичные желаниям и потребностям живых.

Идейные корни общественных собраний возле покойника лежат в культе предков и его связях с аграрными культами, формы же обусловлены представлениями о душе и загробном бытии, прежде всего представлением о том, что душа известное время не покидает землю и находится поблизости от покойника. Покойник все чувствует, знает о происходящем вокруг него. Этим, как и представлением, будто душа умершего не успокоится, если не будет исполнено

---

[60] Гнатюк, стр. 243.

[61] Ср.: С. Зечевић. Указ. соч., стр. 378.

[62] По представлениям славян-язычников, рай был не для всех одинаково доступен: женщина проникает туда лишь через посредство мужчины (ср.: у Масуди: «Женщины их желают своего сожжения для того, чтобы войти с ними в рай»). Имеет значение и очистительная функция погребальных жертв: грехи мертвого очищаются посредством смерти живых существ.

предписанное ритуалом, во многом объясняется устойчивость погребальной обрядности, ее консерватизм и бо́льшая сохранность архаики в сравнении с другими видами обрядности. Покойник мыслится участвующим в собраниях, организуются они в значительной мере для него. В этом убеждают многие факты. Карпатские горцы считают, что «посижінє» собираются «віддати йому остатну прислугу», что «чим більше людей та чим краща забава, тим він щасливійший» [63]. Существовал обычай сажать покойника за стол или в углу [64]. У поляков существует поверье, что на собраниях типа «pustą noc» покойник стоит в уголке возле гроба. Характерно приглашение покойника принять участие в развлечениях, разделить веселье с присутствующими. Оно имеет разные формы—от простой словесной до драматизированной. Представления о покойнике как участнике игр ясно выражены в похоронных играх лемков. Покойника тянут за ноги, призывая встать и позабавиться вместе со всеми. С ним проделывают шутки, обычные для местных похоронных игр, например дергают за волосы и предлагают отгадать, кто это сделал (ср. игры «чесати коні», «лопатки» и др.). Для понимания роли покойника в играх особенно важны: а) действа, означающие попытку рассмешить (например, стебельком чешут в ноздрях, щекочут покойника и т. п.), б) вид похоронных игр, где центральным персонажем является «актер», изображающий умершего, в) тенденция правдиво и точно разыгрывать покойника, уподобляясь его привычкам, манерам, имитируя голос, повторяя излюбленные выражения, жесты, позы, употребляя его вещи, облачившись в его костюм [65], г) обыкновение петь любимые песни покойника [66]. Направленность разговора на общественных собраниях возле покойника — пространные похвалы ему, перечисление достоинств, добрых дел и т. п. Тут заметно соприкосновение с причитаниями, карпатских горцев в особенности: основная тенденция в них — восхваление личных качеств и заслуг покойника, стремление показать невозместимость утраты его для окружающих. С особой очевидностью тенденция эта проявляется в причитаниях по хозяину или по значимому лицу. Для понимания функции причитаний в погребальной обрядности, а также соотношения их с ритуальным весельем важны наблюдения Кузели: «Вони плачуть не з жалю, а для більшого звеличеня небіщика... Тому не голосять по бідних і за бездомними комірниками, а... також за лихими людьми, що зле

---

[63] Кузеля, стр. 180, 186—187, 200.

[64] A. Fischer. Указ. соч., стр. 207. Ср. литовский обычай сажать убранного в белое и обутого покойника на стул или в кресло. Эта аналогия особенно важна для анализа сообщения Ибн-Фадлана о сидящем покойнике, вокруг которого разыгрывается оргия.

[65] Различные виды и формы драматизированного изображения покойника в процессе совершения погребальных обрядов зафиксированы в средневековых славянских письменных источниках (Č. Zíbrt. Jak se kdy v Čechách tancovalo, str. 24); С. Зечевиħ. Указ. соч., стр. 378.

[66] См. указанное выше сообщение Акцорина.

жили або не заслужили похвалу. У гуцулів голосять лиш за таким газдою, що полишив спадки та був добрий і помогав другим»[67] Не менее важна и похоронная игра «діди» [68] (разновидность игрища «дед и баба»): «причеть» «старухи» имеет четко выраженное направление — разносторонние похвалы покойнику.

В связи с ритуальным весельем как компонентом погребальной обрядности встает вопрос о сущности и характере плачей, которые в той или иной форме содержат элементы веселья, шутки в связи со смертью [69]. В упоминаниях, как правило, нет данных о ситуации, и это осложняет решение вопроса, являются ли они произведениями пародийного характера, следствием деградации жанра или рудиментом ритуального веселья.

Таким образом, основные элементы оргии, описанной в источнике, объясняются сложным комплексом представлений о необходимости доставить покойнику максимум удовольствия при проводах его в потусторонний мир, заручиться его благорасположением и покровительством в будущем, обезопасить себя от враждебных действий, возможных в случае его недовольства и, главное, противодействовать губительному воздействию смерти, исходящему от покойника на все живое и угрожающему благополучию данного коллектива. Все элементы имеют сложное смысловое содержание. Так, вино связано с культом предков, а также с представлениями о плодородии [70], т. е. функция его несет отражение связей культа предков с аграрными культами. Не менее сложна функция музыки: это — одно из любимых занятий покойника, средство увеселения, наделенное многогранным магическим содержанием, одно из средств от злых сил, которые, по представлениям язычников, особенно плотно сконцентрированы вокруг покойников и представляют угрозу для души умершего и живых. Функции сексуальных действ еще более сложны и многообразны. Это — также одно из стредств усладить прощальный период пребывания покойника на земле. [71]. Основная же направленность — противостоять губительному воздействию смерти, обеспечить нормальное, обыч-

---

[67] Кузеля, стр. 199.

[68] Там же, стр. 208.

[69] См. «Жартовливі голосіня» в собрании Гнатюка, стр. 361—362; ср. данные о «смешных» плачах, проблесках смеха у плакальщиц у Брюкнера (Указ. соч., стр. 81).

[70] Ср., например, обычай южных славян обливаться на поле вином для предохранения урожая.

[71] По языческим представлениям, одно из самых сильных побуждений умершего вызывается испытываемым им сексуальным голодом (см.: В. Я. Пропп. Исторические корни волшебной сказки; В. Клингер. Указ. соч.; И. Беньковский. Смерть, погребение и загробная жизнь по понятиям и верованию народа. «Киевская старина», 1896, № 54, стр. 261). Представление нашло яркое отражение в балладах о женихе-мертвеце, в многообразных рассказах и быличках о посещениях невест и вдов покойным мужем или женихом.

ное течение жизни — обнаруживает связи культа предков с аграрными культами.

Заключительная часть описанной Ибн-Фадланом обрядности представляет большой интерес для понимания представлений язычников о связи жизни и смерти, о вечном кругообороте жизнь — смерть — жизнь. Наиболее важные действа определяются стремлением к общему благополучию живых, собственно же забота об умершем отходит на второй план. Об этом говорят ритуальный способ зажигания костра (от специального, «живого» огня), ритуальное обнажение ближайшего родственника, ритуальный смех присутствующих. Попытки объяснить обнажение зажигающего погребальный костер и приближение к покойнику спиной стремлением обмануть его, остаться неузнанным [72], односторонни; они не раскрывают сущности, целенаправленности действа. Это побуждение если и имело место, то не было главным. Объяснение происходит из неверного толкования функциональной сущности оргиастических действ в языческой погребальной обрядности. Анализ текста показывает, что главное в действиях ближайшего родственника заключается не в том, чтобы приблизиться к погребальному кострищу спиной, а быть обращенным к живым, не нарушая ритуального заголения. Возможно, что значение наготы как апотропеического средства также могло иметь место, но оно здесь играет второстепенную роль. В столь сложной обрядности, как она предстает из описания (что находится в соответствии с другими источниками относительно эпохи позднего язычества), сколько-нибудь важные действа, а основные — в особенности, несут сложный функциональный комплекс, а для понимания их важно выделить из этих многих функций самую главную. Основная функция ритуального заголения при зажигании погребального костра идентична основной функции сексуальных действ в погребальных оргиях. Итак, назначение этого жеста раскрывается, если иметь в виду, что сексуальные действа, заголение и сквернословие — явления принципиально одного порядка, имеющие общую магическую функцию и известную направленность. К ним примыкает «чрезмерный смех» (абз. 114) при виде бушующего пламени. Магический по своей сущности (основная функция его — утверждение вечного торжества жизни над смертью [73]) смех составляет один из важнейших элементов комплекса, из которого складывается ритуальное веселье в языческой погребальной обрядности. Таким образом, ритуальный хохот при сожжении покойника, как и заголение при зажигании костра, по функции примыкают к похоронным играм в период консервации трупа и при сидящем на кострище покойнике, являясь

---

[72] Ковалевский и др. в таком объяснении исходят из общего положения Фрезера об апотропеическом значении наготы.

[73] В. Я. Пропп. Ритуальный смех в фольклоре. «Ученые записки ЛГУ, серия филологическая», вып. 3, 1939, стр. 154—173; он же. Русские аграрные праздники. Л., 1963.

их логическим завершением и составляя комплекс ритуальных действ, в основе которых лежит стремление противостоять губительному воздействию смерти, содействовать вечному воссозданию жизни.

Оргиастические действа — типологическое явление погребальной обрядности — не могут служить основанием для заключения о похоронах-свадьбе. Идейная основа их и магическая направленность лежат в представлениях язычников о вечном кругообороте жизнь — смерть — жизнь. Форму же определяют взаимосвязи культа предков с аграрными культами.

Цель исследования состояла в выяснении смысла и предназначения компонентов обрядности, не получивших осмысления или истолкованных неверно, и в определении их места в погребальном комплексе. Анализ касался элементов, важных для понимания существа поставленного вопроса. Многие из описанных Ибн-Фадланом действ не рассматривались, хотя их функциональное содержание и представляет интерес для изучения языческой погребальной обрядности (функции жертвоприношений животных, обычай ставить на кургане бревно как проявление связей культа мертвых с культом растительности). Предметом анализа не был и вопрос об этнической принадлежности «русса». Следует заметить, что выявленные аналогии (круг их можно расширить при дальнейшем рассмотрении источника) могут служить дополнительным аргументом в пользу распространенной в науке точки зрения о «руссах»-славянах. Аналогии описанного Ибн-Фадланом обряда с погребальной обрядностью в русских курганах соответствующего периода показаны во многих работах, начиная с Котляревского. После работ Сизова и Рыбакова, доказавших идентичность основного характера древнерусских погребений представителей социальных верхов и описанного Ибн-Фадланом, к установленным археологическим аналогиям могут быть добавлены лишь детали, не имеющие принципиального характера, а дополняющие общую картину, благодаря чему она вырисовывается еще более четко (что в сущности сделано Левицким). Поскольку аналогии с древнеславянской погребальной обрядностью в целом установлены, вопрос об этнической принадлежности погребенного может быть окончательно решен лишь в результате тщательного сравнительного анализа со скандинавскими материалами. Тогда станет ясно, какие элементы принадлежат к типологическим явлениям языческого мировоззрения и обусловленного им обрядового комплекса, и какие детали имеют специфически этнический характер.

В распространении мнения о норманнском характере описанной Ибн-Фадланом обрядности, в среде русских ученых в особенности, существенную роль сыграла известная картина Семирадского. Она воспринимается как художественное воспроизведение источника, в то время как в сущности довольно далека от него и является результатом общего представления художника об языческих похоронах. Достаточно указать на такие детали, как жертво-

приношение младенца (описание их имеет место в других источниках, например в сочинении Льва Дьякона). Изображения языческих идолов перенесены в картину из описанного Ибн-Фадланом святилища. Существенная деталь конструкции — деревянное сооружение в виде больших помостов, на котором установлена ладья, в изображении на картине выглядит как жертвенник (в источнике не упоминающийся). Несоответствия обнаруживаются и в более мелких деталях, например несоответствие височных колец вятичского типа с ножными обручами, характерными для мордвы и не характерными для славянских племен, отмеченное Б. А. Рыбаковым. Специальный анализ мог бы многое добавить к сказанному о противоречиях между описанием Ибн-Фадлана и фантазией художника. Здесь остается добавить главное: композиция картины, ее настроение противоречит анализу описания — вместо оргии изображена картина ужаса, отчаяния и скорби (мрачная жестокость, характерная для норманнских языческих божеств, наложила отпечаток и на обрядность). Элементы оплакивания покойника, выражение скорби о нем, вероятно, входили в ритуал погребения «русса» и имели предназначенное им место как и тризна (трудно предположить, чтобы похороны знатного покойника обошлись без нее), но в описании о них нет упоминаний. Сейчас трудно решить почему — утеряны именно эти фрагменты рукописи или автор остановился на том, что бросилось ему в глаза и казалось наиболее ярким выражением варварства (такое восприятие «руссов» выражено в источнике довольно откровенно).

Специальное исследование сочинения Ибн-Фадлана необходимо для изучения славянского язычества. В таком исследовании анализу фольклорных источников принадлежит существенное значение. Еще Л. Нидерле, завершив фундаментальное исследование по славянской древности, при подведении итогов его во французском издании отмечал, что отсутствие капитального исследования фольклора в аспекте выявления в нем верований и обрядности древних славян затрудняет воссоздание общей картины славянского язычества [74]. Создание такого труда — одна из актуальных задач современной науки. Исследование конкретных явлений обрядового комплекса и связанного с ним народно-поэтического творчества приближает осуществление труда, необходимость которого становится все более ощутимой.

---

[74] Л. Нидерле. Славянские древности. М., 1956, стр. 270.

Б. Н. Путилов

ПРОБЛЕМЫ ЖАНРОВОЙ ТИПОЛОГИИ И СЮЖЕТНЫХ СВЯЗЕЙ В РУССКОМ И ЮЖНОСЛАВЯНСКОМ ЭПОСЕ

1

Эпическое наследие славянских народов становится вновь в последнее время предметом сравнительно-исторического изучения и с этой стороны привлекает к себе пристальное внимание исследователей.

Можно напомнить, что идея славянской эпической общности, будучи обязана своим рождением ранним деятелям славянской фольклористики, получила впервые научное обоснование и конкретную разработку в трудах ученых мифологической школы. Позднее эта идея была подвергнута критическому пересмотру в работах ученых позитивистского направления и миграционистов и постепенно утратила свою привлекательность. Скептицизм в отношении древности эпических жанров у славян, а также возобладавшая тенденция объяснять сюжетные схождения в эпосе славянских народов заимствованием не только основательно расшатали возведенные мифологами концепции истории славянского эпоса, но и в конце концов значительно охладили интерес ученых к общеславянским его (эпоса) проблемам. Попытка М. Халанского собрать возможно более широкий материал, который дал бы картину сюжетных и иных художественных схождений в русской и южнославянской эпике, встретила довольно холодный прием [1]. Сопоставления общеисторического порядка остались почти незамеченными, а из многочисленных сюжетных сопоставлений придирчивая критика сохранила совсем немногое. Дальнейшие поиски параллелей почти прекратились; в сущности для правоверных миграционистов они не представляли особого интереса, поскольку наличия прямого и систематического общения между южнославян-

[1] М. Халанский. Южнославянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса, т. I—IV. Варшава, 1893—1896. Обширный разбор этого труда см.: T. Maretić. Književna obznana... «Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti», knj. CXXXII. Razredi filologijsko-historijski i filosofijsko-juridički, XLVIII. Zagreb, 1897.

скими и русскими певцами доказать было нельзя, а влиянием книги можно было объяснить лишь немногое [2].

Другая сторона межславянской эпической общности, освоенная наукой XIX в., касалась поэтики и поэтического инвентаря эпоса. Как ни скромны были достижения в этой области и как ни далеко было еще до обобщений, сделанные А. Веселовским, Ф. Миклошичем, А. Потебней наблюдения довольно прочно вошли в научный оборот, охотно повторялись, а частично и получали продолжение в работах 20—30-х годов XX в. Характерно при этом, что разрозненные наблюдения и частные сопоставления так и не были собраны и осмыслены с точки зрения общих закономерностей эпической поэтики у славян.

В целом в плане уяснения исторического, национального, художественного содержания эпическое творчество южных и восточных славян изучалось в науке в последние десятилетия вполне самостоятельно, если не сказать — во взаимной изоляции. Правда, идея славянского эпического единства не была полностью забыта, и в ряде работ 20—30-х годов можно встретиться с ее различными отражениями. Однако авторы не шли дальше признания в самой общей и иногда декларативной форме того, что южнославянские и восточнославянские эпические песни могут быть отнесены к одному типу народного эпоса, к одной стадии в развитии эпического творчества и обладают некоторыми общими или сходными качествами и признаками. Такие признания окружались оговорками и предупреждениями о том, что не стоит переоценивать и преувеличивать «общие элементы» в эпосе [3].

Новый этап в изучении межславянских отношений в области эпического творчества обозначился в 40—50-е годы XX в., когда вообще резко возрос интерес к истории славянского фольклора [4].

---

[2] Ср., например: Н. Банашевић. Циклус Марка Краљевића и одјеци француско-талијанске витешке књижевности. Скопље, 1935.

[3] См., например: H. M. u N. K. Chadwick. The Growth of Literature, Vol. II. Cambridge, 1936, p. XI—XIV; p. 85 и др.; D. Subotić. Jugoslav Popular Ballads. Their Origin and Development. Cambridge, 1932, p. 2—3 и др.; Jan de Vries. Heroic Song and Heroic Legend. London, 1963, p. 116—137.

[4] Интерес этот дал себя знать, например, в ряде работ акад. Н. С. Державина. («Племенные и культурные связи болгарского и русского народов». М.—Л., 1944; «Кралевич Марко и Илья Муромец (Палеоэтнологический очерк)», СЭ, VI—VII. М.— Л., 1947). В своих работах он исходил из того, что фольклорное наследие славянских народов содержит многочисленные элементы, которые восходят к культурно-историческому единству эпохи племенной общности славян (и даже более древней эпохи) и отражают единство культурно-стадиального развития этих народов. К началу 50-х годов относятся работы Р. Якобсона: Studies in Comparative Slavic Metric. «Oxford Slavonic Papers», III, 1952; The Serbian Zmaj Ognjeni Vuk and the Russian Vseslav Epos. «Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientale et Slave», t. X. Bruxelle, 1950 (в соавторстве с Г. Ружичичем). Якобсон считает бесплодными попытки опровергнуть древность славянской эпической традиции и говорит о необходимости изучения общеславянских эпических сюжетов, общего мифологического наследия славян, так же как и общеславянской метрики и поэтики.

Для советских фольклористов обращение к сравнительным проблемам, особенно с середины 50-х годов, было связано с общим пересмотром задач и методологии изучения народного эпоса и шире — с методологическими поисками в области исторического изучения фольклорных жанров. Плодотворность применения историко-сравнительной методики на базе марксистской методологии была продемонстрирована в ряде исследований, посвященных эпосу народов СССР. На этом фоне постепенно стало выявляться отставание в сравнительном изучении эпоса славянских народов. Естественно поэтому, что уже на Всесоюзном совещании по вопросам генезиса и истории героического эпоса и исторической песни восточных славян (Киев, 1955 г.) было подчеркнуто, что сравнительное изучение — необходимый и важный элемент исторического изучения эпоса славянских народов, что оно должно быть применено к самым различным аспектам истории, поэтики, общих закономерностей эпического творчества [5].

Важной вехой явился, несомненно, IV Международный съезд славистов (Москва, 1958 г.), который уделил особое внимание проблемам сравнительно-исторического изучения эпоса славянских народов. В ответах на специальные вопросы по фольклористике [6], в докладах, непосредственно посвященных этим проблемам [7], и в научной дискуссии, состоявшейся на съезде [8] и продолженной затем в печати, было указано на большую актуальность сравнительно-исторического исследования эпоса славянских народов; были обсуждены важные методологические аспекты, заново рассмотрены основные проблемы и многие конкретные историко-фольклорные вопросы. Особенно живую полемику, которая не завершена и по сей день, вызвал доклад В. М. Жирмунского [9]. Основная ценность этого доклада и его дискуссионность — в постановке коренных методологических проблем сравнительного изучения эпоса. В. М. Жирмунский четко разграничил аспекты сравнительно-исторического исследования (изучение сопоставительное, историко-типологическое, историко-генетическое, а также изу-

---

[5] См. сборник: «Основные проблемы эпоса восточных славян». М., 1958. Тоже на украинском языке: «Історичний епос східних слов'ян. Збірник праць». Київ, 1958.

[6] См.: «Сборник ответов на вопросы по литературоведению. IV Международный съезд славистов». М., 1958.

[7] В. М. Жирмунский. Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса. М., 1958; П. Г. Богатырев. Некоторые задачи сравнительного изучения эпоса славянских народов. М., 1958.

[8] См.: «IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Проблемы славянского литературоведения, фольклористики и стилистики». М., 1962; «IV Международный съезд славистов. (Выступления по проблемам теории фольклора)». «Русский фольклор. Материалы и исследования», V. М.—Л., 1960.

[9] В переработанном виде вошел в книгу: В. Жирмунский. Народный героический эпос. Сравнительно-исторические очерки. М.— Л., 1962.

чение культурных взаимодействий), показал возможности и значение каждого из этих аспектов, подверг критике традиционные научные представления и методику так называемого компаративизма как в общем плане, так и особенно применительно к изучению эпических произведений славянских народов. Центральное место в докладе заняло рассмотрение обширного круга фактов, относящихся к типологическому сходству в народном эпосе. Докладчик, основываясь на изучении эпического творчества различных народов и исторических эпох, пришел к важному методологическому выводу: «Черты сходства между героическим эпосом разных народов имеют почти всегда типологический характер... Сюжетные схождения южнославянского эпоса с русскими былинами в тех случаях, когда они не имеют типологического характера, относятся к ... позднейшему этапу развития эпоса» — к этапу, на котором «большое распространение получают международные сюжеты новеллистического характера» [10].

Чтобы обосновать фактически тезис о преимущественной роли типологии, В. М. Жирмунский должен был подвергнуть критическому пересмотру установившиеся со времен А. Н. Веселовского представления о том, что независимо могут возникать сходные мотивы, а общность сюжетная предполагает обычно факт заимствования.

Исследователь методологически обосновал тезис, согласно которому историко-типологические схождения выходят за рамки одночленных мотивов и захватывают движение сюжета.

В докладе было также указано на то, что «область историко-типологических аналогий... не ограничивается вообще повествовательными мотивами и сюжетами. Она охватывает все стороны идеологии, образности, жанровой композиции и художественного стиля произведений литературы и фольклора» [11].

Методологическим обоснованием ведущей роли историко-типологического сравнения и его предпосылкой «является единство и закономерность процесса социально-исторического развития, которым обусловлено развитие искусства, в частности литературы как одной из идеологических надстроек, обнаруживающих значительные аналогии (при соответствующих исторически обусловленных различиях) на одинаковых ступенях общественного развития» [12].

Основные положения В. М. Жирмунского получили поддержку и отчасти были развиты в выступлениях И. Н. Голенищева-Кутузова, А. Н. Робинсона, Цв. Романской, Е. М. Мелетинского,

---

[10] В. Жирмунский. Народный героический эпос, стр. 194.

[11] Там же, стр. 9.

[12] В. М. Жирмунский. Сравнительно-историческое изучение фольклора. «Проблемы современной фольклористики (Авторефераты докладов)». Всесоюзное совещание фольклористов. Л., 1958, стр. 29. Ср. также: В. М. Жирмунский. Эпическое творчество славянских народов, стр. 15.

К. В. Чистова, М. Я. Гольберга, Х. Вакарелски, И. М. Шептунова и др.

Идея о типологическом характере общности эпоса славянских народов нашла затем свое продолжение в трудах Е. М. Мелетинского [13], В. Е. Гусева [14], Б. Н. Путилова [15], В. К. Соколовой [16] и др.

Однако дискуссия по проблемам эпической славянской общности продолжается; некоторые принципиальные положения работ В. М. Жирмунского и других советских фольклористов встречают несогласие со стороны славистов, остающихся на позициях более или менее традиционного компаративизма. Характерна в этом смысле рецензия Н. Банашевича на доклад В. М. Жирмунского [17]. Пафос этой рецензии в утверждении большой доли заимствований в народном творчестве, важности и значительности научных задач, вытекающих из признания этой роли. Н. Банашевич не отрицает типологического сходства. Более того, он считает, что не следует противопоставлять один аспект «сравнительно-литературного изучения» другому, что многое зависит здесь от темы. Но он отдает решительное предпочтение исследовательской работе миграционистского направления, которая, с его точки зрения, «намного более трудное дело, так как в таких исследованиях число проблем для решения много выше, чем когда устанавливаются и объясняются «типологические сходства» [18]. В последних словах Н. Банашевич допускает явную несправедливость по отношению к типологической методике. Число и сложность проблем, с которыми она встречается, ничуть не меньше, чем у миграционистов. Установление типологического сходства и объяснение такого сходства сами по себе не составляют цели исследования, они — лишь методическая основа для выяснения обширного круга историко-фольклорных проблем, лишь один из способов установления таких связей и закономерностей генетического порядка, открытия таких загадок эпоса, к которым методика заимствования просто даже не может подступиться. Признание решающей роли типологической общности не только открывает перед исследователем неообычайно

---

[13] Е. М. Мелетинский. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники. М., 1963.

[14] В. Е. Гусев. Партизанская народная поэзия в годы второй мировой войны. «История, фольклор, искусство славянских народов. V Международный съезд славистов». М., 1963.

[15] Б. Н. Путилов. Славянская историческая балладa. М.— Л., 1965; он же. К вопросу об отношениях эпического творчества славян и народов Юго-Восточной Европы. «Первый конгресс балканских исследований». М., 1966.

[16] В. К. Соколова. О некоторых закономерностях развития историко-песенного фольклора славянских народов. «История, фольклор, искусство славянских народов».

[17] «Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор», књ. XXV, св. 3-4. Београд, 1959.

[18] Там же, стр. 297, 298.

заманчивые перспективы, но и ставит перед ним проблемы исключительной научной сложности, не говоря уже о том, что оно требует проработки необходимой массы материала — и не только собственно фольклорного, но и этнографического, исторического, литературного и иного. Поэтому намеки на то, что типологическая методика «облегчает» ученому работу и «освобождает» его от многих забот, могут быть восприняты лишь как нежелание увидеть истинное положение дел.

В действительности все обстоит по-иному. Начать с того, что ни методика заимствования, ни методика типологической общности сами по себе не обладают только положительными или только отрицательными качествами в научном и общественном плане. Все здесь в конечном счете определяется общей методологией и реальными результатами исследования. Нельзя также не видеть того, что теория типологии в области фольклора не только не снимает проблемы заимствования, но и дает этой проблеме реальную историческую основу; лишая миграционистов права на универсальные ответы по истории эпоса, она вводит методику заимствования в строгие научные рамки.

Нельзя не признать, что в области эпического творчества славян теория заимствования не смогла удовлетворительно объяснить фактов общности и вынуждена была расстаться с претензиями на сколько-нибудь значительные обобщения, так что многочисленные работы последних десятилетий свелись к частным, не имевшим настоящей перспективы наблюдениям. В сущности говоря, современные миграционисты вынуждены ограничивать фактическую базу своих разысканий, так как, по меткому выражению И. Н. Голенищева-Кутузова, вовлекаемая в наши дни в поле зрения ученых масса материала по эпосу разных народов и эпох «приводит к абсурду саму проблему заимствований по крайней мере в ее постановке «классическим компаративизмом» прошлого века» [19].

Существенным недостатком современного миграционизма, подрывающим значение проводимых исследований, является то обстоятельство, что факты заимствования, собственно говоря, постулируются, а не доказываются всякий раз заново. Для утверждений о заимствовании оказывается достаточным простое установление определенной степени сюжетной и иной близости: современные миграционисты все еще не могут признать тот очевидный факт, что поразительное подчас сходство в масштабах отдельных сюжетов, типов, целых жанровых разновидностей есть результат специфических закономерностей фольклорного творчества, никак не укладывающихся в рамки миграции. Задача науки состоит в том, чтобы открывать эти закономерности, а не игнорировать их.

Типологическая теория на нынешнем ее этапе заключает немало нерешенных и невыясненных проблем, ряд вопросов даже просто

---

[19] «IV Международный съезд славистов», стр. 43, 44.

еще не поставлен, ряд положений требует дальнейшего углубления и обоснования. Укажу на некоторые из таких вопросов, имеющих непосредственное отношение к интересующей нас теме. Говоря об общих условиях типологических схождений в фольклоре, недостаточно подчеркивали важную роль фольклорных традиций, в создании, развитии и использовании которых проявляется единство художественных процессов народного творчества. Между тем для возникновения в фольклоре разных народов и разных эпох типологически общих, т. е. генетически друг от друга не зависимых явлений, совершенно обязательно наличие типологически сходных художественных традиций — в жанровых системах, в сюжетном арсенале, в поэтике и образности. Вне таких традиций возможны лишь совпадения, случайные параллели. Типологическая общность в широких художественных границах складывается на основе закона художественной преемственности фольклора. Этот закон теория заимствования по существу игнорирует.

Типологическая теория призвана не просто устанавливать и объяснять факты общности эпоса разных народов, но освещать историко-фольклорный процесс в эпическом творчестве, где различные проявления межнационального сходства или близости — результат вполне закономерного развития. Сходство сигнализирует о том, что данное явление (сюжет, образ и т. д.) — есть историческое звено в развитии эпоса в масштабах межнациональных. Оно может быть понято лишь в связи с аналогичными явлениями и само может послужить их объяснению. Особенно это важно, когда мы имеем дело с так называемыми общеэпическими темами. Народный эпос национален по своему характеру, но своеобразие его художественной системы и его истории требует (наряду с изучением собственно национальных связей) постоянного соотнесения его с эпосом других народов, только в этом случае он предстанет в реальной сложности своего содержания и в реальном историческом движении. Каждый народ вносит свое в разработку и в развитие общеэпических тем, не повторяясь, но следуя некоторым общим закономерностям. В итоге появляются как бы параллельные разработки общих тем, но поскольку разработка идет в рамках национального творчества, обусловливается конкретной действительностью и происходит в разное время и в различных исторических условиях, то в результате мы имеем дело не с параллелизмом, а с типологической преемственностью.

Отсюда одно из требований типологической методики — изучать разнообразные связи и соответствия в эпосе не в статическом состоянии и не разрозненно, а в динамике, в исторически закономерном движении сюжетных тем, образов, идей, в их перспективе.

Специальный интерес представляет изучение в сравнительно-типологическом плане эпоса народов, которые характеризуются общностью происхождения и языковым родством. Чрезвычайно важно установить, как закономерности типологического порядка

действуют здесь в условиях родства, а вместе с тем увлекательна и другая задача — с помощью сравнительно-типологического анализа попытаться восстановить те элементы в эпосе отдельных народов, которые восходят к эпохе единства.

Есть и еще один существенный довод в пользу сравнительного изучения эпического творчества славян. По общему признанию, оно отражает один большой этап в развитии народного эпоса — это героический «исторический» эпос эпохи развитого феодализма. Конечно, такая суммарная характеристика требует основательной проверки, уточнений, дифференциации, но она в общем верна и достаточно обосновывает возможность изучения эпоса славян как целого.

Исследование эпоса «одностадиального» открывает возможности для глубокого и конкретного выявления его принципиальных особенностей, национальной специфики и общих — «стадиальных» — исторических, эстетических качеств, связей с предшествующими стадиями, позднейших судеб и т. д.

2

В работах последних лет можно встретить сопоставительные — в общежанровом плане — характеристики былин и юнацких песен, по существу типологические, как бы ни оценивали их сами исследователи. Здесь речь идет о таких принципиальных вопросах, как характер отношений эпических героев к реальной истории, соотношение архаической традиции и исторического субстрата, эпическая форма, творческая роль певцов, поздние судьбы эпоса и др.[20]

Отдельные наблюдения и соображения исследователей безусловно интересны, иные из них могут быть признаны убедительными, другие — рассматриваться как рабочие гипотезы, подлежащие проверке и углублению. Есть, однако, один недостаток, существенно ограничивающий ценность этих сопоставлений: они основываются на неких суммарных понятиях о жанровых свойствах русского и южнославянского эпоса, составляющих устойчивую доминанту. Однако разговор о былинах «вообще» и юнацких песнях «вообще», как о чем-то вполне едином и определенном, обладающем суммой «средних» признаков, представляется мне малопродуктивным: характеристики такого рода слишком схематичны и бесплотны, выводы приложимы лишь к какой-то части материала, хотя сделаны с расчетом на широкие обобщения.

Вопрос о жанровой типологии южнославянского и восточно-

---

[20] См., например: Н. И. Кравцов. Историко-сравнительное изучение эпоса славянских народов. «Основные проблемы эпоса восточных славян». М., 1958; он же. Итоги и задачи изучения фольклора западных и южных славян. «Актуальные проблемы славяноведения. Материалы первого координационного совещания по актуальным проблемам славяноведения». М., 1961; Е. М. Мелетинский. Происхождение героического эпоса. Ранние формы и архаические памятники; C. M. Bowra. Heroic Poetry. London, 1961.

славянского эпоса требует рассмотрения не суммарного, не абстрактно-обобщенного, но вполне конкретного. Для этого необходимо обратиться к сравнительному изучению эпоса в многообразии известных форм, художественных систем, исторически сложившихся типов.

Чтобы общие характеристики приобрели заметную содержательность, они должны быть первоначально выработаны на уровне тех типов, которые в совокупности составляют жанровое единство и в которых отражаются сложные пути формирования эпоса как национального целого. Отсюда возникает потребность в жанровой дифференциации материалов, которая основывалась бы на типологических признаках. Традиционная классификация былин и юнацких песен по циклам, историческим периодам, темам и т. д. для наших целей не подходит, поскольку она учитывает признаки, для эпоса вторичные, часто внешние, типологически мало сопоставимые. Опорными, с моей точки зрения, являются характер и своеобразие эпической действительности (эпический мир) и эпических героев, уровень историзма, характер эпической эстетики, отношение к традиции.

Типологическая классификация есть вместе с тем и классификация историческая — с одним существенным уточнением: она не вполне совпадает с реальной историей эпоса, поскольку различные типы эпоса, являясь в народном творчестве в порядке исторической преемственности, в то же время не отменяют механически и не поглощают друг друга, но существуют и могут развиваться в пределах одного исторического времени. Пока процесс эпического творчества остается живым, до тех пор ни один тип эпоса не может считаться окончательно завершившим свой путь развития.

Предлагая опыт типологической классификации, я хотел бы сделать несколько оговорок. Прежде всего нетрудно заметить, что не весь материал — в полном его сюжетном составе — располагается по соответствующим рубрикам: живой творческий процесс неизменно оказывается богаче и сложнее классификационных рубрик, он знает противоречия, переходные явления и т. п. Поэтому неполное соответствие предлагаемой классификации почти безбрежному эпическому материалу меня не смущает: достаточно, если такое соответствие достигнуто в основной его части.

Другая оговорка имеет терминологический характер. Наименования типов носят, конечно, условный характер, они могли бы быть и другими. У разных исследователей с понятиями «сказочный», «героический», «легендарный», «исторический», «балладный» связаны свои представления. Есть они и у автора доклада. Мне меньше всего хотелось бы вызвать дискуссию вокруг самих этих понятий. Ведь дело в конечном счете в характеристиках эпических типов, в принципах их выделения, а не в названиях.

И последняя оговорка, имеющая для автора особое значение. В настоящем докладе, как и в некоторых других своих работах,

я постоянно применяю термин «южнославянский эпос». В последнее время вновь оживленно обсуждаются вопросы о национальной дифференциации южнославянского эпоса, о границах такой дифференциации, о характерных особенностях эпического творчества отдельных народов.

Изучение эпики южных славян в этом плане, безусловно, важно и может стать — при определенных условиях — плодотворным. Возможно, что когда эти вопросы будут разработаны с достаточной обстоятельностью, результаты их разработки окажут воздействие на изучение ряда общежанровых проблем.

Автор учитывает обязательную необходимость считаться с национальной дифференциацией и национальной спецификой эпики южных славян и в то же время полагает, что понятие «южнославянский эпос» в научном смысле вполне обоснованно и обладает своим значительным содержанием.

* * *

Былины и юнацкие песни справедливо относят в основной их массе к эпосу историческому. Правда, самое понимание историчности эпоса в науке не отличается единством. Нередко ее истолковывают как соответствие летописной истории, что не подтверждается фактически — во всяком случае для подавляющей части материала.

Историчность эпоса — понятие неизмеримо более широкое и емкое и вместе с тем более сложное и динамичное. Следует говорить о различных типах и стадиях эпического историзма, к которым критерий хроникальности не всегда приложим.

Качественные особенности историзма обнаруживают себя в характере основных коллизий, в трактовке героизма, в составе действующих лиц, в изображении эпического фона. Историзм и эстетика слиты воедино. Поэтому в основу определения жанровых типов эпических песен мною берутся именно особенности их историзма.

Типы эти следующие:

1. Сказочно-исторические былины и юнацкие песни.
2. Героико-исторические былины и юнацкие песни.
3. Легендарно-историческая эпика.
4. Реально-исторические песни.
5. Баллады.
6. Пародии, небылицы.
7. Былины и песни сказочного и литературного — вторичного — происхождения.

Прежде чем рассмотреть все эти типы более подробно, хочу заметить, что конкретные произведения во многих случаях не дают «чистого» соответствия типу, в них часто можно обнаружить переходные черты. Это вполне естественно, ибо эпос — явление вечно движущееся и меняющееся во всех своих элементах. Любому

эпическому произведению свойственны наряду с основной доминантой различные отклонения, следы иных типологических систем, более ранних или более поздних. Такая неопределенность в иных случаях затрудняет отнесение эпических песен к тому или другому типу, порождает спорные случаи. Дело здесь, однако, не в недостатках классификационной схемы, но в том, что перед нами живой художественный процесс, а любые схемы могут зафиксировать лишь какие-то центральные его точки.

1. Сказочно-исторические былины и юнацкие песни. Их можно было бы также назвать фантастико-историческими. В произведениях этого типа есть множество — вполне органичных для них — мотивов, образов, коллизий сказочного характера. Возможно, что некоторые из этих произведений испытали влияние сказок, однако в своей основной массе весь этот материал должен быть возведен не к сказочной, а к более ранней эпической традиции. Поэтому определение «сказочный» в данном случае не несет генетического смысла, оно просто указывает на своеобразное художественное качество эпических песен и имеет несколько условный оттенок.

Основное содержание песен этого типа — борьба эпических героев с фантастическими или полуфантастическими существами. Сами эти существа лишь в редких случаях сохраняют непосредственные связи с мифологией (вилы, некоторые змеи, например, змей-хранитель воды), чаще в них соединены черты архаических чудовищ с чертами исторических врагов — насильников, чужеземных захватчиков, угнетателей народа. Гибридный, переходный характер этих персонажей проявляется в том, как изображаются их внешность, свойства и возможности, их враждебная деятельность. По степени удаленности от архаических прототипов и по интенсивности историзации эпические персонажи неоднородны, каждый из них отражает определенный этап в этом закономерном процессе.

Сравнительно-историческое изучение былин и юнацких песен этого типа может представить очень большой интерес для выявления той ближайшей эпической традиции, которая им предшествовала и их питала, и для уяснения некоторых закономерностей формирования исторического эпоса и характеристики его ранних этапов. Такое изучение могло бы быть осуществлено вначале в объеме «параллельных» циклов и сюжетов. Параллелизм в некоторых случаях не вызывает сомнений, например: в русском эпосе — былины «Добрыня и Змей», «Илья Муромец и идолище», «Алеша Попович и змей Тугарин», змееборческие мотивы в былинах «Добрыня и Маринка», «Михайло Потык»; в южнославянском эпосе — многочисленные песни о борьбе юнака со змеем, с арапином. Другая параллель: «Илья Муромец и Соловей Разбойник» и «Марко Кралевич и Муса Кеседжия» или юнацкие песни о женитьбе на виле и соответствующий мотив в былине «Михайло Потык».

Относительно некоторых произведений первого типа параллелизм должен быть еще доказан и тщательно исследован: таковы, например, южнославянские песни о юнаках и великанше и мотивы былин о женитьбе Дуная и Добрыни, а также былины о Святогоре.

В сказочно-историческом эпосе немало таких художественных особенностей, мотивов, представлений, которые могут рассматриваться как следы эпоса раннего типа. Этот тип в славянской эпике, по-видимому, не отражен ни в одном произведении целиком, историзация захватила ее очень сильно. Тем не менее представляется возможным реконструировать существенные особенности и многие подробности эпики «доисторической» и тем самым вплотную приблизиться к уяснению проблем генезиса древнеславянской эпической поэзии.

2. Героико-исторические былины и юнацкие песни. Вполне вероятно, что тип этот представлен наибольшим числом произведений и наиболее характерен для эпики южнославянской и особенно русской.

Историческое начало в произведениях этого типа выражено с большей отчетливостью. Место полуфантастических чудовищ занимают вполне исторические враги — татарские, турецкие, другие чужеземные поработители, цари, султаны, визири и т. д. Большинство персонажей в произведениях этого типа не соотносится еще с летописными лицами, хотя элементы документальности (чаще внешние) и могут быть обнаружены. Персонажи эти принадлежат к ряду значительных художественных обобщений. Исторический характер имеют и сквозная тема эпических песен, и их основные коллизии, они могут быть соотнесены с исторически реальными эпохами народной жизни — татарским нашествием, татарским игом и его ликвидацией, с завоеванием южнославянских земель турками. В содержании песен немало мотивов и подробностей, которые получают свое разъяснение в свете исторических данных.

При всем том перед нами произведения, которые никак не могут рассматриваться как отклик на конкретные исторические события. Они не воспроизводят действительных событий и не строятся на основе их канвы. Песни эти дают своеобразную эпическую модель мира, никогда в действительности как целое не существовавшего. Национальное героическое прошлое поэтически конструируется вместе с соответствующими социальными, бытовыми, семейными отношениями и институтами, моралью, идеалами, человеческими типами и т. д. Конкретный исторический материал здесь переплавлен и, не являясь сюжетообразующим, подчинен общим художественным задачам. Реальный исторический опыт поколений соотнесен с идеальными и иллюзорными подчас представлениями. Многое в эпической модели прошлого создано на основе предшествующих художественных тра-

диций эпоса и может быть по-настоящему понято лишь при учете этих традиционных связей. Особенно велика и очевидна их роль в сюжетосложении и в создании образов, не говоря уже о более узких сферах поэтики.

Характерная особенность эпических песен второго типа — почти полное отсутствие фантастического элемента. Вместе с тем очень существенна роль гиперболы: условность ситуаций и мотивировок, недостоверность (в житейском и историческом плане), второй сюжетный план и недосказанность составляют в совокупности основу эпической эстетики.

Любопытно отметить, что герои эпических песен второго типа — богатыри, юнаки принципиально мало чем отличаются от героев сказочно-исторических песен: в ряде случаев это одни и те же персонажи (например, Илья Муромец или Марко Кралевич) с их постоянными характеристиками и повторяющимися биографическими подробностями. В других случаях персонажи разные, но их трудно разграничить типологически. Остается пока открытым вопрос, как объяснить это единство: или как результат определяющего воздействия традиций сказочно-исторических песен, или как следствие длительного развития эпоса и некоторой нивелировки различий между отдельными типами.

Героико-исторические песни могут быть подразделены по их типологическим особенностям на несколько групп или подтипов.

а) Песни о столкновении героя (богатыря, юнака) с вражеским богатырем. По-видимому, вражеский богатырь приходит в эпосе на смену чудовищу. Во всяком случае есть немало фактов, показывающих, как происходит антропоморфизация и историзация архаических и фантастических образов. В песнях рассматриваемого типа враги получают подчас довольно четкие социально-исторические черты: это феодалы турецких времен, приближенные султана, князья, чужеземные «нахвальщики». Исследователи идентифицируют некоторых персонажей с историческими лицами. В приводимой аргументации обычно немало натяжек и уязвимых мест, однако можно допустить, что биографии реальных лиц отдельными своими чертами отразились в песнях.

Южнославянский эпос знает множество сюжетов такого типа. Среди них: «Марко Кралевич и Мина из Костура», «Марко Кралевич и Алил-ага», «Марко Кралевич и Бан Свилаин», «Марко и Янко Сибинянин», «Марко и Янко из Косова», «Марко и Дете из Дукатина», «Марко и Желтый Базиргян», «Марко и Филип Мадьяр». В сюжетных коллизиях, достаточно условных, отражены реальные конфликты эпохи, главным образом турецкого порабощения: беззащитность перед самоуправством турецких захватчиков и их союзников и вассалов, нападения на мирных жителей, увод пленных, насилия и т. д. Типы эпических врагов воплощают спесивость поработителей, сознание ими своей безнаказанности, уверенность в своих силах. Алил-ага, бан Свилаин, Янко Сиби-

нянин, Филип Мадьяр хвастают своей непобедимостью, вызывают Марка и других юнаков на поединок, выставляют унизительные требования и т. д. В ряде песен конфликт основан на том, что враг (Мина, Гина, Янко из Косова) уводит жену Марка. В сюжеты ряда песен вплетаются эпизоды полона. Песни неизменно заканчиваются победой юнака и посрамлением либо уничтожением врага. Победный финал столь же характерен для этих песен, как и для песен сказочно-исторических. Здесь еще полностью сказывается традиционная эпическая психология и эпическая эстетика.

В русском эпосе песен этого подтипа мало, здесь они почему-то не получили развития. Можно назвать в качестве характерного образца былину «Илья Муромец и сын», в которой следы архаические очень отчетливы, но в то же время легко обнаруживаются собственно героико-исторические мотивы. Другая былина этого же подтипа — «Козарин». Характерно, что и в ней соединились мотивы героико-исторические (освобождение девушки, захваченной татарами) с архаическими (предназначенный инцест). В сюжетном плане «Козарин» соотносится с целым циклом юнацкого эпоса, но характерно, что типологическое соответствие здесь не столь очевидно: юнацкий эпос знает разработки этого сюжета на уровне других типов.

б) Песни о борьбе героя с вражеским нашествием. Этот подтип является основным для русского эпоса. В его распространении решающую роль сыграло, по-видимому, то обстоятельство, что русский эпос рано стал проникаться идеями государственности, которые многое определили и в характере его историзма. Мотивы патриотизма, оборонительный пафос, идеи защиты родины получили наиболее полное для эпоса выражение именно в былинах этого подтипа. Сюда относятся: «Илья Муромец и Калин-царь», «Василий и Батыга», «Мамаево побоище», «Сухман», «Данило Игнатьевич и сын», «Суровец-Суздалец», «Братья Дородовичи», «Саул Леванидович», «Наезд литовцев» и некоторые другие.

Попытки идентифицировать сюжеты этих былин с летописными событиями, а персонажей — с историческими лицами успеха не имели. С одной стороны, в былинах этих на эпический манер обобщены повторявшиеся ситуации и коллизии: вражеские нашествия, осада городов, ультиматумы, бессилие князей, трусость и измена их окружения, дань и т. д. С другой стороны, исторические коллизии не просто эпически обобщаются, переносятся в эпическое время и в эпическую обстановку, но и получают чисто эпическое разрешение. Богатыри с их подвигами, очищающие Русь от вражеского нашествия,— это грандиозное порождение фантазии народа, который сконцентрировал в них понятия о своих силах и возможностях, свой предшествующий опыт и свои идеалы.

Как ни странно, на первый взгляд, в южнославянской эпике ярких типологических соответствий этим былинам в сущности нет. Тематически родственные песни (например, косовский цикл)

принадлежат к другим типам, с нашими былинами они соотносятся лишь отдельными мотивами и подробностями.

Лишь частично могут быть сближены с русской эпикой данного подтипа песни: «Банович Страхиня», «Сулейман и Секула», «Свилоевич и турки», «Зринский бан Никола мстит за своего слугу Радовоя» и некоторые другие. Здесь также событиям, связанным с приходом врагов, приданы эпические очертания, и развязки получают эпический характер. Однако в южнославянских песнях нет постоянного эпического центра или лица, вокруг которого сосредоточиваются события (подобно Киеву и князю Владимиру).

в) В южнославянской эпике получил интересное развитие другой подтип — песни о столкновениях юнака с турками. Главная особенность этих песен та, что события в них совершаются в условиях иноземного ига. Герои живут и действуют в окружении турок, находятся с ними в постоянном соприкосновении, оказываются у них на службе и т. д. Бытовые обстоятельства составляют фон, на котором развиваются сюжеты, само иго предстает как тяжкая, но обычная повседневность. Эпос, однако, не смиряется с этой повседневностью.

Драматические коллизии почти неизменно разрешаются в песнях торжеством юнацкой силы, воплощающей народную справедливость. Здесь могут быть названы песни: «Марко Кралевич и царь Сулейман», «Марко пьет в рамазан вино», «Марко и царская казна», «Марко на охоте с турками», «Марко на пахоте», «Марко освобождает брата Андрея», «Иво Сенянин и паша», «Юра из Инчака и Мустайбег», «Пастух и турки». Обычны для этих песен мотивы богатырских поединков, часто юнак выступает один против массы турок. В некоторых этих песнях силен новеллистический и сатирический элемент.

Характерно, что в русском эпосе произведений этого подтипа в сущности нет. Эпос как бы игнорировал факт татарского ига, и лишь в песнях иных жанровых систем улавливаются мотивы, связанные с бытовыми проявлениями ига.

г) Песни о состязаниях героев и их противников в силе, ловкости, уме. Мотивы состязаний встречаются уже в архаических песнях, однако именно в эпосе героико-историческом складывается типологически относительно цельная группа песен, в которых эти мотивы становятся сюжетообразующими, а сама тема состязаний приобретает довольно острый патриотический или социальный смысл. Эпический герой (или героиня) показывает свое превосходство (а вместе с тем и превосходство тех общественных сил, которые он представляет) над чужеземным нахвальщиком, поработителем, царем или каким-то другим именитым лицом; враждебные народу силы терпят нравственное поражение, оказываются посрамленными и осмеянными.

В русском эпосе к данному подтипу относятся былины: «Ставр Годинович», «Иван — Гостиный сын», «Дюк Степанович», «Глеб

Володьевич», «Вавило и скоморохи», С этим же подтипом соотносится отчасти былина о Василии Казимировиче.

В южнославянской эпике сюда можно отнести: «Заклад Марка Кралевича», «Сестра Марка Кралевича и царь», «Девушка-воин», «Радко Каурин и его жена Видосава», «Сестра освобождает братьев Якшичей», «Девушка-Загорка и турок», «Трубка Марка Кралевича», «Новак — первый юнак». В сюжеты о состязаниях нередко вплетаются мотивы воинских столкновений: герой сначала доказывает свое превосходство, обманывает противника, выполняет трудные задачи, а затем убивает его («Божо Рашкович и сестра», «Жена Степана Аршича» и др.).

д) Песни о сватовстве. Сватовство — одна из самых популярных и самых древних тем народного эпоса. В эпическом творчестве славянских народов песни о сватовстве не составляют типологического целого и должны быть распределены по различным группам. Во многих из них отчетливо ощутимы архаические следы: например, в южнославянских песнях тема сватовства тесно связана с темой змееборства.

К героико-историческим, эпическим песням может быть отнесена значительная часть произведений как русского, так и южнославянского фольклора.

Былины о сватовстве несут на себе тот же характерный отпечаток эпического историзма, что и былины киевского цикла вообще. В содержание этих былин естественно вплетаются мотивы службы богатырей князю Владимиру, походов в соседние земли и княжества за невестой, вооруженных столкновений богатырей с татарами и с «литвой», вражеских наездов и похищений женщин. Исследователи вскрыли в этих былинах значительный архаический пласт. Однако как целое эти произведения принадлежат уже не доисторической архаике, а эпической истории. Здесь могут быть названы: «Дунай», «Иван Годинович», «Соловей Будимирович», «Хотен», «Идолище сватается за племянницу Владимира», «Соломан и Василий Окулович». Южнославянский материал огромен и с трудом подлежит учету: типовые схемы эпического сватовства многократно были повторены применительно к различным эпическим персонажам. Следует заметить также разнообразие исторических применений темы сватовства и большую долю в песнях романического элемента. Обычны для южнославянских песен о сватовстве мотивы соперничества женихов, борьбы с вероломным тестем, преодоления женихом (с помощью деверя и сватов) различных препятствий, спасения от погони, засады, столкновения с неверным кумом и т. д. Назову здесь: «Женитьба Бановича Степана», «Женитьба Илии Смилянича», «Женитьба Янка Сибинянина», «Женитьба Тодора Якшича», «Женитьба Змея-деспота Вука», «Женитьба Маркова племянника», «Женитьба Мато Стремца», многочисленные сюжеты о женитьбе Марка Кралевича.

3. Легендарно-историческая эпика. Сюда должны быть отне-

сены эпические произведения по совокупности некоторых существенных признаков. Во-первых, герои их — это действительные исторические лица, а не вымышленные персонажи, по тем или иным причинам получившие иногда исторические имена; например, во всех названных выше песнях Марко Кралевич — эпический герой, а не историческая личность, даже если учесть, что от исторического Марка у него имя и некоторые подробности биографии. Есть, однако, песни, которые можно рассматривать как произведения о Марке Кралевиче — македонском владетеле, сыне короля Вукашина. Второй признак — в сюжетах таких песен есть легендарное зерно, смысл их — в изложении какой-нибудь политической или религиозно-политической легенды. Эпическая легенда не повторяет хронику и часто даже не соотносится с ней, но зато она так или иначе соотносится с характером исторического лица, как он был осознан народом.

Легендарно-историческая эпика обращается к реальному, а не эпическому времени, но извлекает отсюда для себя не столько реальные факты, сколько легенду.

В южнославянском эпическом творчестве данный тип занимает заметное место, особенно потому, что касается таких моментов национальной истории, которые являются важными вехами, например, в истории сербской или македонской. Легендарно-историческими являются знаменитые песни: «Святой Савва», «Смерть Душана», «Урош и Мрлявчевичи», «Построение Раваницы», «Милош у латинян», «Крылатый Реля и Змай из Ястреба», «Выбор Матияша Будимским королем», «Марко Кралевич и святое воскресенье», «Построение Скадра», «Душан хочет взять сестру», «Марко Кралевич и три предсказательницы», «Смерть Марка Кралевича».

Русские былины этого типа не знают и, полагаю, не знали. Попытки ученых реконструировать отдельные исторические сюжеты, которые якобы предшествовали известным нам былинам, нельзя признать основательными. С моей точки зрения, неприемлема исходная позиция, на которой строились подобные реконструкции и согласно которой былины возникают путем постепенного затемнения и искажения исторических песен.

Рассматриваемый тип естественно искать не среди былин, а среди исторических песен эпического склада. Показательна в этом смысле песня «Иван Грозный и Вологда». Легендарные мотивы можно найти в песнях «Гнев Ивана Грозного на сына», «Смерть царицы — жены Ивана Грозного».

4. Реально-исторические песни. Это именно тот раздел народной эпики, который непосредственно соотносится с летописной историей. В некоторых отношениях он близок к предшествующему, но отличается от него принципиально иным подходом к исторической действительности. В песнях этого типа впервые в сущности в эпосе осознается художественная значимость действи-

тельных событий и их участников, причем событий современных. Именно здесь эпос приобретает черты политической хроники, что, конечно, не мешает ему, по мере того как отодвигаются вглубь изображаемые им события, становиться исторической памятью народа.

В реально-исторических песнях сильно, конечно, поэтическое начало. В какой-то части оно питается традициями эпоса предшествующих эпох, но связано также и с воздействием других фольклорных жанров (баллады, лирической поэзии, причитаний) и с новым творчеством певцов. Доля вымысла в таких песнях может быть значительной, отдельные эпизоды, коллизии, целые истории могут полностью принадлежать вымыслу, однако принципиально важно при этом, что творческая фантазия певцов работает в сфере исторического настоящего и ему не противоречит. Фантастический и легендарный элемент в таких песнях невелик и его чисто или преимущественно поэтические функции очевидны (птицы — вестники, зловещие сны и т. п.).

В южнославянской эпике типу реально-исторических песен соответствуют косовские песни, многие песни гайдуцкие и ускоцкие, а также произведения более поздних периодов ее истории, например песни об освобождении Сербии, песни черногорские. Обычно все эти песни рассматриваются в составе различных циклов; они дифференцируются по тематике, по историческим периодам, но не дифференцируются по самым существенным признакам — по качеству их историзма, по уровню эпического сознания в них отраженного. Нивелировка всего этого разнообразного материала подсказывается, видимо, отчасти его стилевой общностью, его принадлежностью к одной и той же исполнительской традиции, одной и той же многовековой школе эпического искусства гусляров. Нельзя, конечно, не учитывать этого единства, но нельзя также не видеть внутренней принципиальной дифференциации. Ее могут не замечать певцы, исследователи должны с ней считаться.

В русском фольклоре рассматриваемый тип представлен старшими историческими песнями — о Щелкане, о гневе Грозного на сына, о Ермаке, о Кострюке, о взятии Казани, о Скопине и др. В силу ряда обстоятельств развитие этого типа завершилось на рубеже XVI—XVII вв., более поздние исторические песни приобрели лирико-эпический характер, стали развиваться уже за пределами героического эпоса, на иных стилевых началах.

Сравнительный анализ русских и южнославянских песен, названных выше, покажет, на наш взгляд, общность и различия в основных тенденциях развития эпоса на позднем этапе его истории (конец XIV—XVII в.) и в самом содержании характерных для него творческих процессов.

5. **Баллады.** В современной науке народная баллада справедливо рассматривается как самостоятельный и весьма значитель-

ный фольклорный жанр, обладающий своими яркими эстетическими особенностями. В фольклоре тех народов, которые сохранили героический эпос, баллада соотносится с эпосом в ряде моментов и генетически может быть с ним связана. Если не весь национальный репертуар баллад, то во всяком случае определенные его разделы мы вправе рассматривать как часть народной эпики, как определенный ее тип и как закономерный этап ее истории.

Это относится прежде всего к многочисленным балладам, объединяющимся в русском фольклоре с былинами, а в южнославянском — с юнацкими песнями по характеру исполнения, по напевам, структуре стиха и другим особенностям поэтики. Образцы этих баллад можно найти во II—III книгах «Сербских народных песен» Вука Караджича, в соответствующих томах «Хорватских народных песен» и в других сборниках болгарского, македонского, сербско-хорватского эпоса. Сюда, например, относятся песни «Братья и сестра», «Девушка — воин», «Омер и Мейриме», «Бог никому не остается должен». В русском фольклоре баллады постоянно встречаются в репертуаре северных сказителей и публикуются в сборниках былин. Назову здесь «Молодец и худая жена», «Князь, княгиня и старицы», «Дмитрий и Домна», «Вдова, ее дочь и сыновья — корабельщики». В русском фольклоре в отличие от южнославянского былинная форма баллад существует как вариация более распространенной формы — песенной.

Другая группа произведений, которая относится к рассматриваемому типу,— это собственно эпические песни, с героями — богатырями и юнаками, с приурочением сюжетов к эпической истории, но вместе с тем заключающие в своем содержании, в коллизиях несомненные балладные черты. В иных случаях — это типичные баллады, «прикрепившиеся» к эпическим героям. В русском эпосе таковы, например, былины «Чурила и Катерина» и «Алеша Попович и сестра Петровичей». К произведениям переходного типа относятся «Князь Роман и Марья Юрьевна» и «Авдотья Рязаночка».

В южнославянской эпике много балладных сюжетов прикрепилось к Марку Кралевичу («Ссора Марка и Андрея», «Марко ищет сестру», «Марко убивает сестру», «Марко и девушка из Солуня»). Есть также балладные эпические песни о других героях: «Душан и сестра», «Братья Якшичи», «Муйо и Алия» и др.

6. Пародии, небылицы. Элемент пародийности, надо думать, сравнительно рано появляется в эпическом творчестве и первоначально служит не столько задачам развенчания эпической эстетики и эпических идеалов, сколько конкретным художественным задачам, связанным с изображением определенных явлений. Пародийный элемент в таких случаях имеет непостоянный характер и может ослабевать или вовсе исчезать. Например, Василий Буслаев в принципе — вполне пародийный образ (пародия на богатыря). Пародийные мотивы есть в образах Василия Игнатье-

вича, Кострюка. Пародиен образ Змея в былине «Добрыня и Маринка».

Аналогию в южнославянской эпике представляют в некоторых песнях Арапин и Змей. Среди юнаков пародийных персонажей мне не встречалось, но не исключено, что они есть.

Произведения, пародирующие эпические песни в целом — с их героикой, с характерной поэтикой — и тем самым подвергающие эпос профанации, хорошо известны в русском фольклоре. Это небольшие песенки, которые используют стилистику и сюжетно-композиционные приемы былин, а также содержат мотивы «небылиц», в которых есть явная ирония по отношению к эпической фантастике: «Агафонушка», «Старина о льдине и бое женщин» и др. Пародии, а также шуточные и сатирические песни в форме юнацких отмечены в сербско-хорватском фольклоре, о них говорят специально, с примерами, Вук Караджич [21] и М. Мурко.

Ни русские, ни южнославянские песни этого типа не подвергались до сих пор специальному исследованию. Между тем сравнительный их анализ представил бы безусловный интерес.

7. Былины и песни сказочного и литературного — вторичного — происхождения. В классическом традиционном эпосе, возникающем и развивающемся по законам жанровой преемственности, сказочные или литературные элементы могут быть двоякого рода: либо это чисто эпические вариации общих сюжетных тем и мотивов, иногда восходящие в далекой доисторической перспективе к мифологическому единству, либо это заимствования, включающиеся в эпическую систему и с нею соотносящиеся.

Произведения данного типа отличаются принципиально тем, что они являются непосредственными переложениями сказок или книжных повестей. С точки зрения истории эпоса традиционна в таких произведениях форма, традиционно искусство певцов, могут быть, наконец, традиционными отдельные эпизоды. В целом же содержание таких произведений либо остается в сфере жанра, к которому принадлежал источник, либо соотносится со сферой эпоса на уровне позднего сознания певцов. Как целое такие произведения не составляют единства с общим развитием эпической традиции. Они, однако, не являются случайными для эпоса. Певцы обращаются к сказкам, к литературе как источнику своего творчества в условиях, когда возможности органического развития эпоса на почве действительности оказываются исчерпанными (или почти исчерпанными), но потребность у самих певцов в эпическом творчестве еще жива. «Распетые» в эпос сказки или литературные произведения, таким образом,— есть свидетельство кризиса эпического творчества и признак его угасания.

---

[21] «Српске народне песме. Скупио их и на свиет издао Вук Стеф. Караџић», књ. 1. Београд, 1953, стр. XIX—XXVI.

В русском фольклоре былины этого типа — «Подсолнечное царство», «Нерассказанный сон», «Ванька Удовкин сын», «Женитьба Пересмякина племянника» и др.[22]

Ряд песен этого типа знает и южнославянская эпика: «Йован и дивский старейшина», «Змей-жених», «Сокол-жених» и, возможно, еще и другие.

В связи с предложенной в докладе классификацией уместно поставить вопрос еще об одном типе в славянской эпике — о мифологических песнях. Мы не знаем былин или юнацких песен, которые прямо бы к этому типу относились, но и в тех и в других могут быть выявлены мифологические связи, переживания, традиции. Материал на эту тему собран довольно значительный, его необходимо заново пересмотреть, проверить, пополнить и подвергнуть анализу в свете современных представлений об истории народного эпоса. Сейчас на основании того, что сделано нашей наукой, можно с большой долей вероятности предполагать, что в славянском фольклоре эпосу «историческому» (в его различных типах) предшествовал эпос «мифологический»: в былинах и юнацких песнях обнаруживаются мотивы космогонические, шаманистские, мотивы первобытных верований в иной мир, в различные мифологические существа, в волшебство и т. д.; в эпических героях — богатырях и юнаках — есть следы типологически более древних эпических персонажей.

Реконструировать хотя бы отчасти этот древнейший эпос и тем самым представить один из художественных источников классической эпики славянских народов — задача чрезвычайно увлекательная и, вне всяких сомнений, осуществимая.

Намеченная типологическая классификация требует, конечно, критического рассмотрения. Вполне вероятно, что она может быть также расширена. Могут быть включены, например, дополнительные подтипы, особенно для южнославянского материала.

С точки зрения докладчика, самым важным представляется сейчас возможно более конкретное и детальное исследование каждого из типов и подтипов и столь же тщательное установление связей и отношений между ними, выявление стыков, переходов одного типа в другой, моментов взаимной проницаемости.

В многообразии типов, в их смене проявляются закономерности эпического процесса, художественная преемственность эпического творчества. Как уже отмечалось выше, суммарные сравнительные характеристики эпоса русского и южнославянского — без учета их типологической дифференциации—дают не так много. Основанные на предварительном анализе ряда типов, общие наблюдения получают определенную историческую перспективу и тем самым — большое обоснование. Вот некоторые из таких наблюдений.

---

[22] Обширный материал собран и проанализирован в кн.: А. М. Астахова. Русский былинный эпос на севере. Петрозаводск, 1948.

Русский и южнославянский эпический репертуар по-разному соотносится с намеченными типами. Есть типы и подтипы, представленные только либо по преимуществу в южнославянской, либо в русской эпике. Это заставляет думать, что в каких-то существенных моментах истории эпоса южных и восточных славян есть принципиальные различия.

Можно заметить, что южнославянская эпика в целом в большей степени, чем былины, тяготеет к более отчетливым и конкретным формам историзма. Типы и подтипы, с этими формами связанные, представлены среди юнацких песен очень обильно. С другой стороны, в произведениях, принадлежащих к типам более архаическим и с менее отчетливыми формами историзма, есть множество элементов конкретного историзма. В былинах картина иная. Тенденции реально-исторического плана в них проявляются гораздо меньше. В любом из соответствующих типов былины по сравнению с юнацкими песнями обнаруживают степень историзма меньшую, а степень эпической традиционности — «исторической архаичности» — бóльшую. Полагаю, правы те исследователи, которые считают, что в былинах больше, чем в юнацких песнях, сохранилось архаики и что в этом смысле они дают ценный материал для объяснения ряда мотивов и подробностей южнославянского эпоса [23].

Различия между былинами и юнацкими песнями в степени и характере историзма наглядно проявляются в категории «эпического времени». В былинах время почти всегда одно и то же — это время «смоделированного» Киева. Характерно, что былины отдельных типов не различаются в этом отношении. В рамках единого времени обнаруживают себя различные градации былинного историзма, и, конечно, развитие эпического историзма от типа к типу неизбежно регулируется этим постоянством.

В юнацких песнях эпическое время не является столь постоянным, здесь оно — движущееся, более подверженное изменениям и варьированию, более проницаемое для живой истории. Юнацкие песни не знают одного эпического центра, подобно Киеву, или одного эпического царя (князя), подобно Владимиру.

В то время как в русском эпосе смена эпического времени историческим ознаменовала настоящий художественный переворот и совершилась уже за пределами классической былины в связи с формированием жанра исторической песни, в юнацких песнях такая смена произошла почти незаметно, без видимых потрясений в жанровой системе, потому что она была вполне подготовлена в недрах самой эпической традиции.

С точки зрения типологической дифференциации и различия в характере историзма отдельных типов должен быть рассмотрен

---

[23] Бруно Мерић. Митолошки елементи у српскохрватским народним песмама. «Анали филолошког факултета», књ. 4. Београд, 1964.

и вопрос о соотношениях — общности и различиях — эпических героев и персонажей.

Особенное внимание должно привлечь сравнительное рассмотрение главных героев, во многом определяющих сущность эпоса,— богатырей и юнаков. Яркие черты общности, в первую очередь выраженные эпическими средствами народные идеалы героики, патриотизма, защиты справедливости, не должны заслонять от нас различий, особенно таких, которые имеют типологический характер. Это касается, в частности, соотношений человеческого и фантастического, конкретно-исторического (летописного) и вымышленного, конкретно-социального и идеального. По-видимому, эти соотношения также отражают отмеченную выше основную разницу в степени и тенденциях историзма былин и юнацких песен.

3

Высказанные выше соображения об основных типовых разновидностях эпоса и о типологической преемственности в эпическом творчестве разных народов имеют, на мой взгляд, особенное значение для сюжетных сопоставлений и изучения сюжетной общности в целом.

Типологическая методика позволяет, во-первых, значительно расширить объем сопоставляемого материала и, во-вторых, поставить сравнительный анализ этого материала в связь с важнейшими проблемами истории эпического творчества.

Сюжетная общность в русском и южнославянском эпосе гораздо значительнее и богаче, чем это нередко представляется, и не все еще соответствующие факты учтены и по-настоящему осмыслены. В докладе В. М. Жирмунского говорилось о необходимости специального сравнительного изучения былин и юнацких песен о сватовстве. То же самое относится и к эпическим песням о змееборстве, о борьбе героя с иноземными противниками и к ряду других эпических циклов и групп. Многие сюжетные соответствия между былинами и юнацкими песнями в свое время были лишь попутно отмечены и позднейшей наукой оставлены без внимания, другие — рассмотрены лишь поверхностно, третьи следовало бы пересмотреть заново. Вообще же сравнительное изучение сюжетной общности (во всем ее объеме и разнообразных проявлениях, изучение конкретное, обстоятельное) может и должно составить важнейший раздел сравнительно-типологического исследования эпоса славянских народов, оно может прояснить существенные вопросы его истории. При этом много будет значить методический уровень такого изучения.

Сюжетные соответствия любого масштаба и любой степени близости получают свое объяснение и находят себе место в историко-фольклорном процессе в том случае, когда изучаются в эпическом контексте, рассматриваются на фоне традиции, как ближай-

шей, так и более отдаленной, в кругу смежных сюжетов и непременно в динамике, в исторической перспективе.

Сторонников типологической теории не может смущать кажущаяся отдаленность или «приблизительность» отдельных параллелей, любая степень сходства представляет для них интерес, поскольку за этим стоят живые процессы, специфика и конкретные проявления которых как раз нередко обнаруживаются с помощью подобных фактов.

Типичный пример в этом отношении дают былина об Илье Муромце и Соловье Разбойнике и юнацкая песня о Марке Кралевиче и Мусе Кеседжии. Сходство двух сюжетов не таково, чтобы к нему было приковано внимание миграционистов. Между тем анализ, выполненный в сравнительно-типологическом плане, приводит к весьма любопытным наблюдениям.

Выясняется, в частности, что и былина, и юнацкая песня представляют собой закономерный для русского и южнославянского эпоса этап в разработке классической эпической темы о борьбе героя с чудовищем; что оба произведения связаны с более старшей эпической традицией — в существенных своих моментах типологически родственной — и развивают ее в типологически же сходных формах и вместе с тем по-разному, в соответствии с национальной спецификой и особенностями истории каждого эпоса. Сравнительный анализ позволяет обнаружить характерные для обоих произведений аналогичные закономерные тенденции в разработке традиционной темы и установить, что былина и юнацкая песня с характерными для них коллизиями и персонажами отражают различную степень осуществления этих тенденций и находятся как бы в разных точках общего пути. Основная тенденция состоит в том, что фантастические существа обретают черты исторических врагов, конкретизируются в историко-бытовом плане, а вместе с этим и главная эпическая коллизия, и эпический фон, и главные герои получают более конкретные исторические и бытовые очертания. В юнацкой песне все это проявляется с бо́льшей определенностью, процесс «историзации» в ряде моментов зашел довольно далеко. Так, Муса Кеседжия получил отчетливую социальную характеристику, более того — стал соотноситься с реальными лицами — «прототипами», был сближен с другими типичными для южнославянской эпики персонажами. В образе Соловья Разбойника аналогичные тенденции к «историзации» лишь угадываются; направление же, в котором шел процесс, можно распознать на фактах эпической биографии Мусы Кеседжии.

В то же время юнацкая песня сохраняет за Мусой такие фантастические черты, которых в изображении былинного Соловья уже нет. Можно утверждать, что, хотя в целом былина архаичнее, а юнацкая песня ближе к собственно историческому эпосу, в отдельных моментах соотношение между ними иное. Это означает, что типологический процесс захватывает различные компо-

ненты эпического произведения не с одинаковой силой и протекает неравномерно.

Сравнительно-типологический анализ позволяет не только выявить особенности этого процесса и тем самым лучше понять былину и юнацкую песню в исторической динамике их сюжетов, с характерными для них загадками и сюжетными неясностями, но и высказать одно предположение, относящееся к ранней истории южнославянской эпики: по-видимому, известной нам песне «Марко Кралевич и Муса Кеседжия» предшествовала здесь песня типа русской былины; слабые ее следы есть в позднейших вариантах [24].

В эпическом творчестве славянских народов мы находим и более сложные случаи типологической общности, когда сходные сюжеты представлены многочисленными версиями и редакциями, в разнообразии которых отражаются и сложность народного художественного замысла, и различные пути его конкретной реализации. Взаимные отношения между отдельными версиями и вариантами бывают весьма сложными и запутанными и с точки зрения собственно сюжетной, и в плане историческом. Изучение всей совокупности текстов — с применением сравнительно-типологической методики — позволяет увидеть в этих отношениях определенные закономерности, обнаружить в них типологическую преемственность, соотнести с целым эпическим замыслом и с отдельными этапами его развития. Одновременно с этим восстанавливаются звенья, утраченные в той или другой национальной традиции, разъясняются сюжетные загадки и т. д. Другими словами, такая работа не только может многое дать для изучения данной сюжетной темы на почве славянской эпики, но в ряде случаев пролить свет на такие страницы истории русского, сербско-хорватского, болгарского, македонского эпоса, которые без этой работы остались бы скрытыми от нас.

В качестве примера могу сослаться на результат сравнительного анализа юнацкой песни «Марко находит сестру» и былины о Козарине [25].

Южнославянские версии и версии былинные представляют собой эпическую обработку архаической темы инцеста в соединении с темой освобождения из полона. В эпических обработках всплывают различные следы архаических сюжетных связей (мотив предназначенного инцеста, мотив суженой — сестры, грозные

---

[24] Более подробный сравнительный анализ обоих произведений сделан мною в докладе для XIII Конгресса фольклористов Югославии (доклад печатается).

[25] См.: Б. Н. Путилов. Юнацкая песня «Марко находит сестру» в версиях с Хорватского приморья и островов и былина о Козарине. «Rad XI-og Kongresa Saveza folklorista Jugoslavije u Novom Vinodolskom. 1964». Zagreb, 1966; он же. История одной сюжетной загадки (былина о Михаиле Козарине). «Вопросы фольклора». Томск, 1965.

знамения и др.), в целом же они отражают различные ступени героизации и историзации темы и насыщения ее поздними бытовыми мотивами, а также постепенного сближения с другими циклами эпического творчества. В различных версиях удельный вес архаических подробностей и их сюжетная роль неодинаковы. Как русские, так и южнославянские версии обнаруживают сложные связи с определенными циклами национального балладного творчества.

Можно без преувеличения сказать, что юнацкая песня и былина получают свое достаточно полное разъяснение и находят свое место в истории эпического творчества лишь в итоге их сравнительного изучения, проводимого на типологических принципах. Традиционное, основанное на методике сопоставления параллелей и на поисках путей миграции изучение этих сюжетов мало дает нам для их понимания [26].

Специальный интерес для сравнительно-типологического исследования представляют эпические произведения и циклы, близкие в тематическом отношении, вырастающие на почве сходных исторических коллизий и перекликающиеся между собой в плане идейном, но в то же время не связанные сколько-нибудь последовательной сюжетной общностью и не отличающиеся особенным обилием параллелей. В этом смысле немалый материал для наблюдений дают юнацкие песни косовского цикла в сопоставлении с былинами о татарском нашествии и со старшими историческими песнями. Сопоставления, проведенные в масштабах, выходящих за рамки одних сюжетных соответствий и захватывающих все существенные стороны художественного содержания этих произведений, позволили сделать вывод, что косовские песни и былины о татарском нашествии существенно различаются в характере историзма, в подходе к изображению исторических коллизий, событий, людей и в сущности принадлежат к разным типологическим группам славянского эпоса. В былинах отчетливо сказываются классические черты героико-исторического эпоса с характерным для него «моделированием» истории, эпическим временем, образами богатырей и т. д. В косовских песнях те же черты сохранились лишь в виде отдельных элементов, следов, в основном же это песни реально-исторические. По характеру историзма они гораздо ближе к русским историческим песням старшего периода и представляют собою как бы южнославянскую аналогию этим последним. Аналогия распространяется также и на отношение к сюжетной традиции. Похоже, что юнацкие песни косовского цикла восприняли из ближайшей предшествующей традиции те самые мотивы и ситуации, которые находят более или менее

---

[26] Ср., напр.: Karel H o r a l e k. Studie o slovenské lidové poezii. Praha, 1962, str. 72—79.

близкие параллели в былинах, и преобразовали их в том же примерно направлении, в каком перерабатывали соответствующий былинный материал русские исторические песни [27].

Так появляется возможность объяснить возникновение косовского цикла в связи с процессами внутри сербской эпики XIV—XV вв. и найти для этого цикла определенное место в историческом развитии южнославянского эпического творчества. Сложной задачей является установление того круга эпических песен, который послужил для песен косовских традиционной основой и своеобразным источником. И здесь, несомненно, сравнительный материал былин может помочь, подсказав направление поисков. В частности, к эпическим предшественникам косовских песен может быть отнесен «Банович Страхиня». Песня эта до сих пор лишь поверхностно сопоставлялась с былиной об Иване Годиновиче, хотя связи ее с русским эпосом могут оказаться более глубокими и интересными.

* * *

В рамках настоящего доклада нет больше возможности говорить о том разнообразии аспектов, какое приобретает проблема сюжетной общности, когда она становится предметом сравнительно-типологического исследования.

Общность или сходство сюжетных тем, целых сюжетов, мотивов в эпосе представляет собою одно из характерных проявлений более широких и закономерных художественных связей в эпическом творчестве различных народов. Поэтому, с одной стороны, она может быть разъяснена лишь в составе таких связей, в общем художественном контексте, в динамике эпического процесса, а с другой — она и сама может многое объяснить и осветить в истории народного эпического творчества.

---

[27] См. об этом подробнее: Б. Н. Путилов. Юнацкие песни косовского цикла и русский эпос. «Русская литература», 1966, № 2.

Н. И. Кравцов

ЮЖНОСЛАВЯНСКИЙ ЭПОС
(к вопросу о терминологии)

Славянская фольклористика достаточно широко раскрыла общее и сходное в жанрах, сюжетах, образах героев и художественных средствах эпоса южнославянских народов. Начало его изучению было положено еще в конце минувшего и в первые годы нашего века в работах М. Халанского [1] и И. Шишманова [2]. Последнему принадлежит заслуга общей постановки проблемы [3]. Многосторонне вопрос о культурной взаимности осветил С. Романский [4]. И. Матл [5], продолжая их труды, выделил аспект отношения славянского фольклора к фольклору других балканских народов. Ученые Скенди, Ибровац, Латкович, Шмаус занимались сравнительным изучением эпоса славян с греческим, румынским и албанским эпосом. Советскими учеными много сделано в области теоретической разработки проблемы, что нашло свое выражение в трудах ученых В. М. Жирмунского [6], Б. Н. Путилова [7],

---

[1] М. Халанский. Южнославянские сказания о Кралевиче Марке в связи с произведениями русского былевого эпоса. «Сравнительные наблюдения в области героического эпоса южных славян и русского народа», т. I—IV. Варшава, 1893—1896; он же. Южнославянские песни о смерти Марка Кралевича. «Сборник по славяноведению», I. СПб., 1904.

[2] И. Шишманов. Песеньта за «мъртвия брат» в поезията на балканските народи. «Сборник за народни умотворения и народопис», кн. XIII и XV. София, 1896 и 1897.

[3] И. Шишманов. Проблемы болгарской этнографии в связи с этнографиями славянскими.

[4] Ст. Романски. Културно-историчнa и езикова взаимност у балканските народи. София, 1924.

[5] Йозеф Матл. О питању компаративног проучавања народне поезије словена односно балканских народа. «Прилози проучавању народне поезије», 1936, св. I, стр. 17 и сл.

[6] В. М. Жирмунский. Эпическое творчество славянских народов и проблемы сравнительного изучения эпоса. М., 1958.

[7] Б. Н. Путилов. К вопросу об отношениях эпического творчества славян и народов Юго-Восточной Европы. М., 1966: он же. Действитель-

В. М. Гацака [8], В. К. Соколовой [9]. Названными учеными собран богатый материал и высказаны важные суждения о взаимности эпоса южных славян, а часто и в более широком плане — о взаимности эпоса балканских народов. Однако в их трудах нередко встречается терминологическая неупорядоченность.

С. Романский в своих трудах пользуется старым термином «взаимность», который стал архаическим, и, кроме того, недостаточно определенен, так как неизвестно, что он обозначает: «общность» или «сходство» в эпическом творчестве славян, или и то и другое одновременно. Вероятно, последнее его понимание более правильно. Но именно архаичность и неопределенность этого термина служат основанием для того, чтобы отказаться от его употребления.

В работах других фольклористов, изучавших отношения между эпосом славянских народов, употребляются термины «связи», «сходство», «общность». Термин «связи» также весьма неопределенный, так как не отмечает точно, какие именно отношения эпического творчества он обозначает. Что же касается терминов «сходство» и «общность», то они обычно употребляются без строгого разграничения. Между тем «сходство» есть лишь подобие, но не «общность».

В эпосе южных славян следует различать сходное и общее. Сходно в них многое: типы юнаков и гайдуков, сюжеты. Но, кроме таких героев и сюжетов, есть одни и те же герои — Марко, Момчил, Новак, Дойчин, есть одни и те же песни и сюжеты. Это общее. Русские былины по своей структуре и поэтике близки юнацким сербским песням, в них есть близкие сюжеты, как сюжет «Муж на свадьбе своей жены» в былине «Добрыня и Алеша» и в юнацкой песне «Плен Янковича Стояна». Это — сходное между эпосами русского и сербского народов. Но общего между ними нет. Общее есть и у сербского и болгарского эпосов: одни и те же герои, одни и те же сюжеты.

Примером смешения терминов «общность» и «сходство» может быть следующее высказывание В. И. Чичерова в книге «Русское народное творчество» (стр. 19): «...русский фольклор имеет общие

ность и вымысел в славянской исторической балладе. «Славянский фольклор и историческая действительность». М., 1965, стр. 32—73; он же. Славянская историческая баллада. М.—Л., 1965.

[8] В. М. Гацак. Молдавские и румынские эпические песни о гайдуках и некоторые вопросы их соотношения с южнославянскими. Кишинев, 1960; он же. Сходное и различное в балканском гайдуцком и богатырском эпосе (сказания о Новаке и Груе и проблема жанрово-исторического соотношения молдавского и румынского эпоса с южнославянским). «Уч. зап. Ин-та языка и литературы АН Молдавской ССР», т. X, 1961.

[9] В. К. Соколова. О некоторых закономерностях развития историко-песенного фольклора у славянских народов. «История. Фольклор. Искусство славянских народов. Доклады советской делегации. V Международный съезд славистов в Софии». М., 1963, стр. 461—482.

черты с фольклором таких народов, с которыми у русских никогда не было ни политических, ни культурно-исторических, ни экономических, ни родственных связей. Например, в творчестве народов Северной и Южной Америки, Африки есть такие сюжеты сказок и песен, какие есть и у русских и у других народов Европы и Азии». Однако в данном случае имеет место не общность, а лишь подобие, сходство. Смешение «общности» и «сходства» совершенно очевидно из дальнейших слов В. И. Чичерова: «Общие элементы в народном творчестве порождались едиными закономерностями развития человеческого общества. Конечно, сходные черты, возникавшие в искусстве разных народов, проходивших одни и те же этапы развития, получали своеобразную национальную разработку; основа же их была единая». В этом высказывании «общие элементы» приравнены к «сходным чертам», что, однако, не одно и то же.

Подобные смешения «общности» и «сходства» затрудняют изучение отношений между эпосом различных народов, так как не позволяют подлинно исторично подойти к этим явлениям, которые возникают в результате различных путей развития эпоса: типологический путь развития приводит к сходству типов героев, типов сюжетов и т. д.; генетическая основа эпоса и культурно-исторические связи приводят к общности героев и сюжетов, т. е. к одним и тем же героям и сюжетам.

В эпосе южнославянских народов в данном случае наше внимание привлекает общность многих явлений: героев, сюжетов, типа стиха, системы художественных средств.

Исключительно широкую и многостороннюю общность эпоса южнославянских народов нельзя объяснить историко-типологически, подобным путем возможно объяснить лишь сходство, подобие, а не общность. Нельзя объяснить ее и историко-генетически, потому что этническая общность южных славян не распространяется на творчество неродственных славянам балканских народов. Нельзя объяснить ее и с помощью историко-культурных факторов ввиду того, что обмен, связи, заимствования, переходы касаются лишь отдельных сюжетов и мотивов, а в данном случае имеет место общность и жанров, и типа стиха, и сюжетов, и героев, и системы художественных средств. Такого рода общность можно объяснить лишь творческим сотрудничеством народов. Южнославянские народы, создавая каждый свой эпос, создавали вместе с тем и общебалканский.

Подобное соотношение между эпосом различных народов не единично. В пример можно привести нартский эпос кавказских народов (иберийско-кавказская семья языков). У этого эпоса есть сходство с русскими былинами, например можно сопоставить образ богатыря Быдыноко и образ Ильи Муромца; но между эпосом нартским и русским нет общего, так как они никак не связаны между собою. В отличие от этого у кавказских народов — и не

только у родственных, как черкесы, кабардинцы, шапсуги и др., но и у неродственных им тюрко-язычных народов — балкарцев и карачаевцев, есть в эпосе общее. Это прежде всего образ основного героя Сосруко (Сасрыква, Сосрук, Созырыко). Нартский эпос не является исключительной принадлежностью одного какого-либо народа. Он — создание и достояние многих народов Кавказа.

Три уровня общности эпического творчества, выделенные нами выше, имеют каждый свое объяснение.

Так, балканская общность эпоса определяется общими историческими условиями существования балканских народов в течение 500-летнего турецкого владычества, пребыванием этих народов в рамках турецкого государства (что по сути дела уничтожало географические границы между ними), общими освободительными стремлениями и совместной борьбой против турецкого владычества. Действовали тут и типологические законы развития народного творчества, а именно: характерность для эпохи феодализма напряженной борьбы с иноземными нашествием и владычеством, формирования и расцвета героического патриотического эпоса, который становится наиболее значительным явлением в народном творчестве этого времени. Типологически объясняются и мифологические образы и мотивы (вила, построение города с принесением человеческой жертвы).

Южнославянская общность эпоса объясняется двумя историческими этапами освободительной борьбы, определившими возникновение двух разновидностей песен — юнацких и гайдуцких, которые различаются между собою тем, что в первых бо́льшую роль выполняет поэтический вымысел и героем является юнак-богатырь, который и ведет один борьбу с врагами родины, а во вторых вымысел занимает меньшее место, зато усиливается историчность, борьбу же с иноземными поработителями ведет уже не отдельный герой, а отряд гайдуков, в чем отразился рост народно-освободительного движения.

Южнославянские народы еще до турецкого завоевания существовали нередко в рамках одного и того же государства — болгарского или сербского, границы которого часто изменялись, причем части одного и того же народа входили то в одно, то в другое государство. Впоследствии совместная борьба против турецкого ига еще больше сблизила эти народы и оживила их культурные взаимоотношения. Их общие освободительные стремления сделали популярными и общих героев, особенно Марко.

Своеобразие эпических песен отдельных славянских народов объясняется, таким образом, существованием до турецкого завоевания самостоятельных славянских государств, возникших на основе союза племен, этническим, языковым и культурным родством этих племен, формированием устойчивой эпической традиции, значительностью в истории народа определенных

исторических событий, как битва на Косовом поле, и деятельности определенных исторических лиц, что обусловило многие сюжеты и состав героев юнацких и гайдуцких песен, а следует отметить, что южнославянский эпос более историчен, нежели русский. Важное значение имели особенности освободительной борьбы этих народов (ускочество в Далмации, борьба племен в Черногории) и своеобразие их быта.

Таким образом, эпическое творчество балканских народов имеет общие особенности разной степени распространенности: одни из этих особенностей свойственны эпосу всех балканских народов, другие — только эпосу южных славян, третьи — только эпосу отдельных народов. Это позволяет ввести в научный оборот, кроме понятия «национальный эпос» (болгарский, сербский, черногорский), также понятие «южнославянский эпос» и даже шире — понятие «балканский эпос».

К общебалканским чертам относятся: жанр героической патриотической эпической песни, одноэпизодная ее композиция, сюжеты борьбы с турецким владычеством, образы героев-патриотов (Марко, Новак, Груя, Дойчин) и их врагов (арапин, турок, султан), отдельные особо популярные сюжеты (Марко освобождает пленных, построение города или моста, принесение человека в жертву для умилостивления вилы или иного мифического существа).

К общим южнославянским чертам эпических песен относятся: существование двух жанровых разновидностей эпических песен — юнацких и гайдуцких, эпический стих — в основном десятисложный, система художественных средств, соответствующих идеализации положительного героя-патриота и отрицательного изображения врага-насильника, популярность одних и тех же героев (Вукашин, Момчил, Лютица Богдан и особенно Марко, который является общебалканским героем), но наиболее характерна для эпоса славянских народов большая популярность одних сюжетов по сравнению с другими (особенно Марко и Муса Кеседжия, Марко и Филип Мадьярин, Марко пашет, Марко и арапская девушка). В гайдуцком эпосе общих героев мало, пожалуй, единственный из них — гайдук Велько (историческое лицо).

При широкой общности эпическое творчество южных славян самобытно и своеобразно в сюжетах и героях, в конкретно-исторической и бытовой стороне песен, в языке, наконец, в разработке одних и тех же мотивов. У каждого южнославянского народа существуют свои герои и сюжеты эпических песен, каких нет в эпических песнях других народов. Так, в сербском эпосе значительно больше циклов песен, объединяющихся образами основных героев. У болгар круг героев и сюжетов эпических песен у́же, нет, например, циклов о Бранковичах, реже встречаются сюжеты, связанные с битвой на Косовом поле. Сюжет о дележе братьев есть в болгарских песнях, но братья носят другие имена (вместо сербских Степана и Дмитра или Дмитра и Бог-

дана — чаще всего Стояна и Николы, у хорватов — Ивана и Милоша, что очевидно, связано с подстановкой своих героев). Это особенно становится ясным после рассмотрения исторических персонажей. Например, в песню о Марке и Мусе, записанную Л. Каравеловым, введен и болгарский герой царь Шишман. Чаще бывает, когда одно лицо в песне заменяется другим. В песнях о Марке у болгар фигурирует не его брат Андрей, а брат Петр. В песне о Вукашине и Момчиле первого из них заменил Петрушин. Но эти мелкие детали лишь подчеркивают, что в данном случае песни представляют собою варианты одного и того же сюжета.

Однако песни разных южнославянских народов различаются между собой и более существенными чертами: особыми героями и сюжетами, национальным сознанием героев и певцов, стихом и языком, образами родной земли, различной характеристикой одних и те же персонажей. Так, песни о Джюрдже и Максиме Черноевичах есть только у черногорцев. О Никаце из Ровин П. П. Негош говорил, что он «самый прославленный герой Черногории», а Никац не только воин, но и пастух и отличается от других героев тем, что сам нападает на турок, а не только защищается от них.

Вукоман Джакович в предисловии к сборнику «Црногорске народне јуначке пјесме» (Цетинье, 1953 г.) отличительными их особенностями считает то, что в них борьбу с турками объединенными усилиями ведут черногорские племена, а не отдельные юнаки, что черногорские песни более реалистичны и историчны, нежели песни сербские (Караджич говорил, что в них «больше истории, нежели поэзии»), что их герои — горные пастухи, что ряд их героев переходит на свободную территорию и оттуда ведет борьбу с турками (Лазар Пецирен, Вук Лопушина и др.), что борьба идет не только за освобождение черногорской земли от турецкого владычества, но и за пастбища и стада овец. Герои песен сами себя называют черногорцами, как в песне «Лазар Пецирен», хотя тут же в заключении они именуются сербами.

Эпосы сербского и болгарского народов различаются тем, что в них отражаются особенности истории, быта и национального сознания этих народов. Нередко в песнях выступают местные герои. В песнях каждого народа есть герои и сюжеты, каких нет в эпосе других народов. Так, у болгар нет песен о Змее огненном, Вукое, сеньских ускоках, а у сербов нет песен о болгарских гайдуках.

Но и песни с одними и теми же героями и сюжетами у разных южнославянских народов имеют различия, например, в характеристиках этих героев. «Одно из таких основных различий,— отмечает Цв. Романска,— проявляется в характеристике Крали Марко, в его отношении к туркам. В то время как в сербско-хорватском фольклоре Крали Марко иногда вступает в дружеские отношения с турками, что может быть отголоском его вассальных

отношений с султаном, в болгарских песнях он последовательный противник турок»[10].

В болгарских песнях чаще выступают в качестве героев юнаки-дети, как Секула, Груица, Татулчо, Дукадинче, Малечково, Голомеше. Если первые два встречаются и в сербских песнях, то последние есть только в болгарских.

Для болгарских песен в отличие от сербских характерны образы воевод-гайдуток: Рады, Сирмы, Бояны, Пены, Грозданы. Елены, Стояны, Драганы и т. д.

Различия эпосов разных южнославянских народов проявляются, естественно, и в языке, и связанных с ним выразительных средствах, а отчасти в стихе. В то время как для сербских песен свойствен десятисложный стих (кроме старых 15—16 сложных бугарштиц), в болгарских песнях встречается и восьмисложный, что, вероятно, является следом влияния лирических песен. Восьмисложный стих есть в песне «Събрал си е крал Маджарин» из архива Раковского («Българско народно творчество», т. I, стр. 348—350).

Общие сюжеты песен имеют свои особые варианты у каждого южнославянского народа, но при всем их своеобразии они представляют собою все-таки варианты одних и тех же песен.

Таким образом, несмотря на общность, для эпоса южнославянских народов многие моменты содержания и формы их эпических песен остаются национально самобытными и своеобразными. Особенности эпосов отдельных славянских народов, отличающие их от эпоса других народов, объясняются особенностями исторической судьбы каждого народа. Гораздо труднее объяснить те черты эпического творчества южнославянских народов, которые для него являются общими.

Пример эпоса южных славян подтверждает плодотворность культурного сотрудничества народов, в результате которого создано эпическое творчество, отличающееся большим идейно-художественным содержанием, богатством и эстетической ценностью. Об этом свидетельствует популярность, например, сербского и болгарского эпоса во многих странах. Понятно, что и эпос каждого отдельного народа может иметь такие качества, однако сотворчество нескольких народов придает эпосу черты, какими обычно не обладает эпическое творчество отдельного народа.

Южнославянский эпос:

а) отражает исторические судьбы не одного, а нескольких народов;

б) своей идейной, патриотической стороной ценен не для одного, а для нескольких народов;

---

[10] Цв. Романска. Славянски фолклор. София, 1963, стр. 86, 87.

в) служит объединению сил нескольких народов в их освободительной борьбе;

г) представляет собой явление особого рода, в котором действуют свои особые закономерности развития, что дает возможность фольклористике поставить ряд новых и важных научных проблем, и в частности правильно решить вопрос о национальной принадлежности эпоса. Национализм, проявлявшийся ранее в буржуазной фольклористике южнославянских стран, приводил ученых к спорам о том, кому принадлежит эпос — болгарам или сербам, чей герой королевич Марко — болгарский или сербский, чей эпос богаче — болгарский или сербский? Такого рода споры не научны и противоречат исторической истине. Этот спор снимается тем, что в эпическом творчестве балканских народов существуют три уровня общностей: балканская, южнославянская и национальная (болгарская, сербская и т. д.), которые сложным образом переплетаются между собою, но не исключают друг друга.

В. К. Соколова

О НЕКОТОРЫХ ТИПАХ ИСТОРИЧЕСКИХ ПРЕДАНИЙ
(к проблеме их жанрового своеобразия)

В последние годы фольклористы разных стран уделяют большое внимание народной несказочной прозе (Sage), но главным образом в плане ее систематизации и классификации. В этом направлении уже достигнуты значительные успехи, и на Совещании комиссии по несказочной прозе (Sagenkomission) в Будапеште в 1963 г. была принята схема, которая может послужить основой международной классификации преданий и легенд. Сейчас по изучению преданий сделано уже немало, но проблема систематизации несказочной прозы пока остается в международной фольклористике одной из актуальных [1]. Необходимо еще изучить отдельные группы преданий и выявить их основные признаки; это поможет также уточнить объем материала, включаемого в тот или другой раздел, и выработать более целесообразные и научно обоснованные рубрикации внутри крупных разделов. Не касаясь общих проблем систематизации, я в настоящем докладе останавливаюсь на исторических преданиях с тем, чтобы попытаться, пока лишь на примере отдельных циклов, охарактеризовать некоторые особенности этих преданий и выделить различные их типы, встречающиеся как в русском фольклоре, так и в фольклоре других славянских народов.

Исторические предания в фольклоре большинства народов занимают видное место. Они имеют большое значение при изучении мировоззрения и социально-политических взглядов народных масс в разные эпохи, в ряде случаев они могут использоваться и как исторический источник. И не случайно во всех разработанных

[1] Над этой проблемой продолжают работать и советские фольклористы (см. : К. В. Чистов. К вопросу о принципах классификации жанров устной народной прозы. М., 1964; С. Н. Азбелев. Проблемы международной систематизации преданий и легенд. «Русский фольклор», X. М.— Л., 1966, стр. 176—196; В. Е. Гусев. Эстетика фольклора. Л., 1967, стр. 114—123 и др.).

схемах классификации как построенных на национальном материале, так и принятой в Будапеште, исторические предания составляют особый раздел. Принцип выделения их везде один — приуроченность предания к определенному времени, событию и лицу (независимо от характера преданий), объем же материала определяется по-разному. Одни исследователи относят к историческим преданиям так называемые местные предания (о городах, деревнях, различных строениях и пр.), этногенетические, топонимические, предания о кладах, другие выделяют их особо. Эти расхождения объясняются прежде всего их особенностями: отсутствием у отдельных видов преданий отчетливо выраженных специфических признаков, условностью и зыбкостью границ между ними, что отмечают почти все исследователи.

Объем материала, включаемого в рубрику «Исторические предания», определяет в известной мере и группировку его внутри раздела, но, как правило, и здесь предания объединяются тематически и хронологически. При систематизации (особенно в международном масштабе) этот принцип, очевидно, наиболее целесообразен. Однако это не исключает, а наоборот требует изучения исторических преданий по существу и выделения их типов, исходя из отношения к исторической действительности, разного соотношения в них факта и вымысла, способов образования и характера слагающих их мотивов.

Сложность определения и разграничения исторических преданий заключается не только в их жанровой неопределенности, большом тематическом и художественном разнообразии и тесных связях с другими видами устной прозы. Изучение преданий затрудняется также особенностями их бытования и записи. Предания, сохраняемые как память о когда-то бывшем, далеко не всегда отливаются в форму законченного рассказа. Они часто и не воспринимаются как художественные произведения, а рассказываются к случаю, когда речь заходит о каком-то событии, лице, объекте. К тому же их редко записывали с такой точностью, какая считается обязательной при записи песенных жанров или сказок: собиратели порою ограничивались лишь пересказом их, иногда очень кратким. Делать какие-либо заключения о стиле преданий по таким пересказам почти невозможно. Предания учтены далеко не полностью, и разыскание их затруднено тем, что они часто включались в самые разнообразные произведения — описания путешествий, художественные очерки, этнографические, исторические и географические работы, описания отдельных городов и сел и пр.

Центром, вокруг которого группируются предания, обычно служит историческое лицо. Правда, существует значительное количество преданий об отдельных событиях и безымянных героях. Таковы, например, многочисленные предания о борьбе с турками у южных и отчасти у западных славян, предания о татарах и дру-

гих захватчиках у восточнославянских народов, о запорожцах и гайдамаках у украинцев и др. В преданиях о событиях также встречаются общие мотивы, повторяются типические ситуации [2], но эти предания редко составляют сколько-нибудь значительные циклы, а зачастую остаются единичными. Вокруг же крупного исторического деятеля, запечатлевшегося в народной памяти, объединяются самые разнообразные мотивы и сюжеты — традиционные и новые, национальные и интернациональные. Они отбираются в соответствии с представлением, сложившимся о данном лице и характере его деятельности. Поэтому, чтобы выделить разные типы исторических преданий, целесообразнее взять циклы их, связанные с определенными историческими лицами.

Так как рассмотреть хотя бы и в самом общем плане исторические предания всех славянских народов невозможно не только в кратком докладе, но и в более обширной монографии, я останавливаюсь здесь на русских преданиях о Петре I и Пугачеве, отмечая некоторые сходные по типу предания других славянских народов лишь попутно.

Предания о Петре I и Пугачеве достаточно многочисленны и разнородны по слагающим их мотивам. Они сравнительно поздние и потому в них легче установить соотношение фактической основы и вымысла и в какой-то мере проследить, как они формировались. В преданиях о Петре I и Пугачеве есть как мотивы традиционные — национальные и международные, в том числе гипологически общие с преданиями других славянских народов, так и мотивы, сложившиеся применительно к этим деятелям, связанные с конкретными фактами. Предания показывают различное отношение к Петру и Пугачеву разных социальных групп (что отражается и на характере преданий), достаточно четко выделяются в них локальные различия. Различаются предания также

---

[2] Ср., например, предание о «белгородском киселе», записанное в русской начальной летописи, и предание о нападении кирджалиев на Тетевен («Българско народно творчество», т. 11. София, 1963, стр. 24—25); широко распространен этот мотив и у народов Югославии, в частности в Хорватии (см.: M. Bošković-Stulli. Istarske narodne priče. Zagreb, 1959, str. 188, прим. к № 83), где он вошел и в предания о наполеоновских войсках; у поляков он связан с войной со шведами (см., например: M. Kara ś. Powieści ludu krakowskiego. Kraków, 1959, str. 24). Почти у всех славянских народов есть предания о девушках, бросившихся со стены или со скалы в воду, чтобы не стать добычей врагов; у поляков этот мотив вошел в одно из ранних исторических преданий — о Ванде. На русском севере рассказывают много преданий о «панах» (такое обобщенное название получили заходившие сюда в начале XVII в. шайки интервентов), в которых широко использованы и «бродячие» мотивы, например о кладах, о расправе с «панами» при помощи хитрости: так о разных порожистых северных речках, в том числе и о Киваче, рассказывают, как в них крестьянин погубил «панов». Согласившись переправить их, он направил лодку в самый бурный поток, а сам сумел выпрыгнуть, «паны» же все погибли. Аналогичные предания встречаются у разных славянских народов.

по своим стилистическим особенностям. Таким образом, в циклах о Петре I и Пугачеве можно выделить разные типы исторических преданий, имеющиеся и в фольклоре других славянских народов.

Образ Петра I в русском фольклоре в основных чертах — типологический для периода позднего феодализма образ идеального монарха, но в поздней редакции — и с рядом национальных особенностей. Образ Пугачева — характерный для русской истории образ самозванца, также содержит некоторые черты «хорошего» (мужицкого) царя, но еще больше сходства имеет он с образом благородного разбойника — социального мстителя, переходящего уже в образ сознательного борца против крепостнического строя. В направлении создания этих типологических образов, действующих в условиях русской истории и русского быта, шло развитие преданий.

Предания о Петре I и Пугачеве распространены очень неравномерно. Рассказы о Петре I, которые можно назвать собственно преданиями, распространены были преимущественно в местах, где он бывал и где хранились воспоминания о приездах его на постройку флота, завода, канала и т. п.; больше всего таких преданий было записано в б. Олонецкой губ. (ныне Карельская АССР). Предания о Пугачеве также создавались и хранились в местах действия пугачевцев — в Поволжье, на горнозаводском Урале и у уральских казаков, причем в каждом из этих районов они имеют свою специфику.

Принято считать, что ядром преданий являются действительные события и рассказы-воспоминания (memorate) о них участников и очевидцев. Так как предания о Петре I и Пугачеве встречаются в записях уже с начала XIX в. (а некоторые даже раньше), то среди них есть и рассказы очевидцев или со ссылками на очевидцев. Часть их — воспоминания в полном смысле этого слова, которые еще нельзя считать преданиями. Так, в начале XIX в. в Олонецкой губ. были записаны воспоминания 115-летнего старика Пахома [3], видевшего Петра, когда он приезжал осматривать место прокладки будущего канала; старик описал наружность Петра и сопровождавших его англичанина Перри и Корчмина, которые производили геодезические измерения. Это простое припоминание в ответ на расспросы. Такие же воспоминания о Пугачеве записывались в Поволжье не только у русских, но и у других живущих здесь народов — мордвы, чувашей и татар; они однотипны, содержат общие мотивы и дают в основном одинаковую оценку пугачевского восстания [4]. В рассказах-

---

[3] Е. В. Барсов. Петр Великий в народных преданиях Северного края. «Беседа», М., 1872, V, стр. 302.

[4] Большинство этих преданий перепечатано в сб.: А. Н. Лозанова. Песни и предания о Разине и Пугачеве. М.— Л., 1935. В ряде этих рассказов, публиковавшихся в XIX в., есть стремление, иногда идущее может быть от собирателя, изобразить в угоду официальной идеологии (или из желания

воспоминаниях выражается обычно впечатление, произведенное историческим лицом, описываются его наружность, одежда, характер. Подобные воспоминания, неоформившиеся или уже начавшие оформляться в предания, известны у всех славянских народов. Больше всего их, естественно, о событиях современных или недалекого прошлого (например, рассказы о борьбе партизан во время второй мировой войны). Такие рассказы по существу не отличаются от воспоминаний, какими делится при случае любой человек, и почти не выделяются из обыденной речи, но они могут стать ядром, на основе которого развивается уже собственно предание [5].

Те из воспоминаний, которые представляют более или менее широкий интерес, пересказывались неоднократно. Об этом говорится и в самих пугачевских преданиях: «Про Пугачева у нас много дедушка знал. Рассказывал бывало все. Как сойдутся круг его,— он и пойдет, и пойдет...» [6]. Одна из информаторов А. А. Шахматова говорила об умершей в глубокой старости мордовке — бабке Цебарке, хорошо помнившей Пугачева: «В старину (бывало) Цебарка выйдет на улицу, сядет на завалинку и скажет: «Эй, собирайтесь-ка близ меня, послушайте меня, что я расскажу вам о пугачевском времени» [7]. Повторяясь, воспоминания отливались в устойчивую форму и отрывались от своего рассказчика, становились преданием в полном смысле этого слова (в приведенных примерах рассказчики передают уже слышанное ими).

Однако ссылкам на лиц, бывших якобы свидетелями событий или хорошо знавших о них, далеко не всегда можно доверять. Это очень распространенный и характерный для преданий прием, имеющий целью убедить в достоверности рассказываемого. При этом называют имя «очевидца» или верного человека, указывают, кто он был, где и когда жил. Очень часто ссылаются на отца, мать, дедушку. Так, даже в преданиях о Пугачеве, записанных в 1938 г. Н. П. Колпаковой в Белорецком р-не Башкирской АССР, встречается ряд ссылок именно на отца: «Это мне все отец рассказывал.

видеть рассказы напечатанными) Пугачева злодеем, но почти всегда тут же следует характерная реплика, что «пугачевцы крестьян не трогали, они очень не любили господ» (стр. 206), которая говорит о действительном восприятии Пугачева широкими массами.

[5] Так, в своде украинских преданий М. Н. Драгоманова («Малорусские народные предания и рассказы». Киев, 1876) приведено значительное количество подобных рассказов-воспоминаний о запорожцах и гайдамаках, о жизни в недавнем прошлом и пр. (см., например, о запорожцах, стр. 210—212, № 17 и 18 и др.). Много рассказов-воспоминаний также в кн.: П. Кулиш. Записки о Южной Руси, т. 1. СПб., 1856. Такого же типа некоторые рассказы поляков о войнах Наполеона, о восстании 1863 г. (см., например: W. Łega. Okolice Swecia. Gdańsk, 1960, str. 193—194, и др.).

[6] А. Н. Лозанова. Указ. соч., стр. 193, № 14.

[7] Там же, стр. 206, № 22.

Он про это хорошо знал: ему дед говорил» [8]. Аналогичные ссылки есть и в записях, сделанных экспедициями студентов Башкирского университета: «От бабки моей слышала» [9]. Такие ссылки обычны для преданий славянских народов [10], они составляют одну из характерных особенностей этого жанра. Понятно, что ссылки на очевидцев или знавших очевидцев могут быть только в преданиях о событиях сравнительно недавних. Когда события отдаляются, чтобы убедить в правдивости рассказа о них, подчеркивают его общераспространенность («говорят») или ссылаются на стариков: «Говорили старики» [11], или: «О Пугачеве я слыхал. О нем, бывало, много старики говорили» [12].

Ту же цель, что и ссылки на верных людей, имеет в преданиях указание различных реалий, действительно или по традиции связанных с лицом, о котором рассказывается: различные предметы, подаренные им, дома, в которых он останавливался, построенные им церкви и часовни и т. п. Но если ссылки на того, от кого предание якобы услышано, только подтверждают его правдивость, то реалии, убеждая в этом же, могут сами стать и становятся поводом для рассказа.

Многочисленные реалии и прочие доказательства истинности преданий не исключают того, что содержание их в той или иной степени, а зачастую и целиком вымышлено. Характерно, что даже в воспоминания очевидцев (или передаваемые как рассказы очевидцев) входят типологические мотивы, и центральный образ рисуется в духе господствующей традиции. Так, воспоминания 115-летнего олонецкого крестьянина о Петре I заканчиваются такой его характеристикой: «Надежа-государь не гнушался нашего житья, кушивал нашу хлеб-соль и пожаловал отцу моему серебряный полтинник». Общение с простым народом — основная черта не только образа Петра I, развиваемая во многих преданиях о нем, но и всех типологически сходных с ним образов

---

[8] Н. П. Колпакова. Новые записи фольклора на Южном Урале. «Ученые записки ЛГУ», серия филологич. наук, вып. 12, 1941, стр. 148.

[9] Л. Г. Бараг. Народные устные рассказы о горнозаводской Башкирии эпохи Пугачевского восстания. Сб. «Народ и революция в литературе и устном творчестве». Уфа, 1967, стр. 242.

[10] Так, в белорусских преданиях, записанных М. Федеровским, встречается ряд ссылок на отца. На отца сослался крестьянин, рассказавший о Костюшко: «Мой отец пел о нем песню» (M. Federowski. Lud białoruski na Rusi Litewskiej, t. III, cz. II. Kraków, 1903, str. 11, N 20d; str. 6, № 12 и 13). Сходно в болгарских преданиях: «...съм ги чувал от баща и дядо» («Българско народно творчество», II, стр. 211); «Чувал съм от баща си дядо Гьорги как бил останал с пушката и саблета си» (там же, стр. 68). То же в словенских преданиях: «Stara moja mat je pravlaje, ona šlišala od starih» (J. Grafenauer. Slovenkse pripovedke o Kralju Matjaźu. Ljubljana, 1951, str. 200); в польских: «To mój rodzic nieraz o tym opowiadał, źe zaś od swoich rodiców słyszał (M. Karaś. Указ. соч., стр. 24).

[11] Н. П. Колпакова. Указ. соч., стр. 148.

[12] Там же, стр. 149. Надо отметить, что аналогичные ссылки на народ и стариков («говорят», «рассказывают») вводили иногда и сами собиратели.

«справедливых» царей — Ивана Грозного, короля Матьяша, Казимира Великого — «króla chłopów» и др. О полтинниках же, «подаренных» Петром I, часто фигурирующих в олонецких преданиях, В. Н. Майнов писал: «Таких полтинников, а также и чарочек раздарено было Петром в Обонежьи множество, так что, путешествуя в этом краю, то и дело приходится слышать: «Так у деда (прадеда) и остался осударь кушать и пожаловал в ту пору ему эту самую чарочку» [13].

В воспоминаниях крестьян Поволжья о Пугачеве часто говорится, что при приближении пугачевцев господа переодевались в крестьянское платье и прятались в лесах, но пугачевцы узнавали их по рукам (иногда кто-либо выдавал их). Факты переодевания помещиков во время пугачевского восстания действительно имели место, они засвидетельствованы документами и воспоминаниями; на основе их сложился мотив, общий для пугачевских преданий Поволжья. Характеристика же Пугачева в этих преданиях: «Он являлся к богатым, требовал у них хлеба и денег, раздавал то и другое беднякам» [14] типологически сближает его образ с образами героев антифеодальных преданий, «благородных разбойников», идейным стержнем преданий и песен о которых служит эта же формула: «У богатых брал — беднякам отдавал»[15]. Приведенные предания-воспоминания показывают, что исторические образы в фольклоре развиваются соответственно сложившейся традиции, но одновременно на основе реальной действительности создаются и новые мотивы, характеризующие уже конкретную обстановку и лицо.

Как уже говорилось, соотношение факта и вымысла в преданиях самое различное (историческое в них иногда только имя центрального персонажа), но толчком к их созданию всегда является историческая действительность, какие-либо подлинные события, впечатления, произведенные ими.

Примером создания на фактической основе художественно-оформленного предания могут служить рассказы о постройке Петром I Ладожского канала. Это значительное по тому времени строительство сохранилось в памяти народа. О тяжелой работе

---

[13] В. Н. Майнов. Поездка в Онежье и Корелу. СПб., изд. 2, 1877, стр. 39.

[14] А. Н. Лозанова. Указ. соч., стр. 211.

[15] Так характеризуется Довбуш и другие опришки: «Довбуш був дуже добрий чоловік, він лиш у богачів брав, а бідним давав» (В. Гнатюк. Народні оповіданя про опрішків. Львів, 1910, стр. 141). Так же поступают Яношик и Ондраш: «Ta Janošík bohatím brau a chudobnim davau (П. Г. Богатырев. Словацкие эпические рассказы и лиро-эпические песни. Збойницкий цикл. М., 1962, стр. 161). «Ondráš je dobrý chlap. edem panum bere, a chudobnym lidum rozdáva» (A. Sivek. Zbojník Ondráš a Ondrášovska tradice v slovesnosti slezké oblasti. Praha, 1959, str. 67). Кармелюк в песне заявляет о себе: «З богатого хоч я й візьму — убогому даю» («Українські народні думи та історичні пісні». Київ, 1955, стр. 247 и т. п.).

на «канаве», во время которой погибло много народу, говорится как в воспоминаниях, так и в песнях. П. И. Якушкин записал в 1860 г. свой разговор с крестьянами Весьегонского уезда Вологодской губернии о Петре I, во время которого вспомнили и о «канаве». Это именно беседа, воспоминания, а не специальный рассказ. Собеседники Якушкина говорили, что из царей только Петр бывал в их местности, когда ездил на Ладожскую канаву, которую тогда копали. Якушкин спросил: «Долго копали канаву? Про то не знаю и врать не хочу, ответил старик, а только народу погубили; сколько денег потратили и сказать нельзя!..— Старики говорят, перебил мой первый знакомый, старики говорят, у канавы один берег мешки с деньгами, а другой — головы человеческие» [16]. Так в обычный разговор вплетается художественный образ, ставший уже устойчивым («старики говорят»). Дальше крестьяне сообщили, что во время постройки откупщики понастроили кабаков, в которых народ пропивался и умирал от того, что вино было дурное. Все эти мотивы есть и в предании, записанном Е. В. Барсовым, но это уже законченный рассказ с художественными образами. Как и во многих преданиях, Петр рисуется здесь во взаимоотношениях с простыми людьми, но отношения его к рабочим лишены той идеализации, которая есть в некоторых произведениях о нем. Петр радуется, когда в свой первый приезд видит, что рабочие много зарабатывают и хорошо одеты, но он же сам, когда не стало хватать денег на стройку, «умыслил на каждой версте сделать кабак», чтобы заставить рабочих пропивать деньги. Увидев в свой следующий приезд их уже оборванными, он рассмеялся, «сплеснул руками и говорит: «Ай-да молодцы! Знают денежек нажить, а умеют и прожить»[17]. Заканчивается предание песней, как бы обобщающей его смысл, и показывающей отношение к работе на «канаве». Песня эта интересна как образец зарождающегося рабочего фольклора:

Мы канавушку копали,
Все ю проклинали;
На канавушку на конях,
А с канавушки-то пеша [18].

---

[16] П. И. Якушкин. Путевые письма. Сочинения. СПб., 1884, стр. 283.
[17] Е. В. Барсов. Указ. соч., стр. 309.
[18] Следует отметить, что песенные вставки вообще встречаются в преданиях и выполняют разные функции: обобщают смысл предания (как в данном случае), служат для развития действия, характеризуют обстановку и действующее лицо, используются для подтверждения достоверности рассказываемого («про это и песня есть»). В преданиях уральских казаков, записанных И. И. Железновым, встречается интересный случай, когда рассказчик полемизирует с песней, враждебной Пугачеву, вскрывает ее социальный смысл: «про него, примерно, говорится:

Пластал и резал,
На кол сажал и вешал...

А вот про солдатских-то командиров никто, чай, и заикнуться не смеет, что они народ вешали да на глаголь вздергивали» (И. И. Железнов.

На основе действительных фактов возникли предания о пугачевцах на уральских заводах, показывающие отношение к восстанию горнозаводского населения. В преданиях рассказывается, что, когда Пугачев со своей армией (на Урале говорят именно об армии, войске Пугачева) подошел к заводу, рабочие перешли на его сторону, готовили для него оружие, отливали пушки, а когда пугачевцы под натиском правительственных войск вынуждены были отступить, с ними ушло все население, а завод взорвали. Сходные предания рассказывают о разных заводах, даже о тех, где пугачевцы не бывали. При этом рассказчики стараются подчеркнуть, что рабочие именно того завода, о котором идет речь, первыми пошли за Пугачевым. «Белорецкие-то первыми в пугачевское войско явились. Емельян очень любил их, опорой своей называл» [19].

На примере этих преданий можно видеть, как рассказ, сумевший передать самое важное, типическое для пугачевского восстания на Урале, становится схемой, по которой рисуется история разных заводов. Рассказывается об этом очень сжато, конспективно, без детализации. Иногда предание дополняется эпизодом о том, как заводское начальство готовилось дать отпор пугачевцам, причем используются уже готовые мотивы об обороне городов и крепостей — приказывали рубить лес и сбрасывать с горы бревна на наступающие отряды и т. п. Такие дополнения не меняют характера предания — оно остается обобщенным реалистическим рассказом, типично горнозаводским. Но в предание, записанное в 1938 г. от сравнительно молодого еще рабочего, введен мотив иного характера: когда Пугачев, взорвав завод, уходил и все ушли с ним, «вся земля дрогнула, поднялась — и речка Кухтур ушла под землю. Она и сейчас в одном месте под землей течет. Это с тех пор, говорят, как уходил Пугачев: вся природа не хотела его отпускать, и река ушла под землю, чтобы не могли из нее напиться те, кто преследовал Пугачева» [20]. Использование современным рассказчиком широко известного в фольклоре всех славянских народов мотива сочувствия и помощи природы положи-

---

Уральцы, т. III. СПб., 1910, стр. 187). В фольклоре всех славянских народов известны и прозаические пересказы песенных сюжетов; в этих случаях песня обычно дополняется, дается характеристика главному герою, что характерно для преданий. Такой пересказ песни о борьбе Петра I с драгуном был записан, например, в 1959 г. экспедицией студентов Уральского университета в с. Чусовом Свердловской обл. (сообщено В. П. Кругляшовой).

Соотношение песни и предания и их взаимосвязь должны послужить предметом специального исследования. Частично это уже затрагивалось (см.: Цв. Романска. Вступительная статья к сборнику преданий «Българско народно творчество», вып. 11; В. К. Соколова. О некоторых особенностях исторических песенных и прозаических жанров. «Известия на Етнографския институт и музей», кн. VI. София, 1963, и др.).

[19] Р. Алферов. Сказы о Башкирии. «Литературная Башкирия», вып. 2, 1950, стр. 233.

[20] Н. П. Колпакова. Указ. соч., стр. 149.

тельному герою показывает, насколько живучи некоторые древние образы. Предание получает благодаря этому мотиву еще большую обобщенность и художественную завершенность, но оно начинает переходить уже в фантастическую легенду, ибо помощь природы в нем — не просто поэтический символ, а подается как факт, подтверждаемый особенностями речки Кухтур.

Предания типа рассказов о постройке Ладожского канала и о Пугачеве на уральских заводах можно считать собственно историческими; определяющим в них являются действительные события значительного масштаба. Но преданий, в которых рассказывается о крупном событии в целом, сравнительно немного. Значительно больше преданий, содержанием которых служит отдельный эпизод. Предания эти часто выглядят очень конкретными, фактографичными, но в них преобладает вымысел и составляют их общие типологические мотивы. Случай, о котором говорится в предании, может быть малозначителен сам по себе, но он характеризует типологический образ исторического деятеля с важной для него стороны.

Предания о случаях, происшедших с Петром I во время поездки в Онежский край, в Воронеж, где строился флот, на разные заводы, показывают его в общении с простым народом, жизнь и нужды которого он хотел знать. Петр I восхищается смекалкой крестьян, с удовольствием слушает их песни и т. п. Ему очень понравилась «мурзовка» (квас с хлебом), которой его угостила бедная крестьянка, и он заставил своего повара выучиться готовить ее [21]. Петр уважает труженика и ненавидит бездельников. Когда боярин, не желая работать, сел под елочку и стал есть сладкие пироги, Петр за его леность «приказал ему обрядиться пирожником, да на ямах пироги-рыбники разносить. От такого сраму стал боярин куда как изделен», а немчина, не захотевшего мостивины класть, заставил «позади последнего солдата стать и на ямах солдатам за стряпуху рыбницу варить» [22]. Все это черты, роднящие Петра с типологически близкими ему образами — Ивана Грозного, короля Матьяша и многих других. Но в преданиях о Петре особенно подчеркивается, что он старался сам узнать все, «до всего доходил» и все делал своими руками. Он первый пускается в бурный поток, чтобы забить сваю; «у Нюхчи, а потом и везде по ямам первую мостовину, благословясь, клал сам Осударь» [23]; или: «Приде, скажут, в завод и своима царскима руками крицы дует, а бояра уголья носят; в молотобойню завернет и молот в руки и железо кует...» [24]. То, что Петр умел работать и не боялся никакого труда, вызвало заключительную

---

[21] «Народная поэзия Горьковской области», вып. 1, Горький, 1960, стр. 168—169.

[22] В. Н. Майнов. Указ. соч., стр. 235, 236.

[23] Там же.

[24] Е. В. Барсов. Указ. соч., стр. 305.

реплику сообщившего это предание сказителя Щеголенка: «Вот оно — царь так царь, даром хлеба не ел; лучше бурлака работал». Приехав в Воронеж на постройку кораблей, Петр работал вместе с плотниками, а когда самый лучший мастер, не зная, что это царь, выругал его крепким словом, что не так делает, и стал показывать, он быстро все перенял и поблагодарил за науку: «Хоть ты меня и крепко ругал, но я зла на тебя не имею, спасибо за науку» [25]. Эти предания также во многом типологические, но изображение Петра на стройках порождено действительностью и ярко характеризует не только его, но и эпоху. Образ Петра, не переставая быть типологическим, приобретает благодаря этому историческую конкретность и своеобразие.

Как действительные впечатления и воспоминания укладываются в типологические схемы, можно проследить на преданиях о Петре-куме. Для изображения Петра в этой роли были, очевидно, какие-то реальные основания, но она традиционна для справедливого монарха. У Петра появляется уж очень много крестников, рассказы повторяются, и, что особенно важно отметить, они строятся по типологической схеме: Петр крестит ребенка у самого бедного крестьянина, к которому никто не хотел идти в кумовья [26]; то же рассказывают про Матьяша [27], кумом самого бедного крестьянина оказался и Грозный [28]. Но в преданиях сохранились вместе с тем и действительные воспоминания о Петре, например об его привычке везде возить с собой анисовую водку; этой водкой он угощал всех на крестинах. Подтверждаются рассказы показом серебряной чарочки, которую тогда оставил Петр на память куму — прадеду рассказчика.

Среди преданий об отдельных случаях есть очень краткие, как бы простая констатация факта, но нередки и более или менее развернутые сюжетные рассказы с художественными образами; в них используются меткие образные выражения, прямая речь, диалог. Так, в преданиях о Петре-куме, записанных В. Н. Майновым, очень выразительно рисуется бедность мужика, у которого родился ребенок: «Был мой прадед человек куда бедный; ни мучицы — поесть, ни винца — выпить нету»; или: «А у бедняка денег-то ни полушки, а вина-то ни косушки» [29]. В предании живо рассказывается, как бедняк в безуспешных поисках кума встретился с пришедшим в село «осударем», который, узнав в чем дело, сам набился в кумовья и спрашивает: «Люб ли я тебе?»; он же выби-

---

[25] В. А. Тонков. Фольклор Воронежской области. Воронеж, 1949, стр. 63.

[26] В. Н. Майнов. Указ. соч., стр. 237—238 и 39—40. Предание о Петре-куме есть и у Барсова (Указ. соч., стр. 303).

[27] J. Komorovský. Kral' Matej Korvin v lidovej prozaickej slovesnosti. Bratislava, 1957, str. 64.

[28] «Приятное и полезное препровождение времени», ч. XIX. СПб., 1798, стр. 14—15.

[29] В. Н. Майнов. Указ. соч., стр. 40, 185.

рает куму, а после крестин, увидев, что у хозяина ничего нет, поит своей анисовой: «Видно, моя анисовая отдуваться будет».

Такого же типа развернутое предание о пугачевской часовне записано было в 1961 г. в Краснокамском р-не Башкирской АССР. Поводом к рассказу послужила часовня: «Пугачев бывал в наших местах. Как же! Видели, чай, часовню у въезда в Касево? Теперь одна она и осталась как памятка о том, что приключилось в селе при Пугачеве». И дальше следует живой, достаточно обстоятельный рассказ о «приключении». Когда в село пришли пугачевцы, сгорела старая церквушка: «Мужики, что с Пугачевым пришли, самогонки лишку хватили и спалили». Крестьяне тогда много говорили о новом царе, хотели его видеть и не знали, что он в мужицкой одежде находился тут же в избе старосты Данилы Шитова (оказывается, точно известно даже, у кого именно он останавливался), отдыхал на полатях. Зашедшие в избу крестьяне разговорились сначала о приметах государя (а он «посматривает да посмеивается»), потом про сожженную церковь, говоря, что надо жаловаться государю — «Пугачев слушает и молчит». А утром он вышел к народу «в императорской форме», велел выпороть перед всеми озорников и построить «на память» часовню. «Вот какая часовня у нас — Пугачевская!» [30] — с гордостью заключил старик. В предании Пугачев рисуется как справедливый царь. Он, неузнанный, как и полагается, выслушивает правду, а потом по справедливости наказывает виновных. Связь с часовней точно локализует этот рассказ, вводит его в группу преданий о местных объектах.

Предания, привязанные к местности и отдельным объектам, составляют весьма значительную группу (точная локализация вообще одна из основных специфических черт преданий). В них повествуется о пребывании в данных местах героя преданий, об его действиях и произнесенных якобы словах о постройках, связанных с ним. И чем популярнее исторический деятель, тем больше оказывается таких «следов» его — действительных или, чаще, мнимых. Часто эти предания топонимические, поясняющие происхождение названия села, горы, дороги и пр. О Петре таких рассказов больше всего сохранилось в Онежском крае, о Пугачеве — на горнозаводском Урале, где показывают остатки окопов, насыпей, на которых якобы стояли пушки пугачевцев, и пр. Есть и остатки дорог, по которым шли пугачевцы: «Копанец» — в этом месте прокопали дорогу пугачевцы, уходя за Урал; «Бычья дорога» (километрах в 20 от Белорецка) — по ней Пугачев свои пушки тащил на быках. В данных случаях, очевидно, переосмыслены старые названия, в Онежском же крае есть остатки знаменитой «Осударевой дороги», по которой Петр I действительно прошел с войском к берегу Балтийского моря. «Дорогу цареву» показы-

[30] Л. Г. Бараг. Указ. соч., стр. 251.

вали П. И. Якушкину в б. Черниговской губ. (около Стародуба), ее проложили, как сообщил информатор, когда Петр «на Литву под Полтаву ходил», чтобы можно было пройти войску с орудиями; любопытно, что рассказчик тут же привел и другое объяснение: «А другие болтают, что за Трубчевском был царский винокуренный завод, так, говорят, от того завода дорога стала царской, кто ее знает» [31].

На севере ряд названий связывают со словами, произнесенными будто бы здесь Петром. В Вой-Наволоке суда Петра из-за бури простояли трое суток, «да так и оставил Петр I свое царское слово «Вой Наволок» [32]. С Петром связывают даже такое явно финское название, как Важносальма: когда он ехал в Архангельск, в этом месте бабы и девки в ярких костюмах жали и пели песни. Петр заслушался песен и решил здесь устроить пир на весь мир; велел из снопов сделать столы и скамейки, на них подавали кушанье и вино, а потом, развеселившись, парни и девушки разбросали солому и стали на ней водить игры и плясать. «Вот так «важная солома»,— сказал будто бы Петр I, и с этих-то слов государевых стали будто бы звать это место «Важмосальма» [33]. Название порога «Лисья голова» появилось будто бы потому, что здесь судно Петра натолкнулось на камень. Петр хотел камень вытащить и сделать свободным проход; все было готово, «пустили в ход струменты», но старый крестьянин из соседней деревни не сумел вовремя подложить под камень балку, и он упал на прежнее место. «Заметил это государь, страшно разгневался и закричал: ах ты, лысая голова...» С этой-то поры и мужика стали звать лысой головой, да и порог также. А что теперь зовут его Лисьей головой, заключил рассказчик, так это уже по забытью народ переменил» [34].

В предании о «Лисьей голове» говорится не только о происхождении названия порога, но и прозвище незадачливого крестьянина. Подобные прозвища и местные пословицы тоже могут связываться с историческим лицом, приписываться ему. Так, с Петром I связывается пословица: «Вытегоры воры, у Петра Великого камзол украли». Автор заметки, помещенной в «Олонецких губ. ведомостях» за 1864 г. (№ 52), говорит, что он, пытаясь выяснить происхождение этой пословицы, расспрашивал местных жителей и, наконец, встретил старика, который рассказал, что однажды Петр после обеда заснул в одной избушке в деревне Ваньши, а крестьянский мальчишка надел его камзол, висевший на гвозде, и щеголял в нем перед своими приятелями. Когда камзол нашли и привели

---

[31] П. И. Якушкин. Указ. соч., стр. 283.
[32] Е. В. Барсов. Указ. соч., стр. 299.
[33] Е. В. Барсов. Петр Великий в народных преданиях и сказках Северного края. «Тр. этнограф. отдела Общества любителей естествознания, антропологии и этнографии», кн. IV. М., 1877, стр. 34 (дальше: Е. В. Барсов, Указ. соч., «Труды»).
[34] Там же.

к Петру ребятишек, он приласкал их и шутливо сказал: «Ах вы, воры-вытегоры». «Предание,— говорит собиратель,— добавило остальное: «У Петра Великого камзол украли». Барсов слышал об этом другое предание — камзол у Петра выпросил «Гриша-простец», который всем «рубил правду»; он сказал, что из камзола они сошьют шапки себе и внукам и будут вспоминать Петра. Петр отдал камзол. «Завидно стало жителям суседным, и стали они говорить, что вы-де камзол украли, и пронеслось это слово в Москву, а из Москвы во все города и с тых пор стали звать вытегор «камзольниками» — Вытегоры-де воры, у Петра Великого камзол украли» [35]. В данном случае — это попытка исторически объяснить одно из тех насмешливых прозвищ, которые обычно даются жителям соседних сел и городов, как бы реабилитировать себя, отвести нежелательное прозвище. Существование же двух разных версий — одно из свидетельств того, что содержание преданий вымышленно. Разные предания об одном и том же объекте не редкость[36].

В местностях, отдаленных друг от друга, о сходных объектах рассказывают сходные предания, применяя их в соответствии с местной традицией к разным лицам. Так, например, во многих местах можно встретить «беседные» или «думные» горы, на которых останавливался герой предания, советовался со своими генералами, что делать дальше, разговаривал с народом. В Поволжье такие горы связывали с Разиным, в Саратовском же Поволжье и южных русских губерниях (прежде всего в Воронежской) — с Кудеяром, на Украине — с запорожцами. У южных славян есть сходные предания о гайдуках, то же рассказывают о горах Яношика, Довбуша и др. На севере Беседную гору, естественно, приурочили к Петру (Петр на ней беседовал с крестьянами), а на горнозаводском Урале показывают Пугачевскую гору, на которой Пугачев стоял со своими командирами и совещался [37].

С историческими лицами связывают и происхождение курганов. В старину так вожди считали якобы свое войско — заставляли каждого принести горсть (или шапку) земли, и в результате

---

[35] Здесь пословица связывается с мелким анекдотическим случаем. Но пословица, включенная в предание, может содержать и более широкое историческое обобщение и оценку событий. Так, в приведенном Федеровским предании сопоставляется правление Стефана Батория и Августа III (Sasa): «Że za króla Stefana Batorego, to nie było i kopyta końskiego, ale za króla Sasa to podjedli ludzi chleba, miasa i popuszczali pasa» (M. Federowski. Указ. соч., т. III, ч. II, стр. 5, № 8; стр. 6, № 11). Такой тип преданий очень старый, он зафиксирован, например, русской начальной летописью, в которой рассказ о победе над великанами-обрами завершается пословицей: «И есть притъча в Руси и до сего дне: погибоша аки обре».

[36] Ср., например, приведенные выше предания о царской дороге. Бараг в указанной работе (стр. 238—239) приводит разные предания об Арском камне, как связанные с Пугачевым, так и не имеющие точного исторического приурочения и т. п.

[37] Л. Г. Бараг. Указ. соч., стр. 242.

вырастал большой холм. Так на пути в Казань пересчитывал свое войско Грозный, так считал своих сторонников и Разин. Этот международный «бродячий» мотив вошел и в предание о Пугачевском бугре: «От бабки моей слышала, что пугачевцы шапками землю носили, чтобы этот бугор насыпать, так много тогда народа восстало!» [38] Мотив этот, как видим, использован с той же целью, что и в более древних преданиях: показать великое множество восставших. Но в поздних преданиях это мотивируется и необходимостью: надо было провезти или установить орудия. В Белоруссии, например, считают, что насыпи около Волковыска служили для установки пушек. «По общему указанию эти насыпи сделаны шведами во время войны с русскими. Нужную для этого землю шведы носили собственными шапками...» [39]. Такая модернизация мотивировки есть и в пугачевских преданиях — в Бакалинском районе на дороге, считаемой пугачевской, есть дамба, про которую говорят, что «раньше там был овраг. Чтобы пройти через овраг, пугачевцы таскали песок шапками. Так и образовалась насыпь [40]. Здесь старый мотив продолжает сохраняться в новом осмыслении.

Еще более древний «бродячий» мотив, восходящий к представлениям о духах стихий и возможности их покорения, вошел в предание о Петре и Ладожском озере: Петр собственными руками высек бурное Ладожское море за то, что из-за бури он долго не мог выехать, «и стала Ладога смиряться»; с тех пор, утверждал народ, «море» стало значительно спокойнее. «Ну и то сказать: к делу шел — за дело и сек»,— заключил информатор [41]; место же, где произошло наказание озера, с тех пор стали называть Царская Луда, а раньше звали Сухая Луда [42]. Мотив наказания моря известен еще по преданию о царе Кире, в русском фольклоре до Петра I он был связан с Иваном Грозным, высекшим Волгу, которая мешала переправе войска, шедшего под Казань. В предании есть фантастика — Ладога забоялась Петра,— но оно хорошо вяжется со сложившимся образом Петра — исключительно активного, пылкого, нетерпеливого, и не отличается по существу от разобранных выше преданий.

Предания топонимические часто очень короткие, информационного характера, но это могут быть и законченные рассказы типа преданий о Лисьей голове и Важносальме. В одном предании, записанном в Воронежской губ., подробно описывалось, как на ехавшего в Воронеж Петра ночью напали разбойники и, думая, что это один из ненавистных им чиновников, собирались с ним разделаться; узнав же царя, они страшно перепугались, а Петр уго-

---

[38] Л. Т. Бараг. Указ, соч., стр. 242.
[39] П. В. Шейн. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края, т. II. СПб., 1893, стр. 446, № 268.
[40] Л. Г. Бараг. Указ. соч., стр. 243.
[41] В. Н. Майнов. Указ. соч., стр. 20.
[42] Е. В. Барсов. Указ. соч., стр. 297.

ворил их бросить разбой и заняться честным трудом. На месте встречи Петр позднее построил каменную церковь, и, заключает предание, «так основалось село Петровское»[43]. Рассказы о церквах и других зданиях, воздвигнутых на месте происшествия, об основанных в память какого-то события селах и городах, нередки. Это один из наиболее древних видов исторических преданий. Так, в память победы над великаном-печенежином князь Владимир I заложил город и назвал его Переяславлем в знак того, что здесь русский от печенегов «переял славу». При различии содержания и идейного смысла предания о Кожемяке и о встрече Петра с разбойниками, как и другие аналогичные предания, по характеру построения и другим особенностям совершенно однотипны.

Существенная деталь, отличающая данное воронежское предание от северных,— Петр встречается не с крестьянами, как это обычно на Севере, а с разбойниками. Это не случайность. В южнорусских губерниях, где крепостной гнет был особенно сильным, рассказы о разбойниках, грабивших и убивавших помещиков и чиновников, мстя им за издевательства над народом, были очень распространены, да и «разбойников» — бежавших от крепостного ярма крестьян, было в этих местах немало. Естественно поэтому, что Петр должен был столкнуться с ними.

Предание о селе Петровском имеет дидактический характер и, возможно, подправлено публикатором — уж слишком назидательно Петр разговаривает с разбойниками, а они, проникнувшись его речами, возвращаются к честному труду. В воронежском же предании о «Сидоркином кургане» приехавший в Воронеж Петр кланяется славному атаману и благодарит его: «Спасибо тебе за твою правду, за то, что на Воронежье ты у меня порядки завел»[44]. Предание это не о Петре, а о Сидорке, оно другого плана и поэтому в целом здесь не анализируется. Встреча Петра с Сидоркой — лишь эпизод в начале предания, но она показательна для восприятия его образа — справедливость Петра противопоставляется той неправде, которая наступила после его смерти, когда «взбунтовались князья да бояре да главные управители» и захотели убить Сидорку.

Показательно, что из всех типологических образов преданий Петр вступает во взаимоотношения именно с «разбойными» атаманами. Сам он в силу своего положения и характера деятельности не мог стать в русском фольклоре образом социального реформатора (исторически верное чутье народа не допустило этого), но он должен сочувствовать тем, кто борется за справедливость. И любопытно, что донские казаки говорили о высокой оценке Петром Разина. Так, Петр якобы расспрашивал казака, бывшего

---

[43] «Воронежский литературный сборник», вып. I, 1861, стр. 510—513.

[44] В. Н. Майнов. Предание о Сидоркином кургане. «Петровский сборник», изд. «Русскою стариною». СПб., 1872, стр. 173.

в походах с Разиным, о том, как Разин брал Таганрог, наградил этого казака и сказал: «Жалко, что не успели тогда из Степана Разина сделать великую государеву пользу, и жалко, что он жил не в мое время» [45]. Предание об интересе Петра к Разину записал и Пушкин.

Пугачев же, выступающий как борец за социальную справедливость, естественно воспринял, как уже отмечалось выше, отдельные характерные черты народных защитников и мстителей; в Поволжье о нем говорили даже как о Разине, снова явившемся в положенный ему срок [46]. В преданиях о нем есть и намеки на бессмертие, на неуязвимость, но в применении к нему эти мотивы не получили развития — образ действий и судьба Пугачева не представляли материала для этого, да и мировоззрение народных масс уже значительно изменилось. И мотив неуязвимости в применении к Пугачеву получает реалистическую трактовку: «Была на ем чугунная рубашка. Никак ту рубашку пулей прострелить нельзя было» [47]. И когда преследуемый солдатами Пугачев прибежал к морю, он хотел прыгнуть в лодку, но не попал и утонул. Рассказчица, сославшаяся на отца, который все хорошо знал от деда, связала с Пугачевым мотив гибели Ермака, широко известный на Урале.

На горном Урале с Пугачевым связывают также предания окладах. Они представляют особый тип, и к историческим их можно отнести лишь условно. И это не потому, что мотивы, составляющие их, не исторические по своему происхождению («неисторических» мотивов много и в рассмотренных локальных преданиях), и не потому, что в них широко представлена фантастика. Предания эти не содержат образов исторических лиц и не связываются обычно с какими-либо фактами; в них повествуется не о тех, кто клады зарыл, и обстоятельствах, при которых это произошло, а о тех, кто знает про клады и искал их. В некоторых преданиях рассказывается и о встречах с теми, кто клад зарыл и хранит его. Но это уже особые предания о скрывающемся где-то и ждущем своего часа избавителе или, как в некоторых рассказах о Степане Разине, легенды о великом грешнике.

---

[45] «Историческое сведения Войска Донского о Верхней Курмоярской станице.... Василия Котельникова, 1818 г.». «Чтения в Об-ве истории и древностей российских». М., 1863, кн. III, Смесь, стр. 27.

[46] Л. Е. Элиасов в своем исследовании («Русский фольклор Восточной Сибири», ч. II. «Народные предания». Улан-Удэ, 1960, стр. 447—450) приводит предание о встрече Пугачева с Разиным; Пугачев пришел к Разину; вместе они ходили в походы против царских генералов, а потом Разин, ставший уже стариком, передал Пугачеву донское войско. Но это, несомненно, позднее сочинение (если не стилизация); литературно обработано и предание об атамане Золотом (Е. М. Блинова. Сказы, песни, частушки. Челябинск, 1937, № 2, стр. 13—17), скрывающемся в пещере, куда к нему приходил и Пугачев.

[47] Н. П. Колпакова. Указ. соч., стр. 148.

Истоки преданий о кладах — в древних народных верованиях, в представлениях о богатстве земных недр и духах «хозяевах» и хранителях этих богатств, иногда открывающих их достойному. На этой основе возникают многочисленные рассказы о кладах, которые трудно взять. Нередко рассказы о кладах получают и историческое приурочение. Их зарыли враги, пряча награбленные богатства (татарские клады-«могилы» у восточнославянских народов, турецкие — у южных и западных, «панские» клады на русском Европейском Севере), или же их зарывали при вражеском нападении, в трудные минуты (так, у украинцев широко бытовали предания о кладах запорожцев, оставленных, когда они вынуждены были покинуть Сечь). Клады приписываются и историческим лицам, которые и после смерти охраняют скрытые сокровища. В польских преданиях в этой роли наиболее часто выступает королева Бона, в словенских — король Матьяш, скрывающийся в горе со своим спящим до времени войском, и т. д. Больше же всего кладов приписывалось «благородным» разбойникам; хранятся они для народа и откроются, когда придет срок; подобные предания бытовали почти повсеместно. Таковы и предания о пугачевских кладах.

В преданиях о пугачевских кладах используются общие типологические мотивы: клады эти заклятые, их можно будет взять только через определенный срок, они должны принести счастье народу и т. п. «Клад здесь есть,— говорила приведенная ворожея,— но ты его не возьмешь, а будут у тебя внуки, они-то им и попользуются. Время не пришло» [48]. Один жадный поп хотел добыть клад и решил «отчитать» его; полез на гору, «а его оттуда ка-ак шарахнет! Так он кувырком и покатился с горы. Спустило его до низу. Из попа и ум вон» [49]. Такие предания всегда рассказывают как достоверные, со ссылками на знающих людей, искавших клады; точно указывают и местонахождение их. Л. Г. Бараг, анализируя предания, записанные в последние годы, отмечает, что в них очень часто фигурирует старуха, ходившая в молодости с отрядами Пугачева, а при смерти рассказавшая или не успевшая рассказать, где клад зарыт. Иногда будто бы клад выкапывали, но обычно его не могли найти: «А наши иргизлинские мужики долго ходили после этого на гору искать золото, но так и не нашли. Даже не так давно, в советское время копали» [50].

О богатствах, оставленных пугачевцами, и особенно об оружии, рассказывают и другое — пугачевцы бросили казну при отступлении, пушки завязли в болоте, и их не могли вытащить и т. п. Например, на дороге от Бродокалмака к Челябинску есть озеро Богатое, оно названо так будто бы потому, что во время отступле-

---

[48] Е. М. Блинова. Указ. соч., стр. 18.
[49] Н. П. Колпакова. Указ. соч., стр. 151.
[50] Л. Г. Бараг. Указ. соч., стр. 248.

ния одного пугачевского отряда в нем завязла повозка с войсковой казной, а вытаскивать ее было некогда; так же рассказывают и о карете с золотом и другими сокровищами, затонувшей в озере во время отступления французов в 1812 г. Но это уже предания не о кладах, а об оставленных историческим лицом реалиях и топонимические, подобные тем локальным преданиям, которые были разобраны выше [51].

Рассмотренные предания при их разнообразии сходны между собой в основном. В них, как правило, отсутствует сверхъестественный, фантастический элемент, то, о чем рассказывается в большинстве их, могло действительно произойти. Отдельные фантастические традиционные мотивы, используемые иногда в них, не меняют их характера. Соотношение факта и вымысла в разных преданиях разное, но преобладает, как видно из приведенных примеров, вымысел; он не противоречит в большинстве случаев исторической правде, а способствует ее обобщению, выявлению в ней наиболее существенного. Этому способствует и широкое использование традиционных «бродячих» мотивов; такую же роль играют и те новые мотивы, в которых уловлены какие-то существенные, типичные моменты события. Но случаи, о которых говорится в преданиях, и образы их (особенно в произведениях фабульных) очень конкретные, общее в них показывается через частное. Конкретизирует предания и их точная локализация. Типично для преданий, что наряду с показом исторического деятеля в действии и во взаимоотношениях с другими лицами ему дается и прямая, обычно очень лаконичная, в нескольких словах, характеристика; ею часто начинается рассказ, или она заключает его как вывод.

Эти особенности характерны для всех рассмотренных преданий, составляющих одну, самую большую, основную группу исторических преданий — преданий точно локализованных. По содержанию это — предания о событиях, об отдельных случаях из жизни исторического лица и связанных с ним происшествиях из местной жизни, предания об отдельных объектах и топонимические; но такое деление очень условно, так как всякое предание в сущности есть рассказ о каком-то случае. К этой группе примыкают и историзованные предания о кладах, представляющие особый тип. По характеру повествования это воспоминания (memorate), краткие сообщения о происшедшем когда-то и более или менее оформившиеся сюжетные рассказы (fabulate), но это художественные формы всех типов преданий (в том числе и не исторических), поэтому систематизировать их по этому принципу едва ли целесообразно.

---

[51] Любопытно, что горнозаводское население Урала считало пугачевскими и находимые в раскопках стрелы: «Сначала у него ни ружей, ни пушек не было. Были только стрелы с железными наконечниками» (Н. П. Колпакова. Указ. соч., стр. 150), а пушки и ружья стали делать для него уральские рабочие.

Точная локализация преданий ограничивает распространение их, они (в конкретной редакции, а не мотивы и сюжеты их, известные повсеместно) бытуют, как правило, вокруг того места, где произошло событие.

Исторических преданий, не имеющих точного местного приурочения, меньше [52]. Это в основном предания сюжетные, обобщенного характера. Таковы, например, предания: о споре Петра I с прусским королем (или датским и польским королями) — чей солдат смелее и послушнее (это оказывается, конечно, русский солдат) [53], о Петре, ездившем переодетым в Ригу учиться лить пушки, о том, как Петр (переодетый же) ходил по Москве и думал, где взять медь на пушки, и встретившийся ему медник посоветовал снять с каждой церкви по колоколу [54]. В предание вошел действительный факт (и, видимо, послужил поводом к его созданию) — Петр переливал на пушки церковные колокола, что поразило современников, по характеру же оно приближается к сказке.

И наиболее широкое повсеместное распространение о Петре получили именно сказки. Это сюжеты: 1) переодетый Петр встречается ночью с вором, который предупреждает его о заговоре против него бояр (генералов) и тем спасает его от смерти; сюжет этот раньше был применен к Ивану Грозному (Грозный и Щабарша —А.-Т. № 9513), в применении к Петру он известен очень рано — из записей в следственных делах 1730—1754 гг.[55]; 2) «Беспечальный монастырь» («король и аббат» — А.-Т., № 922); 3) мудрые ответы (А.-Т., № 921А, 921) — Петр встречается с крестьянином, который иносказательно отвечает на его вопросы, куда он девает деньги; Петр спрашивает, сумеет ли он ощипать гусей (знатных господ), что крестьянин с успехом делает (этот сюжет тоже связывается и с Грозным); 4) Петр и солдат (А.-Т., № 952): заблудившийся во время охоты Петр встречается с солдатом, на ночлег они попадают в разбойничий притон, где солдат убивает всех разбойников, потом Петр награждает его; в сказку эту включаются другие эпизоды, рассказываемые и как отдельные сказки: как солдат заложил шпагу в кабаке и др. Сказки о Петре и солдате — самые распространенные; их в разных вариантах рассказывают и сейчас.

Все это сюжеты достаточно известные, и разбирать их здесь нет необходимости. Важно отметить общую закономерность —

---

[52] Правда, довольно большое количество преданий о Петре I, в основном типа анекдотов и фабльо, имеется в письменных источниках (например, у Голикова в «Деяниях Петра Великого», рассказы о Петре и шуте Балакиреве и др.), но они известны были преимущественно в городской среде и из книг. Изучение их — особая тема.

[53] «Русский архив», 1883, т. II, стр. 354—355 и др.

[54] В. Н. Добровольский. Смоленский этнографический сборник, ч. I. СПб., 1891, № 25, стр. 383—384.

[55] П. К. Симони. Сказки о Петре Великом в записях 1745—1750 гг. «Живая старина», 1903, вып. I—II, стр. 225—237.

именно эти сюжеты и у других европейских народов связываются с типологически сходными образами королей. Обусловлено это особенностью сюжетов. Сказки эти бытовые, новеллистические, фантастических мотивов и персонажей в них нет, образ же царя в них соответствует типологическому образу справедливого государя. Петр в сказках тот же, что и в преданиях. Он встречается с простыми людьми и восхищается их смекалкой; переодетый, он бродит по Москве, чтобы узнать, что делается; неузнанный, выспрашивает солдата о службе, а потом наказывает несправедливых начальников; увидев в монастыре жирного монаха («Ат трудоў правидных: богу малюсь»)[56], Петр заставил его трудиться по-настоящему — на месяц послал молотобойцем в кузницу. Исторически обусловлен в сказках образ солдата — в русском фольклоре этот образ появился именно со времени Петра I и очень характерен для произведений этой эпохи. Появляется и Петербург, куда едут Петр и солдат, тогда как в более ранней сказке о Петре и воре действие всегда происходит в Москве.

Показательно, что, перейдя в план исторический, получив в качестве героя историческое лицо, сказки и формально приближаются к преданиям. Они, как правило, довольно короткие, без сказочной «обрядности» — традиционных зачинов и концовок, общих мест, троекратных повторений и т. п.; рассказываются они простым языком. И что особенно важно — они начинают восприниматься как быль. «Это бывальщина, это на самом деле было» [57],— начинается одна из сказок о Петре и солдате. Или такие начала, тоже типичные для преданий: «Царь Петр захотел узнать, что в Москве делается, ночью оделся в худую одежду»[58]; «Когда Петр I был царем, ходил он по Ленинграду». А современная воронежская сказочница А. Королькова начала свой вариант сказки «Петр на охоте» характеристикой Петра (опять-таки традиционной для преданий): «Петр Первый много выпивал, много гулял и много работал. Он все, все сам делал и после каждой работы любил пойти поохотиться. Любил он русский народ, и солдат, и странников особенно»[59]. Сказки начинают даже привязывать к определенной местности — дело происходило именно там, где живёт рассказчик. Так, Петр встретился со старым крестьянином, которому посоветовал ощипать гусей, на Водлозере, когда ехал из Повенца [60], т. е. сказка воспринимается так же, как и другие олонецкие предания. Все это дает основание объеди-

---

[56] В. Н. Добровольский. Указ. соч., стр. 187, № 28.
[57] Н. И. Рождественская. Сказы и сказки Беломорья и Пинежья. Архангельск, 1941, № 61, стр. 156.
[58] В. Н. Добровольский. Указ. соч., стр. 384, № 26.
[59] Вл. Бахтин и Дм. Молдавский. Господин леший, господин барин и мы с мужиком. М.—Л., 1965, стр. 186.
[60] Е. В. Барсов. Указ. соч., «Труды», стр. 35.

нять подобные сказки в одну группу с преданиями обобщенного типа.

С Пугачевым традиционные сказочные сюжеты не связаны, его образу они не соответствовали. Обобщенные образы типа сказочных созданы в преданиях о нем на основе реальной действительности. Это предание о Пугачеве и барыне (Салтычихе), в котором противопоставлены антагонистические образы народного вождя и помещицы. Салтычиха захотела посмотреть на пойманного и посаженного в клетку Пугачева: «Что, попался, разбойник?» — спросила она. А Пугачев «...как гаркнет на нее; застучал руками и ногами, индо кандалы загремели; глаза кровью налились... Обмерла Салтычиха, насилу успели живую домой довезти» [61]; вскоре после этого она умерла. Помещица не случайно получила имя Салтычихи (Д. И. Салтыковой), которая даже в период наибольшего крепостнического произвола отличалась исключительной жестокостью, и имя ее стало нарицательным; в предании о Пугачеве ее образ — обобщенный образ крепостников; Пугачев же олицетворяет здесь восставший народ; даже побежденный, он карает своих врагов (по варианту, опубликованному в 1860 г. в «Саратовских губернских ведомостях», барыня, пришедшая посмотреть на Пугачева, не выдержав его взгляда, испугалась, упала возле клетки, да и богу душу и отдала) [62]. Обобщенный характер образов дает возможность глубже раскрыть смысл восстания, историческая же деталь — пойманного Пугачева везли в клетке — придает ему конкретность, убеждает в его правдивости.

По характеру изображения действительности предания, локализованные и обобщенные, составляют один раздел — это предания (как и примыкающие к ним предания-сказки) реалистические. Другой раздел составляют предания с элементами сверхъестественного, чудесного, осмысливающие события с религиозной точки зрения, их часто называют легендами [63].

---

[61] А. Н. Лозанова. Указ. соч., стр. 200.

[62] Там же, стр. 198.

[63] Термин «легенда» фольклористы употребляют в разном значении. У некоторых он является почти синонимом предания, другие разграничивают эти понятия. Большинство советских фольклористов преданиями считают рассказы реалистического характера, а легендами — фантастические. Так разграничивают предания и легенды С. Н. Азбелев («Отношение предания, легенды и сказки к действительности (с точки зрения разграничения жанров)». Кн.: «Славянский фольклор и историческая действительность». М., 1965, стр. 5—25); В. Е. Гусев («Эстетика фольклора». Л., 1967, стр. 122—123); Л. Е. Элиасов (Указ. соч.) и др. Аналогичной точки зрения придерживается Цв. Романска, которая делит болгарские исторические предания на предания с хорошо сохранившейся исторической основой и предания, в которых преобладают легендарные элементы (Z. Romanska. Die bulgarischen Volkssagen und Legenden. Zustand ihrer Erforschung: Tipen und Motive. «Tagung der Sagenkomission der International Society for Folk-Narrative Research...». Budapest, 1964). Ю. Кржижановский термин «легенда» понимает более узко — только рассказы религиозного характера о «святых» и

Предания религиозного характера есть и о Петре I, ряд их был записан в Олонецкой губ., где они сосуществовали с преданиями реалистическими. Так, Петр хотел, невзирая на бурю, уехать из Повенца в день Петра и Павла, но ветер не дал возможности выйти судам, и Петр вынужден был признать, что «Повенецкий Петр (т. е. святой Петр) сильнее Петра Московского» [64]. Не мог Петр также восемь суток отъехать от Соловков, потому что уехал, не отслужив молебна и не замкнув раки святых [65]. В монастыре преп. Ионы в Клименцах Петр захотел проверить, действительно ли там настоящие мощи, и ткнул в них жезлом — посыпались искры, и Петр, чтобы искупить свой грех, велел поскорее устроить раку преподобному. (Мотив этот очень сходен с Новгородским преданием о Василии III). Несомненно, что такие предания, связанные с религиозной легендой и письменной литературой, выходили и создавались религиозно настроенными людьми и прежде всего старообрядцами, которых много было на севере. Они в известном смысле противостояли преданиям о Петре-преобразователе, который все может и сам до всего доходит, убеждали, что есть силы, более могучие, чем земной царь. Образ Петра в них снижался, но не в социальном плане (намек на это есть в преданиях о Ладожском канале), а религиозном.

Религиозную трактовку могут получать сюжеты и мотивы, разрабатываемые и в преданиях реалистических. Так, сказитель былин Касьянов, человек весьма начитанный в церковных книгах, поражение под Нарвой объяснял тем, что нетерпеливый Петр уехал на войну, не дослушав длинной обедни и не получив благословения патриарха. Проиграв сражение и потеряв все орудия, Петр в отчаянии приезжает к патриарху, и тот посоветовал снять с каждой колокольни по колоколу, чтобы отлить новые пушки, а потом отслужить молебен; Петр так сделал и победил. Тот же мотив, что и в предании о Петре, учившемся лить пушки, получил другое осмысление, а вместе с этим меняется и лицо, которое дает совет Петру перелить на пушки колокола,— не народ устами своего представителя-медника, а сам патриарх, действующий как бы от имени всевышнего.

пр. («Słovnik folkloru polskiego». Warszawa, 1965, str. 199—200), отличая от них предания (podanie); такое понимание легенды также довольно широко распространено в европейской фольклористике. В монографии К. В. Чистова термин легенда применяется к устным рассказам, «повествующим о событиях или явлениях, которые воспринимались исполнителями как продолжающиеся в современности» (К. В. Чистов. Русские социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967, стр. 6).

Я употребляю термин «легенда» применительно к рассказам, которые по содержанию могут быть близки к историческим преданиям, но осмысляющим события с религиозной точки зрения, так как они принципиально отличаются от рассмотренных выше преданий, в том числе и содержащих фантастический элемент.

[64] В. Н. Майнов. Указ. соч., стр. 145.

[65] Е. В. Барсов. Указ. соч., стр. 299.

Крайний полюс развития религиозных легенд представляют легенды о Петре — подмененном царе и особенно Петре-антихристе; они известны и в рукописях. Принято думать, что образ Петра-антихриста создан раскольниками, бежавшими в леса, на север и ждавшими конца света. Но эсхатологические и другие религиозные мотивы, рассказы о всевозможных пророчествах, чудесных предзнаменованиях, видениях и т. п. обычно появляются во время выпавших на долю народа тяжелых испытаний. Таковы, например, южнославянские легенды о взятии Царьграда турками и последнем царе Константине, о падении Сербского и Болгарского царств, созданные во время турецкого нашествия. Войны и реформы Петра I ложились на народ тяжелым бременем; вызывал удивление и сам Петр, наружность и поведение которого были непохожи на прежних московских царей. Религиозно настроенные люди, фанатики во всех новшествах видели знамение явившегося антихриста, предвестие близкого конца света. Но показательно, что эта легенда не получила распространения, сохранившиеся предания о Петре, как говорилось выше, дают иной его образ.

Легенда о Петре, подмененном «немчином» Лефортом или во время поездки за границу в Стекольное царство (Стокгольм), также имела целью убедить, что на русском престоле оказался не настоящий царь (опять-таки по божьему попущению); поэтому-то он и искореняет священную старину. Толчком для создания этой легенды несомненно послужило путешествие молодого Петра инкогнито в Европу. Рассказ известен и в противоположной версии, которая сохранилась в делах Преображенского приказа [66]: Петра хотели погубить девица, правившая Стекольным царством, и наши бояре, но спас его стрелец (в песне на этот же сюжет Петра спас и вывез на родину крестьянин). Эта версия сближается уже со сказками, а не с религиозной легендой. На этом примере можно видеть, как один и тот же факт в преданиях по-разному изображается и, что важнее, получает противоположное истолкование. Поэтому и предания, казалось бы, с близким сюжетом окажутся в разных разделах.

Для пугачевских преданий религиозное осмысление событий не характерно. О Пугачеве, наученном дьяволом, говорили его противники, старавшиеся представить борьбу с восставшими как справедливое, богоугодное дело; народ же такую трактовку, естественно, не мог принять. Народный образ Пугачева другой. Но в легенде, созданной уральскими казаками, мотив предопределения обусловливает развитие и исход событий. Уральские казаки были твердо убеждены, что Пугачев — действительно Петр III, законный царь, изгнанный Екатериной II. И они создали

---

[66] «Песни, собранные П. В. Киреевским», вып. 8. М., 1878, стр. 342—343.

по образцу более ранних легенд о самозванцах [67] его биографию. Когда Екатерина не пустила его во дворец (за то, что он «загулял» на пристани с Воронцовой), он вынужден был скитаться определенный срок (12 или 15 лет), после которого он мог возвратиться. Так предопределено было свыше: внук Петра I должен был стать изгнанником и испытать страдания. Но Пугачев-Петр III не выдержал испытаний — во время скитаний он увидел страдания притесняемого народа, неправду власть имущих и объявился уральским казакам раньше положенного срока. Казаки сразу признали государя, пошли за ним, но сокращение предопределенного срока изгнания (хотя бы и в интересах народа), усугубленное затем женитьбой Пугачева при живой жене (Екатерине II) на казачке Устинье Кузнецовой, определило судьбу восстания и привело к его трагическому концу; по рассказам, Пугачев сам якобы хорошо понимал свою обреченность и шел навстречу своей судьбе. Уральские казаки верили, что Пугачева не казнили, казнили кого-то другого, вызвавшегося умереть за царя (царей казнить нельзя), а Петра III видели потом в Петербурге. В преданиях уральских казаков сохранились и воспоминания о пребывании Пугачева на Яике, но они подчиняются общей идее созданной легенды [68].

Легендарные предания о Петре и Пугачеве — Петре III — разного идейного содержания, но их сближает подход к изображению событий и образов — все происходит по предопределению свыше. Герой предания не может изменить этого, не должен нарушать норм поведения, предписанных религией, и если он в крупном или мелочах пытается поступить вопреки им, по своей воле, он неизбежно терпит поражение. В утверждении могущества высших сил и необходимости подчинения им — идейный смысл религиозных легенд. Для легендарных преданий очень важно именно осмысление событий, характер их поучительный, тогда как для различных групп преданий реалистических важен самый факт и основная их цель — информация о нем.

Легендарные предания о Петре I и Пугачеве имеют и общие художественные особенности. Эти довольно значительные по объему произведения многоэпизодные; некоторые из эпизодов — те, которые важны для раскрытия идейного смысла, разрабатываются достаточно подробно. Повествование (особенно о Петре-антихристе) проникнуто мрачным колоритом трагической обреченности, и это также отличает легенды от живых, рассказываемых порою с юмором, реалистических преданий.

---

[67] Эти легенды детально рассмотрены в исследовании К. В. Чистова «Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв.».

[68] Предания уральских казаков о Пугачеве-Петре III наиболее полно представлены в кн.: И. И. Железнов. Уральцы, т. III. СПб., изд. 2, 1910; см. также: В. Г. Короленко. Пугачевская легенда на Урале. Собр. соч., т. V. М., 1953, стр. 350—367.

Таким образом, на основе рассмотренного материала можно выделить два вида преданий: предания, которые можно назвать собственно историческими, составляющие основной их массив, и предания легендарные. Эти группы преданий различаются прежде всего подходом к исторической действительности и характером центрального персонажа, отличаются они и по манере повествования. Собственно предания в свою очередь разбиваются на подгруппы; к ним примыкают по своим особенностям и историзованные предания о кладах (которые по своей сути не являются историческими).

Э. В. Померанцева

ЖАНРОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ РУССКИХ БЫЛИЧЕК

Еще перед Великой Отечественной войной в работе, посвященной западноукраинским преданиям об опришках, П. Г. Богатырев писал: «Одним из актуальных заданий современной фольклористики является определение и изучение каждого жанра устных рассказов»[1]. С тех пор прошло четверть века, однако эта актуальная задача до сих пор стоит перед нами. Одним из своеобразных жанров русской устной прозы являются былички — суеверные рассказы о сверхъестественных существах и явлениях. Рассказы эти теснейшим образом связаны с народными верованиями: они возникли на их основе и вместе с тем поддерживают, утверждают их в сознании народа.

Изучение суеверных рассказов имеет существенное значение при исследовании народных верований, но вместе с тем и учет народных верований, как убедительно показал норвежский исследователь Отто Блэр[2], необходим при характеристике народной прозы как таковой.

О значении устных рассказов для формирования и утверждения народных верований писал и финский ученый Лаури Хонко в ряде своих статей, а также в фундаментальном исследовании «Geisterglauben in Ingermanland»[3]. Суеверная национальная коллективная традиция, по его наблюдениям, складывается из отдельных меморатов, рассказов об «эмпирическом опыте» — встречах с потусторонним миром самого рассказчика, его родных или соседей.

Русские народные верования издавна служат объектом исследования; рассказы же, связанные с ними, до сих пор изучались

---

[1] П. Г. Богатырев. Фольклорные сказания об опришках Западной Украины. «Советская этнография», V. М., 1941, стр. 59.

[2] Otto Blehr. The Analysis of Folk Belief Stories and its Implications for Research of Folk Belief and Folk Prose. «Fabula», B. IX, H. 1—3, 1967, S. 259—263.

[3] Lauri Honko. Geisterglauben in Ingermanland, T. I. FFC, N 185. Helsinki, 1962.

лишь этнографически, т. е. только как источник познания народных верований, но почти полностью игнорировались как явление устной прозы: их жанровая специфика до сих пор не раскрыта.

Давно настало время рассмотреть русские былички не только как материал, раскрывающий народные демонологические представления, но и как произведения народного устно-поэтического творчества. Задача эта, на наш взгляд, не противостоит этнографическому изучению народных верований, а дополняет, расширяет и углубляет его, хотя С. А. Токарев и утверждает, что «фольклорный подход к этим верованиям лишь затемняет, искажает их подлинный характер»[4].

Самый термин «быличка» сравнительно недавно, полвека тому назад, был введен в научный оборот. Это народное, очевидно, древнее слово по значению своему близко или даже равнозначно приводимым в «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля терминам «бывалка, бывальщина, былица», определяемым в словаре как «рассказ не вымышленный, а правдивый, иногда вымысел, но «сбыточный, несказочный». Слово «быличка» было подслушано братьями Б. и Ю. Соколовыми у белозерских крестьян, использовано и прокомментировано ими в их известном сборнике [5] и с их легкой руки вошло в практику русских фольклористов, которые стали употреблять его как синоним терминов «предание, легенда, бывальщина» [6]. Б. и Ю. Соколовы отмечают, что термин «быличка» белозерскими крестьянами обычно прилагается к «небольшим рассказам о леших, домовых, чертях и чертовках, полуверицах, колдунах,— одним словом, о представителях темной, нечистой силы»[7]. Они подчеркивали как характерную черту «так называемых быличек», что в них «рассказ не утратил еще в народном сознании вероятия», и сопоставляли былички с тождественными, по их словам, «бывальщинами» и «досюльщинами», опубликованными в вышедшем за несколько лет до «Сказок и песен Белозерского края» сборнике Н. Е. Ончукова «Северные сказки». «Между совершенно реальными рассказами, характеризующими быт Севера, — писал между тем Н. Е. Ончуков, — есть рассказы из области чудесного, преимущественно касающиеся верований в невидимый мир, злых или безразличных к человеку духов, чертей, леших, водяных и проч.» [8] Н. Е. Ончуков подчеркивает, что рассказчики не делают разницы между ними и реальными рассказами, а «выдают их также за несомненно истинное про-

---

[4] С. А. Токарев. Религиозные верования восточнославянских народов XIX — начала XX в. М., 1957, стр. 155.

[5] Б. и Ю. Соколовы. Сказки и песни Белозерского края. М., 1916, стр. LVII—LVIII.

[6] П. Г. Богатырев. Указ. соч., стр. 59—80.

[7] Б. и Ю. Соколовы. Указ. соч., стр. LVIII.

[8] Н. Е. Ончуков. Сказки и сказочники на Севере. Сб. «Северные сказки». СПб., 1909, стр. XXXI.

исшествие»[9]. Указывая на местный характер этих рассказов, на их приуроченность к определенной местности и конкретным лицам, Н. Е. Ончуков отличает их от обобщенных рассказов о тех же фантастических персонажах, не имеющих, однако, такого точного приурочения, т. е. от, по принятой им терминологии, бывальщин и досюльщин, которые, по его мнению, легко становятся легендами или сказками. Таким образом, Ончуков выделяет как самостоятельную категорию устной прозы те рассказы, которые Соколовы называют быличками, и разграничивает их, но не отождествляет, как предлагали Соколовы, с близкими к ним бывальщинами и досюльщинами. Такая дробность классификации суеверных рассказов для изучения специфики отдельных категорий устной прозы представляется целесообразной. Термин «былички» соответствует понятию суеверный меморат («Glaubensmemorat»). Быличка отличается своей, условно говоря, бесформенностью, единичностью, необобщенностью от бывальщины, досюльщины, предания, т. е. фабулата или фикта.

Следует доказать «право» быличек именоваться жанром и установить их место в общей системе жанров устной прозы.

В последние годы вопросы изучения и классификации устной прозы особенно живо интересовали фольклористов многих стран. Достаточно вспомнить о многочисленных каталогах и указателях, созданных за последние годы[10], о переизданиях указателя Аарне-Томпсона[11], об организации Международного общества по изучению устной прозы, возглавляемого известным исследователем Куртом Ранке, о конференциях и конгрессах этого общества в Антверпене, Киле, Будапеште, Афинах, Либлице и об изданиях трудов этих конференций[12], наконец, о создании специального журнала, посвященного этим вопросам[13]. Вопросы классификации устной прозы поднимались и рядом советских исследователей[14].

Большинство исследователей в настоящее время пришло к заключению, что народная устная проза делится на два основных

---

[9] Н. Е. Ончуков. Сказки и сказочники на Севере, стр. XXXI.

[10] См., например: R. W. Sinninghe. Katalog der niederländischen Märchen-Ursprungssagen-Sagen und Legendenvarianten. FFC, № 132. Helsinki, 1943; R. Th. Christiansen. The Migratory Legends. FFC № 175. Helsinki, 1958; L. Simonsuuri. Typen und Motivverzeichnis der finnischen Sagen. FFC, № 182. Helsinki, 1961.

[11] «The Types of the Folktale. A classification and bibliography. A. Aarne. Verzeichnis der Märchentypen, translated and enlarged by Stith Thompson». FFC, № 184. Helsinki, 1961. Second revision. Helsinki, 1964.

[12] «Internationaler Kongress der Erzählungsforscher in Kiel und Kopenhagen». Berlin, 1961; «Tagung der Internationalen Society for Folk — Narrative Research in Antwerpen». Antwerpen, 1963; «IV International Kongress for Folk — Narrative Research in Athens». Athens, 1965; «Fabula», B. V, H. 1—3, 1967.

[13] Журнал «Fabula», редактором которого является профессор Курт Ранке, выходит с 1957 г.

[14] В. Я. Пропп. Принципы классификации фольклорных жанров. «Советская этнография», 1964, № 4, стр. 147—155; он же. Жанровый состав русского фольклора. «Русская литература», 1964, № 4, стр. 58—77;

вида, каждый из которых представлен группой жанров. В одном из них преобладает, является доминантной эстетическая функция. Жанрам этого вида присуща в той или иной мере осознанная их исполнителями установка на поэтический вымысел — это характерно для всех видов сказок, для шванков, анекдотов, небылиц. Для другого же вида устной прозы, также представленного группой жанров (бывальщины, предания, легенды, былички), характерна установка на достоверность. Это подчеркнуто фактологические информации, основная функция в них, независимо от степени их художественности, не эстетическая, а познавательная, информационная. «Разница между этими двумя видами народной прозы, — отмечает В. Я. Пропп, — не формальная, ею определяется иное отношение к действительности как объекту художественного творчества, эстетические нормы этих двух видов прозы глубоко различны» [15].

Говоря об особенностях жанров, составляющих большую группу несказочной прозы, исследователи дружно отмечают прежде всего второстепенность эстетической функции в них. Так, например, известный немецкий исследователь Лутц Рёрих, автор многочисленных фундаментальных работ о сказках и преданиях, в статье или «методическом очерке» о немецких преданиях утверждает, что, поскольку предание прежде всего является информацией, а не художественным произведением, поскольку рассказчик не осознает особенностей его формы, оно и не имеет своего особого стиля, т. е. не имеет твердых жанровых признаков [16].

Другой немецкий исследователь Леопольд Шмидт считает, что нет смысла говорить о форме, стиле, жанровых особенностях преданий: «So etwas gibt es eben nicht, — писал он.— Bei der Sage ist alles Inhalt» [17]. К этому отрицанию эстетического качества в несказочной прозе и в сущности ее «права» именоваться фольклорным жанром в какой-то мере близка и точка зрения советского исследователя Л. И. Емельянова. Л. И. Емельянов выделяет предания и близкие к ним по установке жанры из всей массы устной прозы «по признаку стихийного участия художественного элемента в отражении действительности при ярко выраженной незави-

---

он же. Принципы определения жанров русского фольклора. Сб. «Специфика жанров русского фольклора». Горький. 1961, стр. 1—4; К. В. Чистов. К вопросу о принципах классификации жанров устной народной прозы. М., 1964; С. Н. Азбелев. Отношение предания, легенд и сказок к действительности. «Славянский фольклор и историческая действительность». М., 1964, стр. 5—28; он же. Проблемы международной систематизации преданий и легенд. «Русский фольклор», X. М.—Л., 1966, стр. 176—193; К. В. Чистов. Проблемы категорий устной народной прозы. «Fabula», B. IX, H. 1—3, 1967, S. 13—26.

[15] В. Я. Пропп. Жанровый состав русского фольклора, стр. 60.

[16] Lutz Röhrich. Die deutsche Volkssage. «Studium Generale», 1958, N 11, S. 664—691.

[17] «Этого вообще нет. Предание сводится к одному только содержанию» (L. Schmidt. Die Volkserzählung». Berlin, 1963, S. 108).

симости этого отражения от задач художественности». Рассказчик предания, по его мнению, в отличие от сказочника или певца «не имеет других критериев и норм, кроме норм достоверности»[18].

Среди жанров, для которых характерна установка на достоверность повествования, есть такие, как, например, былички или легенды, содержание которых крайне фантастично, героями которых являются фантастические существа, однако это не отличает их принципиально от исторических преданий, в основе которых лежат рассказы о действительно бывших событиях и реальных людях. Это — разные жанры, относящиеся, однако, по основному своему признаку — характеру информации — к одному виду устной прозы.

Как бы недостоверны ни были события, о которых говорит предание, как бы маловероятно ни было повествование о жизни и чудесах святых, как бы фантастичен ни был рассказ о леших, русалках или волшебных кладах, рассказчик преподносит свое повествование слушателям как сообщение о подлинной истории, известной целому коллективу, или же о действительно бывших случаях, о событиях, свидетелем которых был он сам, его знакомые и родственники или попутчики, случайные собеседники. Это рассказ о выдающихся людях, интересных событиях, поразительных, часто таинственных и страшных случаях, говоря о которых рассказчик всемерно подчеркивает истинность, достоверность своего сообщения. Недаром для этих видов устной прозы характерны ссылки рассказчиков на авторитеты либо коллектива («все знают», «все говорят»), либо отдельных свидетелей («отец сам видел», «дед говорил» и т. д.).

Каждый из жанров устной прозы имеет свой круг тем, сюжетов, свою структуру, однако каждый из них в основе своей отличается прежде всего характером информации, своими функциональными особенностями, своим принципиальным соотношением с действительностью. Именно это дает основание относить его к тому или другому виду устной прозы.

Следует, конечно, помнить о наличии периферийных явлений, в которых сосуществуют признаки разных видов, а также иметь в виду постоянное взаимодействие разных видов и жанров устной традиции. «Жанры сталкиваются, как льдины во время ледохода,— образно и убедительно писал В. Б. Шкловский, — они торосятся, т. е. образуют новые сочетания, созданные из прежде существовавших единств. Это результат нового переосмысления жизни»[19].

Однако наличие периферийных промежуточных произведений не опровергает самих принципов классификации, естественно ориентирующейся на типичные, «чистые» явления. Жанры, относя-

---

[18] Л. И. Емельянов. Проблема художественности устного рассказа. «Русский фольклор», V. М.—Л., 1960, стр. 254.

[19] В. Шкловский. Повести о прозе, т. II, М., 1966, стр. 266—267.

щиеся к «несказочной» прозе, подобно тому как разные категории сказок, часто значительно отличаются друг от друга, как, например, легенды о святых и исторические предания о народных мстителях, и вместе с тем по своим жанровым особенностям, по своей основной установке они ближе друг к другу, чем к сказке, шванку или небылице, т. е. к жанрам другого вида.

Попытку разграничить отдельные виды устной несказочной прозы сделал недавно С. Н. Азбелев. Он определяет предание подобно целому ряду исследователей как «созданный устно, имеющий установку на достоверность, эпический прозаический рассказ, основное содержание которого составляет описание реальных или вполне возможных фактов»[20]. Коренное различие предания с легендой, также имеющей установку на достоверность, он видит в том, что «основным содержанием легенды является нечто необыкновенное»[21].

Однако предание и легенда не столько отличаются «обыкновенностью» или «необыкновенностью» своего содержания, сколько направленностью своей информации, основными своими тенденциями, своей функцией. Предание стремится прежде всего сообщить факт, его основная функция познавательная. Особенность эта очевидна в исторических преданиях, но обнаруживается и в этиологических и других преданиях. Легенда же, сообщая необыкновенный факт, стремится поучать; идеализируя своих героев, призывая подражать им, она утверждает святость, подвижничество или героичность факта или лица, подчеркивает положительное значение сообщаемого. Основная ее функция дидактическая. С. Н. Азбелев считает, что к легендам «фактически относятся и многие былички»[22]. Вряд ли следует дробить былички на части и отрицать самостоятельность быличек как жанра. Кроме легенд и преданий, к тому же виду несказочной прозы относятся и другие жанры, среди них и суеверные рассказы, основанные на народных верованиях, которые удобно определять народным термином «быличка», более точным, чем «бывальщина» или «досюльщина», которые в народной практике суммарно обозначают разнообразный материал, а именно: предание, быличку и легенду.

Ближайшая практическая цель, стоящая перед исследователями, занятыми изучением и определением группы жанров народной несказочной устной прозы, — создание общей, пригодной в международном масштабе системы классификации. Работа в этом направлении уже начата. В основе всех сделанных до сего времени попыток лежат названные выше указатели Христиансена, Синнинге и Симонсуури. Во всех этих указателях выделены в особую группу мифологические предания или суеверные рассказы, кото-

[20] С. Н. Азбелев. Отношение предания, легенды и сказки к действительности, стр. 11.
[21] Там же, стр. 13.
[22] Там же, стр. 21.

рые соответствуют нашим быличкам, бывальщинам и досюльщинам. Исходя из содержания, составители указателей относят их к одной группе независимо от того, является ли тот или иной суеверный рассказ по форме своей меморатом или фабулатом.

Поскольку в несказочной прозе в целом и в быличках в частности содержание по своей значимости важнее формы, принцип их классификации по содержанию методически целесообразен.

Разделы указателей, посвященные суеверным рассказам, обычно еще подразделяются по тематическим группам или основным персонажам. Так, например, в каталоге Синнинге мы видим подразделы: А — о демонах, В — о колдунах, С — о чёрте, каждый из которых делится на более мелкие разряды; рассказы о демонах, например, делятся на рассказы о демонах воды, земли, огня, воздуха и т. д. Каждый из этих подразделов делится на еще более мелкие рубрики в зависимости от тех персонажей, о которых идет речь [23]. Примерно такое же деление интересующей нас группы рассказов мы находим у Христиансена (духи рек, озер, морей, домашние духи и т. д.) [24], и у Симонсуури (предзнаменования, привидения, смерть, умершие, колдуны, ведьмы, чёрт; духи, водяные духи, духи культурных мест; дарители; лесные духи, тролли, подземные духи; великаны; клады; демоны болезней; мифические животные) [25].

Нет принципиальных разногласий с этими системами и в последующих классификациях (Л. Рёриха, Т. Бриль, Д. Климовой и др.), а лишь уточнения и приспособления к местной традиции. Приемлема подобная классификация и для русских суеверных рассказов. При подготовке указателя русских преданий целесообразно не начинать новую нумерацию, а продолжать нумерацию преданий, намеченную Н. П. Андреевым в «Указателе сказочных сюжетов».

При изучении русских быличек должны быть выделены былички о демонологических существах, об оборотнях, мертвецах, привидениях, кладах, колдунах и т. д. Циклы эти в случае надобности могут делиться на разделы. Так, например, былички о демонологических существах делятся на былички о духах природы и о домашних духах. Первые в свою очередь — на былички о лешем, водяном и русалках, горных духах и т. д. Вторые — на былички о домовом, овиннике, баннике и т. д. Составляя как бы отдельные циклы, былички, связанные с каждым из этих персонажей, вместе с тем очень близки друг другу по характеру своего бытования, функции и особенностям творческого метода, композиции и стилистических средств. От них несколько отличаются более близкие к преданиям былички о волшебных кладах и легко становящиеся

---

[23] R. W. Sinninghe. Указ. соч.,
[24] R. Th. Christiansen. Указ. соч.
[25] L. Simonsuuri. Указ. соч.

сказкой былички о ведьмах и оборотнях. Особую группу, сложную по своему генезису и противоречивую по существу, составляют былички о чёрте [26], активно, однако, взаимодействующие как с мифологическими быличками, так и с остальными циклами суеверных рассказов, особенно в тех случаях, когда речь идет об обобщенной «нечистой силе», не дифференцированной в конкретных образах.

В русском фольклоре так же, как в фольклоре многих других народов, наблюдается значительная разница между быличками, бытующими в среде крестьян и живущими в репертуаре других социальных групп, в частности в устах ремесленников и горнорабочих. Существенная разница эта внутри одного жанра также должна быть учтена при выработке классификационной схемы.

Возможны, конечно, классификации, учитывающие повествовательную форму суеверных рассказов, т. е. деление их прежде всего на мемораты и фабулаты. Практически первый принцип представляется более целесообразным. Однако при анализе быличек наряду с их содержанием, прежде всего важным для изучения народных верований, должна рассматриваться и их жанровая специфика, характеризующая их как явление фольклора.

Значительные изменения социальных и культурных предпосылок влекут за собой создание новых повествовательных форм и исчезновение старых [27].

В настоящее время былички у многих народов явно меняют свою функцию и проявляют тенденцию превратиться в развлекательные, порой смешные рассказы, разоблачающие суеверные представления, т. е. теряют свою основную функцию, теряют свой основной жанровый и видовой признак и перестают быть быличками. Не будучи созвучны мировоззрению, представлениям и понятиям советского человека, былички стремительно исчезают из устного репертуара и обихода современного носителя русского фольклора и его аудитории.

Общим местом в русских быличках, записанных в наши дни, являются ремарки рассказчиков, отмечающих неубедительность и маловероятность рассказываемого ими слуха или случая или же указания на «темноту» тех людей, от которых они слышали этот рассказ. Сплошь и рядом информаторы подчеркивают, что рассказывают о прошлом «Преж колдуны да знахаря были» [28], или же «Прежде больше чудилось. Народ был православный. Сатана то и сомущал» [29]. Естественно, что такое скептическое отношение к быличкам все чаще встречается в современности, поскольку уже

---

[26] Lutz R ö h r i c h. Teufelsmärchen und Teufelssagen. «Sagen und ihre Deutung». Göttingen, 1965, S. 28—58.

[27] Kurt S c h i e r. Zur Funktion der Volkserzählungen. «Studium Generale», 1958, № 11, S. 370.

[28] Архив Пушкинского Дома. Колл. 66, п. 1, № 33, л. 78.

[29] Там же, колл. 168, п. 2, № 37, л. 18.

в конце XIX в. В. Н. Перетц наблюдал, что «кое-где уже с недоверием начинают относиться к таким рассказам. Старые люди, слыша высказываемые сомнения и расспросы о прошлом этих чудес, повторяют одну обычную фразу: «В старину люди простые были, проще нас, оттого и видели всякие чудеса, а теперь пошел хитрый народ, до всего сам дойти хочет» [30].

Неоднократно в записях последних лет встречаются указания на то, что былички усвоены «из старой книги». Участились и случаи записи рассказов, разоблачающих веру в потусторонний мир, реалистически объясняющих, почему «почудился» леший, русалка, чем было вызвано ощущение страха, каково было состояние человека, которому показалось, что он встретился с «нечистью», уровень его культуры, степень опьянения и т. д. Типична запись 1966 г., сделанная в с. Икорец Воронежской области, в ней очень характерно введение к рассказу: «Отец был очень религиозен и поэтому верил во всякую, простите, нечисть». Информатор рассказывает о том, как этот суеверный отец на рыбалке потянул бечеву и «показались рога, между рогов колышется волос. Чёрт, — сказал отец и осенил себя крестным знамением». Далее выясняется, что это был не чёрт, а дохлый баран. Характерно и заключение рассказа, отмечающее жанровое изменение былички: «Этот случай и до сих пор рассказывают у нас в деревне как анекдот» [31].

В многочисленных быличках, записанных в 1957 г. студентом МГУ В. Н. Басиловым в Воронежской области, постоянно подчеркивается, что случай этот был давно, лет двадцать тому назад, и неоднократно дается «разоблачение» былички: думали убить ведьму, убили свою же свинью; мужик испугался лешего, а это ребята, ездившие в ночное, вывернули шубу и пугали его. Сообщив, что в каждом доме есть «хозяин», что он заплетает косички лошадям, рассказчик замечает: «При колхозе что-то не слышно, чтоб заплетал» [32].

Итак, современные записи фиксируют былички на спаде и сплошь и рядом не дают материала для анализа «подлинной» былички, не утерявшей своей связи с народным верованием, т. е. своего жанрового своеобразия.

С другой стороны, былички сравнительно поздно стали записываться как фольклорные тексты, а не только фиксироваться как свидетельские показания наличия тех или иных верований. Таким образом, исследователь жанровых особенностей быличек принужден базироваться в основном на записях второй половины XIX — начала XX в. Бытование же их в течение веков доказы-

---

[30] В. Н. Перетц. Деревня Будогоща и ее предание. «Живая старина», 1894, вып. 1, стр. 18.

[31] Архив кафедры литературы ВГУ, колл. 66/9/, стр. 115.

[32] Архив кафедры фольклора МГУ, Воронежская экспедиция, 1957 г. Записи В. Н. Басилова.

вается упоминаниями их персонажей в древнерусской литературе[33], в пословицах и наиболее архаических заговорах. О популярности быличек в XVIII в. говорит осведомленность о низшей демонологии писателей XVIII — начала XIX в. Можно вспомнить хотя бы сведения о леших, русалках, домовом, кикиморе, которые даются в книгах М. Попова и М. Д. Чулкова, в исследованиях Гр. Глинки, Г. Кайсарова, П. Строева и других трудах этого времени. Из них мы узнаем, что домовые «сии мечтательные полубоги» назывались у древних гениями, у славян «защитителями мест и домов», а у нынешних суеверных простаков почитаются «домашними чертями» [34]. В этих же источниках даются подробные сведения о русалках — «богинях вод и лесов», «русских химерах или наядах». Причем указывается на наличие рассказов о них: «В простонародии и поныне носится об них таковая басня, что будто видают их иногда на берегах озер и рек, моющихся и чешущих зеленые свои волосы, а иных качающихся на деревьях. Как видно, то есть древних предрассуждений еще зараза» [35]. На рассказы о русалках «Басня говорит...» как на источник сведений о них ссылается и Г. Кайсаров и далее комментирует роль быличек в утверждении верований: «Этот предрассудок, обновляемый теперь преданиями, так укоренился уже в простолюдине, что сей и теперь еще верит, будто бы видел иногда своих русалок на берегу реки, чешущих зеленые волосы. Конечно, теперь уже мало таких премудрых людей на Руси» [36]. Особенно подробно останавливаются Попов, Чулков и Кайсаров на образе лешего, сопоставляя его с греческими сатирами, давая его портрет, — у него рога, копытные ноги — и приводят ряд деталей, явно идущих от быличек: лешие не только заводят путников, уносят детей, меняют свой рост в зависимости от того, по лесу или по лугу они идут, они просят пирога и «кричат ужасно: «Шел да нашел» [37]. Говоря о том, что лешие могут защекотать свою жертву до смерти, скептик Кайсаров иронически замечает: «Какой забавный случай умереть» [38]. Он же отмечает, что рассказы о леших живут как древний пережиток в народном репертуаре, изображение его «употребительно еще доселе у простого народа на Руси» [39].

Итак, в работах XVIII — начала XIX в. имеются не тексты быличек, а лишь многочисленные свидетельства об их существова-

---

[33] См.: Ф. А. Рязанский. Демонология в древнерусской литературе. М., 1915; Н. М. Гальковский. Борьба христианства с остатками язычества в древней Руси, т. 1. Харьков, 1910; т. II. М., 1913, и др.

[34] «Описание древнего славянского языческого баснословия». [М. Попов]. СПб., 1768, стр. 10.

[35] Там же, стр. 32.

[36] Г. Кайсаров. Славянская и российская мифология. М., изд. 2, 1810, стр. 184.

[37] М. Д. Чулков. Словарь русских суеверий. СПб., 1892, стр. 192.

[38] Г. Кайсаров. Указ. соч., стр. 123.

[39] Там же, стр. 122.

нии и бытовании среди «простых людей», а также пересказы некоторых из них.

Ненамного лучше обстоит дело и во всей первой половине XIX в. Так, И. М. Снегирев в своем труде дает общий обзор верований, подробно передает суеверные представления о лешем, о русалках, но не приводит ни одного текста [40]. М. Н. Макаров говорит о том, что «по всей России вы найдете живые предания о леших» [41], но, к сожалению только пересказывает, но не цитирует их. И. П. Сахаров также пересказывает многочисленные предания о ведьмах, домовых, лешем, водяном, кикиморе, не цитируя их [42]. В пересказах даны и интереснейшие поверья в большинстве очерков, печатавшихся в середине XIX в. в периодических изданиях [43]. Автор одного из них, называя былички анекдотами о «неприятной силе», утверждает, что «из воображаемых героев этой неприятной силы примечательнее прочих дворовый, лесной и водяной; ведьм и русалок здесь не знают» [44]. Только в «Памятной книжке Архангельской губернии за 1864 год» в записи П. Ефименко даны подлинные тексты пяти рассказов о лешем (три мемoрата и два фабулата). К сожалению, остальные былички собиратель тоже дает только в пересказе [45].

Вплоть до самого конца XIX в. в богатейших материалах, собранных Русским географическим обществом, Отделением русского языка и словесности Академии наук, Тенишевским этнографическим бюро, имеются в основном только свидетельства о тех или иных верованиях, повериях и, как правило, схематические пересказы быличек. Сами же тексты приводятся лишь как исключение. Не удивительно, что и в основных трудах, посвященных народным верованиям, — не только в «Поэтических воззрениях славян на природу» А. Н. Афанасьева, но и в более поздней работе С. В. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила» и даже в исследованиях Д. К. Зеленина — мы не только не находим анализа текстов быличек, но даже и постановки вопроса о жанровой природе или о художественной значимости суеверных рассказов.

---

[40] И. М. Снегирев. Русские простонародные праздники и суеверные обряды. М., 1937, стр. 1—16.

[41] М. Н. Макаров. Русские предания, т. 1. М., 1838, стр. 12.

[42] И. П. Сахаров. Сказания русского народа, кн. 2. СПб., 1885, стр. 15—123

[43] «Очерки поверий, обрядов, примет и гаданий в Воронежской губернии». «Воронежский литературный сборник», вып. 1. Воронеж, 1861, стр. 375—392; А. Харитонов. Очерк демонологии крестьян Шенкурского уезда. «Отечественные записки», 1848, т. IV, отдел VIII, стр. 133—153; «Характеристические черты древних руссов, сохранившиеся в жизни и характере настоящего поколения обитателей Южной России». «Журнал Министерства внутренних дел», 1848, ч. 22, № 4—6, стр. 128—139.

[44] А. Харитонов. Указ. соч., стр. 133.

[45] П. Ефименко. Демонология жителей Архангельской губернии. «Памятная книжка Архангельской губернии на 1864 г.» Архангельск, 1864, стр. 49—53.

Таким образом, при изучении жанровых особенностей суеверных рассказов приходится опираться на хронологически крайне ограниченный материал, а именно на записи этих рассказов, сделанные в самом конце XIX в. и начале XX в., так как большинство материалов, записанных в советское время, естественно, свидетельствует уже о распаде жанра, об утере им самого основного признака — веры в достоверность рассказанного. Для текстологического анализа пригодны публикации П. С. Ефименко, В. Н. Перетца, П. Г. Богатырева, Н. Е. Ончукова, Д. К. Зеленина, Б. М. и Ю. М. Соколовых, немногие записи, хранящиеся в архивах. Лишь эти сравнительно поздние источники дают возможность поставить вопрос о быличке как об особом жанре, отличающемся, с одной стороны, от предания или побывальщины, т. е. от суеверного фабулата, а, с другой стороны, от поверья, типа зафиксированного А. А. Блоком поверья бобловских крестьян: «Она мчится по ржи»[46]. Поверье является либо обобщением каких-то представлений, либо еще не оформившимся в конкретный рассказ сообщением, быличка же — рассказ о конкретном случае (Erlebnissbericht), базирующийся на верованиях и связанных с ними повериях.

При анализе жанровых особенностей быличек следует учитывать и особые условия их бытования. Рассказывание их никогда не является самоцелью, они возникают «по случаю», вызванные той или другой житейской ситуацией или психологической настроенностью рассказчика и его слушателей. Обычно одна быличка влечет за собой цепь аналогичных рассказов. Содержание былички в отличие от сказки как бы не ограничивается рамками рассказа, а выплескивается за них, настраивая слушателей на восприятие впечатлений от неизвестного, таинственного и страшного мира.

Братья Б. и Ю. Соколовы указывали на то, что былички особенно популярны среди охотников, рыболовов, частью — солдат, т. е. у людей, переживающих «большое накопление впечатлений, таинственность и жуть в природе». Следует прибавить на тех же основаниях к этому перечню еще лесников, пастухов, горнорабочих.

Исследователь должен учитывать особую атмосферу, в которой только и мыслимо существование быличек. Вне ее они не только теряют свое этическое и эстетическое воздействие, но перестают быть объектом исследования. Вырванная из контекста быличка перестает быть живым фактом устной прозы.

Александр Блок, говоря о поэзии заговоров и заклинаний, воссоздал с необычайным мастерством ту внешнюю обстановку и те душевные переживания, среди которых они могли возникнуть, т. е. ту же самую атмосферу, в которой живут и былички. «Для этого необходимо,— пишет он,— вступить в лес народных поверий и суеверий и привыкнуть к причудливым и странным существам, которые

[46] «Литературное наследство», т. 27—28. М., 1937, стр. 322.

потянутся к нам из-за каждого куста, с каждого сучка и со дна лесного ручья»[47]. В быличках открывается именно тот особый мир, в котором «все стихии требуют особого отношения к себе, со всеми приходится вступать в какой-то договор, потому что все имеет образ и подобие человека, живет бок о бок с ним не только в поле, в роще и в пути, но и в бревенчатых стенах избы»[48]. Атмосферу эту сумели воссоздать и А. Н. Афанасьев[49] и С. В. Максимов[50]. О непосредственном общении реального и потустороннего мира, характерном для содержания быличек, говорит и Курт Ранке: «Hier lebt das Wunder mit seinen vielfältigen Erscheinungsformen und Repräsentanten, mit seinem Zauber und Spuck, inmitten der Gemeinschaft der Menschen: der Kobold im Hause, die Hexe in der Nachharschaft der Wassermann im Dorfs-Weiher, der Riese auf der unmittelbar beim Dorf gelegenen Burg u. s. w.»[51] Курт Ранке указывает на то, что подобная тесная связь двух миров возможна только при восприятии сверхъестественного как реальности, как достоверного факта. Мистическим содержанием быличек определяется их психологическая настроенность как рассказа не только об удивительном, но страшном, жутком. Утерей предпосылок для возникновения суеверных рассказов, исчезновением веры в демонологические существа, невозможностью возникновения необходимой для развития быличек особой атмосферы объясняется их деградация и умирание в наше время.

Хотя былички, как и другие жанры несказочной прозы, действительно, как утверждает швейцарский исследователь Макс Люти[52], являются чем-то средним между формой и бесформенностью, в этой «бесформенности», на мой взгляд, являющейся своеобразной формой, можно нащупать определенные стилевые закономерности.

Своеобразие формы быличек определяется тем, что это рассказы о столкновении человека с потусторонним миром, т. е. тем, что это рассказы не только о чем-то необыкновенном, но необъяснимом и страшном. Ставя знак равенства между былями, быличками и бывальщинами, В. Я. Пропп пишет: «Это рассказы, отражающие народную демонологию. В большинстве случаев это рассказы

---

[47] Александр Блок. Собрание сочинений, т. 11. Л., 1934, стр. 134.

[48] Там же, стр. 185.

[49] А. Н. Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу, т. I—III. М., 1865—1869.

[50] С. В. Максимов. Нечистая, неведомая и крестная сила. М., 1902.

[51] «Здесь живет чудо в многообразных своих проявлениях и разнообразных воплощениях, живет среди людей со своим волшебством и призраками: домовой в доме, колдунья по соседству, водяной в деревенском пруду, великан в ближнем замке и т. д.» (см.: Kurt Ranke. Betrachtungen zum Wesen und zur Funktion des Märchens. «Studium Generale», 1958, N 11, S. 656).

[52] Max Lüthi. Gestalt und Erzählweise der Volkssage. «Sagen und ihre Deutung». Göttingen, 1965, S. 11—27.

страшные»[53]. Эту же сторону суеверных рассказов отмечает и Курт Ранке, распространяя ее без достаточных оснований на все категории несказочной прозы: «Ihr Ton ist schwer und dunkel und bedrückend. Der Schauder vor dem, was jenseits unserer Erfahrungswelt ist, bricht in ihr hervor»[54].

Несмотря на то что эстетическая функция в быличках вторична и стилистические средства в них менее выработаны, чем в сказочных жанрах, можно все же нащупать их жанровые особенности не только в их содержании и системе образов, но и в композиционных и изобразительных средствах. Вся структура былички, ее композиция, система образов, арсенал поэтических приемов, портрет, пейзаж, образ рассказчика — все это определяется тем, что это рассказ о таинственном и страшном случае, определяется основной функцией быличек, их конкретной единичностью и вместе с тем подчиненностью общей задаче — доказать, утвердить, подкрепить то или иное верование. Именно этой функцией определяется то, что быличка всегда носит характер свидетельского показания, что рассказчик либо рассказывает о пережитом им самим случае, либо ссылается на авторитет того лица, от которого он об этом случае слышал. Например: «Мужик Кузьмин рассказывал мне и божился»[55]. Своеобразным «лирическим героем» былички является «свидетель», и образ этого свидетеля, его вера в достоверность рассказываемого, его потрясенность от встречи с потусторонним миром, его «tremendum» всегда в ней наличествует независимо от того, рассказывается ли она от первого лица или является пересказом рассказа соседа, отца, деда.

Поскольку быличка обычно рассказывает об из ряда вон выходящем случае, нарушающем течение нормальной жизни, в подавляющем количестве быличек после одной-двух вводящих в обстоятельства дела фраз словом «вдруг» или каким-либо равнозначащим типа «внезапно», или же интонацией, передающей неожиданность, поразительность дальнейшего после глаголов «видит, слышит, чувствует» начинается самое ядро повествования. Например: «Ходила я с матерью в лес, вдруг вижу...»[56]; «Невестки моей Катерины мать ходила удить, вдруг слышит...»[57]; или: «Ходил полесовщик по лесу, стрелял птицу и пришел в избушку, вытопил, поставил варить птицу, а сам лег на лавке, отдыхает. Вдруг залаяла собака на дворе, и видит...»[58]; или: «Мужик идет лесом... вдруг как засвистит и захохочет на весь лес»[59]; или: «Лошадь встала...

---

[53] В. Я. Пропп. Жанровый состав русского фольклора, стр. 60.

[54] «Они темны, мрачны и тягостны. В них — ужас перед потусторонним миром» (см.: Kurt Ranke. Указ. соч., стр. 565).

[55] «Памятная книжка Архангельской губернии», 1864, стр. 52.

[56] Там же, стр. 51.

[57] Там же.

[58] Там же, стр. 52.

[59] Архив Пушкинского Дома, колл. 168, п. 2, № 46, л. 4.

Вдруг как с саней что-то повалилось, ровно железа пуд, и покатилось и застучало в сторону»[60]. Подобная композиция является типичной для быличек разных циклов, своеобразным «общим местом».

Тем, что быличка рассказывает о страшном, определяется в отличие от сказки и преобладание в ней плохого, трагического исхода: после встречи с лешим, русалкой, водяным, хозяином земных недр человек начинает задумываться, становится мрачным, угрюмым, чахнет, пропадает или даже гибнет — тонет, кончает самоубийством. Таинственность содержания и трагичность былички, ее близость к кошмару и сновиденью определяет время и место действия в ней. В подавляющем количестве быличек событие, о котором идет рассказ, происходит в темноте: в сумерках, вечером, ночью, в туман, призрачную «месячную» ночь. Местом действия является обычно уединенное, пустынное место: кладбище, болото, берег реки, мельничная плотина, заброшенная шахта. Рассказчик подчеркивает зловещность обстановки, мрачность пейзажа: «Река, ельник угрюмый»[61].

Своеобразно дается в быличке портрет демонологического существа, о котором идет рассказ. В подавляющем количестве быличек он нарочито неопределен и построен на каком-то одном признаке: рассказчик не называет того, кто ему встретился, он упоминает только, что кто-то захохотал, загремел, застучал, мелькнул над рекой, прикоснулся к нему лохматой шерстистой лапой, захлопал в ладоши и т. д. «Кто-то большой, черный, косматый в сенцах стоит»[62]. Поскольку рассказ воспринимается слушателями, которые знают о существовании лешего, домового, водяного и т. д., то для всех ясно, о ком идет речь. Очевидно, некоторую роль играет в данном случае и табу — запрет называть нечистого по имени.

Однако наряду с быличками, лишь намеком дающими зрительный образ демонологического существа, есть другие, которые дают детализированный портрет лешего в белой рубахе, вышиной с дерево, или русалки с зелеными волосами, лохматого домового, маленьких, как дети, но шерстистых чертенят.

Действия демонологических существ в наиболее типичных для жанра быличках очень просты: показался, захохотал, защекотала, завела и т. д. В непроходимом болоте встречается человек. Когда рассказчик стал читать молитву, «тут он побежал, захохотал и в ладоши захлопал»[63]. Леший пугает хохотом, хлопаньем в ладоши, стуком, заводит: под видом товарища он завел пьяного мужика в бочаг[64]. Достаточно того, что пастух «не поглянулся

---

[60] Архив Пушкинского Дома, колл. 168, п. 2, № 36, л. 16.
[61] «Северные сказки», № 198.
[62] Архив кафедры фольклора МГУ. Указ. записи В. Н. Басилова.
[63] Архив Пушкинского Дома, колл. 168, п. 2, № 138, л. 18.
[64] Там же, № 139, л. 20.

лешему», для того чтобы он его заводил [65]. Часто желанье рассказать как можно убедительнее, достовернее заставляет рассказчика вспоминать детали, подробности происшествия, мелочи, как бы уточняющие свидетельское показание. Например: «В Нёноксы шел Петр Коковин по Солоному ручью искать коня...» Ему встречается сосед с уздами, «на солнце блестят», который спросил, куда он идет: «Коня искать, натти не могу». Сосед захохотал: «Ха, ха, коня не может натти». На самом деле сосед никуда не ходил [66]. В этом рассказе леший не назван, дан один только его признак — хохот. Слушатель, верящий, как и рассказчик, в существование леших, сам по этому признаку находит разгадку странного происшествия. Именно этот один штрих делает этот рассказ быличкой о лешем.

В сущности такого же типа, но более живой благодаря своей большей пластичности и отработанности деталей следующий рассказ, в котором рисуется психологическое состояние человека, встретившего нечистого: «За четыре версты от посаду (от Нёноксы) у моря на ямах (на реке) стоял карбас с солью. Павел Кокорин караулил карбас. Кто-то по грязи идет, тяпаится: тяп, тяп, тяп. Павел его спросил: «Кто идет?» Тот молчит, он еще спросил, до трех раз. Тот все молчит. Павел и матюгнулся: «Кой кур идет, не откликается?» Лешой пошел и захохотал: «Ха, ха, ха, кой кур идет, не откликается! Кой кур идет не откликается!» Паша в каюту ускочил, одеялом закутался, а голос тут все как есть» [67]. Один только померещившийся голос достаточен для того, чтобы человек, знающий о проделках лешего, не сомневался, что это он, пусть даже в облике женщины, подшутил над ним. Так, например, женщина рассказывает, как она одна собирала ягоды. Вдруг зашумело, и она услышала зов: «Вставай, пошли!» Вздрогнула я, никого нету, а рыцять не смею. Давай еще ягоды брать. Вдруг опять: «Да пошли!» Вижу, он будто женщина, бурак в руке. Ой, до того напугал меня шишко, дак ажно дрожь на сердце, кровь сменилась в лице» [68].

Однако так же, как портрет или обстановка действия расцвечиваются деталями, так и действия героев могут усложняться, психологически мотивироваться, и простой эпизод разрастается в сложный сюжет — меморат становится фабулатом, рассказ выходит за жанровые границы былички. Рассказываются уже истории о лешем, водяном и русалке, а не даются показания, как это характерно для былички, о встрече со сверхъестественным существом.

Таковы рассказы о договоре с лешим, о том, как «кривой вражонок» помогает пастуху пасти стадо, о том, как леший стучится к лавочнику, приходит греться в овин, ест кашу с пастухами и

---

[65] П. Г. Богатырев. Указ. соч., стр. 56.
[66] «Северные сказки», № 235-а.
[67] Там же, № 235-д.
[68] Там же, № 279.

т. д., таковы рассказы о том, как рыбаки платят дань водяному, как «полевая» помогает найти телят, как домовой добывает деньги мужику, и т. д.

Желание рассказать как можно убедительнее, достовернее приводит к тому, что вводятся детали, материально свидетельствующие, что это был не сон. Так, например, в рассказе о том, как солдат на нечистом едет в Питер, доказательством служит французская булка, которую солдат положил в Питере за пазуху. Когда его рассказу не поверили и стали над ним смеяться, он рассказал, «как расположен Петербург, а потом вынул из-за пазухи и показал французскую булку» [69].

Старуха, которую леший унес принимать ребенка у его жены, узнав свой подойник, который он приносит по ее требованию, ставит на него отметину. Вернувшись домой, она узнает подойник по отметине и ругает снох, что ставили его, не благословясь [70]. Реалии эти превращают быличку в сказку, так как реализация имеет свои жанровые границы.

Иногда простейшая быличка контаминируется с более сложной, причем контаминация оправдывается рассуждением: это еще не чудо, а вот это чудо. У охотника уходит со стены убитая и выделанная куница — он отправляется узнать большее чудо, и наконец просыпается дома [71]. Аналогичен рассказ, как убитая ласка бежит за охотником, черт несет его домой [72]. В результате контаминации обе эти былички превратились в бывальщины.

Поскольку подлинная быличка является бесхитростным свидетельским показанием, она большей частью одноэпизодна и невелика по объему. Тем весомее в ней каждое слово, каждая деталь, каждый штрих в обрисовке обстоятельств дела и описании самого события. В этой лаконичности и скупости деталей особенность той эстетической потенции, того зерна искусства слова, которое, несмотря на то, что художественная функция в них второстепенна, несут в себе былички. Чем больше деталей в быличке, чем сложнее ее сюжет, тем дальше она отходит от мемората, тем ближе она к развлекательному повествованию. В устах сказочника-краснобая она теряет основной жанровый и даже видовой свой признак — доминантной становится эстетическая функция; рассказчик уже не стремится как можно точнее информировать слушателей о странном, непонятном явлении, а хочет развлечь их занятным рассказом о том, скажем, как поп спорил с лешим из-за репы — быличка исчезла — на месте ее бывальщина или сказка. Рассказчик же былички сообщает ее не потому, что он мастер слова, а потому, что знает нечто, о чем надо дать информацию.

---

[69] «Северные сказки», № 301.
[70] Там же, № 290.
[71] Б. и Ю. Соколовы. Указ. соч., № 158.
[72] Там же, № 68.

Для русской устной прозы, так же как, по наблюдениям П. Г. Богатырева, для словацкой, общность персонажей былички и сказки — явление редкое, для некоторых других народов — обычное. Так, например, южнославянские вилы встречаются в героическом эпосе, в балладах и сказках, а мордовская хозяйка леса вирява — популярный сказочный персонаж.

Быличкам, тесно связанным с народными поверьями, естественно, свойственно ярко выраженное национальное своеобразие: в русской крестьянской избе, овине, конюшне живет и шутит свои шутки домовой, в непроходимые чащи русских лесов и топи болот заводит одинокого путника леший, сидя на мельничной плотине лесных речек, расчесывает свои длинные волосы и заманивает свои жертвы русалка. Нередко леший — в длинной мужской белой рубахе, а русалки даже «в холщовых рубашках, рукава широкие, вышитые» [73].

Если мы сопоставим с русскими быличками суеверные мемораты белоруссов и украинцев, мы убедимся в чрезвычайной их близости друг к другу, объясняющейся общностью народных верований, условий жизни, культуры. Однако и суеверные рассказы не только южных и западных славян, но и других народов отличаются друг от друга конкретными образами, ситуациями, аксессуарами, но отнюдь не жанровыми принципами. Так, скажем, южнославянские рассказы о волчьем пастыре, русские былички о лешем, эстонские предания о лесном духе, мордовские — о вирявe наделены особыми национальными чертами, проявившимися в образе основного персонажа, с которым связаны типичные для них эпизоды, и вместе с тем все эти рассказы глубоко родственны друг другу в силу типологической общности самого жанра — суеверного мемората. Не только предпосылки возникновения этих рассказов, но и сфера их бытования, а потому и основные закономерности их структуры одни и те же.

Отличия русской былички от суеверных рассказов других народов, скажем от литовцев, не знающих лешего, заключаются в ассортименте образов, в конкретном наборе сюжетов, в отражении обстановки русской деревни, русского пейзажа, упоминаниях русских бытовых предметов. Отличия эти не являются жанровыми. Жанровые же особенности русских быличек те же, как и суеверных мемоpатов других народов, они едины в той же мере, как в принципе являются сходными, несмотря на различие конкретных систем и те верования, которые лежат в их основе. Былички, поскольку они связаны с определенной местностью, определенными лицами, определенными верованиями, отличаются своим ярким национальным локальным колоритом, вместе с тем они интернациональны по своему характеру, даже в большей степени, чем сказки.

---

[73] Запись 1966 г. в дер. Потапово Рузского района Московской области от 65-летней Н. И. Косаревой.

Русские былички давно оценены исследователями как источник изучения народных верований. Однако этим не исчерпывается их значение. Они — своеобразное явление искусства, одно из ярких проявлений многообразия народной устной прозы. Они интересны не только своим содержанием, но и своей, пусть неосознанной, своеобразной художественной формой. Не потому ли так часты и обращения к ним наших писателей, даже столь различных по своему творческому методу, как Пушкин и Блок, Тургенев и Горький, Островский и Ремезов!

В. Е. Гусев

ВИДЫ СОВРЕМЕННОГО ФОЛЬКЛОРА СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Одним из основных условий плодотворного обсуждения проблем современного фольклора представляется прежде всего необходимость договориться о хронологических границах явления, обозначаемого этим понятием. Между тем на этот счет имеются самые разноречивые суждения. Так, автор специальной монографии о современных болгарских песнях Г. Керемидчиев современными песнями считал произведения, которые стали возникать еще в ходе революционных событий 1923 г.; он аргументировал это тем, что именно с того времени в песнетворчестве болгарского народа зарождаются новые социально-политические элементы, вызванные революционно-освободительной борьбой, приведшей несколько десятилетий спустя к установлению социалистического строя [1]. Одновременно с книгой Г. Керемидчиева другие болгарские фольклористы (Е. Стоин и И. Качулев) издали сборник современных болгарских песен, который открывается разделом, отражающим антифашистское восстание 1944 г. [2] Югославский фольклорист А. Назор, отмечая отсутствие единого понимания термина в своей стране, современным фольклором предлагает считать произведения, возникшие в период от политического объединения народов Югославии (1918 г.) до настоящего времени [3]. В советской фольклористике под современным фольклором иногда подразумевают народное творчество советской эпохи в целом, иногда ограничивают этим понятием лишь произведения, характерные для последнего общественно-политического периода; чаще же всего выражение «современный фольклор» имеет весьма неопределенное значение — хронологические границы его никак не обозначаются.

[1] Г. Керемидчиев. Съвременната българска народна песен. София, 1958, стр. 4—7.

[2] «Български съвременни народни песни». София, 1958.

[3] Ante Nazor. O nekim pojmovnim i terminološkim problemima suvremenih narodnih pjesama. Рад IX конгреса фолклориста Југославије. Сарајево, 1963, стр. 526—527.

Думается, что объединение понятием «современный фольклор» явлений народного творчества разных эпох (иногда, как в приведенных примерах, — капиталистической и социалистической) неудачно, поскольку в таком случае не принимаются во внимание изменения, происшедшие в народной жизни с установлением новых общественных отношений. С другой стороны, употребление этого понятия в буквальном значении слова «современный», сужение его до пределов определенной общественно-политической кампании не учитывает особенностей самого фольклора — он не газетная хроника, не публицистика, не журнальные новинки, не модные эстрадные песенки, а развивающееся по специфическим законам отражения действительности искусство, в отношении к которому годичные обозрения оказываются невозможными и просто нелепыми. Разумеется, «современный фольклор» — понятие хронологически изменчивое, но лишь в той мере, в какой он так или иначе отражает существенные изменения в общественно-политической жизни и в быту народных масс, а также изменения в их отношении к действительности, причем это отражение отнюдь не сводится к непосредственным иллюстрациям текущих событий, а отношение к современности — к откликам на злобу дня. Последнее во всяком случае имеет место лишь в некоторых жанрах, но к ним одним неправомерно сводить современный фольклор в целом.

Учитывая сказанное, современным фольклором можно считать фольклор, характерный для более или менее длительного, но определенного этапа новейшей истории человечества; если говорить о славянских народах, то имеется в виду этап социалистических преобразований.

Поэтому в настоящем докладе рассматривается фольклор славянских народов послевоенного периода, преимущественно фольклор последнего десятилетия.

Разумеется, автор не претендует на исчерпывающую или хотя бы равномерную характеристику современных процессов в фольклоре всех славянских народов, а стремится подытожить имеющиеся исследования и установить структуру современного фольклора, т. е. соотношение основных его видов, а также привлечь внимание к некоторым вопросам, требующим коллегиального обсуждения и дальнейшего исследования совместными усилиями фольклористов всех славянских стран.

На последней встрече славистов-фольклористов в Варшаве (май 1966 г.) зачинателем дискуссии о современном фольклоре был д-р Яромир Ех. Он обратил внимание на то, что существуют два аспекта в понимании существа проблемы: одни исследователи имеют в виду «фольклор современности», другие — «фольклор *в* современности». Часто, по мнению Я. Еха, эти два аспекта смешиваются и понятие современного фольклора подменяется характеристикой фольклора, существующего в современном обществе.

Он утверждал, что современным фольклором следует считать лишь новообразования в народном творчестве, лишь те произведения, в которых отражается новая действительность. Такая точка зрения, как известно, долгое время господствовала и в советской фольклористике; на Варшавской конференции ее поддержал болгарский фольклорист П. Динеков.

Вместе с тем против такого ограничения понятия «современный фольклор» высказались другие участники дискуссии, в том числе и автор этих строк.

Конечно, фиксация и исследование новых тем и мотивов в фольклоре необходимы и перспективны, и они в известном смысле представляют особый интерес, поскольку позволяют непосредственно установить некоторые изменения в жизни, быту и мировоззрении народных масс, но этот важный аспект изучения народного творчества точнее было бы назвать поиском не современного фольклора, а непосредственного отражения современной действительности в фольклоре.

Если мы хотим установить границы современного фольклора в целом, то мы должны считаться с одной из важных особенностей фольклора вообще: он не знает таких радикальных изменений, как, например, литература; в любую эпоху в самой народной жизни продолжает существовать многое из того, что было создано в предшествующие эпохи и что составляет неотъемлемую, органическую часть живого, бытующего фольклора. Можно ли, например, из характеристики фольклора славянских народов XVIII—XIX вв. исключить русские былины, украинские думы, юнацкие песни, баллады, волшебные сказки, хотя эти произведения были «созданы» значительно раньше? Видимо, дело не в их генезисе и даже не в их восприятии (конечно, названные произведения и самим народом в XIX в. осознавались уже как старинные), а прежде всего в объективном факте живого бытования этих произведений, в том, что в XIX в. еще не прекратилось творческое отношение к ним народных певцов и сказителей, в том, что они и в XIX в. выражали еще определенные элементы действительного мировоззрения и эстетики народных масс. Поэтому, говоря о современности, следует также исходить из объективной картины современного состояния фольклора, следует установить, что́ умерло или умирает, а что́ живет.

Заслуживают внимания попытки чешского фольклориста Б. Бенеша дифференцировать разные тенденции в современном фольклорном процессе. Анализируя и обобщая искания советских ученых, Бенеш выделяет в современном народном творчестве следующие виды: 1) фольклор, в котором различает: а) традиционный фольклор, т. е. все «культурное наследие прошлого» в области народного искусства, так или иначе сохранившееся в наши дни; б) советский фольклор, или «фольклор с советским идейно-тематическим содержанием» и в) современный фольклор, состоящий как

из живых элементов традиционного фольклора, так и из советского фольклора; 2) массовую художественную самодеятельность, довольно сложную по своей природе и по своему составу; 3) творчество старых мастеров фольклора, пользующихся традиционными средствами для создания новых произведений; 4) творчество начинающих авторов, или «индивидуальные произведения непрофессиональных авторов», судьба которых различна — часть вливается в фольклор, часть — в литературу, часть — в художественную самодеятельность. Думается, что эта схема весьма точно и объективно отражает сложную и разнородную структуру современного советского народного творчества [4].

В другой своей статье Б. Бенеш обращается непосредственно к чешскому материалу и устанавливает следующую структуру собственно фольклорной сферы в современном народном творчестве: 1) традиционный фольклор: а) с традиционной тематикой и б) «актуализированный»; 2) современный фольклор: а) с современной тематикой и б) с традиционной тематикой [5]. Как видим, «актуализированный» традиционный фольклор Б. Бенеш выводит за пределы современного фольклора, хотя и несколько расширяет последнее понятие по сравнению, например, с Я. Ехом.

Из советских фольклористов наиболее отчетливо охарактеризовал структуру современного народного творчества В. П. Аникин, предложивший различать: а) современный фольклор; б) фольклорное наследство; в) «полуфольклорный, полулитературный вид устно-поэтического творчества народных масс»; г) массовое индивидуальное творчество [6]. Более обобщенная, нежели первая схема Б. Бенеша, схема В. П. Аникина принципиально совпадает с ней. Однако ей недостает определенности в разделении понятий «современный фольклор» и «фольклорное наследие». Ограничивается ли первое лишь новообразованиями? Охватывает ли второе весь традиционный фольклор?

В связи с этим известную неудовлетворенность оставляет и статья Б. Н. Путилова «Фольклорное наследие и современная культура». В ней поднимается широкий круг вопросов: о значении собирательской работы в области традиционных жанров, принципах издания классических памятников русского фольклора, необходимости популяризации лучших образцов традиционного народного творчества в художественной самодеятельности и профессиональными хорами, а также средствами радио, кино, телевидения и т. п. Однако, к сожалению, наиболее сложной проблеме, сформулированной самим автором: «Что же фактически происходит

---

[4] B. Beneš. Sovětské folkloristické diskuse 1953—1963 a teorie současného folklóru. «Český lid», 1965, № 2, str. 94—95.

[5] B. Beneš. Několik poznámek o současném folklóru. «Národopisné aktuality», 1965, N 1—2, str. 52, примеч. 4.

[6] В. Аникин. Виды современного массового народного творчества. «Вопросы литературы», 1959, № 12, стр. 160.

с традиционным фольклором в наши дни» уделено наименьшее внимание, и рассуждения Б. Н. Путилова на эту тему недостаточно конкретны [7]. Весь традиционный фольклор, сохранившийся от прошлых эпох, Б. Н. Путилов рассматривает как «живое» «фольклорное наследие» [8]. И хотя Б. Н. Путилов признает, что это наследие отнюдь не является однородным и целостным, что «составные части этого наследия имеют различную ценность» и т. п., все же он предпочитает говорить о традиционном фольклоре в целом и вопрос о возможности отнесения той или иной части этого наследия к современному фольклору оставляет открытым. Как следует из заключения статьи, сам Б. Н. Путилов склоняется к тому, чтобы рассматривать живой традиционный фольклор как «часть современной народной культуры» [9] (последнее понятие, разумеется, шире понятия «современный фольклор», поэтому такая формула не проясняет интересующего нас вопроса). Правда, Б. Н. Путилов замечает, что следовало бы «договориться о более или менее едином понимании критериев, по которым традиционный фольклор должен или не должен включаться в современное народное творчество», и в связи с этим предлагает говорить о традиционном фольклоре как о части современного народного творчества лишь «при том условии, что фольклор этот обогащается и обновляется не только в сфере исполнения, восприятия, оценок, не только в своем составе, жанровом или сюжетном, но и в своем художественном содержании» [10].

В самом общем значении такой критерий должен быть, на наш взгляд, принят, хотя, видимо, толкование его может быть различным, поскольку обновление художественного содержания традиционного фольклора может происходить в разных границах, в разных направлениях и восприниматься по-разному.

Со своей стороны полагаю, что не следовало бы ограничиваться только этим критерием. Для того чтобы ту или иную часть традиционного фольклора относить в область современного, не везде обязательно требовать от него обновления в буквальном смысле этого слова. По отношению ко многим произведениям я предпочел бы говорить об актуализации традиционных сюжетов, образов, художественного содержания в целом. Отнюдь не каждое произведение традиционного фольклора, воспринимаемое самими исполнителями и объективно оцениваемое как современное, является таковым вследствие того, что оно непременно перетекстовывается, сюжетно преобразуется или в него вкрапливают новые понятия и т. п. Многие произведения становятся современными, не из-

---

[7] Б. Н. Путилов. Фольклорное наследие и современная культура. «Проблемы современного народного творчества. Русский фольклор», вып. IX. М.—Л., 1964, стр. 76.

[8] Там же, стр. 60, 74—75.

[9] Там же, стр. 81.

[10] Там же, стр. 80—81.

меняясь формально, но обогащаясь новым подтекстом, что возможно благодаря емкому и многозначному характеру некоторых фольклорных мотивов и образов. Иногда бывает достаточно замены одного слова другим или устранения некоторых «временных» признаков, чтобы произведение зазвучало как современное. Это особенно проявляется в области малых импровизационных форм фольклора славянских народов — русских частушек, белорусских припевок, украинских коломыек, польских спевок, сербско-хорватских, болгарских и македонских двустиший, исполняемых в «коло» или «хоро», чешских и словацких четырехстрочных песенок. Именно это свойство и «подводит» некоторых исследователей, принимающих иногда за «новые» (в смысле только что сочиненных) произведения, которые при более тщательном исследовании традиционного материала оказываются существовавшими и ранее [11]. Наконец, необходимо заметить, что в самой жизни и быту народных масс, в их морали и психологии далеко не все подвержено коренным преобразованиям и ломке, и эта устойчивость некоторых явлений отнюдь не всегда является выражением косности, консерватизма и т. п. — просто есть ценности, которые не теряют своего значения и в наши дни. Поэтому некоторые традиционные произведения, связанные с такими устойчивыми взаимоотношениями, обычаями, представлениями и идеалами, особенно произведения на так называемые вечные темы (любовь, разлука, смерть и т. п.), с полным основанием могут быть также отнесены в область современного фольклора, поскольку они выражают то, что живет и поныне и что живыми нитями связывает новое поколение с предшествующими [12].

В традиционном фольклоре, так или иначе сохраняющемся в памяти живущих в наши дни людей, отнюдь не все является «живым наследием». Одни произведения и целые жанры могут рассматриваться как явления архаические, остаточные, доживающие по инерции (заговоры, заклинания и т. п.); другие, хотя и представляют для масс и для современного общества в целом художественную и культурную ценность, уходят из сферы собственно фольклорной, из повседневного быта масс в иные формы культурной жизни: в книгу, на эстраду, в кино, радио- и телеискусство, приобретают как бы вторичное бытие (массовые издания эпоса, сказок, песен, читаемые народом, воспроизведение обрядов, хороводов и т. п. в клубной художественной самодеятельности, исполнение произведений традиционного фольклора специальными

[11] См., например: З. И. Власова. Частушки. В кн.: «Русский фольклор Великой Отечественной войны». М.—Л., 1964, стр. 180; И. В. Зырянов. Вариантность частушки как признак коллективности. В кн.: «Специфика фольклорных жанров. Русский фольклор», вып. X. М.—Л., 1966, стр. 301, 305—306.

[12] Об этом хорошо писал украинский фольклорист Л. И. Ященко (см.: Л. І. Ященко. Народна пісня і сучасність. «Народна творчість та етнографія», 1961, № 3, стр. 13—14).

ансамблями и хорами народной песни с элементами театрализации и стилизации, с установкой на демонстрацию «старины» и т. п.).

Итак, в область современного фольклора мы относим не все фольклорное наследие в целом, а ту подлинно живую его часть, которая, будучи обновленной, актуализированной или связанной с устойчивыми элементами народной жизни, органически существует в повседневном быту народных масс, удовлетворяет их духовные запросы и непосредственно выражает их мировоззрение, психологию и эстетические вкусы.

Установление границ этой части современного фольклора возможно лишь в процессе непрекращающихся полевых наблюдений и записи произведений традиционного фольклора в их живом бытовании. К сожалению, такая целеустремленная работа отнюдь не всегда осуществляется, поскольку естественно стремление собирателя записать вообще все и любые сохраняющиеся в памяти современников произведения. Публикации традиционного фольклора в современных записях сами по себе, разумеется, не отражают интересующую нас картину. Необходимы специальные исследования, которые дифференцировали бы произведенные в наше время записи традиционного фольклора и выделили бы среди них подлинно живые элементы. Пока же можно назвать лишь некоторые опыты, осуществляющиеся в этом направлении фольклористами разных славянских народов.

В Советском Союзе в последние годы осуществлены специальные экспедиции, имевшие целью исследовать современное состояние традиционного фольклора, которые позволяют прийти к некоторым выводам [13].

Можно со всей определенностью говорить об исчезновении или затухании в белорусском, русском и украинском фольклоре таких видов традиционного фольклора, как заговоры, заклинания, духовные стихи, былины, думы, исторические песни. Это не значит, что вовсе нельзя услышать в народе некоторые произведения, принадлежащие к названным жанрам, но их удельный вес в репертуаре народных масс незначителен, а главное — сами эти жанры утратили свое былое значение в быту народа и свою былую продуктивность: новые произведения, которые были бы усвоены массами, средствами этих жанров не создаются.

Конечно, затухание указанных жанров происходило постепенно: одних — быстрее, других — медленнее, в разных местах несколько по-разному. Так, район Печоры еще в 20-е годы был «былинным краем». Здесь А. М. Астаховой в 1929 г. было записано свыше 50 полноценных текстов от более чем 20 сказителей, для которых сказывание былин было привычным занятием. Когда же

[13] См.: В. В. Митрофанова. Экспедиционная работа по русскому фольклору за последние десять лет. «Русский фольклор», вып. IX, стр. 215—228; М. Я. Мельц. Актуальные проблемы современного народного творчества. «Русский фольклор», вып. IX, стр. 325—326.

экспедиция Академии наук СССР отправлялась в район Печоры в 1955 и 1956 гг., то ей удалось застать в живых лишь 7 сказителей, от которых было записано только 15 текстов. Правда, случается, что и теперь в большой праздник, когда за столом собирается много людей, попросят исполнить «старину», но факты эти единичны. Впрочем, удивляться надо не тому, что их так мало, а тому, что все-таки былины кое-где дожили до наших дней [14].

Аналогичной является судьба эпических и героических лирико-эпических жанров у других славянских народов. На Украине хотя и отмечалось одно время оживление интереса современных кобзарей к традиционным думам и историческим песням (особенно в 1930—1940-е годы), однако в современных условиях такие факты единичны и исполнение старых дум происходит в основном на эстраде. Из живого бытования среди народных масс думы фактически ушли [15].

У южных славян эпическая традиция оказалась наиболее устойчивой. И в послевоенные годы даже вблизи от культурных центров наблюдалось исполнение юнацких и гайдуцких песен гуслярами, среди последних встречаются и молодые люди, перенимающие искусство у старших мастеров [16]. Впрочем, в разных районах Югославии и Болгарии сохранность эпоса различна, и общая тенденция все же выражается в процессе постепенного затухания живой эпической традиции, в замене классического десетерца лирическим дистихом.

Более сложной представляется картина бытования волшебной сказки. Еще в 1930-е годы волшебная сказка жила полной жизнью на территории центральных и южных русских областей, в верхнем и среднем Поволжье, в Сибири, на Урале, в Белоруссии, во

---

[14] А. М. Астахова, Э. К. Бородина-Морозова, Н. П. Колпакова. Былинная традиция Печоры и Зимнего берега в последнее двадцатилетие. «Былины Печоры и Зимнего берега (Новые записи)». М.—Л., 1961, стр. 11, 43; ср.: В. В. Митрофанова. Мезенская былинная традиция в наши дни. «Русский фольклор», вып. VI. М.—Л., 1961, стр. 94—109; Э. Померанцева. Судьба былевого эпоса в послевоенные годы. «Русская литература», 1964, № 4, стр. 119—124.

[15] См. статьи М. Ф. Рыльского, Ф. И. Лаврова, М. С. Родиной, Г. И. Синченко в кн.: «Історичний епос східних слов'ян». Київ, 1958; ср.: П. Д. Павлій. Героїчна поезія українського народу. В кн.: «Українські народні думи та історичні пісні». Київ, 1955.

[16] Владо Драшковић. О савременој народној поезији у области Никшић — Жабљак — Пљевла. «Зборник радова Етнографског института САН», књ. XIV, књ. 2, 1951, стр. 280, 297—299; А. Шаулић. Петар Перуновић народни гусљар. «Гласник Етнографског института САН», књ. 2-3, 1957, стр. 663—668; Д. Антонијевић. Милена гусљарка. Београд, 1960; Др. М. Ђорђевић. Живот и обичаји народни у Лесковачкој Морави. Београд, 1958; С. Стойков. Наблюдения върху съвременното състояния на юношка епическа традиция в България. «Славянска филология», т. II. София, 1963, стр. 258—259; ср. ответ Ю. И. Смирнова на научную анкету к V Международному съезду славистов в сб. «Славянска филология», т. II, стр. 258—259.

многих районах Украины. Очень многие тексты волшебных сказок, записанные советскими фольклористами в то время, нисколько не уступают по своему художественному качеству публикациям в классических сборниках дореволюционного периода [17]. По воспоминаниям фронтовиков, некоторые волшебные сказки были популярны среди воинов Советской Армии в годы Великой Отечественной войны [18]. Поэтому, думается, на определенном этапе истории советского общества волшебная сказка сохранялась как часть современного фольклора. Рассказывание волшебных сказок стало заметно идти на убыль в послевоенные годы. Теперь все труднее и труднее бывает встретить мастеров-сказочников, а записи фольклористов вынуждают признать процесс деградации и разрушения этого жанра [19]. Правда, некоторые фольклорные экспедиции последних лет свидетельствуют о том, что этот процесс еще не завершился и что кое-где еще сохранились затухающие очаги бытования волшебной сказки (Карелия, Архангельская и Вологодская области, отчасти Горьковская область, русское население Башкирии и др.) [20]. На фоне затухания сказочной традиции в Белоруссии и на Украине также ярко выделяются отдельные факты сохранения прекрасных образцов волшебной сказки в репертуаре мастеров этого жанра [21]. Господствующей тенденцией в бытовании у восточных славян волшебных сказок является устранение из них архаических элементов и попытки, более или менее удачные, осовременивания текста.

Если бы мы имели характеристики современного состояния сказки у всех славянских народов, можно было бы выяснить, какие закономерности определяют судьбы этого жанра. Пока мы вынуждены ограничиться ссылкой на интересный опыт в этой об-

---

[17] См.: Н. В. Новиков. О собирании и сравнительном изучении восточнославянской сказки. «Русский фольклор», вып. VIII. М.—Л., 1963, стр. 83—86; Э. В. Померанцева. Судьбы русской сказки. М., 1965, стр. 160—179.

[18] См.: «Русский фольклор Великой Отечественной войны». М.—Л., 1964, стр. 58—59, 346—351.

[19] Э. В. Померанцева. К вопросу о современных судьбах русской традиционной сказки. «Русский фольклор», вып. VI. М.—Л., 1961, стр. 120—124; А. И. Лазарев. Старое и новое в фольклоре Южного Урала», вып. IX. М.—Л., 1964, стр. 272—273.

[20] Н. В. Новиков. О состоянии сказочной традиции в Белозерском крае. «Русский фольклор», вып. IX, стр. 229—239; Э. В. Померанцева. Судьбы русской сказки, стр. 189—191, 199—201; «Народаня поэзия Горьковской области». Горький, 1961; Т. С. Макашина. Современная севернорусская сказочница А. И. Мелехова. «Современный русский фольклер». М., 1966, стр. 78—94.

[21] Особенно богата сказочная традиция Закарпатья, отраженная в записях П. В. Линтура, И. М. Чендея и др. (см.: «Закарпатські казки Андрія Калини». Ужгород, 1955; «Казки зелених гір». Ужгород, 1965). Ср. записи Г. С. Сухобрус в середине 1950-х годов в других районах Украины («Українські народні казки, легенди, анекдоти». Київ, 1958). См. также: «Беларускія сказкі, запісаныя ад Петра Гулевіча». Мінск, 1963.

ласти Р. Ангеловой [22]. Аналогичные исследования на материале устной прозы других славянских народов весьма желательны [23].

Если все же эпические песни и волшебные сказки могут рассматриваться в целом как фольклорное наследие, то совсем иное место в устном репертуаре восточнославянских народов занимают бытовая сказка и традиционный анекдот. Наблюдения фольклористов Советского Союза свидетельствуют о значительной популярности этого жанра у слушателей и о сознательной актуализации произведений рассказчиками. Так, один из плодотворно работающих молодых собирателей в области народной прозы А. И. Лазарев приходит к выводу, что на Южном Урале бытовые сказки воспринимаются как современные произведения и используются рассказчиками для критики недостатков, сохраняющихся в быту как пережитки прошлого [24].

Особенно жизнеспособными жанрами оказались традиционные лирические песни, народные песни литературного происхождения, городской романс, монострофические песенки, исполняемые во время танцев и плясок. Это наиболее значительная часть современного фольклора. Позволим себе сослаться на материалы экспедиций в Костромскую область, осуществленных в 1959—1960 гг. под нашим руководством; они со всей определенностью свидетельствуют о бытовании в среде старшего и среднего поколения некоторых народных песен (протяжных и скорых), городского романса и разнообразных видов частушки, сохраняющих традиционные наименования, формы бытования, напевы, поэтику [25]. Наши наблюдения находят подтверждение в других исследованиях современного состояния фольклора [26].

---

[22] Р. Ангелова. Съвременно състояние на българските народни приказки, предания и легенди. «Славянска филология», т. V. София, 1963, стр. 37—52; она же. Към въпроса за съвременното състояние на българските народни приказки, предания и легенди. «Известия на Етнографски институт и музей», т. VII. София, 1964, стр. 233—266. В Польше, например, по признанию Е. Капелусь, изучение современного состояния сказочного репертуара остается пока «наиболее слабой стороной исследования сказок».

[23] Характерно, например, что даже у лужицких сербов живут древние предания в устах народа. («Sorbische Volkserrählungen». Berlin, 1964, S. XVIII).

[24] А. И. Лазарев. Из наблюдений над современными прозаическими жанрами в фольклоре Урала. «Краеведческие записки Челябинского краеведческого музея», вып. 1. Челябинск, 1962, стр. 137—146. Ср. обобщающие выводы в работах Н. А. Каргаполова.

[25] См. подробно: В. Е. Гусев. Опыт изучения современного состояния народного творчества. СЭ, 1960, № 2, стр. 167—169; он же. О современном народно-поэтическом творчестве. «Русская народная поэзия. Фольклористические записки Горьковского пединститута», вып. 1. Горький, 1961, № 1, стр. 24—25, 27—28; см. также очерки участников экспедиции («Русский фольклор», вып. VI, «Русский фольклор», вып. IX; «Русская народная поэзия». Горький, 1961).

[26] Н. П. Колпакова. Традиционная песня к 1950-м годам. «Русский фольклор», вып. VI; З. И. Власова, Л. Н. Мартынова. Современный фольклорный репертуар одного района. «Русский фольклор»,

Принципиальный интерес представляют наблюдения советских фольклористов над творческой жизнью многих традиционных песен — последние не просто сохраняются в репертуаре, а совершенствуются, творчески развиваются. Экспедиционные записи 1940 начала 1960-х годов оказались в этом смысле сенсацией — среди них обнаружилось немало текстов и напевов, в художественном отношении более совершенных, чем соответствующие песни в записях XIX в. Л. И. Ященко пишет об «активном творческом развитии классического песенного наследия в современных условиях» и приводит примеры, когда известные по дореволюционным изданиям песни исполняются теперь в более развитых вариантах; особую популярность лирических народных песен, появление новых вариантов, в результате чего происходит «обновление и обогащение традиционного фольклора», отмечает и М. М. Гордийчук [27]. На основании этих наблюдений украинские фольклористы убедительно утверждают, что развитие украинской традиционной песенности не приостановилось, что многие народные песни, уходящие своими истоками в прошлое, совершенствуются в наше время. Русскими фольклористами отмечены аналогичные явления. Н. П. Колпакова на основании конкретного сопоставления записей XVIII—XIX вв. и 1950-х годов приходит к выводу: «Многие из этих песен через 250 лет обнаруживаются в современных записях в лучших и более полных вариантах, а также в очень близких, но несколько иных редакциях...» [28]. Подтверждением этому служат записи традиционного песенного фольклора, произведенные фольклорными экспедициями Московской и Ленинградской консерваторий: многие из этих произведений могут быть отнесены к лучшим образцам русской песенной классики [29].

вып. IX, стр. 246—255; 256—261; А. И. Лазарев. Старое и новое в фольклоре Южного Урала. «Русский фольклор», вып. IX, стр. 276—278; Т. Г. Леонова. Наблюдения над современным состоянием фольклора. «Современный русский фольклор», стр. 24—42; Н. И. Савушкина. Фольклорный быт одного колхоза. «Современный русский фольклор», стр. 53—77; Н. С. Полищук. Судьба традиционного фольклора в Алтайском крае. «Современный русский фольклор», стр. 43—52; М. Гвоздзеў. Да вынікаў фальклорнай экспедыцыі 1961 года. «Весці Академіі навук БССР. Серыя грамадскіх навук», 1962, № 4, стр. 131—135; Г. Л. Барташэвіч, К. П. Кабашнікаў. Аб выніках фальклорных экспедыцый 1965 года. «Весці Академіі навук БССР. Серыя грамадскіх навук», 1966, № 3, стр. 127—130.

[27] Л. І. Ященко. Народна пісня і сучасність..., стр. 12; М. М. Гордійчук. Характерні риси та проблеми української радянської пісенності. «Народна творчість та етнографія», 1962, № 2, стр. 15, 19.

[28] М. П. Колпакова. Русская народная бытовая песня. М.—Л., 1962, стр. 264—267, 271—272, 275.

[29] Кабинет народной музыки Московской консерватории. М., 1966, стр. 33, 38—39, 42—43, 46, 50—52; «Торопецкие песни. Песни родины М. Мусоргского». Запись, составление и комментарии И. Земцовского. М.—Л., 1966.

О живой, развивающейся песенной традиции белорусского народа свидетельствуют записи, наблюдения и публикации белорусских фольклористов [30], обобщенные и проанализированные М. П. Гвоздевым, Г. И. Цитовичем и Л. С. Мухаринской [31].

Наряду с песенной лирикой живой частью современного фольклора восточных славян могут считаться многие бытующие пословицы и поговорки [32], а также некоторые виды обрядового фольклора, особенно хорошо сохраняющиеся во многих местах свадебные песни, а при определенных обстоятельствах — причитания и некоторые календарно-обрядовые песни, утратившие, по свидетельству собирателей, свою магическую обрядовую функцию, но исполняющиеся с целью развлечения и ради эстетического удовольствия [33], причем в ряде случаев в традиционный текст обрядовых песен вносятся новые элементы, отражающие новый быт колхозной деревни [34].

Говоря о традиционных жанрах в современном фольклоре, следует учитывать, что у разных славянских народов и в разной среде удельный вес этих жанров может быть различным, поэтому делать какие-либо универсальные выводы или прогнозы пока было

---

[30] См., например: «Беларускія народныя песні». Запіс Р. Шырмы, т. 2. Мінск, 1960; В. Елатаў. Ад песні да песні. Мінск, 1961; Зінаіда Мажэйка. Голас палескіх прастораў. «Маладосць», 1966, № 3, стр. 113—120; Г. А. Барташэвіч, К. П. Кабашнікаў. Указ. соч., стр. 128. В статье «Память о войне» З. Я. Можейко пишет о «процессе динамизации полесской лирической песни» («Советская музыка», 1966, № 2, стр. 102).

[31] М. П. Гвоздев. Место традиционного фольклора в современном песенном репертуаре современной белорусской деревни. СЭ, 1963, № 5, стр. 84—91; ср. статью того же автора в журнале «Весці Академіі навук. Серыя грамадскіх навук», 1963, № 3, стр. 82—90; Г. И. Цитович. Новые стилевые черты традиционной белорусской народной музыки (доклад на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук). М., 1964; Л. С. Мухаринская. Народное музыкальное творчество в Белоруссии в послевоенный период. «Очерки по истории советской белорусской музыки» (в печати).

[32] См., например: М. П. Лиждвой. Українські народні прислів'я та приказки в радянську епоху. Київ, 1962.

[33] См., например: Т. И. Орнатская. Современные записи традиционного обрядового фольклора. «Русский фольклор», вып. IX, стр. 294—306; И. И. Земцовский. Песенный быт костромской деревни. «Русский фольклор», вып. IX, стр. 288—293; Л. С. Мухаринская. 40 лет истории белорусского народа в народной песне. «Научно-методические записки Белорусской государственной консерватории». Минск, 1958, стр. 134—135; О. А. Правдюк. Колядки та щедрівки. «Народна творчість та етнографія», 1965, № 6, стр. 86—89; он же. Весняні пісні. «Народна творчість та етнографія», 1966, № 3, стр. 75—80.

[34] А. О. Правдюк. Колгоспні обжинки. «Народна творчість та етнографія», 1963, № 2, стр. 111—117; «Новорічні пісні-поздоровлення». Добірка Г. Д. Гірник та П. Пестонюка. «Народна творчість та етнографія», 1962, № 4, стр. 120—122. См. также дискуссии о новых белорусских обрядах на страницах газеты «Література і мастацтва» (ноябрь, декабрь 1963 — январь 1964 г.).

бы опрометчиво. Иногда даже весьма близкие в территориальном отношении районы дают совершенно различную картину бытования традиционного фольклора, причем не всегда близость или удаленность от культурных центров или от города имеет определяющее влияние на репертуар населения [35]. В этом отношении действуют пока еще не познанные нами факторы и закономерности, влияющие на судьбы фольклора. Вместе с тем можно говорить о каких-то общих тенденциях и, в частности, о различиях между репертуаром сельского и городского населения. Л. И. Ященко, отмечая прекрасную сохранность в быту сельского населения Украины свадебных и традиционных лирических песен, обращает внимание на резкое сокращение удельного веса традиционного фольклора среди трудящихся города и высказывает интересные соображения о некоторых благоприятных и неблагоприятных общественных, культурных и бытовых условиях для существования традиционного фольклора [36].

О весьма значительном удельном весе некоторых традиционных жанров, особенно лирики, в современном фольклоре свидетельствуют наблюдения и публикации фольклористов других славянских стран. Так, С. Свирко в статье «О месте фольклора в современной польской культуре» приходит к выводу, что фольклор «ни в коем случае не является культурным пережитком прошлой эпохи, но остается еще живым и творческим процессом народной культуры нашего времени» [37]. Отмечая прежде всего активную жизнь песенных жанров, включая «наиболее традиционный — народную балладу», С. Свирко утверждает, что «живет целая обширная область народной прозы — именно сказка, басня, легенда, предание, рассказ, анекдот, а также малые прозаические формы вроде пословиц и загадок; живут еще, наконец, определенные формы народной драмы», особенно народные обряды — свадьбы, дожинки и т. п. Особенно интенсивной жизнью традиционного фольклора отличаются Подгале, Ловицкая земля или Курпье, Силезия, Любельская земля, Свентокжижский район и др. [38] Эти выводы С. Свирко подтвердил, основываясь на проводившихся

---

[35] См.: Л. И. Емельянов. Макарьевский район. «Русский фольклор», вып. VI, стр. 139; Б. М. Добровольский. Два результата одной поездки. «Русский фольклор», вып. IX, стр. 283—286. Ср. наблюдения болгарских комплексных экспедиций, установивших сравнительно лучшую сохранность эпической традиции недалеко от Софии (см.: С. Стойков. Указ. соч.).

[36] Л. І. Ященко. Про специфічні передумови розвитку музичного фольклору. «Народна творчість та етнографія», 1965, № 1, стр. 4—6.

[37] Stanisław Swirko. O miejsce fokloru we współczesnej kulturze polskiej. «Literatura Ludowa», 1964, № 4—6, str. 29.

[38] Там же, стр. 30—31. Ср. статьи Я. Павловской, В. Помяновской, В. Гембика, А. Буковского, Я. Межеевской-Франкевич и др. в журнале «Literatura Ludowa».

в послевоенной Польше полевых исследованиях, в обстоятельном докладе на упоминавшейся конференции в Варшаве [39].

Вместе с тем и в Польше отмечаются изменения в структуре современного фольклора, «приливы» и «отливы» традиционных произведений в репертуаре населения, а также различное соотношение видов в репертуаре разных поколений — прекрасная сохранность традиционных жанров среди старшего поколения и мозаичность репертуара среднего поколения и молодежи [40]. Я. Собеска справедливо полагает, что изучение процессов в этой среде особенно важно для понимания эволюции традиционного фольклора в современных условиях. Во всяком случае богатейшие материалы, собранные Я. Собеской, М. Собеским и другими сотрудниками Института искусств польской Академии наук в 1950—1960-е годы, сами по себе красноречиво свидетельствуют о продолжающейся жизни разных жанров польской традиционной песни [41].

Живую часть современного фольклора Югославии составляют в первую очередь многочисленные и разные жанровые традиционные лирические песни, исполняемые не только на специальных смотрах, приурочиваемых к ежегодным конгрессам фольклористов, не только на различных фольклорных фестивалях, но и в повседневном быту населения, на улицах и площадях сел и городов Сербии, Хорватии, Македонии, Черногории, Косово и Метохии, как в этом мог убедиться и автор настоящего доклада во время своих поездок по Югославии.

Творческая жизнь значительной части традиционного фольклора в современных условиях приводит югославских ученых к теоретическому выводу, что он представляет собою не только культурное наследие, но и культурное достояние народных масс современного социалистического общества, фольклор — не только архаика, но и продолжающее развиваться народное искусство [42]. Одна-

---

[39] Stanisław Swirko. Badania terenowe nad współczesnym folklorem polskim w latach 1945—1965, str. 5, 7, 11, 15, 18, 19. Традиционный фольклор составляет основу и современной художественной самодеятельности в Польше (см.: Czesław Kałużny. Folklor i jego upowszechnienie w działalności kulturno-oświatowej w Polsce Ludowej. Warszawa, 1966).

[40] Jadwiga Sobieska. Folklor na wirażu. «Poradnik muzyczny», 1964, № 10, str. 3—6.

[41] Jadwiga Sobieska. Folklor w dokumentacji i nauce. «Poradnik muzyczny», 1964, № 12, str. 2—5; ср.: Aurelia Miodunchowska. Pracownia badań nad polskim folklorem muzycznym Instytutu Sztuki PAN. «Literatura Ludowa», 1964, № 4—6, str. 163—166. Образцом издания польского традиционного фольклора в новых записях может служить прекрасная книга: «Pieśni Podhala. Antologia». Kraków, 1957.

[42] См. доклады Д. Недельковича, Н. С. Мартиновича и З. Палчока на VII конгрессе фольклористов Югославии. «Рад VII конгреса Савеза фолклориста Југославије у Охриду 1960 године». Охрид, 1964, стр. 141, 150, 154. Разным жанрам традиционного фольклора и их судьбам в современных условиях посвящены многочисленные доклады югославских фольклористов на разных конгрессах (см.: В. Е. Гусев, Б. Н. Путилов. Конгрессы югославских фольклористов. «Советское славяноведение», 1965, № 5).

ко, к сожалению, обобщающих работ, устанавливающих целостную картину современного состояния традиционного фольклора и соотношения в нем разных жанров в Югославии, пока еще нет.

В целом вопрос о судьбах традиционных жанров у разных славянских народов представляется еще невыясненным вследствие недостатка специальных полевых исследований. Точная и конкретная картина возможна будет при условии систематического и сплошного изучения современного состояния традиционного фольклора во всех славянских странах по единой научной программе. Достаточно широкие по охвату территории полевые исследования должны, думается, сочетаться с конкретно-социологическим анализом репертуара разных групп трудящихся города и деревни [43]. Одной из больших международных акций и могла бы быть такая общеславянская экспедиция и последующее картографирование ее результатов.

Новообразования в фольклоре славянских народов появляются прежде всего в процессе творческого развития и трансформации традиционных жанров, причем происходит определенное взаимодействие традиций крестьянского и городского фольклора, с одной стороны, и все более усиливающееся влияние на фольклорную традицию профессиональной литературы и музыки — с другой. Этот процесс активно протекал еще в годы второй мировой войны, в условиях совместной освободительной антифашистской войны славянских народов, когда была создана масса новых фольклорных произведений и когда в структуре фольклора славянских народов в целом произошли заметные изменения [44].

Хотя далеко не все, что было создано в тот период, сохранилось в современном фольклоре, но нельзя не учитывать, во-первых, и факт бытования определенной части этого материала в современных условиях и, во-вторых, что особенно важно,— это то обстоятельство, что послевоенное народное творчество в значительной мере отливалось в те жанровые формы, которые оказались наиболее продуктивными в период освободительной борьбы славянских народов [45].

---

[43] В связи с этим большой интерес представляет опыт, осуществленный чешскими фольклористами В. Карбусицким и Й. Касаном, не ставившими, впрочем, специальной фольклористической задачи (см.: V. Karbusický, J. Kasan. Výzkum současne hudebnosti hudebního vkusu a zájmů v roce 1963 a jeho výsledky. Praha, 1964; V. Karbusický. K uplatnení metod empirické sociologié v etnografii a folkloristice při výzkumu současnosti. «Český lid», 1964, N 5-6, str. 320—325; он же. Das Volkslied in der Gegenwart. «Deutsches Jahrbuch für Volkskunde», Bd. 12, H. II, 1966, S. 191—206).

[44] Не останавливаюсь на этом вопросе, поскольку он освещался уже в ряде специальных исследований, в частности в моих докладах на V Международном съезде славистов и на VII Международном Конгрессе антропологических и этнографических наук; см. также коллективную монографию «Русский фольклор Великой Отечественной войны».

[45] Принципиальный интерес в связи с этим представляет упоминавшаяся статья молодой белорусской фольклористки З. Я. Можейко «Память о вой-

Прежде чем конкретно определить эти формы и их соотношение в современном фольклоре, необходимо выяснить, все ли в современном народном творчестве можно относить к фольклору? От ответа на этот вопрос зависит и понимание структуры современного фольклора в целом. Я исхожу из того, что область современного народного творчества значительно шире собственно фольклорной. В область фольклора я отношу лишь определенные формы современного народного творчества, обладающие особым комплексом признаков, а именно — коллективное творчество в словесно-музыкально-хореографическом искусстве, развивающее и обновляющее традиционные средства художественной изобразительности и существующее как исполнительское искусство, способное к импровизации и варьированию произведений [46].

Основным, определяющим критерием для отнесения того или иного произведения современного массового искусства в область фольклора является для меня коллективность творчества, конкретно проявляющаяся в активном восприятии массой произведений, созданных по творческой инициативе одаренной личности.

Против коллективности как основного критерия современного фольклора высказываются возражения. Так, Л. И. Емельянов недавно назвал коллективность «одной из весьма эфемерных форм его (фольклора.— *В. Г.*) проявления» [47]. Ф. А. Рубцов утверждает, что в распространенном понимании коллективности «таятся основные заблуждения, мешающие осознать сущность народного песнетворчества» [48]. При внешнем сходстве взглядов Л. И. Емельянова и Ф. А. Рубцова имеются существенные различия в их позициях (не случайно Ф. А. Рубцов резко полемизирует с Л. И. Емельяновым). Для Л. И. Емельянова «коллективность и индивидуальность» теперь «не являются абсолютно никакими показателями» [49]. Ф. А. Рубцов, справедливо выступая против абстрактного восприятия коллективности и подчеркивая роль одаренной личности в процессе создания фольклорных произведений, признает коллективность в «характере их использования в народном обиходе, независимо от того. кем и как они созданы» [50]. Ф. А. Рубцов

не», где автор отмечает разную судьбу разных жанров белорусского фольклора Великой Отечественной войны и продолжающееся воздействие партизанского творчества на весь облик современной народной песенной культуры («Советская музыка», 1966, № 2, стр. 101—103).

[46] Подробнее см.: В. Е. Гусев. О критериях фольклорности современного народного творчества. В кн.: «Современный русский фольклор», стр. 7—23. Как «особый жанровый род» в современном народном художественном творчестве рассматривает фольклор и ряд чехословацких фольклористов (Ладислав Ленч и др.).

[47] Л. И. Емельянов. Нерешенные проблемы в изучении современного народного творчества. «Русский фольклор», вып. IX, стр. 47.

[48] Ф. А. Рубцов. Современное народное песнетворчество. «Вопросы теории и эстетики музыки», вып. 4. М.—Л., 1965, стр. 115.

[49] Л. И. Емельянов. Указ. соч., стр. 47.

[50] Ф. А. Рубцов. Указ. соч., стр. 118.

совершенно прав, когда говорит, что песня не создается сразу как народная, а становится народной, «если находит широкий отклик в массах, и остается жить в народной памяти» [51]. Поэтому-то и не всякое произведение, возникшее в современной художественной самодеятельности, является фольклорным — оно становится им, если принимается более или менее широкими кругами трудящихся, если бытует в народе и живет по законам фольклоризации. Следовательно, когда мы говорим о коллективности, то имеем в виду не генезис произведения, а процесс его творческого восприятия массами. Между тем до сих пор среди публикаций современного фольклора встречаются произведения индивидуального авторства (включая стихотворения начинающих поэтов) [52]. Разумеется, для характеристики и классификации современного народного творчества в целом все виды художественной самодеятельности масс должны приниматься во внимание. Но для установления структуры собственно фольклорной сферы необходима тщательная дифференциация материала.

Опыт синтетической характеристики разных видов современного народного творчества (в широком смысле этого слова) предпринимал Д. Недельковиц, основываясь на материалах, собранных в Югославии преимущественно в 1948—1953 гг. В большом исследовании, опубликованном в 1960 г. [53], и в докладе на V съезде славистов [54] Д. Недельковиц раскрыл разные тенденции в развитии народного творчества в периоды восстания и революции (1941—1942 гг.), освободительной борьбы (1943—1945 гг.) и первого этапа строительства социализма (1945—1953 гг.) Не разделяя фольклорную и нефольклорную сферы народного творчества, Д. Недельковиц обращает внимание прежде всего на использование традиций эпоса (особенно гайдуцкого), песен народных восстаний и революционных песен рабочего движения, на «закон актуализации» народных песен, продуктивный характер орских двустиший и образование новых эпических и балладных песен. Касаясь послевоенного периода, Д. Недельковиц выделяет песни-воспоминания о героях освободительной борьбы, эпические песни гусляров

---

[51] Там же, стр. 134. Думается, однако, что Ф. А. Рубцов не придает должного значения творческому восприятию песни массами.

[52] См., например, сб. «Сучасны беларускі фальклор». Склаў І. В. Гутараў. Мінск, 1963, стр. 19. Ср. критику подобного отождествления фольклорных песен с авторскими в докладе сербского фольклориста Д. Девича «Новые народные песни» («Рад IX конгреса фолклориста. Југославије». Сарајево, 1964, стр. 545—552) и особенно в работах М. Бошковиц-Стулли (Загреб).

[53] Душан Недельковић. Прилог проучвању законитости развитка нашег народног певања у периоду народне револуције, ослободилачког рата и изградње социјализма Југославије. «Зборник радова Етнографског института САН», књ. LXVIII, књ. 3, 1960, стр. 39—168.

[54] Душан Недельковић. Динамичка структура препорода савременог народног стваралаштва народа Југославије са нарочитим обзиром на улогу и значај радничког фолклора. «Народно стваралаштво. Folklor», св. 7, 1963, стр. 494—508.

новой тематики, любовную лирику нового содержания, песни-призывы к труду, песни молодежных строительных бригад, песни трактористов, песни о коллективизации, песни о социалистическом соревновании и ударничестве, песни о коммунистической партии и ее деятелях [55]. Касаясь последнего периода, Д. Недельковиц пишет, что «современное югославское народное творчество вступает в третью фазу строительства социализма»; в этот период устное народное творчество (песни, проза, пословицы), народное хореографическое и прикладное искусство, по выражению Д. Недельковича, своим содержанием отражают «преобразование традиционального, борческого, освободительного гуманизма в коммунистический гуманизм», причем для этого процесса характерно развитие «диалектического взаимоотношения коллективного и индивидуального народного творчества» и усиление роли рабочего фольклора [56].

Хотя в концепции Д. Недельковича и не выделяются собственно фольклорные формы народного творчества, однако мне представляется важным предложенное югославским исследователем понятие «динамической структуры», которое как раз и позволяет раскрыть диалектический характер современного народного творчества, подвижное соотношение в нем разных форм (коллективных и индивидуальных) на разных этапах его развития, а в самом современном фольклоре — соотношение разных видов (традиционных жанровых форм и новообразований).

Наиболее продуктивными фольклорными жанрами, где продолжается творческий процесс создания новых произведений, являются песенная лирика, анекдоты, устные рассказы [57]. Создание новых произведений сопровождается большей или меньшей трансформацией традиционной жанровой формы и возникновением некоторых новых жанровых разновидностей.

Новое песнетворчество развивается в двух основных направлениях: во-первых, по пути использования и преобразования традиционных форм песенной лирики и, во-вторых, в формах, возникших под воздействием современного профессионального искусства (литературной поэзии, композиторской музыки).

---

[55] Душан Недељковић. Прилог проучвању..., стр. 128—163.

[56] Душан Недељковић. Динамичка структура..., стр. 501—502. Ср.: Душан Недељковић. Три етапа прелажења колективног у индивидуално и обратно у народном стваралаштву и критеријум овога прелажења. «Народно стваралаштво. Folklor». Београд, 1962—1963, св. 2—5.

[57] «Українська народна поетична творчість». Т. II. Радянський період. Київ, 1958; К. П. Кабашнікаў. Нарысы па беларускаму фальклору. Мінск, 1963, стр. 157; «Беларуская вустна-паэтычная творчасць». Мінск, 1966, стр. 155; А. Д. Соймонов. Новые процессы в фольклоре восточных славян. «Русский фольклор», вып. VIII, стр. 261—271; Bohuslav Beneš. Několik poznámek o současném folklóru, «Národopisné aktuality», 1965, N 1-2, str. 45—47 (автор выделяет и жанры современного детского фольклора).

Значительная часть новых лирических песен складывается в манере, весьма близкой к традицинной песенности, хотя и не механически воссозданной. Н. П. Колпакова выделяет две основные жанровые группы современных русских народных песен — для одной характерно преимущественное использование традиций городской и рабочей дореволюционной песенной лирики в сочетании с элементами традиционной крестьянской протяжной песни; другую составляют песни, соединяющие традиции плясовых «частых» и частушек [58].

Украинские фольклористы приходят к выводу, что бóльшая часть современного украинского песенного фольклора создана на основе традиционных песенных жанров, причем одну группу составляют песни, в которых на популярные мелодии появляется новый текст [59], другую — песни, где новому тексту соответствует новая мелодия, возникающая в результате «активного пересоздания интонаций и мотивов крестьянской народной песни» [60].

Белорусские исследователи отмечают особенно прочные стилистические связи вновь создаваемых белорусских народных песен с многоголосыми казацкими, рекрутскими, распевными девичьими, песнями крестьянской вольницы и т. п. [61]

Как отметили болгарские фольклористы, современные болгарские песни «создавались и развивались на основе традиционного песенного творчества, но обогащались новым идейным содержанием» [62]. П. Динеков в специальном исследовании пришел к выводу, что современные песни основываются на традиционной поэтике, используют различные художественные средства старых болгарских песен, хотя и включают новые стилистические элементы, идущие от воздействия профессиональной поэзии [63]. Сложные процессы взаимодействия традиции и новообразований в новом песенном творчестве вскрывает Ст. Стойкова — адаптацию тра-

---

[58] Н. П. Колпакова. Народная песня советской эпохи. «Русский фольклор», вып. IX, стр. 98, 100, 102—103, 107, 113—114.

[59] М. М. Гордійчук. Характерні риси та проблеми української народної пісенности. «Народна творчість та етнографія», 1962, № 2, стр. 15; Л. І. Ященко. Музичний фольклор і художня самодіяльність. «Народна творчість та етнографія», 1962, № 4, стр. 48; он же. Традиции и новаторство в музичному фольклорі. «Народна творчість та етнографія», 1963, № 3, стр. 21—22.

[60] М. М. Гордійчук. Указ. соч., стр. 17, 23.

[61] Л. С. Мухаринская. 40 лет истории белорусского народа в народной песне, стр. 135—138. См. также доклад Г. И. Цитовича на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук.

[62] Е. Стоин. Съвременната българска народна песен. «Известия на Институт за музика БАН», т. I. София, 1952, стр. 127; ср.: Г. Керемидчиев. Указ. соч., стр. 8, 57—58, 103.

[63] Петр. Динеков. Някои особености на поетиката в съвременната народна песен. В кн.: «Литературни вопроси». София, 1963, стр. 288—289, 296—298.

диционных песен и самостоятельное творчество в духе и средствами традиционного фольклора [64].

Новые песни народов Югославии, отливаясь преимущественно в лирические и лирико-эпические жанры, особенно связанные с «коло» и «хоро», возникают в процессе переработки традиционных песен и песен, созданных в годы освободительной антифашистской борьбы [65].

Чешская фольклористка В. Стиборова и словацкая фольклористка С. Бурласова, посвятившие специальные исследования новым песням, приходят к выводу, что многие современные народные песни, особенно те, которые создаются в сельской местности, «продолжают традиции крестьянских песен», и процесс их создания может характеризоваться в целом как «процесс изживания (одних) и оживления (других) разнообразных стилей и типов традиционной народной песни» [66].

Особое место в современном песенном фольклоре славянских народов занимают монострофические жанры. Это, несомненно, наиболее продуктивная песенная форма, где создается огромное количество новых произведений. Но и в этих жанрах очевидна неразрывная связь новообразований с традицией. Здесь прочно удерживаются жанровые признаки в композиции, поэтике, мелодическом строе, ритмике. Значение этих устойчивых, традиционных признаков жанра для современной русской народной частушки показал В. П. Аникин [67]. Наполняясь новым тематическим содержанием, современные украинские частушки и коломыйки также создаются в основном в традиционных формах, на традиционные напевы [68]. Исследователи белорусского фольклора так-

---

[64] С. Стойкова. Традиция и новаторство в българско народно-песенно творчество с историко-героична тематика. «Известия на Етнографски институт и музей», т. VIII. София, 1965, стр. 130—133. Ср.: Т. Ив. Живков. Музикалният фолклор в нашата съвременност. «Музыка», 1967, № 8, стр. 40—43.

[65] В. Николић. Наша народна песма социјалистичке изградње у првој петољетки. «Зборник радова Етнографског института САН», књ XVIII, књ. 3, 1960, стр. 373—391; С. Тихоль. Принос фолклора у изградње социјалистичкој културе. «Рад VIII конгреса фолклориста Југославије», стр. 331—335; Д. Антонијевић. Друштвени карактер Херцеговацкој народној песме изградње социјализма. «Рад IX конгреса Савеза фолклориста Југославије», стр. 203—209; О. Младеновић. Развитак Моравца за последње две декаде («Рад XII конгреса Савеза фолклориста Југославије».

[66] Věrá Stiborová. Problematika nových písní. «Český lid», 1960, N 4, str. 179—180, 183; Soňa Burlasová. K problémům genézy, funkcie a štýlu l'udovej piesne s družstvenou tematikou. «Slovenský národopis», 1964, № 1, str. 3—4

[67] В. П. Аникин. Традиции жанра как критерий фольклорности в современном творчестве (частушки и пословицы). «Русский фольклор», вып. IX, стр. 83—91.

[68] Д. П. Кушниренко. Творення і побутування радянських народних частушек. «Народна творчість та етнографія», 1963, № 3, стр. 12—13; Л. І. Ященко. Традиції і новаторство в музичному фольклорі. «Народна творчість та етнографія», 1963, № 3, стр. 21.

же приходят к выводу, что по своим жанровым признакам современные частушки создаются на основе припевок дооктябрьского периода [69]. То же можно сказать о современных польских «спевках» [70], о сербо-хорватском лирическом дистихе и «бечарце» [71], о современных монострофических песенках в Чехословакии [72].

Однако, думается, было бы односторонне рассматривать эти жанры как неподвижную форму. Наряду с традиционной лирической монострофой большое место в современном фольклоре занимает специфическая жанровая разновидность — публицистический куплет с общественно-политической тематикой, связанный не столько с традициями крестьянской песенности, сколько с традициями рабочего фольклора, а также находящийся под сильным влиянием современной гражданской публицистической лирики. Примером этой разновидности может служить современная политическая «лозунговая» и сатирическая частушка восточных славян [73]. Как отмечает Н. П. Колпакова, на основе сочетания традиций крестьянской и рабочей частушки появился «особый частушечный тип», приобретший черты плаката, лозунга [74].

В этом виде современного песенного фольклора наблюдается тенденция к образованию тематических циклов, нанизывание на определенный сюжет отдельных куплетов. Так возникают своеобразные политические, производственные, бытовые обозрения, часто сатирического характера, на злобу дня. Впрочем, эта переходная форма от монострофического жанра к собственно песенному находится на периферии современного фольклора, поскольку куплеты-обозрения являются произведениями самодеятельного индивидуального творчества, культивируемыми преимущественно на эстраде в клубной художественной самодеятельности.

Вообще надо сказать, что в современной массовой художественной самодеятельности создается много новых песен, которые иногда безоговорочно называют народными. Советская фольклористка Т. В. Попова справедливо пишет: «Жизнь еще не успела вынести приговор разнообразным явлениям современного песенного быта, будь то творения поэтов и композиторов или же народных

---

[69] «Беларуская вустнапаэтычная творчасць», 1966, стр. 164.

[70] Основываюсь на наблюдениях польских коллег А. Миодуховской, Я. Садовника и др.

[71] См., например, доклады Д. Недельковича и Д. Антониевича на IX Конгрессе фольклористов Югославии («Рад IX конгреса фолклориста Југославије». Беѣарац. Уредио М. Лесковац. Нови Сад, 1958, стр. 170, 205—206).

[72] См.: Soňa Burlasová. Указ. соч.

[73] См.: И. В. Зырянов. О внутрижанровой классификации частушек. «Русский фольклор», вып. IX, стр. 126—128; Д. П. Кушниренко. Указ. соч., стр. 13, 17.

[74] См.: Н. П. Колпакова. Типы народной частушки. «Русский фольклор», вып. X, стр. 287. Большой интерес в связи с этим представляет и названное исследование С. Бурласовой.

певцов и музыкантов-самоучек, или участников самодеятельности. К тому же большинство песен, сложенных певцами-мастерами или коллективами народных хоров, еще не успело получить достаточно широкого распространения в массах и, как говорят, «отшлифоваться», утвердившись в народном быту в улучшенных, интонационно обновленных и более ярких мелодических вариантах. В этом одна из серьезных трудностей, встающих перед исследователями и собирателями при изучении народного творчества последних двух десятилетий»[75]. Именно поэтому весьма затруднительно говорить о фольклорности таких песен. Тем не менее все же в этом пестром и постоянно обновляющемся потоке можно выделить произведения, которые включаются в процесс фольклоризации — отрываются от создавшего их автора или коллектива, приобретают характер анонимных произведений, получают массовое распространение и подвергаются варьированию. Среди этих песен особой жизнеспособностью отличаются произведения, созданные не в традиционной манере, а средствами, характерными для современной профессиональной поэзии и музыки (в ряде песен удерживаются и некоторые характерные элементы бытового романса). На наших глазах формируется новый песенный фольклорный жанр, представленный современными анонимными молодежными песнями (так называемые песни туристов и альпинистов, студенческие песни, песни строителей и геологов и т. п.)[76].

Опыты жанровой классификации новых песен предприняты лишь на материале произведений, созданных славянскими народами в ходе совместной освободительной борьбы в годы второй мировой войны[77]. Этого нельзя пока сказать в отношении песен, возникающих в современных исторических условиях. Интересный аналитический обзор принципов классификации современной русской песни предпринял В. М. Потявин, однако вопрос о конкретной жанровой системе остался открытым и в этой статье, если не считать намеченных автором трех «типов» современного народного песнетворчества: а) бытующие традиционные песни; б) переделки традиционных песен и старых песен литературного происхождения; в) коллективно создаваемые произведения на основе

---

[75] Т. В. Попова. О песне наших дней (современная русская народная песня). М., 1966, стр. 51.

[76] См., например, сб.: «В пути и на привале» (19 песен альпинистов и туристов). Л., 1959; Т. В. Попова. Указ. соч., стр. 72—76; Н. А. Каргаполов. Современные туристские песни. «2-я конференция по изучению современного фольклора Сибири». Улан-Удэ, 1965, стр. 38—43.

[77] В. Е. Гусев. Партизанская народная поэзия у славян в годы второй мировой войны. «История, фольклор, искусство славянских народов. V Международный съезд славистов», стр. 317—328; см. также: Л. С. Мухаринская. Указ. соч., стр. 104; С. Стойкова. Указ. соч., стр. 130.

фольклорных и литературных традиций[78]. Впрочем, автор прав, заключая свою статью признанием сложности проблемы классификации современной песни и указанием на то, что такая классификация — дело будущего.

Весьма сложной и дискуссионной остается до сих пор проблема современной устной прозы.

Не возвращаясь к судьбе традиционных сказок, необходимо лишь заметить, что попытки некоторых мастеров-сказочников создавать новые сказки (впрочем, в настоящее время вообще весьма редкие) не могут, подобно попыткам создания «новин», новых дум и новых гуслярских эпических песен, считаться явлением фольклорным, так как все они остались фактом индивидуального творчества и в значительной мере — примером неудачного творческого эксперимента.

Более продуктивными оказались жанры предания и легенды. Новые произведения в этой области создаются на материале близкой исторической действительности (близкого прошлого), особенно на фактах освободительной борьбы славянских народов против фашизма, в процессе жанровой трансформации героических рассказов современников[79].

Еще сравнительно недавно представления фольклористов о современной устной прозе были недостаточно дифференцированными, и все произведения в этой области именовались устным рассказом, или «сказом». Плодотворный опыт выделения в этой области преданий и легенд произвел С. Н. Азбелев[80]. Однако, несмотря на категорически высказанную им мысль, что устного рассказа как особого жанра в современном фольклоре не существует, убедительными представляются наблюдения и выводы тех фольк-

---

[78] В. М. Потявин. Принципы классификации современной русской народной песни. «Русский фольклор», вып. X, стр. 261—263. Словацкий фольклорист Л. Ленг предлагает свою систему терминологии для классификации всего современного музыкального фольклора: музыкальный род, жанровая группа, жанровый тип, типовая разновидность, типовой вариант (L. Leng. Hudobný folklór a amatérska umelecká tvorivost. «K problematice súčasnej hudby». Bratislama, 1963, str. 668); сам он различает современный музыкальный фольклор — «аутентичный», «стилизованный», «имитационный» и «переработанный» — и каждую из этих частей делит на функциональные группы — обрядовую, танцевальную и эстрадную.

[79] Л. Г. Бараг, М. С. Меерович. Белорусские народные предания и сказки-легенды о Заслонове и Ковпаке. СЭ, 1948, № 2, стр. 147—155; Цв. Вранска, Ст. Георгиева-Стойкова. Партизански бит и фолклор. София, 1954, 211, 213—220; «Literatura Ludowa», t. III. Warszawa, 1959, № 1-2, str. 128—132; Andrej Melicherčik. Boj proti fašizmu za Slovenského povstania v ústnom podani slovenského l'udu. «Slovenský národopis». Bratislava, 1961, č. 3, str. 359—374; Л. В. Домановский. Устный рассказ. В кн.: «Русский фольклор Великой Отечественной войны», стр. 217—228.

[80] С. Н. Азбелев. Современные устные рассказы. «Русский фольклор», вып. IX, стр. 166—172.

лористов, которые отмечают в современной устной прозе произведения, обладающие иными жанровыми признаками, нежели предание и легенда, и которые выделяют устный рассказ в автономную жанровую группу.

Даже не вся современная устная проза о второй мировой войне может быть уложена в жанровые границы предания или легенды — и в настоящее время продолжают существовать собственно устный рассказ героического или бытового содержания. Значительный интерес в связи с этим представляет статья словацкого фольклориста Яна Михалека, анализирующего записи устной прозы начала 1960-х годов. Автор убедительно показывает, что недавнее героическое прошлое творчески перерабатывается народной фантазией. Я. Михалек характеризует современные устные рассказы в целом как «малые эпические произведения» преимущественно «героической тематики», показывает, как происходит циклизация различных рассказов вокруг имен наиболее выдающихся героев, утверждает, что лучшие устные рассказы освещаются внутренней идеей, выраженной художественными средствами. Я. Михалек справедливо полагает, что изучение современных устных рассказов о словацком восстании «может привести к решению важных теоретических проблем устной словесности в современных условиях» [81].

Новейшая попытка классификации современных устных рассказов принадлежит чешской фольклористке Любуше Поуровой. Она предлагает два типа деления — по функции и по содержанию. В первом случае рассказы делятся на три большие группы: а) рассказы для детей, б) рассказы как составная часть разговоров (взрослых и детей) и с) рассказы как составная часть различного рода информации. Во втором случае рассказы группируются более дифференцированно: 1) рассказы-воспоминания о детстве и юности; 2) выдуманные рассказы о животных и различных предметах и вообще различные «ложные истории»; 3) пересказы увиденных фильмов и спектаклей, прочитанных книг; 4) комические рассказы; 5) рассказы из жизни, об окружающей среде, о различных событиях, особенно экспрессивного характера (например, об убийствах, о несчастных случаях и т. п.), о различного рода происшествиях и т. п. [82]

Думается, что функциональная и тематическая группировки должны быть дополнены собственно жанровым делением устных рассказов на три основных типа: мемуарный рассказ, рассказ-очерк (основанный на действительных фактах текущей дей-

---

[81] Jan Michalek. Spomienkové rozprávanie o slovenskom národnom povstaní na Podjavorinsku. «Slovenský národopis». Bratislava, 1964, č. 3, str. 412—413, 416.

[82] Libuše Pourová. Zur Problematik der Peripheriegattungen im gegenwärtigen mündlichen Erzählen. Доклад на заседании подготовительной комиссии в Праге (сентябрь 1966 г.) (Рукопись).

ствительности), авантюрный рассказ (рассказ о различного рода происшествиях, приключениях, необычных событиях, со значительной долей вымысла).

Наряду с различного рода устными рассказами, а возможно, еще более распространенным и продуктивным жанром современной прозы, является анекдот, судьба которого в фольклористической литературе весьма своеобразна — его существование признается всеми, однако опыты конкретного исследования и классификации этого жанра пока не производятся. Анте Назор говорил в докладе на XII Конгрессе фольклористов Югославии: «Анекдот — форма, которая наилучшим образом отвечает нашему времени. Его тематика и мотивы невероятно богаты. Они рассказывают очень выразительно, а иногда и остро о наших внутренних общественно-экономических, культурно-политических проблемах, а особенно о взаимоотношениях между людьми, не щадя никого» [83]. Современный анекдот — плод творчества преимущественно городской среды и по своим жанровым признакам он заметно отличается от традиционной формы.

Кроме новообразований, в области основных жанров могут быть названы новые пословицы и поговорки, а также некоторые своеобразные малые формы типа речений, крылатых слов, метких образных выражений и т. п. [84]

Итак, обобщая все сказанное, можно выделить три сферы, где существует современный фольклор: область наследования (живого бытования) некоторых традиционных жанров, область обновления (актуализации) произведений традиционного фольклора и, наконец, область новообразований в фольклоре.

---

[83] Ante N a z o r. Za razumijevanje i pravo mjesto narodnog stvaralaštva (folklora), str. 1, 2. Современному анекдоту уделяет внимание в своей статье и Богуслав Бенеш («Několik poznámek o současném folklóry», str. 47), отмечая появление целых «серий».

[84] О некоторых специфических малых формах см.: V. K a r b u s i c k ý, V. P l e t k a. Výzkum a dokumentace současného folklóru. «Český lid», 1960, str. 89—111; M. L e š č á k. Prispevok k metodike výskumu, súčasného stavu folklóru. «Slovenský národopis», 1967, č. 4, str. 570—578.

К. В. Чистов

О СЮЖЕТНОМ СОСТАВЕ РУССКИХ НАРОДНЫХ ПРЕДАНИЙ И ЛЕГЕНД

(Методологические вопросы)

«Сюжет» (wątek, námět, sujet, Großmotiv и т. д.)— научная абстракция, которая извлекается из сопоставления известного количества сходных фольклорных произведений повествовательного характера. Абстракцией еще более высокого порядка является представление о так называемом сюжетном типе (Märchentyp, typ of the folktale; Sagentyp, typ of the legend и т. д.), которым оперирует современная сравнительная фольклористика, т. е. представление об устойчивом сюжете или сюжетной контаминации, характерных для какой-либо национальной традиции или имеющих международное распространение.

Как и всякие научные абстракции, понятия «сюжет» и «сюжетный тип» нуждаются (по крайней мере время от времени) в сопоставлении с фактами реальной истории фольклора. Особенно важно это для тех жанров, которым свойственна повышенная подвижность текстов. К подобным жанрам относится большинство разновидностей народной прозы несказочного характера, в том числе народные предания и легенды [1].

В связи с этим нам кажется полезным предпринять попытку выяснения некоторых особенностей динамического взаимоотношения: «фольклорное произведение — сюжет (сюжетный тип) — сюжетный цикл», которое свойственно русским преданиям и легендам, в надежде, что выводы смогут быть полезными и исследователям других жанров и фольклора других славянских народов.

Сложность интересующего нас взаимоотношения во всех фольклорных жанрах связана с основной текстологической особенно-

[1] Здесь и дальше мы употребляем термин «легенда» для обозначения устных народных рассказов фантастического характера о героях, событиях или явлениях, которые мыслятся как существующие во время исполнения этих рассказов. Под преданиями разумеются различные устные народные рассказы о прошлом.

стью фольклора — его вариативностью. Известно, что в процессе бытования фольклорных произведений варьируются не только отдельные словосочетания или стилистические приемы [2], но и (в сюжетных жанрах) сюжет или, точнее, структура сюжета, мотивы и эпизоды, его образующие, способы и средства их сцепления, персонажи и их характеристика, хронологическое, этническое и географическое приурочение и т. д., т. е. в конечном счете те представления и идеи, которые воплощаются в сюжете. Очень важно, что при этом используются не только новые или подновленные эпизоды, мотивы или словосочетания, но обычно (и даже значительно чаще), давно существовавшие в традиции и применявшиеся в других фольклорных произведениях, иногда даже в других жанрах.

Варьирование может выразиться в замене одного элемента сюжета другим, сходным с ним и адекватным по своей функции, либо в развитии его (амплификации) при сохранении либо изменении его функции в системе сюжета, либо, наконец, в его выпадении. Характерно, что даже относительно новые элементы сюжета были обычно перегруппировкой традиционных элементов [3]. Классический фольклор не знал авторского права на текст и уж тем более на сюжет, ходовые мотивы, словосочетания, образы героев и т. д. Достижения традиции были общим достоянием среды, ее творившей. Все это создавало условия для своеобразных диффузных отношений между отдельными произведениями фольклора — элементы, первоначально возникшие в составе одного из них, проникали в другое (или другие). Песни, сказки, былины, исторические песни на сходные темы, созданные в разных областях России, могли в этих условиях сближаться по мере бытования таким образом, что теперь их легко принять за варианты одной песни, сказки или былины [4].

Все это делает иной раз границу между отдельными самостоятельными произведениями условной или по крайней мере трудно различимой. В связи с этим возникает общая теоретическая проблема критериев, принципов и приемов определения границ и состава варьирующих фольклорных произведений, их сюжетов (сюжетных типов) и сюжетных циклов, в которые они объединяются.

---

[2] Если они примерно равноценны в эстетическом и идеологическом отношениях, то можно говорить о «вибрации» текста (см.: К. В. Чистов. Современные проблемы текстологии русского фольклора. Доклад на заседании Эдиционно-текстологической комиссии V Международного съезда славистов. М., 1963).

[3] Мы имеем в виду главным образом медленно развивавшийся и вместе с тем уже высоко развитый фольклор феодального периода.

[4] Ср., например, предположение Б. Н. Путилова о первоначальном одновременном возникновении по крайней мере двух песен о Щелкане Дудентьевиче (Б. Н. Путилов. Русский историко-песенный фольклор XIII—XVI вв. М.—Л., 1960, стр. 127—128).

* * *

Продемонстрируем некоторые примеры из различных жанров русского фольклора. Действительно, вправе ли мы считать, например, былины со сходными сюжетами разными произведениями и в каких случаях? Так, например, известна обширная группа былин, в которых рассказывается об осаде татарами Киева и о спасении его богатырем («Илья Муромец и Калин-царь», «Василий Игнатьевич и Батыга», «Васька-пьяница и Кудреванка-царь», «Ссора Ильи Муромца с Владимиром», «Михайло Данилович», «Саул Леванидович» и др.). Сюжеты этих былин весьма сходны [5]. Былины отличаются друг от друга именами героев, большей или меньшей остротой ситуации, отдельными деталями. Близки сюжеты былин «Добрыня и змей» и «Алеша и Тугарин на Сафат-реке», «Алеша и Тугарин в Киеве» и «Илья и Идолище» и др. С другой стороны, былины об одних и тех же богатырях и примерно с теми же сюжетами выступают подчас в столь различных редакциях, что возникает вопрос: не разные ли это былины? Характерно, что издатели двухтомника русских былин, поставившие перед собой задачу представить «весь сюжетный состав русского былинного эпоса» [6], сочли необходимым печатать некоторые былины в двух, а иногда даже в трех версиях (редакциях), так как они, по их мнению, «нередко равноценны и одинаково интересны для читателя» [7].

Р. М. Волков в статье «К проблеме варианта в изучении былин» весьма убедительно показал, сколь различны по своему содержанию и по своему художественному замыслу варианты былины «Илья Муромец и Калин-царь» из сборника Кирши Данилова и из сборника А. Ф. Гильфердинга «Онежские былины» (№ 57) в записи И. Фепонова. В первом случае — это былина

---

[5] В. Я. Пропп говорит о былинах об отражении татар: «По своему содержанию былины этой группы настолько тесно связаны между собой, что границы между отдельными песнями стираются... Былины или сюжеты этой группы с равным основанием могут быть рассматриваемы как различные версии одного и того же сюжета или как разные сюжеты на одну тему... Составные части одних органически входят в составные части других. Невозможно уже говорить о перенесении эпизодов из одних песен в другие: песни данного круга состоят из одинаковых эпизодов. Рассказываются эти эпизоды поразному, и от этого зависит различие между песнями. По существу же эпизоды одни и те же, и этим определяется их связь и сходство» («Русский героический эпос». Л., 1958, стр. 301—302).

[6] «Былины в двух томах». Подготовка текста, вступительная статья и комментарий В. Я. Проппа и Б. Н. Путилова, т. I. М., 1958, стр. 499.

[7] Там же, стр. 499. В двух версиях печатаются, например, былины «Добрыня Никитич и змей», «Добрыня и Маринка», «Илья и Соловей», «Богатыри на заставе», «Дунай сватает невесту Владимиру», «Королевич из Кракова», «Михайло Потык», «Глеб Володьевич», «Соловей Будимирович», «Чурила и Катерина» и др.

о том, как внезапный приезд Ильи Муромца спас Киев и князя Владимира, испытавших набег татар в то время, когда «богатырей не случилося», во втором случае — это былина о князе, который не умеет ценить своих богатырей и недостоин их защиты. Илья спасает Киев «ради матушки свято-Русь земли» [8]. Нельзя не видеть, что истолкование сюжета, различие его трактовок здесь напоминают (разумеется, в ослабленном виде) обычное в письменной литературе использование ходового сюжета для создания произведений, различных по своим идеологическим и эстетическим качествам.

Таким образом, некоторые былины с весьма близкими или просто одинаковыми сюжетами принято считать различными былинами, с другой стороны, версии одной былины могут так сильно отличаться, что возникает вопрос: не должны ли мы говорить в таких случаях о разных былинах? Было бы весьма важно выяснить, соответствуют ли подобные традиционные научные представления сказительской практике.

В каких же границах возможно варьирование тех или иных элементов былины? Что при этом «обязано» оставаться неизменным? Имя героя? Имя и облик его основного противника? Основная идея? Определенные элементы стилистической системы? Могут ли считаться вариантами одного и того же произведения версии с прямо противоположным смыслом, если видеть в сюжете не случайное сцепление мотивов, а художественное средство выражения определенного замысла? Мы имеем в виду пример, проанализированный Р. М. Волковым в упомянутой выше статье, и еще более известный случай — взаимоотношение двух версий былины о столкновении Василия Буслаевича с «мужиками новгородскими», в которых мы встречаемся и с осуждением, и с одобрением героя.

Сюжеты былин претерпевают определенные изменения не только за счет включения или исключения отдельных эпизодов, краткого или пространного их изложения и определенного истолкования, но и за счет так называемых контаминаций, т. е. соединения с другими сюжетами. В то же время отдельные эпизоды так называемых сводных былин могут приобретать самостоятельность и складываться в совершенно законченные в художественном отношении былины (ср. сводные былины об Илье Муромце — о поездке в Киев, о трех поездках и др.). Итак, вопрос этот — о границах отдельного произведения и сюжета (сюжетного типа) и о критериях их определения — оказывается на почве былин достаточно сложным и противоречивым.

Не подлежит сомнению, что сказка варьирует значительно более свободно, чем героическая былина. В репертуаре одного ска-

---

[8] Р. М. Волков. К проблеме варианта в изучении былины. «Русский фольклор», вып. II. М.—Л., 1957, стр. 115—128.

зочника, от которого производилась систематическая запись, иной раз можно обнаружить две, три и даже несколько сказок, содержащих сходный сюжет (сюжетный тип), обозначенный в указателе Аарне — Томпсона одним и тем же номером. Что это значит? Видимо, сказочники могут по каким-то причинам и при каких-то условиях считать такие сказки разными, имеющими самостоятельный интерес. Так, например, в сборнике сказок, записанных от Ф. П. Господарева, опубликованы по две сказки на сюжеты № 875 «Семилетка» [9] («Два мужика» и «Как конь жеребенка родил»), № 300 «Победитель змея» («Солдатские сыны» и «Иван — Кузнецкий сын»), № 301 «Три царства: золотое, серебряное и медное» («Портупей — прапорщик» и «О четырех богатырях»), № 303 «Два брата» («Солдатские сыны» и «О четырех богатырях») и т. д.

А. И. Никифоровым в 1926—1928 гг. записаны от мезенского сказочника И. Г. Бобрецова две сказки, содержащие сюжет № 300 А «Бой на Калиновом мосту». По свидетельству собирателя, исполнитель считал их разными сказками [10].

Очень много сюжетных повторений, главным образом в разных контаминациях, встречается в репертуаре крупнейшего севернорусского сказочника М. М. Коргуева. Эти повторения особенно легко обозримы благодаря репертуарной таблице, опубликованной собирателем и издателем А. Н. Нечаевым во втором томе «Сказок Карельского Беломорья» (стр. 669—671). Так можно отметить дублирование сюжетов № 300 («Иван Медведьевич» и «Чёртов завод»), № 301 («Зорька-молодец» и «Иван Соснович»), № 400 А («Елена Прекрасная» и «Кащей Бессмертный»), № 531 («Иван Меньшой Разумом Большой», «Гриша-кашевар» и «Конек Горбунок»; два последних из «Приложения»), № 552 («Кузнец» и «Кащей Бессмертный») и многих других.

Мы убеждены в том, что подобные повторения встречались бы в сборниках, публикующих сказки отдельных сказителей, еще чаще, если бы издатели, «заботясь о читателе», не стремились бы их искусственно избегать. К сожалению, они затушевывали тем самым эстетические представления сказочника и его среды.

Дублирование сюжетов в репертуаре одного сказочника — тема, требующая специального изучения. Возможны и вероятны разные случаи и различные объяснения этого явления — суще-

---

[9] Номера и названия сюжетов даются по «Указателю сказочных сюжетов по системе Аарне» Н. П. Андреева (Л., 1929). Номера сюжетов соответствуют указателю; A. Aarne-Thompson. The types of the folktale. A classification and bibliography. Antti Aarne's Verzeichnis der Märchentypen (FFC, N 3) translated and enlarged by Stith Thompson. Second revision. Helsinki, 1964.

[10] А. И. Никифоров. Победитель змея. Из севернорусских сказок. «Советский фольклор», 1936, № 4-5, стр. 147. «Да и трудно их иначе квалифицировать»,— добавляет А. И. Никифоров.

ственное расхождение вариантов в процессе бытования, принципиальные отличия трактовок сюжета, разработка его этического или социального аспекта, контаминации, приводящие к образованию новых сюжетов и сюжетных типов, и т. д.

Интересующая нас проблема быть может рассмотрена на материале сказки и в другом аспекте. Замечательный материал для этого дает своеобразный сборник А. И. Никифорова, в котором опубликовано 15 сказок с сюжетом № 300 «Победитель змея», записанных в 1926—1928 гг. на сравнительно ограниченной территории — в Заонежье, на Пинеге и на Мезени. Не будем повторять анализ этих текстов, произведенный А. И. Никифоровым. Воспользуемся его выводами в той их части, которая касается нашей темы. «... Ни одна из 15 сказок,— пишет А. И. Никифоров,— не является повторением другой и не похожа на нее. Каждая представляется настолько отличной, что воспринимается как новая сказка, как новое произведение фольклора. Читатель неспециалист прочтет эти вариации одного и того же сказочного «типа», почти не почувствовав его повторения и далее. Печатаемый ниже материал говорит лучше всяких споров о том поразительном факте, что 15 текстов одного и того же типа, записанных на сравнительно небольшой территории, дали тексты, о прямой механической зависимости которых друг от друга не может быть речи, и что эти 15 текстов в сущности представляют 15 творческих актов крестьянского массового исполнителя и хранителя сказки» [11]. Прослеживая сочетания сюжета № 300 с другими сюжетами (301, 303, 305, 466, 502, 530, 532, 533 и др.), исследователь приходит к выводу, что он может выступать как в качестве самостоятельного сюжета, так и (особенно часто) в качестве «подвижного эпизода, вовлекаемого в связь с другими по мере надобности» [12].

Обратимся к лирическим песням. При этом, разумеется, следует иметь в виду, что сюжет лирической песни — понятие весьма условное. Нас же в данном случае интересует проблема относительности границы между фольклорными произведениями на сходные темы. Каждый, кто читал сборник А. И. Соболевского «Великорусские народные песни» страницу за страницей, очень хорошо знает своеобразное ощущение, которое при этом возникает. Переход от одной песни к другой иной раз резок, похож на скачок, но чаще — очень плавен. Границы между отдельными песнями почти не заметны. Исследователь той или иной песни, если хочет понять ее историю, всегда должен обследовать целое «гнездо» родственных песен. Такова, например, группа песен № 12 — 167 во втором томе этого сборника [13]. Она начинается

---

[11] А. И. Никифоров. Указ. соч., стр. 146.
[12] Там же, стр. 147.
[13] «Великорусские народные песни», т. II. СПб., 1896.

песней «Ах, как на речке, на речушке», предостерегающей девушек:

Поскачите вы, девушки,
Попляшите вы, красные!
Неравно замуж пойдется,
Неравен муж навяжется...

и продолжается песнями о замужестве или песнями, сопоставляющими девичество и замужество, и заканчивается группой песен с зачином «Ах, молодость, молодость, // Чем же помянуть тебя?» Только специальное и весьма изощренное исследование может определить (и то весьма условно и в зависимости от выбора того или иного показателя в качестве основного критерия — зачин, основная тема, ее трактовка, герои, стилистические особенности и т. д.), сколько песен или типов песен составляет эту группу. Характерно, что А. И. Соболевский включил в эту группу (которая, впрочем, осталась им не выделенной) песни, записанные в Торопце (2), в Сибири, Олонецкой (4), Уфимской (2), Архангельской (4), Владимирской, Вологодской (4), Костромской, Пермской (4), С.-Петербургской, Саратовской, Ярославской, Курской (2), Вятской (2), Казанской (3), Воронежской, Новгородской, Тверской губерниях и Терской области (5). Таким образом, процесс диффузии в этом случае имел явно общероссийский характер. С другой стороны, он, видимо, не зафиксирован во всех деталях, так как каждая губерния представлена сравнительно небольшим числом (от одной до пяти) песен.

Примерно такова же структура группы песен, объединенных в том же томе под № 310—355. Они сближаются по родственной теме — сопоставление старого мужа и молодого, житья за старым и молодым, отношение молодухи к старому и молодому мужу.

Итак, наш обзор былин, сказок, лирических песен привел к выводу, что проблема границ отдельного фольклорного произведения и его взаимоотношений с родственными произведениями, объединяющимися в нашем сознании в сюжетный тип или сюжетный цикл, в этих жанрах сложна и не может быть решена метафизически или тем более путем механического перенесения в область фольклора критериев и приемов, выработанных литературоведением.

Еще более сложной оказывается она, если обратиться к преданиям и легендам. Рассмотрим одну из их разновидностей.

Изучение русских народных социально-утопических легенд привело нас к выделению особой группы — легенд о возвращающихся царях (царевичах)-«избавителях». С начала XVII до середины XIX в. бытовало более трех десятков подобных легенд (о царевиче Дмитрии, о Петре—сыне Федора Ивановича, о царевиче из рода Шуйских, об Алексее Алексеевиче, Симеоне Алексеевиче, Алексее Петровиче, царях Петре II и Петре III, великом

князе Константине и др.) [14]. В основе всех этих легенд лежит весьма сходный сюжет, максимальную схему которого можно было бы изобразить следующим образом:

A. *«Избавитель» намерен осуществить социальные преобразования (освободить крестьян или внести существенные изменения в их жизнь)*

Варианты: A_1 — это намерение приписывается «природному» царю;
A_2 — царевичу, который должен воцариться;
A_3 — царевич намерен вернуть народу волю, которая была дарована царем, но скрывается крепостниками.

B. *Отстранение «избавителя»*

Варианты: B_1 — бояре (дворяне)-крепостники свергают царя-«избавителя» и хотят его убить (заточить в тюрьму, монастырь и т. п.);
B_2 — на жизнь царевича покушается правящий царь или придворные;
B_3 — царевич после рождения подменен царевной;
B_4 — крепостники скрывают завещание, согласно которому царевич-«избавитель» должен наследовать престол.

C. *Чудесное спасение «избавителя».*

Варианты: C_1 — верный слуга (солдат, казак, адъютант, и т. п.) подменяет его и гибнет сам;
C_2 — вместо «избавителя» хоронят куклу, восковую или металлическую статую и т. д.;
C_3 — придворные демонстрируют чей-нибудь труп для того, чтобы провозгласить «избавителя» умершим.

D. *«Избавитель» странствует или скрывается*

Варианты: D_1 — скрывается в пещере, на острове, в горах, в далеком городе, на чужбине и т. п.;
D_2 — странствует по Руси;
D_3 — заточен в тюрьму («закладен в столб»).

E. *Встречи с «избавителем» или вести от него*

Варианты: E_1 — встречи с неузнанным «избавителем», его объявление и исчезновение;

---

[14] Подробнее см.: К. В. Чистов. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. Сб. «История, фольклор, искусство славянских народов. V Международный съезд славистов (София, 1963). М., 1963, стр. 483—510; он же. Русские народные социально-утопические легенды XVII—XIX вв. М., 1967.

E_2 — встречи с вестниками или послами «избавителя», которые предвещают его появление;

E_3 — «избавитель» рассылает указы с «золотой строчкой».

F. *Правящий царь пытается помешать «избавителю» осуществить его намерения*

Варианты: F_1 — правящий царь преследует «избавителя»;

F_2 — предлагает компромисс, который отвергается «избавителем».

G. *Возвращение «избавителя»*

Варианты G_1 — «избавитель» должен вернуться в предсказанный час (через три, девять, двенадцать лет);

G_2 — он явится после того, как восставшие войдут в Москву (Петербург);

G_3 — он явится раньше назначенного срока, так как страдания народа очень тяжки.

H. *Узнавание «избавителя»*

Варианты: H_1— по «царским» отметинам на теле;

H_2— по какому-либо предмету, который удалось сохранить;

H_3— «избавителя» узнают люди, которые знали его до устранения.

I. *Воцарение «избавителя» (в Москве, Петербурге).*

K. *Осуществление «избавителем» социальных преобразований*

Варианты: K_1 —«избавитель» освобождает крестьян, дарует свободу казакам, однодворцам, городскому люду и т. д., наделяет их землей, отменяет все повинности и т. п.;

K_2 — превращает крепостных крестьян в «государевых», изгоняет дворян и облегчает повинности.

L. *Пожалование ближайших сторонников*

M. *Наказание изменников, незаконного царя придворных и т. д.*

Схема отражает максимальные возможности сюжета и способы его варьирования. В действительности же, каждая легенда включает или не включает отдельные эпизоды, более или менее разработана, но обязательно содержит устойчивый минимум мотивов: царь (или царевич) лишен престола (или не допущен к нему), вынужден скитаться (или скрываться) и должен явиться, возвратить себе престол и освободить народ.

В основе этого минимума мотивов лежат устойчивые социально-политические представления русского крестьянства XVII—

XIX вв. — вера в надклассовый характер царской власти, в возможность освобождения от крепостной зависимости по воле царя и вопреки намерениям дворянства. Идеализация царя, царской власти и царских намерений приводили к тому, что каждый царь, не оправдывавший народных надежд, казался не «истинным», не «природным», «подмененным» крепостниками. Одновременно формировалось представление о том, что «истинный» и «природный» царь (или царевич), устраненный дворянами, жив, скрывается и должен явиться.

Возникает вопрос: если сюжет устойчив, а меняется только его приурочение и варьируют мотивы, сохраняющие свои функции и место в системе сюжета, не следует ли признать, что на протяжении 250 лет существовала одна легенда, известная в нескольких версиях (редакциях, вариантах, модификациях)? Иными словами: если социально-психологические основания и социально-политические представления были столь устойчивы и живучи, означает ли это непрерывность существования сюжета, т. е. устойчивого комплекса мотивов, обладающего определенной внутренней структурой.

Действительно, если бы речь шла о сказке, то при наличии сходных сюжетов, общих для группы сказок, в которых герои обозначены разными именами, мы, несомненно, говорили бы об одном сюжетном типе и, возможно, даже о версиях одной сказки, так как сказка событийна и ориентирована на определенный тип героя без индивидуальной конкретизации. При этом имя героя обычно существенной роли не играет. В то же время наличие таких же данных для какой-либо группы былин позволяло бы говорить о разных былинах на сходный сюжет, так как образ богатыря составляет главное содержание былины. Совершенно такое же решение мы приняли бы, если бы речь шла об исторических песнях или преданиях. Имя героя в этих жанрах заставляет нас относить песню или предание к определенной эпохе, считать, что она (или оно) отражает поэтизацию народом определенных событий или является художественным выражением народного понимания и оценки определенной исторической ситуации. Впрочем, это не мешает в отдельных случаях признавать, что сходство сюжетов исторических песен или преданий — результат замены имени героя или, точнее, приурочивания традиционного сюжета к новому герою. До сих пор довольно редко удавалось убедительно доказать, что такое перенесение имело место [15], однако предположения подобного рода обычно не смущают исследователей — они стали традиционными.

---

[15] В качестве бесспорно убедительного примера назовем песни типа «Часовой у гроба царя», известные в приуроченьях к Ивану IV, Петру I, Екатерине II, Павлу I и Александру I.

Таким образом, критерий различения, видимо, находится в прямой зависимости от основной функции жанра. Хорошо выявленная эстетическая природа сказки способствует восприятию имени героя как условности, имеющей второстепенный характер. Герой обобщен и типизирован в этическом и социальном отношении, поэтому в принципе у него может быть любое имя. Сколько бы ни существовало сказок об Иване-дураке, никому не придет в голову считать их сказками об одном и том же конкретном, индивидуализированном или реально существовавшем герое. В то же время сочетание эстетической и условно-исторической функции, направленность всей художественной системы былины на обрисовку образа богатыря и его подвига, способствовали формированию определенных типов богатырей, обозначенных вполне устойчивыми именами. И, наконец, установка исторической песни и исторического предания на достоверность изображения, осознание высокой исторической ценности сообщаемых фактов, в том числе и имени героя, обусловливает группировку песен и преданий в сознании исполнителей (и исследователей) в исторической (или, точнее, в условно- или иллюзорно-исторической) последовательности, либо по крайней мере отнесение их к определенному историческому пласту (киевскому, новгородскому, «татарскому», «шведскому», «французскому», «разинскому», «пугачевскому», «петровскому» и т. д.). Это разъединяет песни и предания со сходными или даже подобными сюжетами, и характер их действительного происхождения никакой роли при этом не играет.

Функция социально-утопических легенд, в частности легенд об «избавителях», весьма своеобразна. С точки зрения исполнителей и слушателей, они изображают не только достоверное и уже происшедшее (спасение «избавителя»), но и нечто происходящее (странствие его) и то, что обязательно должно произойти (возвращение «избавителя» и осуществление чаяний). «Избавитель» — не только достоверное лицо, он объект страстной веры и ожиданий. Только он может совершить предназначенное и неизбежное. Поэтому он не рядовой человек (любой, каждый, «добрый молодец») и не типичный и обобщенный герой (богатырь, полководец, герой-стрелец, пушкарь, солдат и т. д.), а герой исключительный, единственный, каких еще не бывало. Нам хорошо известно, что Дмитрий царевич-«избавитель» или Петр III-«избавитель» были измышлены коллективным сознанием определенной социальной среды в России в начале XVII или во второй половине XVIII в. Однако для носителей легенды они были не только и не просто реальностью, но реальностью высшего порядка, в которой невозможно было сомневаться. Для того чтобы пойти за ним, покидали семьи, дома, землю, поднимали восстание, умирали. Имя его — тайное тайных и святое святых. Все это говорит о невозможности произвольного перенесения сюжета, связанного с одним «избавителем», на другого, и даже о невозможности од-

новременного сосуществования образов двух «избавителей» в сознании какого-либо целостного социального коллектива. Появление новой легенды о новом «избавителе» означало, что вера в предыдущего уже утрачена, что легенда о нем перестала бытовать или превратилась в историческое предание, утратив свою актуальную и активную социально-утопическую функцию.

Большинство сведений о легендах об «избавителях» извлечено нами из официальных документов. Это дало возможность,столь редкую для других жанров, датировать возникновение и установить для важнейших легенд хронологию их развития, распространения, а затем и угасания. Возникновению каждой из них предшествует преодоление более примитивных форм царистских иллюзий («царь хочет — бояре не дают», царь подменен, ложные грамоты или «царский указ с золотой строкой», «указ утаили дворяне» и т. д.). Народная мысль каждый раз как бы начинает сначала. Нужно было каждый раз исчерпать надежду на нового правящего царя, найти форму осмысления его как «неистинного» и, наконец, противопоставить ему «истинного» и «прямого» царя или царевича-«избавителя». Только тогда могла возникнуть очередная легенда. Созревание и подъем общественно-политической мысли народа, ее крайнее обострение сменялись спадом, ослаблением, снижением. Они сопровождались новыми иллюзиями, новыми надеждами на правящего царя. В этих условиях уже не могли существовать легенды о возвращающихся «избавителях». Вера в антицаря-«избавителя» гасла, и легенды переставали бытовать. На следующем этапе происходил новый подъем и т. д. Поэтому историю легенд о царях (царевичах)-«избавителях» нельзя представить себе в виде непрерывной и восходящей линии; она была спиралеобразной, зигзагообразной, прерывистой. Периоды развития сменялись периодами затухания, пока царистские иллюзии не были преодолены окончательно во всех формах и разновидностях.

Независимость происхождения легенд об «избавителях» от предшествующих подобных легенд хорошо видна на примере возникновения легенды о Петре III. Она формируется не из легенды о Петре II или Иване Антоновиче, а из антиелизаветинской, а потом антиекатерининской идеализации царевича Петра Федоровича. В свою очередь легенда о Константине не могла возникнуть из легенды о Петре III, угасавшей уже в 80—90-е годы XVIII в., распавшейся на ряд мелких легенд (Метелкин, Железный Лоб, «сын Екатерины II» и т. д.) и к 1825 г. уже существовавшей только в специфической скопческой редакции. Не могла она возникнуть и из легенды о царевиче Павле, погасшей вскоре после вступления Павла на престол.

Отсутствие прямой преемственности между отдельными легендами подтверждается и тем безусловным фактом, что подавляющее большинство из них не удержалось в традиции или со временем превратилось в исторические предания, лишенные социально-

утопического содержания. С потерей веры в этого «избавителя» легенда не могла бы уже сохранить и тем более восстановить свой утопический характер. Стало быть, русские народные легенды об «избавителях» составляют группу самостоятельных фольклорных произведений, возникавших в разное время.

Как же мыслить единство этой группы? В русской фольклористике для обозначения группы самостоятельных фольклорных произведений употребляется несколько неравнозначных терминов, отражающих группировку по различным признакам — тематическая группа (объединение по теме, содержанию), сюжетное гнездо (по родственности сюжетов), разновидность (по жанровой, близости), цикл (группировка вокруг какого-либо героя, места действия, хронологического периода и т. д.). Каждый из этих терминов, вероятно, мог бы быть условно употреблен для обозначения единства рассмотренной группы легенд и вместе с тем это было бы по крайней мере неточное их употребление. Прежде всего все они применяются для обозначения выработанного традицией единства *одновременно* существующих фольклорных произведений. Перед нами же цепь исторически следовавших друг за другом и сменявших друг друга самостоятельных, но однотипных легенд, выполнявших одну и ту же социально-психологическую и эстетическую функцию.

Термин же «цикл» может быть употреблен по отношению к легендам об «избавителях», но в совершенно ином смысле. Как уже говорилось в докладе на VII Международном конгрессе антропологических и этнографических наук в Москве в 1964 г., предания и легенды обычно не бытуют в виде одного устойчивого текста, а образуют сложную систему динамической передачи представления или образа, лежащего в основе каждого из них, состоящую из разнообразных фабулатов и меморатов, основных и «дочерних» рассказов, передачи вестей и изложения представления и т. д. [16]

Самостоятельность возникновения и бытования отдельных легенд не противоречит объединению некоторых из них в более тесно спаянные звенья исторической цепи. В этом смысле выделяются две большие триады: в XVII в. — «царевич Дмитрий — царь Дмитрий — царевич Иван Дмитриевич», в XVIII в.— «царевич Петр Федорович — император Петр III — цесаревич Павел». Первые два члена триады в обоих случаях являются двумя стадиями развития одной легенды, третья — специфическим результатом ее угасания. Возникает представление о новом «избавителе», однако он мыслится как преемник старого, его сын. В легендах

---

[16] К. В. Чистов. К вопросу о принципах классификации жанров народной прозы. VII Международный конгресс антропологических и этнографических наук (МКАЭН). М., 1964.

XVIII в. эта преемственность мотивирована: Петр III явился раньше назначенного срока, и это его погубило.

Самостоятельность и относительная независимость происхождения отдельных легенд, если они установлены, снимают утверждение А. Н. Веселовского, что немецкие легенды о возвращающемся императоре и все сходные с ними легенды других народов, в том числе и русские, развились из одного источника — раннехристианских эсхатологических преданий в процессе непрерывной литературной истории однажды созданного текста или по крайней мере сюжета [17].

Исследованный нами русский материал приводит к иному выводу — даже на русской почве этот сюжет возникал многократно и вполне самостоятельно, никакой миграции сюжета в обычном смысле не происходило. Сравнение же русских легенд о царях (царевичах)-«избавителях» со сходными сюжетами, известными в русском фольклоре и в фольклорной традиции других народов [18], заставляет предположить, что сюжет — «герой скрывается для того, чтобы возвратиться и избавить народ от социального (национального, религиозного) гнета», — может возникать различными путями.

Проблема эта чрезвычайно обширна и требует углубленного и разностороннего изучения. Вместе с тем уже сейчас можно сказать, что рядом с легендами о возвращающихся царях-«избавителях» вырисовываются легенды и предания иного типа, возникающие на почве исторической или фольклорной популярности героя и связанные со стремлением приписать ему бессмертие, поверить в возможность продолжения или повторения его подвигов. Таковы легенды о Степане Разине, королевиче Марко, Фридрихе Барбароссе, Шандоре Петефи, Тарасе Шевченко и др.[19] По-видимому, в этой группе легенд вполне возможны и вероятны случаи усвоения, переадресовки, контаминации, вообще — передачи сюжета в процессе циклизации, развития героических биографий и т. д. Однако и здесь могут встретиться случаи самостоятельного и независимого происхождения сюжетов.

Обследованные нами легенды принадлежат к другому типу; их формирование связано не столько с популярностью героев в традиции (герой-«избавитель»), сколько с реальным фактом

---

[17] А. Н. Веселовский. Опыты по истории развития христианской легенды. ЖМНПр., 1875, т. IV, стр. 282—331; т. V, стр. 48—130.

[18] Подробнее об этом см.: К. В. Чистов. Легенды об «избавителях» и проблема повторяемости фольклорных сюжетов. «Славянский фольклор и историческая действительность». М., 1965, стр. 36—59.

[19] См.: K. W. Cistov. Bemerkungen zum Aufsatz von W. Steinitz über «Das Lied von Robert Blum». «Deutsches Jahrbuch für Volkskunde», 1965, II, S. 260—264; В. К. Соколова. Антифеодальные предания и песни у славянских народов. «Славянский фольклор и историческая действительность», стр. 173—207.

отстранения прототипа «избавителя» (природный «избавитель») от власти и стремлением создателей легенды объяснить это в духе социально-утопических ожиданий.

Детальное обследование каждой легенды должно показать действительную принадлежность ее к тому или иному типу по характеру возникновения и свойственной ей социальной функции. Вместе с тем уже сейчас можно утверждать, что сходство сюжетов не может считаться надежным свидетельством их одинакового и тем более общего происхождения.

На фоне сюжетных вариаций сходных типов русские народные легенды о возвращающихся («природных») царях (царевичах)-«избавителях» весьма интересны, так как дают редкий пример возможности документировать многократное возникновение одинакового сюжета в пределах одной национальной традиции в рамках определенного исторического периода и в конкретных общественно-политических условиях.

Итак, наш опыт изучения социально-утопических легенд убеждает нас не только в том, что критерий разграничения отдельных произведений должен быть различным для разных жанров и что он находится в прямой зависимости от функции жанра, но и в том, что определение конкретного соотношения «легенда — сюжетный тип — цикл» невозможно на основе формально-логических и классификаторских операций; оно потребовало детального изучения исторических и социально-психологических условий возникновения, бытования и угасания каждой легенды. Если наши выводы верны, то и в сюжетный указатель русских преданий и легенд, в раздел социально-утопических легенд, в рубрику «Легенды об «избавителях» должен быть внесен не один сюжет «Избавитель, не допущенный крепостниками царствовать, должен явиться и освободить крестьян», а столько сюжетов,сколько бытовало легенд, связанных с отдельными именами «избавителей» — о царевиче Дмитрии, о царевиче Петре, о царевиче из рода Шуйских и т. д. в хронологическом порядке их возникновения и исчезновения.

Название же рубрики следует определить как «Легенды о гонимых и возвращающихся «избавителях», и она должна объединить группу сходных, но независимых по своему происхождению сюжетов, подобно тому как в сюжетные указатели былин или исторических песен также вносятся разные былины, связанные с самостоятельными героями, несмотря на то, что они содержат сходные сюжеты.

Означает ли все сказанное, что легенды о возвращающихся царях (царевичах)-«избавителях» стояли вне традиций и каждая легенда возникала совершенно заново? Разумеется, нет. Легенды об «избавителях» объединяет не только однотипность сюжетов,но и поразительное сходство мотивов, их образующих. В подавляющем большинстве легенд неизменно повторялись мотивы: изгна-

ние или попытка умерщвления героя, его подмена и спасение, его странствие, знаки на теле, назначенность срока появлений, обещания. Если структура сюжета, тип героя и характер его деятельности легко объясняются общностью исторической и социально-психологической основы, на которой они возникали, характером и строем крестьянского мировоззрения XVII—XIX вв., устойчивостью надежд и идеалов, которые они выражали, или, точнее, общностью социально-утопических идеалов, то сходство мотивов нуждается в дополнительном объяснении.

Легко заметить, что основные мотивы социально-утопических легенд не являются исключительной принадлежностью этого жанра или тем более этой группы легенд и анализированных нами сюжетов. Они известны и в сказках, былинах, балладах, исторических песнях, преданиях, духовных стихах и носят зачастую международный характер. Это настолько очевидно, что не требует специальных доказательств. Так, например, все мотивы легенд о царях (царевичах)-«избавителях» известны в своих эпических и сказочных вариантах в широком кругу сюжетов о невинно гонимых героях. Здесь герои тоже изгнаны, скитаются, но в конце концов будут вознаграждены. Мотив «подмены» широко распространен в сказках, эпических песнях, в балладах, например, в сказках типа 707* «Чудесные дети» (Царь Салтан), № 883 «Оклеветанная девушка», № 461 «Марко Богатый», № 930 «От судьбы не уйдешь и т. д. Узнавание по знакам на теле или по каким-либо заветным предметам широко распространено в эпосе («Добрыня на свадьбе своей жены», «Илья Муромец и сын» и др.), в балладе (баллады о трагических встречах родных), сказках (№ 891 «Муж на свадьбе своей жены», № 884 «Покинутая жена» и др.). Таков же характер и дополнительных мотивов, с которыми мы встречались в отдельных легендах — нарушение запрета (женитьба, явка раньше срока), заключение героя в столб, закатывание в бочку, добывание престола в Царьграде (ср. сказки на сюжет № 485 «Барма Ярыжка»), странствие неузнанного царя среди подданных (№ 757 «Гордый царь», духовный стих «Алексей — человек божий» и др.) и т. д. Только заключительный мотив — воцарение ради освобождения народа — составляет исключительную принадлежность социально-утопических легенд. Собственно, он, так же как изображение изгнания, странствий или заточения, не в неопределенном (как в сказке) и не в историческом прошлом (как в эпосе или исторических преданиях), а в настоящем, и победы героя в будущем и составляют основное отличие сюжета наших легенд от близких сюжетов в других жанрах.

Образ «избавителя» и сюжет легенды, за исключением завершающего эпизода (социально-утопической развязки), обычно строятся из общефольклорных клише, из общих мест, свойственных большинству повествовательных жанров, т. е. из элементов, которые постоянно существуют в сознании исполнителей и создателей легенд вне, помимо и до возникновения очередной легенды.

Эти мотивы являются как бы всегда готовым строительным материалом, привычными изобразительными средствами, отработанными традицией категориями художественного мышления, из которых по необходимости и неизбежности строится одинаковый сюжет.

Постоянство мотивов, образующих сюжет легенд об «избавителях», вовсе не означает их абсолютной неизменности — каждый раз они приобретают форму, соответствующую социальному и политическому быту и народным представлениям о нем. Так, в эпизодах подмены в разных легендах фигурируют: отрок, попов сын, певчий, боярский сын, стрелец, солдат, адъютант, восковая кукла (статуя, маска), мертвое тело, «похожий человек из чухон», гвардеец, гвардейский капрал, часовой, острожник. В качестве «знаков» показываются: царские знаки на теле, крест, подаренный Милославским, «природные знаки красные», «царский венец, двоеглавый орел, месяц со звездою»; «особый знак», «на спине крест и на лядвее * родимая шпага», «на груди звезда, на спине месяц», «царские сапоги», которые можно «распороть и узнать», «государские знаки», «российские орлы», «герб императорский», «на плечах кресты», «грудь, обросшая волосами крестом», «обрубленный палец», «золотое перо за ухом», «на правом плече золотая медаль, на левом — серебряная». Изгнанный или скрывавшийся избавитель странствует или пребывает в Польше, Литве, Турции, «в горах», в Риге, в Киеве, на Дону, «закладен в стену», из которой выходит «через святого духа», в Италии — «в каменном столбе на королевском дворе», «под скрытием в Негренской пустыне», в Запорожской Сечи, в Астрахани, в Крыму, у яицких казаков, в Царьграде, Египте, в Царицыне, у папы римского, «за морем», в Корее, в Беловодье, на Дарье реке, заточен в Петропавловской крепости, в Иркутске, в Сибири, «в Киргизской степи за Усть-Уйской крепостью около реки Абуги», «скрывается по разным местам». Скитания длятся год, полгода, три, девять, двенадцать, пятнадцать лет.

Таким образом, в смене форм, в которых воплощаются постоянные мотивы легенд, сказывается не только обычное для фольклора варьирование, но и эволюция социальных терминов и типов, официальной геральдики и эмблематики, развитие географических представлений, международных связей, исторической роли отдельных районов страны и т. д.

Наиболее постоянными на всем протяжении периода существования легенд о царях (царевичах)- «избавителях» оказываются те элементы легенды, которые не имеют соответствий в других фольклорных жанрах (мотивировка изгнания «избавителя», свержения или отстранения от трона за то, что он хочет освободить крепостных, и его будущие действия, обещания, пожалования), и именно они, а не меняющиеся формы общефольклорных

* Т. е. на ляжке.

мотивов, которые легенда использует в качестве подсобного материала, выражают идеологическую суть легенды.

Общефольклорные клише, о которых мы говорили, существовали в устной традиции непрерывно. Однако далеко не каждый раз, когда они сочетались с именем какого-либо политического деятеля, возникали легенды об «избавителях». Для того чтобы возникла легенда, главную роль в которой всегда играет образ «избавителя», нужно, чтобы история создала прототип героя легенды, прототип «избавителя», способный стать вместилищем народных чаяний и их персонифицированным воплощением.

Итак, повторное возникновение сходных сюжетов явилось причиной существования целой цепи социально-утопических легенд, которые соотносятся между собой не как варианты, а как вполне самостоятельные фольклорные произведения, разъединенные хронологически или географически. Невозможно представить себе не только дублирование сходных сюжетов легенд об «избавителях» в репертуаре одного исполнителя, но и одновременное существование их в репертуаре одной местности или определенной социальной группы (социально-психологической общности).

Одна легенда как бы исключала существование другой. Вместе с тем это, как уже было показано, вовсе не означает, что легенды во всех своих элементах каждый раз создавались абсолютно заново. Они были, как и всякие другие фольклорные произведения, тесно связаны с традицией. Однако связь эта весьма своеобразна.

В заключение еще раз отметим, что критерий определения границ фольклорного произведения и его соотношений с сюжетным типом и циклом сходных сюжетов должен находиться в прямой зависимости от функции жанра. Это создает для исследователя преданий и легенд особые трудности, так как фольклорный материал несказочных жанров фольклора (группа жанров «Sage») весьма разнообразен, часто полифункционален и требует тщательного исторического и морфологического исследования. Только при этом условии можно осуществить подлинно научную классификацию этой группы жанров, жанровых разновидностей, сюжетов, сюжетных типов и циклов. Это не значит, разумеется, что до всеобъемлющего исторического изучения не следует продолжать работу по выявлению сюжетного состава и формально-логической классификации сюжетов. Напротив, формальный каталог сюжетов — необходимый подсобный инструмент для осуществления всех возможных видов исследования народной прозы несказочного характера, в том числе и окончательного определения структуры сюжетного репертуара каждого конкретного народа. Не следует только связывать с ним слишком больших теоретических надежд.

В. Г. Базанов

ПРОБЛЕМА «ЛИТЕРАТУРНОГО ФОЛЬКЛОРА» В РУССКОМ РЕВОЛЮЦИОННОМ ДВИЖЕНИИ XIX В.

(Тезисы)

Проблема «Литература и фольклор» имеет разные аспекты изучения. Обычно принято рассматривать влияние фольклора на литературное творчество, на становление и эволюцию национального художественного сознания. В этом направлении литературоведение и фольклористика достигли наибольших результатов. Охвачен огромный историко-сравнительный материал: от «Слова о полку Игореве» до Твардовского. В какой-то степени освещена и обратная сторона процесса, т. е. воздействие литературы на народную поэзию. Но имеется еще смежная область. Условно назовем ее «литературным фольклором».

Термин и само понятие «литературный фольклор» не вполне установлены и научно определены. Более устойчивым является понятие «народные книги». Им довольно широко пользуются фольклористы, литературоведы и историки культуры. Но и под этим понятием часто объединяются весьма разнородные явления, как по своему происхождению, так и по своей жанровой природе и социальному значению. К «народным книгам» относятся прежде всего книги, излюбленные или пользовавшиеся большим распространением в «народных низах»,— нравоучительные сочинения («душеполезное чтение»), агиографические легенды, сказания, сказки, волшебно-рыцарские романы, фантастические путешествия в неведомые и загадочные земли, сборники новелл и анекдотов, побывальщины и бытовые, чаще всего необычайные истории, описание похождений разбойников, наконец сонники, травники, гадательные книги, всевозможные забавные летучие листы. Позднее (с середины XVIII в.) по крайней мере часть «народных книг» приобретает название «лубочной литературы».

«Народные книги» следует рассматривать в их историческом становлении и постоянном, подчас очень сложном и противоречивом взаимодействии как с фольклором, так и с идейными исканиями эпохи. Сам характер «народных книг», их проблематика, соотношение литературных и собственно фольклорных форм меня-

ется в зависимости от насущных задач национальной жизни и решения социальных вопросов. Обращение образованных классов к «народным книгам» всегда преследовало определенные идеологические цели. Русские революционеры, начиная с Рылеева и Александра Бестужева, авторов «подблюдных» и сатирических песен, пытаются создать новый фольклор («литературный фольклор»), который еще не бытует, но должен бытовать. В произведениях, предназначавшихся для распространения в широких народных массах (среди крестьян, солдат и фабричных), имитируется фольклорная форма, сохраняются стилистические и жанровые особенности народной словесности, тогда как содержание и связанная с ним фразеология обычно создаются заново. Фактически революционный «литературный фольклор» отходит от старого фольклора и сближается с новой гражданской поэзией.

В народнической потаенной литературе широко привлекаются сказочные и былинные образы, в частности популярный сюжет о правдоискателях, о путешествии в «иное царство». Однако пропагандисты настолько перерабатывают, перелицовывают традиционный фольклорный материал, что в конечном итоге от сказочного сюжета остается схема, которая заполняется революционными аллегориями и картинами утопического будущего. Скрытая цель таких переработок состоит также в преодолении патриархальной скованности и инертности крестьянского политического сознания.

Во второй половине XIX в. судьбу «народной книги» во многом определяет демократическая идея сближения с народом: учиться у народа и вести его за собой. В этом отношении особенно показательна деятельность революционных народников 70-х годов. В годы массового «хождения в народ» создание литературы для народа, доступной крестьянину, становится одним из центральных программных требований. В. И. Ленин отмечал, что сущность политической программы народников 70-х годов заключалась в том, «чтобы поднять крестьянство на социалистическую революцию против основ современного общества»[1]. Чтобы «поднять крестьянство», необходимо было вести пропаганду с учетом крестьянской психологии и местных традиций, со знанием народных нужд и настроений. Участники «хождения в народ» создали свою «ряженую» литературу, которой не знала прежняя история «народной книги».

В самом общем виде основные положения о «литературном фольклоре» народников могут быть предварительно сформулированы следующим образом:

1. Сам термин «фольклористика» применительно к теоретическим построениям и практической деятельности революци-

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 1, стр. 272.

онных демократов и их последователей не может считаться удачным. Было бы правильнее говорить о русском демократическом народознании и народоведении. В нераздельности важнейших проблем — литература и фольклор, революционное просвещение и народный быт, социология и статистика — состоит своеобразие демократического народознания и народоведения на втором этапе освободительного движения в России. Фольклористика и этнография входят в народознание, составляя важнейший раздел науки о народном быте и поэтическом творчестве. Революционное народоведение является органическим продолжением демократического народознания, включая в себя массовое и организованное «хождение в народ», пропагандистскую деятельность революционеров среди крестьян и фабричных.

2. Революционные народники 70-х годов практически пытались осуществить основные требования демократического народознания и народоведения. Они были прежде всего социалистами, социологами и пропагандистами и только отчасти фольклористами и этнографами. Народники-пропагандисты использовали встречи с крестьянами и фабричными, чтобы поддерживать революционное настроение масс и разъяснять причины их угнетения. Свою разъяснительную пропагандистскую работу они вели с помощью книг для народа, рукописных сочинений и устных бесед. Среди народников были выдающиеся пропагандисты, владевшие всеми тонкостями народного красноречия: С. М. Степняк-Кравчинский, Д. А. Клеменц, С. С. Синегуб, М. Д. Муравский и др.

3. Русские революционные демократы и народники 70-х годов используют в своей пропаганде научно-популярные книги для народа, сами создают эти книги, чтобы сообщить крестьянину необходимые сведения о происхождении жизни, о природе и человеке, социальном устройстве общества и внутреннем положении России [2]. Особое значение они придают пропагандистской литературе, доступной фабричному и крестьянину. В массе бесцензурных произведений «боевого демократического и утопически социалистического характера» [3] выделяется целый цикл фольклоризированных произведений, написанных в подражание фольклорным образцам. Многие произведения, созданные в канун и во время «хождения в народ», по своим жанровым признакам и стилистическим приемам могут быть отнесены к «литературному фольклору». Именно «ряженые» произведения, где современная действительность и идеалы утопического будущего выступали в

---

[2] К таким произведениям относятся: А. Иванов. Рассказы о земле и небе. СПб., 1872; он же. Рассказы о силах земных. СПб., 1872; [И. Худяков]. Самоучитель для начинающих обучаться грамоте. СПб., 1865; он же. Рассказы о старинных людях. СПб., 1865; он же. Древняя Русь. СПб., 1867; В. Е. Варзар. Хитрая механика. [Лондон], 1874; [Л. А. Тихомиров]. Емельян Иванович Пугачев. СПб., 1873.

[3] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 20, стр. 224.

одеждах народной сказки, песни и былины, пользовались у крестьян наибольшей популярностью.

4. Внешнее сходство пропагандистской литературы (книжной и письменной) с крестьянским фольклором не должно заслонять их глубоких и принципиальных различий. Хотя у народников и есть своя былина «Илья Муромец», и историческое предание в стихах «Атаман Сидорка», и своя «Крестьянская песня», и свои сказки («Сказка о Мудрице Наумовне», «Сказка о копейке», «Сказка о четырех братьях»), жанровый состав пропагандистского «литературного фольклора» требует значительных уточнений. Все эти былины, сказки и песни необходимо рассматривать как социалистические фантасмагории в фольклорном стиле, исторические предания, переработанные в духе революционных теорий, поучительные жизнеописания крестьянских героев (Разин, Пугачев и просто «История одного крестьянина»), «думы» («Дума ткача», «Дума кузнеца»), протяжные песни о доле и свободе («Свободушка», «Доля», «Дубинушка», «Барка»).

5. Среди бумаг, отобранных у участников «хождения в народ», сохранились своеобразные программы по собиранию сведений о положении народа. В одних программах преобладали вопросы демографического и этнографического характера, в других — вопросы социальные, связанные с экономическим бытом, с крестьянскими наделами, с отношением крестьян к царю и помещикам, чиновникам и попам. Показательно, что программа, составленная видным участником революционного движения М. Д. Муравским, начинается прямо с вопросов: «Много ли богатых? Много ли бедных?». Эти программы и вопросники еще не собраны и не изучены, между тем они безусловно представляют интерес для фольклористов и этнографов.

6. В народных требованиях аграрных реформ обычно присутствовала исторически предопределенная патриархальная фикция «хорошего царя». Задача «литературного фольклора», созданного народниками, состояла в том, чтобы разрушить эту фикцию, показать царскую власть в истинном свете. Разрушение традиционной веры в царя, укрепление определенного политического идеала (активное требование «земли и воли») и пробуждение в крестьянстве революционной инициативы — все это, наряду с идеализацией поземельной общины, общинных привычек, составляет главное содержание потаенной «народной литературы» 70-х годов, приспособленной к фольклорной эстетике, к художественным формам, завещанным многовековыми традициями устного народно-поэтического творчества.

7. В процессе чтения «народных книг» и живых бесед с крестьянами, собирания и изучения сведений об экономической и социальной структуре современной деревни постепенно накапливался материал, расшатывающий некоторые из народнических доктрин. Сама народническая тактика уточнялась и изменялась

под воздействием наблюдений, встреч и разговоров с народом. Крестьяне недоверчиво относились к социалистическим утопиям и, наоборот, внимательно слушали и обсуждали те вопросы, которые касались земли и воли, неотложных нужд и потребностей, не выходили из обычных крестьянских представлений и понятий о лучшей жизни, о лучшей доле. Не случайно особое значение демократическое народознание придает народным толкам и слухам, полагая вслед за Н. А. Добролюбовым, что этот повсеместный и динамичный фольклор есть «выражение духа, направления и понятий народных в ту или другую эпоху».

8. Несмотря на трагизм самого движения народников 70-х годов и неподготовленность широких крестьянских масс к восприятию революционных идей, пропаганда не пропала даром, и мы видим среди фабричных и крестьян талантливых учеников, которые и сами становятся агитаторами и авторами потаенных произведений. Задача исследователя состоит и в том, чтобы героическую летопись «хождения в народ» дополнить главой о крестьянах-ораторах. Некрасов очень метко уловил нарождающийся тип народного трибуна в образе Якима Нагого. Крестьянское политическое красноречие составляет одно из самых ярких проявлений стихийной революционности в устном народном творчестве. Эта традиция идет от восстаний Разина и Пугачева. Во второй половине XIX в. она была продолжена с участием революционной интеллигенции. Немаловажную роль в воспитании фабричных и крестьян сыграли народнические кружки и артели, нелегальные пропагандистские издания и задушевные беседы с глазу на глаз. Фабричные и сами крестьяне выступали в роли распространителей и чтецов революционных «народных книг» и рукописных сочинений. Один из участников «хождения в народ» вспоминает:

«Как-никак, а наши лучшие рабочие из крестьян, как, например, Крылов, Абакумов и некоторые другие, рвались к более живому делу, и, глубоко уверовавшие в освободительные идеи, они, видимо, не находили достаточного отклика на их призывы в рабочей среде и в то же время верили, что они гораздо большую отзывчивость найдут в среде крестьянской. Первым из этих рабочих двинулся Крылов. Прельщенный ролью Шовеля, героя «Истории одного крестьянина», Крылов в качестве офени, с коробом за плечами, наполненным книжками для народа, отправился странствовать сначала по ближайшим к Петербургу селениям, а затем перебрался в свою родную Тверскую губернию, где продолжал начатое дело. Но не долга была жизнь этого выдающегося, симпатичного и искренне преданного делу человека, верившего, что народ, веками угнетаемый, познав правду, поднимется на своих угнетателей. Арестованный в 1875 г. в одной из приволжских губерний, он в 1876 г. погиб в Тверской тюрьме»[4].

---

[4] Н. А. Чарушин. О далеком прошлом. М., 1926, стр. 132—133.

9. В конечном итоге и пропагандистские «народные книги» и «литературный фольклор» составляют только часть русской бесцензурной литературы, печатавшейся за границей, в подпольных типографиях или распространявшейся в списках. Нелегальная литература на равных правах входит в большую русскую литературу и публицистику. Без «вольной», «потаенной», «подпольной» поэзии трудно представить себе историю русской гражданской поэзии. Совместное изучение «творений, презревших печать», как называл их Пушкин, непременно на всем пути их возникновения и распространения, на общем фоне литературного и общественного движения только и может дать более или менее полное представление о сложном взаимодействии литературы печатной и литературы нелегальной. Это дело ближайшего будущего, требующее коллективных усилий. Сейчас важно собрать и изучить отдельные памятники бесцензурной печати, в частности нелегальную и рукописную литературу эпохи падения крепостного права[5].

10. Значение опытов в стихах и в прозе, созданных революционными народниками для распространения в народной среде, не следует преувеличивать. Многие из них имеют исторический интерес, в художественном отношении они зачастую представляют собой своеобразный род эклектики, где социалистические идеалы и революционные идеи укладываются в формы «ряженой», стилизованной под фольклор литературы. Заслуживает внимания сама попытка «онародить» потаенную литературу, сделать ее общедоступной, обращенной ко всей крестьянской России. В этом отношении революционные народники 70-х годов достигли немалых результатов. В отличие от дворянских революционеров они не боялись обращаться к народу с самыми смелыми призывами.

Богатый и ценный материал сосредоточен в фонде «Вещественные доказательства» Центрального Государственного архива Октябрьской революции (ЦГАОР) (рукописи революционных народников, отобранные при аресте), а также в Центральном Государственном историческом архиве (Ленинград). ИРЛИ (Пушкинский дом) АН СССР готовит к печати том «Народническая потаенная литература», куда войдут произведения, распространявшиеся в народе.

---

[5] Такие работы уже имеются. Напомним, что в 1959 г. вышел в «Библиотеке поэта» (Б. С.) сборник «Вольная русская поэзия второй половины XIX века». Этот ценный сборник текстов подготовили к печати С. А. Рейсер и А. А. Шилов. В 1963 г. Е. Г. Бушканец защитил в Институте русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР докторскую диссертацию «Русская нелегальная поэзия второй половины 1850 — начала 1860-х годов» и опубликовал ряд статей на аналогичную тему. Революционная пропагандистская литература 70-х гг. привлекает внимание советских историков. В 1965 г. в Институте истории АН СССР В. Ф. Захарина защитила кандидатскую диссертацию по данной проблеме. По теме диссертации автором были опубликованы статьи в «Исторических записках» (т. 71, 1962) и в «Русской литературе» (1964, № 2). В книге Б. С. Итенберга «Движение революционного народничества» (М., 1965) содержится специальная глава «Пропагандистская народническая литература».

И. Ф. Бэлза

О НАРОДНЫХ ИСТОКАХ МУЗЫКАЛЬНОЙ КЛАССИКИ ЗАПАДНОСЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

В истории художественной культуры всех стран проблема национальной самобытности неизменно сохраняет ключевое значение, так как органически связана с историей жизни того или иного народа. Ярчайшим примером такой ее значимости в истории музыки западнославянских народов может служить шопеновское творчество.

Исторический анализ этого творчества позволяет аргументировать некоторые положения, которые, как можно утверждать, дают основание для широких исторических обобщений, а не только для установления отдельных фактов творческой биографии композитора. Прежде всего необходимо остановиться на вопросе о преемственных традициях польской музыкальной культуры. Такие традиции существовали на протяжении нескольких сот лет, но рассмотрение их сильно затруднялось из-за многочисленных лакун в истории польской музыки, далеко еще не заполненных, если обратиться даже к XVIII в. Недавнее открытие Реквиема Матеуша Звежховского (1760) позволило говорить о неоспоримом факте создания в Польше в середине XVIII в. национально-своеобразного монументального циклического произведения, с которым крайне поучительно сопоставить польские симфонии XVIII в., не случайно привлекавшие пристальное внимание покойного проф. Иеронима Фейхта в последние годы его жизни и давшие ему право говорить о «варшавском симфонизме XVIII в.»

Шопеновское творчество, знаменовавшее собой достижение классических высот польской музыкальной культуры (это относится как к творчеству, так и к исполнительскому искусству), было, по существу говоря, завершением длительного этапа ее развития. Уже довольно давно указывалось на тематическую близость одного из ранних полонезов Шопена к Огиньскому, на тематические совпадения в произведениях Эльснера и Шопена. Однако гораздо более существенным, чем эти отдельные наблюдения, представляются все же творческие принципы, развитие которых в музыке Шопена, несомненно, восходит к его предшественникам

и к утверждавшейся ими национальной традиции, связанной с народными истоками.

Уже Михал Клеофас Огиньский в своих «Письмах о музыке», говоря о национальных формах польских танцев, применил выражение о «музыке не для танцев» и отверг приписывавшееся ему авторство знаменитого «полонеза Косьцюшко», мотивируя, в частности, свое утверждение тем, что этот полонез в отличие от его полонезов «только танцевален». Но в этом отношении к полонезам Огиньского близки также пьесы Лесселя, Шимановской, Островского и других польских композиторов, которые были прямыми предшественниками или старшими современниками Шопена.

Характеризуя общую тенденцию развития польской музыки в дошопеновский период, вполне допустимо говорить о четко проявившейся «поэмности», в той или иной мере созревавшей в танцевальных жанрах, в особенности в мазурке (точнее — ма́зуре) и полонезе, ритмические очертания которого, сочетаясь с необычным эмоциональным содержанием, различимы и в Реквиеме Звежховского, и в позднем Полонезе-фантазии Шопена. Не проводя никакой параллели между художественным уровнем творчества называемых композиторов, отметим, что в полонезах Шопена, начиная с самых ранних, так же, как в произведениях Огиньского, Шимановской, Островского и других польских мастеров, развиваются жанры пьес «не для танца»: полонезы-элегии, полонезы-ноктюрны, наконец (достаточно вспомнить «большие полонезы» Шопена), «полонезы-побудки».

Тематические образования, близкие к «побудкам» (напомним, что на рубеже XVIII и XIX вв. этот термин применялся как в поэзии, так и в музыке), нередко можно встретить уже у Огиньского, в чьем творчестве порой выдвигаются на первый план элементы фанфарной призывности, столь характерные для польских повстанческих песен 1794—1831 гг. Эти элементы приобретают по существу доминирующее значение в шопеновской музыке, пресловутую «салонность» которой следует причислить к музыковедческим басням. Во всех крупных произведениях Шопена — сонатах, балладах, скерцо, полонезах, в Фантазии, а также во многих этюдах, ноктюрнах и прелюдиях — господствует героико-драматическое начало, обусловленное реальной действительностью, породившей и трагедийные образы шопеновской музыки.

Именно «души прекрасные порывы» Шопена и его современников воплотились в его музыке, о чем нелишне напомнить в связи со все еще упорно навязываемой версией о «провинциализме» польской музыки, корифеи которой — Шопен и Шимановский, по мнению «авангардистов», якобы достигли высот творчества, лишь оторвавшись от родной почвы. Однако никто никогда еще не смог указать, кто из современников Шопена на Западе оказал на него влияние, а президент французского Шопеновского обще-

ства Эдуард Ганш почти полвека тому назад достаточно убедительно разоблачил фальсификации Шарля Роллина, пытавшегося сочинять небылицы о парижских и ноанских «наставниках» Шопена. Эти небылицы продолжают, к сожалению, распространяться лицами, толкующими о Шопене, но не имеющими о нем никакого представления. Письма Шопена помогают нам понять круг его интересов, неизменно связанный с судьбами Родины, а анализ его произведений, стиль которых сформировался еще в Варшаве, дает возможность постичь идейно-эмоциональный строй образов этих произведений.

Польская песенно-танцевальная стихия лежит в основе интонационного стиля Шопена, далекого, впрочем, от какой бы то ни было фольклорной стилизации, но неизменно сохраняющего связи с национальными истоками, отличающимися тем многообразием, которое ощущается и в творчестве других польских композиторов. Действительно, типично славянское «моторное» начало, которое легко ощутить, скажем, во многих песнях-танцах знаменитой табулатуры Яна из Люблина (XVI в.), сочетается в этих истоках с грозным, сосредоточенным драматизмом, окрашивающим, например, стержневую тему так называемой «Прекраснейшей мессы» Бартломея Пенкеля (как нам приходилось уже отмечать, в последней фортепианной сонате Шопена наблюдается поразительное тематическое совпадение с этой мессой). Такое сочетание исторически вполне обоснованно, на что, впрочем, музыковеды, как правило, не обращают достаточного внимания. Одним из наиболее примечательных исключений в этом отношении является блестящая книга профессора Юзефа Хоминьского о сонатах Шопена.

Между тем «славянизмы», например в музыке Шопена (на близость некоторых из них к своему творчеству указывал сам Глинка), представляют собой складывавшееся на протяжении столетий эмоциональное суммирование широкой («распевной») кантилены со стремительной маршевой поступью, таящей в себе элементы как оживленной танцевальности, так и драматичности, выступающей на первый план в период и бурных событий XVII в. (в частности, в период создания «Прекраснейшей мессы»), и освободительных движений, образы которых запечатлелись в творчестве не только Шопена, но и, скажем, Сметаны, а несколько позже — и в произведениях Дворжака.

Изучение музыки Шопена и его непосредственных предшественников, а также старших современников позволяет говорить о довольно длительном процессе развития «поэмности» в польской музыкальной культуре, продолжавшемся по крайней мере целое столетие (середина XVIII — середина XIX в.). Непредвзятые аналитические изыскания обнаруживают закономерности в этом процессе, свидетельствующие, с одной стороны, о его национальном своеобразии, а с другой — о непрекращавшем-

ся углублении межславянских культурных связей в области музыкального искусства. Характерно, что крупнейшие представители этого искусства отмечали наличие такого рода связей, например, в русской музыке подчеркивали это Глинка, Римский-Корсаков, Скрябин, Мясковский, Лятошинский.

Рахманинов (который, кстати сказать, живя за рубежом, оставался таким же русским музыкантом, как Шопен, покинув родину, — польским) в своем известном интервью, опубликованном в музыкальном журнале «The Etude» (Нью-Йорк, 1919, т. 37, № 10), указывал, что «между музыкой многих величайших европейских мастеров и народной музыкой их родных стран существует тесная и близкая связь. Не то, чтобы композиторы эти брали народные темы и пересаживали их в свои сочинения (хотя и это нередко случается во многих произведениях), но они так проникались духом мелодий, свойственных их родному народу, что все их сочинения получали облик столь же отличный и характерный для данной народности, как вкус национального вина или фруктов». Характерно, что далее Рахманинов, подкрепляя свою мысль о национальном своеобразии музыки, вспоминает моцартовский тезис о господстве мелодического начала: «Большие композиторы всегда и прежде всего обращали внимание на мелодию, как на ведущее начало в музыке (...) Мелодическая изобретательность, в высшем смысле этого слова,— главная жизненная цель композитора. Если он не способен создавать мелодии, имеющие право на длительное существование, то у него мало шансов на овладение композиторским мастерством. По этой причине великие композиторы прошлого проявляли столько интереса к народным мелодиям своих стран. Римский-Корсаков, Дворжак, Григ и другие обращались к народному мелосу как к естественному источнику вдохновения».

В данном высказывании достаточно отчетливо выражена мысль о национальных истоках музыкального искусства каждого народа. Отрыв от них неизбежно приводит к кризису творчества композитора — достаточно сопоставить бездушную графоманию «позднего» Стравинского (на его позорных высказываниях о России и русской музыке нет надобности останавливаться) и овеянные романтикой национальных традиций последние произведения Богуслава Мартину. «Человек без родителей — сирота; человек без родины — не человек»,— гласит восточная мудрость.

Прогрессивное крыло польской «великой эмиграции» отнюдь не состояло из «людей без родины». Наоборот, деятельность Шопена, так же как Мицкевича и его учителя Лелевеля, поэзия Словацкого и Норвида,— все это было теснейшим образом связано с жизнью Польши, с ее борьбой за национальное и социальное раскрепощение. Борьба эта продолжалась и в последующие годы. «Пушки в цветах», как называл Шуман произведения Шопена, гремели и в таких безыскусственных, казалось бы, мелодиях,

как песни Монюшко. Но еще более значительными были этапные оперы Монюшко. Десять лет (начиная с любительского исполнения на виленской концертной эстраде и кончая варшавской премьерой 1858 г.) работал композитор над «Галькой». И в данном случае нельзя рассматривать первенца польской оперной классики вне связи с предшествующими периодами развития национального музыкально-сценического искусства.

Так же, как в области инструментального творчества, здесь существовали длительные и устойчивые традиции. Речь идет, конечно, не об итальянской труппе королевича Владислава, а о народных зрелищах и о прямых предшественниках Монюшко, прежде всего об Эльснере и Курпиньском, который уже достаточно отчетливо подчеркнул (вспомним хотя бы «Ядвигу») роль народа в исторических событиях. Следует напомнить также, что в операх как Эльснера, так и Курпиньского большое значение приобретают народно-танцевальные жанры, включая полонез, мазурку и краковяк, нередко получающие развитие уже в увертюрах. В качестве примера можно привести увертюры к «Лешку Белому» и «Королю Локетку» Эльснера или построенную на мелодии малопольской народной песни вводную часть увертюры к «Чорштынскому замку» Курпиньского.

В путевом дневнике Курпиньского, относящемся к 1823 г., но впервые опубликованном только в 1911 г. (переиздан в Польше в 1954 г.), содержатся высказывания, свидетельствующие, что проблеме национального своеобразия и обращения к народным истокам придавалось в Польше чрезвычайно серьезное значение. Одно из этих высказываний особенно интересно тем, что посвящено вопросу об органической связи музыкальных средств выразительности с интонационным строением языка того или иного народа. В дальнейшем, как мы знаем, этот вопрос чрезвычайно интересовал многих славянских композиторов, в частности Мусоргского и Яначка, систематически записывавшего речевые интонации с целью постижения их эмоционального содержания, которое композитор считал основой мелодического развития. По существу дошедшие до нас размышления Курпиньского, вне всякого сомнения отражавшие эстетические предпосылки формирования западноевропейской музыкальной классики, уже предвосхищали в той или иной мере «генеалогию» теории Яначка: речевая интонация — возглас, музыкальная интонация — мелодия.

Вместе с тем оперное творчество Курпиньского сыграло большую роль в формировании польской оперной классики, причем творческие искания автора «Ядвиги», о котором так лестно отозвался Глинка, часто встречавшийся с ним в Варшаве, носили закономерный характер, вполне четко определенный еще в путевых записках Курпиньского за 1823 г. Но если в «Ядвиге» получил художественное воплощение необычайно смелый по тому време-

ни тезис о народе как о творце своей истории, то в «Гальке» запечатлелись образы социального протеста, рожденные, вне всякого сомнения, трагическими событиями «Весны народов» и кровавого подавления освободительного движения той эпохи. Едва ли можно сомневаться в том, что в поздних операх Монюшко, написанных после подавления восстания 1863 г., сознательно подчеркивалось национальное своеобразие польской культуры, которое ее мастера стремились сохранить и после очередной трагедии, пережитой родным народом. Не лишено интереса то обстоятельство, что уже осенью 1864 г. в Варшаву приехал А. С. Даргомыжский, которому его старый друг Монюшко играл свои новые произведения (как явствует из письма Даргомыжского от 9 ноября). Этот приезд Даргомыжского в Варшаву — одна из заслуживающих серьезного внимания страниц истории русско-польских культурных связей после восстания 1863 г.

«Весна народов» ознаменовалась, как известно, трагическими событиями, однако подавление освободительных движений не привело к денационализации культур западнославянских народов прежде всего из-за устойчивости народной основы этих культур. В частности, на эту основу, которая в чешском музыкальном искусстве сразу же вызывает в памяти канторские традиции, развивавшиеся на протяжении нескольких столетий, опирались чешские будители.

Такие выдающиеся исследователи, как Зденек Неедлы, Владимир Гельферт, Йозеф Плавец, Йитка Снижкова, Ярослав Ваницкий и другие авторы, изучившие громадный архивный материал, убедительно доказали, что уже в добелогорский период чешская музыка достигла высокого художественного уровня, о чем свидетельствуют хотя бы дошедшие до нас произведения Криштофа Гаранта из Полжиц и Бездружиц. Но еще до этого гуситские песни и гимны, оказавшие, видимо, серьезное влияние и на лютеранское песнетворчество, составили целую эпоху в мировом музыкально-историческом процессе, войдя, в частности, и в канторские традиции, сыгравшие, как показывают работы чешских исследователей, решающую роль в развитии отечественной музыки.

В канторских «шпаличках» XVII—XIX вв. можно найти и гуситские мелодии, отличавшиеся огромным эмоциональным диапазоном (от героического гимна и марша-шествия до лирических и сатирических куплетов), и «традиционные» церковные напевы, однако трансформировавшиеся постепенно и приобретавшие национальную окраску, и, наконец, самые разнообразные танцевальные мелодии. Так же, как, например, в Реквиеме Звежховского, мелодические очертания таких мелодий, по наблюдению Зденека Неедлы, проступают даже в богослужебных песнопениях.

Канторские традиции вступают в новый этап своего развития в будительскую эпоху. Именно канторы, совмещавшие педагогическую деятельность с исполнительской и творческой, становятся опорой национального своеобразия отечественной музыки, не утраченного благодаря этим традициям даже в период баховской реакции, начавшейся после «Весны народов». Нетрудно провести параллель между ранними произведениями Шопена и юношескими опытами Сметаны, который, постепенно овладевая виртуозной техникой пианизма, тем не менее стремился развивать народные формы музицирования — достаточно вспомнить его многочисленные польки для фортепиано. К самым разнообразным формам бытового музицирования, кстати сказать, обращались и предшественники Шопена, начиная с Огиньского, которого некоторые музыковеды, игнорирующие своеобразие его произведений, обвиняют в «архаичности» (совсем иного мнения о полонезах Огиньского был Лист, посвятивший им такие прекрасные слова в своей знаменитой книге о Шопене).

Однако самобытность музыкальной культуры западнославянских народов проявлялась не только в жанре инструментальной миниатюры. Нет сомнения, что как «Галька», так и «Проданная невеста» возникли в результате тесно связанной с просветительскими традициями борьбы за эту самобытность. Вспоминая приводившиеся уже слова Рахманинова, нужно предостеречь от примитивного понимания этапов этой борьбы, никогда не сводившейся к цитированию тех или иных мелодий. Конечно, в «Либуше», «Бланике» и некоторых других произведениях Сметаны, так же как в ряде оркестровых сочинений Дворжака, в «Праге» Сука и в известной симфонической поэме Отакара Йеремиаша, звучат фрагменты таборитского гимна, играющего, однако, роль не столько музыкально-тематического материала, сколько символа, каким на протяжении нескольких веков стал этот гимн.

Впрочем, данный таборитский гимн (о «божьих воинах») не представляется типичным примером развития народно-музыкальной традиции. Более типичны в этом отношении жанровые традиции в целом, т. е., например, традиции боевой гуситской песни, польской «побудки» и т. п. Развитие этих традиций ознаменовалось достижением таких высот западнославянской музыкальной классики, как, например, шопеновские сонаты, баллады и Фантазия (корнями своими уходящая в атмосферу «побудок»), сметановский цикл «Моя родина» и дворжаковские симфонии, во многом связанные с героикой таборитских песен, и т. п.

Общеизвестно, что в творчестве Шопена получили развитие многие народно-танцевальные жанры (полонез, мазурка, краковяк и др.), а в музыке многих чешских и словацких композиторов большую роль сыграли полька, фуриант, скочна, одземек и т. п. Но, говоря обо всех этих жанрах, необходимо еще раз подчеркнуть, что лишь в немногих случаях можно говорить о цитирова-

нии мелодии или даже об ограничении пределами того или иного жанра, обычно преображающегося в процессе стремления к «поэмности», ярчайшими примерами которой являются полонезы и мазурки Шопена, ознаменовавшие наряду с другими произведениями композитора новый этап развития западнославянской музыкальной культуры.

Изучая истоки ее самобытности, нельзя, однако, проходить мимо многообразных импульсов, воспринимавшихся в различные периоды мирового историко-музыкального процесса. Речь идет не о шиллеровском или шекспировском сюжетах ранних симфонических поэм Сметаны, не о «гамлетовском» ноктюрне Шопена или дворжаковской «Армиде», а преимущественно об идейно-эстетических критериях, позволяющих, например, сближать Пушкина и Шопена с Данте.

Эти критерии неотделимы от социально-этических, созревавших в передовых кругах общественности, неизменно ощущавших свое единение с народом. Именно такое ощущение обусловило бунтарские, мятежные образы, возникавшие в литературе и искусстве в периоды освободительного движения, его побед и поражений.

В этом отношении гуситскую эпоху в известном смысле можно считать таким же значительным событием в истории чешской культуры, как Ноябрьское восстание в истории польской. Подобное сравнение оправдывается, как нам кажется, качественным и количественным сдвигами в процессе накопления высоких художественных ценностей, возникших, вне всякого сомнения, из народных истоков и сыгравших решающую роль в развитии национально-самобытных традиций. Процесс обогащения этих традиций весьма сложен, и какие бы то ни было упрощения грозят здесь вульгаризацией идейно-эстетического анализа. Нельзя, например, проходить мимо «ориентализмов», особенно четко проявившихся в русской и польской музыке, причем, разумеется, необходимо различать интонационные и философско-этические интересы композитора. Образный строй балакиревского «Исламея» существенно отличается, например, от Третьей симфонии Шимановского с хором на слова Джелальэддина Руми («Песнь о ночи»), не говоря уже о гениальных откровениях Скрябина, искавшего «Индию Духа» и запечатлевшего в призывных («побудочных») фанфарах своих партитур атмосферу революционного предгрозья.

Анализируя образный строй музыкальных произведений, крайне важно сопоставлять их содержание и средства выразительности с другими областями художественной культуры — достаточно назвать «Конрада Валленрода» Мицкевича и Первую балладу Шопена. Но и другие произведения Шопена, никогда, впрочем, не склонявшегося к мистическим концепциям, подобным пресловутому «мессианизму», позволяют проводить параллели между

музыкой «польского Моцарта» и произведениями польских писателей-романтиков.

Наша эпоха, ознаменовавшаяся не только национальным, но и социальным раскрепощением западнославянских народов, обогатила их культуру новыми ценностями. Именно в последние десятилетия окончательно сформировалась и словацкая национальная школа, активно включившаяся в мировой художественно-культурный процесс. Истоками самобытности этой школы также следует считать многовековое накопление своеобразных средств выразительности, придающих неповторимое очарование образам, создаваемым словацкими композиторами, которых объединяет с их чешскими и польскими собратьями идейная общность. Как бы различны ни были творческие искания современных западнославянских композиторов, надежнейшим успехом этих исканий неизменно остается прочная связь с национальными традициями отечественной культуры.

СОДЕРЖАНИЕ

Л. Б. Валев, Ф. Г. Зуев, А. И. Недорезов, Г. М. Славин. Сотрудничество СССР со славянскими странами на завершающем этапе второй мировой войны (1944—1945) 3

И. А. Хренов, Т. Г. Снытко. Влияние Октябрьской революции на зарубежные славянские народы 24

С. А. Никитин. Общие черты и специфические особенности формирования славянских наций в XIX в. (преимущественно на южнославянском материале) 64

А. С. Мыльников. Идейно-политические предпосылки Просвещения в Чешских землях и его ранний период 80

В. Д. Королюк. К вопросу о славянском самосознании в Киевской Руси и у западных славян в X—XII вв. 98

А. И. Рогов. Чешское наследие в культуре древней Руси 114

М. Г. Рабинович. Из истории городских поселений восточных славян 130

В. П. Грачев. Жупная организация у славян и ее роль в развитии государственности 149

О. А. Ганцкая, Л. Н. Терентьева. Балто-славянские культурные связи (по данным этнографии) 168

Н. Н. Велецкая. О некоторых ритуальных явлениях языческой погребальной обрядности (к анализу сообщения Ибн-Фадлана о похоронах «русса») 192

Б. Н. Путилов. Проблемы жанровой типологии и сюжетных связей в русском и южнославянском эпосе 213

Н. И. Кравцов. Южнославянский эпос (к вопросу о терминологии) . 240

В. К. Соколова. О некоторых типах исторических преданий (к проблеме их жанрового своеобразия) 248

Э. В. Померанцева. Жанровые особенности русских быличек 274

В. Е. Гусев. Виды современного фольклора славянских народов . . . 293

К. В. Чистов. О сюжетном составе русских народных преданий и легенд (Методологические вопросы) 318

В. Г. Базанов. Проблема «литературного фольклора» в русском революционном движении XIX в. (Тезисы) 336

И. Ф. Бэлза. О народных истоках музыкальной классики западнославянских народов 342

ИСТОРИЯ, ФОЛЬКЛОР, КУЛЬТУРА И ЭТНОГРАФИЯ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ

Утверждено к печати
Институтом славяноведения
Академии наук СССР

Редакторы *Г. В. Моисеенко. Г. В. Шелудько*
Художник *А. Г. Кобрин*
Технический редактор *Н. П. Кузнецова*

Сдано в набор 11/III 1968 г.
Подписано к печ. 22/V 1968 г.
Формат 60×90¹/₁₆. Бумага № 2
Усл. печ. л. 22. Уч.-изд. л. 23
Т-07849. Тираж 2700. Тип. зак. 229
Цена 1 р. 56 к.

Издательство «Наука»
Москва, К-62, Подсосенский пер., 21

2-я типография издательства «Наука»
Москва, Г-99, Шубинский пер., 10

Цена 3 р.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУКА»

ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ФОЛЬКЛОР И ЭТНОГРАФИЯ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ